

**MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE
STUDIES AND TEXTS**

Volume 44

**ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ
ПУШКИН И ПОЭТЫ ЕГО ВРЕМЕНИ**

в трех томах

Том третий

(Статьи, рецензии, заметки 1935–1939 гг.)

BERKELEY SLAVIC SPECIALTIES

MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE
STUDIES AND TEXTS

Volume 44

Edited by

Lazar Fleishman *Stanford*
Joan Delaney Grossman *Berkeley*
Robert P. Hughes *Berkeley*
Simon Karlinsky† *Berkeley*
John E. Malmstad *Harvard*
Olga Raevsky-Hughes *Berkeley*

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ПУШКИН И ПОЭТЫ ЕГО ВРЕМЕНИ

в трех томах

Том третий

(Статьи, рецензии, заметки 1935–1939 гг.)

Под редакцией

Роберта Хьюза

BERKELEY SLAVIC SPECIALTIES

Distributed by Berkeley Slavic Specialties
Oakland, California
www.berkslav.com

Compilation, commentary, and notes copyright © 2014 Robert P. Hughes
All rights reserved.

Printed in USA

ISBN 1-57201-057-6
(978 1-57201-057-4)

1935

ПУШКИН — ДОН-ЖУАН

Пушкин — Дон-Жуан: так называется новая книга М.Л.Гофмана, только что изданная в Париже С.М.Лифарем. Уже самое заглавие красноречиво определяет тему, избранную исследователем. Дело идет на этот раз не о творчестве Пушкина, а о его биографии. Еще точнее — не о любовной лирике Пушкина, но о любовных событиях его жизни.

Труд М.Л.Гофмана не имеет внешних подразделений на части или главы. Однако его внутреннее движение, последовательный ход авторской мысли можно довольно точно установить: в первой, как бы вступительной части (сс. 9–26) М.Л. Гофман дает синтетический обзор любовных увлечений Пушкина, рисует их общий характер, намечает основные подразделения; во второй части (сс. 26–69) он подвергает суровой методологической критике некоторые ранее появившиеся труды о любовной жизни Пушкина — в особенности известную работу покойного Щеголева как творца легенды об «утаенной» любви к М.Н.Волконской — любви, в течение многих лет будто бы составлявшей как бы ось или центр любовных переживаний поэта; наконец, в третьей, заключительной части (сс. 69–111) дается анализ так называемого «донжуанского списка»: перечня женских имен, составленного Пушкиным в 1829 г. и послужившего материалом для многих выводов, наблюдений, догадок, ошибок, споров.

Книга М.Л.Гофмана написана вполне популярно: но все-таки это — произведение специалиста, поставившего своей задачей выяснение некоторых столь же специальных вопросов пушкинской биографии; именно поэтому многое в ней может быть до конца понято и оценено не иначе, как таким же специалистом; рядовому читателю, ищущему повествования, а не методологии, фактов, а не полемики, кое-что в ней покажется мелочным, слишком низким и даже несущественным; такой читатель, конечно, будет не прав, потому что важное от неважного и побочное от существенного может быть справедливо отделено только при условии действительного знакомства с предметом. Перед лицом такого читателя мне, рецензенту, несколько более осведомленному в существе трактуемых вопросов, приходится лишь констатировать, что все частности, затронутые М.Л. Гофманом, только кажутся частностями, на самом же деле имеют весьма существенное значение для

установления не только фактов пушкинской биографии, но и тех методов, с помощью которых такие факты могут быть выяснены. Сознаю, что мое утверждение голословно, но обстоятельно подкрепить его — значило бы подробно пересказать содержание этой весьма насыщенной содержанием книги, да еще по поводу каждого ее пункта объяснить, почему, в какой связи, в каком отношении и для чего именно он существенно важен. Такая работа сама по себе превратилась бы в объемистый труд — в целый путеводитель по многочисленным вопросам, затронутым в книге. Поэтому я ограничусь тем, что выскажу только некоторые мысли, возникшие у меня при чтении.

Современный пушкинизм велик и обилен. Нельзя сказать, что в нем совсем нет порядка, но хотелось бы, чтобы порядка было больше. Почему это так — вопрос особый и сложный, — не будем его сейчас касаться. Факт тот, что новые пушкинисты получили наследство довольно запутанное и у них есть несомненное стремление привести дела в некоторый порядок. В частности, лет тринадцать тому назад, еще в России, тем же М.Л.Гофманом была издана книга, в которой он на ряде примеров показал неудовлетворительность существующих изданий Пушкина в отношении текста и предложил ряд методологических принципов, ведущих к установлению текста канонического. Книга имела заслуженный успех. Возражали против отдельных ее положений, но против основной мысли сказать было нечего. Однако и в ней, и в последующих своих работах М.Л.Гофман не ограничился вопросами текстологии. Его давно и справедливо занимает параллельный вопрос — о тех пределах, которые должен себе ставить исследователь, пользующийся художественными созданиями Пушкина как материалом для биографии, иными словами — вопрос об автобиографичности Пушкина. Возвращается он к нему и в новой своей книге — повод, конечно, как нельзя более подходящий. Но тут, в этой области, установить границы и принципы оказывается не в пример труднее, чем в области текстологии.

История литературы слишком хорошо знает, что лирические признания поэтов иногда вполне совпадают с действительностью, иногда — лишь отчасти, иногда же не совпадают вовсе. Wahrheit не равна Dichtung, правда — вымыслу. Поэтому было бы очень удобно для биографов вовсе отказаться от поэзии как материала для биографии, отмечая лишь отдельные, случайные совпадения между фактами и лирическими признаниями. Так нередко и поступают. Но беда в том, что этот простой удобный способ оказы-

вается неприложим к Пушкину. Не будем касаться «чутья», которое может и обмануть. Помимо чутья, бесчисленные случаи установленного совпадения между правдой и вымыслом у Пушкина показали, что игнорировать его поэзию как материал для биографии было бы игнорированием в высшей степени обильного и точного материала. Однако это обстоятельство приводит ко многим ошибкам, недоразумениям, спорам. Комментариев к своим стихам Пушкин не оставил. Как же быть? Что в них считать правдой, что вымыслом? Как провести теоретическую границу меж тем и другим? Чем можно пользоваться для его биографии и чем нельзя? Конечно, все решилось бы само собой, если бы мы могли раз навсегда для всех случаев установить угол, под которым правда о жизни Пушкина преломляется в его поэтическом вымысле. Но этот угол, разумеется, постоянно меняется. В одних случаях вымысел ближе к правде, в других — дальше. В точности установить угол мы можем только тогда, когда столь же точно известен факт. Но в этом случае ценность поэтического произведения как биографического материала падает почти до нуля, ибо в биографическом смысле стихи, понятно, всегда менее документальны, чем мемуары, письма и прочее, подобно тому как живописный портрет менее документален, чем фотография. Из сопоставления факта с его художественной интерпретацией мы извлекаем ценнейший материал, относящийся, однако, к области психологии творчества, а не к области биографии.

История изучения пушкинской биографии изобилует заблуждениями, возникающими из того, что пушкинисты строят свои гипотезы, а нередко и утверждения, на поэтическом материале. Ошибки, разумеется, суть ошибки, ответственность за которые падает на их авторов. Однако принципиально осуждать пушкинистов за их приверженность к методу, несомненно рискованному, нельзя. Всякий, кому приходилось глубоко всматриваться в жизнь и в творчество Пушкина, в конце концов вынужден если не прямо признать, то про себя почувствовать исключительную автобиографичность пушкинских произведений, не только лирических, но даже эпических и драматических. Следы автобиографии обнаруживаются даже в таких вещах, как «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Борис Годунов», «Арап Петра Великого». Что касается пушкинской лирики, то не будет преувеличением сказать, что в подавляющем большинстве стихотворений легко прощупывается вполне конкретный биографический материал и, наоборот, — труднее отыскать такое стихотворение, в котором этого материала

не было бы вовсе. Поэтому его игнорировать пушкинисты не только психологически не в силах, но и принципиально не должны. Сколько бы опасностей ни таил этот метод, они не могут от него отказаться. Ошибки предшественников и риск собственных ошибок не может и не должен удерживать их от применения этого метода, который, при кажущейся ненаучности, оказывается вполне научным в применении к Пушкину. Несколько лет тому назад свои мысли обо всем этом я формулировал в трех словах: Пушкин автобиографичен насквозь. С тех пор много раз пересматривал я эту формулу, ища оснований от нее отказаться: это избавило бы меня от многих затруднений, нередко тягостных и тревожащих мою пушкинистскую совесть. При всем желании я этого сделать не мог.

М.Л.Гофман в своих трудах неоднократно высказывался против биографического толкования пушкинских произведений. Случалось нам с ним на эту тему резко полемизировать. Каждый остался при своем мнении, но мне кажется, что М.Л.Гофман несколько поколебался или хотя бы смягчился. Произошло же это оттого, что он не только методолог, но и пушкинист-практик: практика пушкинизма автоматически умеряет его методологический ригоризм. Оно и не может быть иначе: от автобиографического элемента в пушкинских стихах пушкинисту некуда спрятаться. До какой степени это так, показывает один характерный случай, происшедший с самим М.Л.Гофманом в его последней книге. М.Л.Гофман захотел показать на примере явное расхождение между биографическим фактом и его изображением в поэзии. Но, как назло, и этот выисканный Гофманом пример оказывается неудачен. Гофман берет эпизод, относящийся ко времени поездки Пушкина на Кавказ в 1829 году: встречу с калмычкой. Этот эпизод рассказан самим Пушкиным дважды: прозаически — в «Путешествии в Арзрум» и поэтически — в стихотворении «Калмычке». Приведя оба текста, Гофман предлагает читателю их сличить и констатировать, что в прозаической путевой записи, более соответствующей реальному событию, нет и следа того минутного увлечения «дикой красой», о котором говорится в стихах. Действительно, в приведенном отрывке из «Путешествия в Арзрум» никаких романтических мотивов нет. Но Гофман забывает, что как раз это место «Путешествия» подвергнуто Пушкиным значительной переделке. Приведенный у Гофмана текст взят из второй печатной редакции «Путешествия». В первоначальной, рукописной редакции эпизод изложен иначе. Для наглядности приведу их оба.

В печатной редакции: «Все семейство собиралось завтракать; котел варился посередине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая Калмычка, собою очень не дурная, шила, куря табак. Я сел подле нее.— Как тебя зовут? — ***.— Сколько тебе лет? — Десять и восемь.— Что ты шьешь? — Портка.— Кому? — Себя.— Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной цирцеи».

А вот первоначальная редакция: «В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился посередине и дым выходил в верхнее отверстие.— Молодая Калмычка, собой очень недурная, шила, куря табак. *Лицо смуглое, темно-румяное — багровые губки, зубы жемчужные.* Замечу, что порода калмыков начинает изменяться — и первобытные черты их лица мало-помалу исчезают. Я сел подле нее.— Как тебя зовут? — ***.— Сколько тебе лет? — Десять и восемь.— Что ты шьешь? — Портка.— Кому? — Себя.— *Поцалуй меня.*— *Неможна, стыдно.*— *Голос ее был чрезвычайно приятен.* Она подала мне свою трубку и стала завтракать со всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. (Не думаю, чтобы кухня какого бы то ни было народа могла произвести что-нибудь гаже.) Она предложила мне свой ковшик — и я не имел силы отказаться — я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. *После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня балалайкой по голове, мусикийским орудием, подобным нашей бал<алайке>.* Калмыцкая любезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. *Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет...*»

Если читатель обратит внимание на места, мною подчеркнутые, то он увидит: 1) что они содержат описание того самого романтического эпизода, который изложен и в стихотворении; 2) что именно их Пушкин, по тем или иным соображениям, отбросил в печатном тексте; 3) что сам Пушкин намеревался тут же привести и стихи «Калмычке», чего, конечно, не подумал бы сделать, если

бы видел какое-нибудь расхождение между прозаическим изображением факта и его стихотворной интерпретацией. Отсюда приходится сделать два вывода: 1) что поэтическая редакция эпизода ближе к реальному событию, чем запись в «официальном» тексте «Путешествия», и 2) что приведенный Гофманом пример доказывает обратное тому, что он хотел им доказать.

Повторю — от автобиографии в пушкинских стихах пушкинисту уйти некуда. С этим начинает, кажется, соглашаться и Гофман, — поскольку требует не отказа от биографического толкования стихов, а лишь крайней осторожности в этом деле. Против необходимости быть осторожными, разумеется, возразить нечего.

На практике Гофман идет еще гораздо дальше, чем в теоретических своих суждениях. Во второй части книги он преимущественно стремится к разрушению щеголевской «легенды» об «утаенной» любви Пушкина к Волконской. Доводы Гофмана по большей части кажутся нам очень вескими, но нельзя не заметить, что он и сам нередко опирается не на что иное, как на стихи. Своею работой он, следственно, доказывает не порочность щеголевского метода, а неправильность его применения у Щеголева и у других. Это — «дело десятое». Ошибки в применении метода, сколько бы их ни было, не компрометируют метода, а лишь указывают на его трудность, пусть даже рискованность.

Наиболее ценной частью работы Гофмана представляется нам третья, посвященная «дон-жуанскому списку». Я не думаю, как думает Гофман, что знаменитые таинственные буквы N.N. означают имя, просто забытое Пушкиным. Мне кажется, что они все же скрывают имя, которое поэт не пожелал назвать. Согласен, однако, что это — отнюдь не имя Волконской, в чем особенно убеждает весьма проникательно установленная Гофманом строгая хронологичность списка. Чрезвычайно интересно и высказанное Гофманом мнение о том, по какому признаку разделены Пушкиным женские имена, составляющие первую и вторую части списка: Гофман утверждает, что первую часть составляют имена женщин, отношения с которыми (к моменту составления списка) оставались платоническими. Не решаюсь прямо заявить, что это утверждение мне представляется безусловно доказанным, но считаю долгом отметить, что в последнее время, исследуя некоторые факты пушкинской биографии, я пришел к выводу, что две женщины, которых сперва молва, а потом классический пушкинизм считали близкими Пушкину, в действительности близки с ним не были. Обе эти женщины (Давыдова и Ризнич) поименованы как раз в

первой части списка, что в моих глазах делает догадку Гофмана очень правдоподобной. Вместе с установленной Гофманом хронологичностью списка она пойдет на пользу будущим исследователям одного из самых сложных и темных вопросов пушкиноведения. Полагаю, однако, что блужданий ощупью и ошибок будет еще тут немало. «Дон-жуанский список» многое помогает выяснить, но многое, может быть, и запутывает. Составляя его, Пушкин не думал о пушкинистах — это наше несчастье! В списке есть пропуски — вольные или невольные. М.Л.Гофман указал один из них — имя Софии Пушкиной. Могу указать еще один — во второй части его нет имени Людмилы; меж тем так звали ту г-жу Инглези, о которой, кстати сказать, М.Л.Гофман сообщает неточные сведения. Все, что мы о ней знаем, заключается в рассказе, записанном неким Трегубовым со слов кишиневского старожила Градова. Рассказ, по-видимому, сам страдает легендарными примесями, но, не имея данных для его опровержения, мы должны или его принять таким, как он есть, или целиком отвергнуть. По Градову, дуэль между Пушкиным и мужем Людмилы была пресечена Инзовым. — Гофман говорит, что неизвестно, была ли дуэль. По Градову, муж увез Людмилу за границу, но неизвестно, куда. Гофман называет место: в Италию. По Градову, Людмила вернулась в Кишинев после того, как Пушкин оттуда уехал, и в Кишиневе умерла; Гофман говорит, что она умерла в Италии. Поскольку на этих неверных данных Гофман не основывает никаких выводов, они ни в какой степени не подрывают значения и ценности его нового труда. Я отметил их только с двумя целями: чтобы предостеречь читателей Гофмана от некоторых догадок, которые у них могли бы возникнуть, и чтобы лишний раз указать, в каких тяжелых условиях приходится работать зарубежному историку литературы. М.Л.Гофман, несомненно, восстановил рассказ о Людмиле Инглези по памяти, потому что искать книгу, в которой находится этот рассказ, было бы за границей безнадежным занятием. В мои руки она попала на днях совершенно случайно.

1935

26 мая этого года (1899) в обеих столицах и в большинстве провинциальных городов будут чествовать А.С.Пушкина по поводу столетия со дня его рождения. Вся буржуазия готовится торжественно отпраздновать память «великого поэта земли русской», а правительство содействует ей и средствами, и личным участием. Не жалуют ни времени, ни денег на праздник в то время, когда миллионы крестьян в буквальном смысле слова мрут от голода, когда цинга и тиф убивают голодный народ. Нам кажется неуместным кидать деньги на праздник в минуту народного бедствия <...> Мы не отрицаем, что Пушкин обладал большим поэтическим талантом, т.е. писал очень звучные, красивые стихи, не спорим и с тем, что он усовершенствовал русский язык; но, товарищи, важно не как человек говорит, а что он говорит... Пушкин не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии: он льстил им, угождал их развратным вкусам, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина. Жизнь Пушкина прекрасно подтверждает справедливость наших слов <...> Ссылками и тюрьмой награждало и награждает русское правительство друзей народа, и только один из них, Пушкин, был награжден 30-тысячной рентой и званием камер-юнкера. Этот факт наглядно показывает нам, что Пушкин не был другом народа. Если мы посмотрим на чествование памяти Пушкина, то увидим, что на этот праздник собрались те же эксплуататоры всяких сортов, благоволением которых он пользовался при жизни. Вы видите расставленные стройными рядами войска,— это те, кто с оружием в руках пойдет на вас, если только вы осмелитесь требовать от хозяина лишний рубль... В честь поэта поют панихиды архиереи и попы — эта духовная гвардия буржуазии... Видите вы разряженную толпу т.н. «интеллигенции», — это те, кто заигрывает с вами на словах, а на деле свято блюдет интересы своего кармана. Тут же найдете вы и молодежь, которая учится на ваш счет по средним и высшим учебным заведениям, чтобы суметь потом поступить с вами по всей строгости законов <...> Все они собрались на праздник в честь Пушкина, потому что он их поэт, их по рождению, мыслям и чувствам <...> Если мы обратимся к его произведениям, то увидим, что Пушкин никогда не интересовался народом, не любил его и не боялся за него душою <...> Не печальную участь страдающего народа изображает Пушкин в своих произведениях. Интересы высших классов общества нашли в нем своего талантливом выразителе. Преклонение в стихах, иногда довольно нескромных, перед женщинами, начиная от княгини и кончая калмычкой, отвечает страсти к любовным приключениям высшего общества того времени, как и буржуазии нашей эпохи <...> Пушкин в *Истории Пугачевского бунта* прославлял полковника Михельсона, разбившего «вора и разбойника» Емельку Пугачева <...> Он бескорыстно славил добле-

сти царя Николая I <...> Изобразив в радужных красках русскую жизнь, Пушкин с одушевлением, достойным лучшего дела, прославляет силу и мощь русского оружия <...> Среди декабристов много было друзей Пушкина, но они не вводили его в свою среду, да и сам он держался в стороне от движения. Лучшие его товарищи, друзья молодости, шли в это время на эшафот или на каторгу, а он, знаменитый русский поэт, занимался прославлением тирана <...> Кто с презрением отворачивается от народа, кто замалчивает страдания его и протягивает руку его гонителям, кто яростно набрасывается на поляков за их стремление к независимости, тот не поэт народа и свободы! С шумом и великолепием отправляет буржуазия свой праздник. Позволят ли нам мирно и тихо, в кругу своих товарищей, отпраздновать память нашего героя? Вот, например, осенью исполнится десять лет со дня смерти Н.Г.Чернышевского. Он не боялся открыто и горячо высказывать свое сочувствие угнетенным массам <...> Можно ли будет нам спокойно вспомнить своего друга, пожертвовавшего ради нас и свободой, и талантом, и личным довольством? Разве солдаты и жандармы, которые теперь готовы принять участие в чествовании Пушкина, не явятся к нам на наш скромный праздник, но уже для того, чтобы разогнать и арестовать нас? <...> Присоединимся же и мы к великому, могучему крику, объединившему рабочие партии всего мира: «Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных!» В этом всемирном крике слышится зловещее для мировой буржуазии пророчество ее надвигающейся гибели. Пускай она теперь, пока еще длятся дни ее господства, устраивает в честь своих героев-поэтов торжественные празднества. Мы с презрением отвернемся от этого шумного ликования буржуазии. Пускай она веселится под звуки военной музыки и церковного пения <...> Но пусть она также помнит, что ее веселье не бесконечно. Ее ликование продлится лишь до тех пор, пока русский рабочий не сплотится в цельную, единую и сильную партию. Твердая организация дает нам силу и крепость в борьбе. Нас можно разбить поодиночке, но все вместе мы непобедимы!!!

Эта цепь цитат нами заимствована из анонимной брошюры «Несколько слов о Пушкине», изданной нелегально саратовской социал-демократической группой в 1899 г., в связи с праздновавшимся тогда столетним юбилеем со дня рождения поэта. Ныне брошюра полностью перепечатана в 16–18 выпуске *Литературного наследия*. Приведенные выдержки в достаточной мере дают возможность составить понятие обо всем произведении, характерном для тех кругов, в которых оно зародилось. Примечательны в нем две стороны: во-первых — стремление использовать культурное празднество для агитационно-погромной цели, а во-вторых — отношение анонимных авторов к великому русскому поэту. Брошюра представляет собой любопытный документ о глупости и

невежестве если не всей российской социал-демократии, то во всяком случае — ее провинциальной гущи. К глупости и невежеству следует, впрочем, прибавить и стремление к клевете. Оно сказалось в упоминании о «30-тысячной ренте», будто бы полученной Пушкиным от правительства. Такой ренты Пушкин никогда не получал, и сведений о ней не имеется ни в одной работе, посвященной его биографии. Таким образом, мы имеем тут дело не с ошибкой автора, а с его измышлением, в основу которого положен, вероятно, факт получения *ссуды* на издание *Истории Пугачевского бунта*. Вообще отношения Пушкина с правительством и его отношение к декабристам представлены авторами брошюры в подлейше искаженном виде. Некоторым «оправданием» для этих авторов могло бы послужить разве лишь то обстоятельство (само по себе презренное), что они судили и писали понаслышке, не удосужившись прочитать Пушкина и ознакомиться хотя бы с той литературой о нем, которая существовала в 1899 году.

Гектографированный экземпляр брошюры был найден сотрудником *Литературного наследства* Р.Майером в архиве Саратовского губернского жандармского управления. По тем же документам он выяснил, что за распространителями брошюры было установлено агентурное наблюдение. Нашлись и журналы агентов. Между прочим, один из них, некий Быков, записал, что брошюра вызвала в революционных кругах некоторые разногласия. Кое-кто из социал-демократов находил, что «брошюра написана в отрицательном духе, т.е. в духе народническом, с умалчиванием о некоторых произведениях и об их хорошей стороне». В то же время народники, несмотря на то, что книжка была издана социал-демократами, утверждали, «что в брошюре сделана настоящая оценка Пушкина на основании его произведений».

Публикацию брошюры Р.Майер снабжает интересным примечанием. Свою архивную находку сделал он минувшим летом. О ней тогда же появилась заметка в саратовской газете. В ответ на эту заметку некто Н.И.Малинин, один из основных руководителей саратовской социал-демократической группы девяностых годов, прислал заявление, в котором признался, что он был «автором значительной части этой брошюры». Но так как времена изменились и ныне советское правительство само усиленно готовится к чествованию столетия со дня смерти Пушкина, то г. Малинин принял врать самым наивным образом. Зная, что брошюра находится в руках исследователя, он все-таки «по памяти» пересказывает ее содержание «в самом извращенном виде» (определение Майе-

ра). Теперь Малинин заявляет, вопреки очевидности, будто целью брошюры было показать, что «ненависть самодержавия ко всему чистому и свободному» была типична и для его отношения к Пушкину. Иными словами — теперь Малинин валит с больной головы на здоровую: уверяет, будто в брошюре Пушкин был представлен не лакеем самодержавия, а «чистым и свободным» гражданином, врагом самодержавия, другом народа. Завравшийся старичок даже сообщает, будто в брошюре им было сочувственно приведено пушкинское четверостишие:

Народ мы русский позабавим
И у фонарного столба
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

В действительности этого четверостишия в брошюре нет. Вероятно, его привел бы Малинин, если бы писал свою брошюру теперь, когда марксистский ветер по отношению к Пушкину дует в другую сторону. Однако несчастный Малинин перестарался: он и врать-то как следует не умеет и в своем вранье лишний раз обнаруживает свое застарелое невежество: дело в том, что приведенного четверостишия не следовало бы приводить и теперь, даже «в защиту» Пушкина, по той простой причине, что, как это ни грустно для некоторых, эти стихи Пушкину никогда не принадлежали: их ошибочно приписал Пушкину Огарев семьдесят пять лет тому назад, в сборнике, содержащем немало апокрифических произведений поэта.

*

Очередной выпуск *Литературного наследия*, из которого мы заимствовали историю саратовской брошюры, представляет собою объемистый том в 1179 страниц, всецело посвященный Пушкину. Он издан почти роскошно, хотя и небрежно (так, например, наш экземпляр оказался напечатан на бумаге разных сортов). В книге очень много иллюстраций, из которых четырехцветные исполнены превосходно. Часть иллюстраций воспроизводит неизданные рисунки Пушкина, извлеченные из его рукописей. Хуже обстоит дело с факсимильными воспроизведениями пушкинских текстов. Некоторые из них, порой предназначенные для документации статей, не достигают цели, потому что клише слишком мелки и бледны.

Содержание сборника очень разнообразно. Тут и общие работы,

посвященные проблемам пушкинизма, и разыскания биографического характера, и публикации новых пушкинских текстов и т.д. Мы не берем на себя задачи характеризовать и оценить весь материал сборника — это потребовало бы слишком много места. К тому же большинство статей имеет настолько специальный характер, что разбор их не представил бы интереса для широких читательских кругов (что, однако же, не мешает некоторым из них иметь значительный интерес научный).

Одна из статей, напечатанных в сборнике, посвящена обзору той рукописи, которая года полтора тому назад была найдена в Белграде и о которой тогда немало писалось в эмигрантской прессе. Как известно, она была приобретена советским правительством. По поводу вызванных ею толков мною были напечатаны две статьи в *Возрождении* (см. №№ 3117 и 3298). Не видя рукописи и располагая о ней самыми скудными данными, я все же счел возможным опровергнуть некоторые предположения, о ней высказанные, и со своей стороны выразить уверенность, что дело идет о тетради, некогда полупроданной, полупроигранной Пушкиным Никите Всеволожскому, — о так называемой тетради Всеволожского, которая почиталась утраченной. Обзор, ныне произведенный Б.Томашевским, всецело подтверждает мою догадку: рукопись, найденная в Белграде, действительно есть тетрадь Всеволожского. Ее обследование позволило автору статьи попутно установить, что покойный Щеголев был неправ, предполагая, что т.н. «тетрадь Капниста» (тоже утраченная и до сих пор не разысканная) представляла собою лишь вырванные листы из тетради Всеволожского. Упоминаю об этом потому, что, следуя Щеголеву (и отчасти Модзалевскому), я в свою очередь отождествлял эти тетради. Подчеркиваю, однако, что ошибку Щеголева оказалось возможным исправить только теперь, имея перед глазами белградскую рукопись.

Научная ценность новонайденной рукописи очень велика, потому что она будет иметь важное значение при установлении многих пушкинских текстов, относящихся к ранней эпохе (до ссылки поэта на юг). Новых пьес в ней нет, и потому для рядового читателя ее содержание представляет мало интереса. Однако ею устанавливается одно весьма важное обстоятельство. Как известно, Пушкин в более поздние годы решительно заявлял, что знаменитый «Романс» («Под вечер осени ненастной») написан не им, и весьма резко о нем отзывался. На этом основании М.Л.Гофман столь же решительно требовал изъятия из собраний сочинений

Пушкина этого стихотворения, «мелодраматического, не похожего на Пушкина по технике и стилю». В тетради Всеволожского «Романс» имеется налицо, и хотя он и переписан писарской рукой, как вся тетрадь,— авторство Пушкина этим фактом устанавливается неопровержимо: во-первых, сдавая Всеволожскому тетрадь для печати, Пушкин не мог допустить в ней наличия чужих стихов; если бы даже и затесалось в нее чужое стихотворение (что почти невероятно),— Пушкин тогда же вычеркнул бы его; между тем в «Романсе» вычеркнута только одна строфа; во-вторых — в тексте «Романса» имеются *собственноручные исправления*, сделанные Пушкиным,— после чего уже никак нельзя говорить о том, что «Романс» сочинен не им. Другое дело — почему Пушкин впоследствии не включил пьесу в сборник 1826 г. и почему так рьяно от нее отрекался. Очевидно, на это у него были причины литературного или личного характера, а может быть — и литературного, и личного. Но о них мы можем только догадываться, самый же факт авторства ныне явственно установлен.

Прежде чем перейти к некоторым другим статьям сборника, остановлюсь на одном моменте характера морального. Рассказывая о находке тетради Всеволожского, Б.Томашевский рассказывает и о тех догадках касательно ее происхождения, которые были высказаны на страницах *Последних новостей* проф. А.Л.Погодиным (5 ноября 1933 г.). «Трудно придумать галиматью фантастичнее экспертизы, произведенной бывшим профессором петербургского университета», — замечает Томашевский. Оставим в стороне резкость этого выражения. По существу Томашевский прав: ученым, оставшимся в сов. России, «экспертиза» почтенного профессора, к сожалению, не может внушить лестного мнения о зарубежной науке. Но вот что характерно: моя статья, напечатанная в *Возрождении* 14 декабря 1933 г., как раз была вызвана высказываниями проф. Погодина. Томашевский, видевший *Последние новости*, конечно, видел и *Возрождение* (в пушкинистских изданиях, выходящих в СССР, вообще нередки указания на зарубежную прессу). Но, сообщая своим читателям об ошибках одного эмигранта, Томашевский тактично умолчал, что они были исправлены другим. Чего стоит такой прием — всякому ясно само собой. Я бы, впрочем, на нем не останавливался, если бы в той же книге г. Томашевский не счел полезным еще раз продемонстрировать свою советскую благонамеренность — и притом в совершенно отвратительной форме. В статье о десятой главе *Евгения Онегина*, защищая некоторые чисто научные положения, выдвинутые неко-

гда П.О.Морозовым, М.Л.Гофманом и им самим, г. Томашевский без всякой надобности заявляет: «Морозов умер физически, а Гофман граждански». Чтобы читатель не думал, будто в советском издании *нельзя* ни в чем соглашаться с эмигрантом Гофманом, не лягнув его для прикрытия, я должен указать, что в той же книге имеется целый ряд вполне почтительных ссылок на работы того же Гофмана. Следовательно, другие авторы умеют и могут обходиться без того политического хамства, которым Томашевский, очевидно, старается застраховать свою «гражданскую жизнь».

Пушкинских текстов, печатаемых впервые, в этом огромном томе весьма немного, и признать их имеющими очень большое значение нельзя. Таковы — записка к книгоиздателю Смирдину касательно переиздания «Бахчисарайского фонтана» и небольшое письмо к кн. М.А.Дондукову-Корсакову, относящееся к цензурным хлопотам Пушкина по делам *Современника*. Два письма к И.В.Киреевскому, «публикуемые» О.Поповой, были уже напечатаны в журнале *Огонек* в 1929 году.

Гораздо более интереса представляет ряд неизданных писем к Пушкину, публикация которых была подготовлена еще покойным Щеголевым. Среди них выделяется письмо тещи Пушкина, Н.И.Гончаровой, посланное из Яропольца 14 мая 1834 г., с припиской Н.Н.Пушкиной. И письмо, и приписка — на французском языке. Они относятся ко времени пребывания Н.Н.Пушкиной с детьми в имении Гончаровых. Приписку Натальи Николаевны мы здесь воспроизводим полностью, в русском переводе. Наталья Николаевна пишет:

С трудом я решилась написать тебе: мне нечего тебе писать, все свои новости я с оказией сообщила тебе на этих днях. Маман сама хотела отложить письмо до следующей почты, но побоялась, что ты будешь испытывать некоторое беспокойство, не получая в течение некоторого времени от нас известий. Это соображение заставило ее победить свой сон и усталость, которые одолели и ее, и меня, так как мы весь день пробыли на воздухе. Из письма маман ты увидишь, что мы все чувствуем себя очень хорошо. Поэтому я ничего не пишу на этот счет и кончаю письмо, нежно тебя обнимая. Думаю написать тебе побольше при первой возможности. Прощай, будь здоров и не забывай нас.

Эти несколько строк, факсимиле которых, впрочем, дано уже было тем же Щеголевым в третьем издании его книги *Дуэль и смерть Пушкина*, в высшей степени ценны для нас потому, что, кроме них, биографы Пушкина не располагают ни единой строчкой, адресованной поэту его женой. Роль Натальи Николаевны в

трагической гибели ее мужа все еще остается более или менее загадочной, несмотря на все изыскания, до сих пор произведенные. Эта таинственность происходит не только оттого, что мы почти не имеем сведений о поступках Натальи Николаевны в роковую зиму 1836—1837 гг., но и оттого еще, что самая личность ее, характер, склад ума все еще остаются почти совершенно неизвестными. Познакомиться наконец с женой Пушкина мы могли бы только в том случае, если бы до нас дошли ее письма к мужу, — но как раз этих-то документов, за которые любой пушкинист, вероятно, продал бы свою душу, у нас и нет, — за исключением только что приведенной записки. К несчастью, она не дает ни единой черты, за которую можно было бы ухватиться, чтобы извлечь хоть что-нибудь для характеристики Натальи Николаевны. Поневоле приходится согласиться с высказанным по этому поводу предположением Щеголева: «Может быть, бессодержательность и есть основная характерная особенность эпистолии жены Пушкина». Может быть, в самом деле, если бы в один прекрасный день прочли мы все ответы Натальи Николаевны на гениальные по силе и выразительности письма ее мужа, то мы были бы поражены ничем иным, как бессодержательностью этих ответов. Отзывы современников о Наталье Николаевне давали и прежде основания для такого предположения. Приведенная выше записка как будто до некоторой степени его подтверждает, но, разумеется, никаких решительных выводов из нее делать нельзя, потому что она слишком коротка и потому, что у нас все-таки нет достаточных оснований считать ее вообще характерной для Натальи Николаевны. Быть может, другие письма ее были не столь ничтожны.

Кстати — об этих письмах. В своей посмертной статье Щеголев говорит: «Мы их не знаем и даже не можем установить их местонахождения. В самое последнее время Н.О.Лернер вновь ставит вопрос о том, где письма Н.Н.Пушкиной к мужу, но отсылает ищущих на неверный след — в Румянцевский музей, куда сыном Пушкина были переданы рукописи и бумаги знаменитого отца. В Румянцевском музее, что ныне Всесоюзная библиотека им. Ленина, этих писем нет и не было; нелюбопытно и бесцельно выяснение вопроса, как и почему создалось традиционное и ложное представление о передаче писем жены Пушкина в Румянцевский музей. Факт остается фактом — писем здесь нет и не было».

Эта решительная и как бы даже несколько раздраженная тирада покойного исследователя наводит на размышления. Нужно думать, Щеголев имел основания заявлять, что в Румянцевском му-

зее писем Н.Н.Гончаровой *нет*. Но вполне ли он прав, так старательно подчеркивая, будто их там и *не было*? Выяснение вопроса о том, как и почему создалось «ложное представление», будто письма лежат в музее, мне кажется вовсе не бесцельным. Я позволю себе привести здесь мое личное свидетельство.

В 1908 г. я обратился к хранителю рукописного отдела Румянцевского музея Георгиевскому с просьбой разрешить мне ознакомиться с архивом поэтессы Ростопчиной. Георгиевский мне ответил, что не может этого сделать, так как наследники Ростопчиной, передавшие документы музею, сперва разрешили к ним доступ, а затем наложили запрет, ибо кто-то, на основании каких-то бумаг из этого архива, отсудил у них имение. Досадуя по этому поводу на родственников Ростопчиной, Георгиевский тогда же с не меньшей досадой мне сообщил, что почетный опекун А.А.Пушкин передал музею письма своей матери к Пушкину под условием, что они никому не будут показаны, пока он, А.А.Пушкин, жив. То же самое, как доподлинно мне известно, говорил Георгиевский Брюсову и другим лицам. Спрашивается: мыслимое ли дело, чтобы хранитель рукописного фонда не имел никаких оснований для таких заявлений? Этого мало. Когда (в один из первых дней войны) А.А.Пушкин скончался, один пушкинист в моем присутствии обратился к тому же Георгиевскому, прося показать письма Натальи Николаевны, и ссылаясь на то, что отныне они становятся доступны исследователям по воле самого жертвователя. Георгиевский (у которого с упомянутым пушкинистом были какие-то личные счеты) ответил в весьма раздраженном и грубом тоне, что писем не покажет, так как А.А.Пушкин завещал не выдавать их никому в течение пятидесяти лет со дня его смерти. Ссылка на пятьдесят лет была совершенно неожиданна и нова, — но самого факта нахождения писем в Румянцевском музее Георгиевский и в этот раз не отрицал. Несколько лет спустя Н.О.Лернер в свою очередь мне рассказывал, что и он обращался к Георгиевскому по поводу писем Н.Н.Пушкиной — и получил такой же ответ, как вышеупомянутый пушкинист.

Время шло. В 1920 или 1921 г. в советской прессе раздалось голоса большевиков, заявлявших, что пора перестать считаться с волею буржуазных наследователей и вскрыть архивы, находящиеся в государственных хранилищах. При этом, в частности, указывалось, что пора прочесть письма Н.Н.Гончаровой, лежащие в Румянцевском музее. Пушкинисты были такими заявлениями встревожены. С одной стороны — велик был соблазн, с другой — счи-

талось, что воля покойного А.А.Пушкина, как бы она ни была тяжела и неосновательна, должна быть уважена. В частности, я очень хорошо помню, что говорил на эту тему и со Щеголевым, который возмущался намерением вскрыть пакет с письмами и отнюдь не высказывал сомнения в том, что этот пакет лежит в Румянцевском музее.

Большевики пошумели — и затихли, должно быть забыв об «архивном фронте» и бросившись на другие очередные «фронты». Характерно, однако, что сам Румянцевский музей, рукописным отделом которого и тогда продолжал заведовать Георгиевский, в это время хранил полное молчание. Казалось бы, — если писем Н.Н.Пушкиной в музее не было, — то всего проще было бы об этом заявить.

Возвращаясь к Щеголеву, приходится поставить вопрос: почему в 1918 или в 1919 г. он не сомневался в том, что письма лежат в музее, а затем вдруг стал заявлять, что их там нет и *не было*? Какие основания (и когда?) появились у него для таких заявлений и почему только ему стало столь решительно известно, что писем в музее никогда *не было*? Наконец, — еще вопрос: почему и сейчас, после того как цитированная посмертная статья Щеголева стала известна ее публикаторам и Румянцевскому музею, — музей продолжает упорно молчать? Все это таинственно в высшей степени и, если угодно, напоминает уголовный роман. Скажу прямо: все это наводит на мысль, что письма Н.Н.Пушкиной в Румянцевском музее, вопреки утверждению Щеголева, все-таки были. Но — почему же их нет и куда они девались?

Не ограничившись заявлением о том, что писем в музее нет, Щеголев тут же прибавляет: «Искать их, конечно, надо в недрах семьи дочери Пушкина, Натальи Александровны, графини Меренберг, за границей, вернее всего в Лондоне. И они, конечно, будут разысканы». Мы не знаем, на каких основаниях Щеголев высказал эту уверенность. Зная Щеголева, мы далеко не уверены даже в том, что, указывая на «лондонский» след, он был вполне искренен. Мы вообще не решаемся высказывать никаких предположений о судьбе писем, допуская даже, что и действительно их не было в Румянцевском музее (хотя в этом случае поведение Георгиевского и всей администрации музея становится нелепо до невозможности), но полагаем, что было бы весьма желательно, чтобы ныне здравствующие наследники гр. Н.А.Меренберг тоже, в свою очередь, нарушили молчание и сообщили все, что им известно о письмах Н.Н.Пушкиной к Пушкину. Ждать от них разъяснений по

этому поводу мы тем более вправе теперь, когда близится столетие со дня смерти поэта.

*

Коснувшись судьбы пушкинской переписки с женой, я кстати коснусь еще одного обстоятельства, представляющего собою некоторый курьез из области советско-эмигрантских отношений. В этой же книге *Литературного наследства* напечатана статья Л.Б.Модзалевского, представляющая собою обзор эпистолярных текстов Пушкина, изданных в последние годы. В этой статье г. Модзалевский пишет: «Судьба других автографов Пушкина: десяти писем к невесте Н.Н.Гончаровой (1830 год) и одного к Н.И.Гончаровой (26 июня 1831 г.), бывшая неясною до сих пор, наконец выяснена, но имеет печальный результат».

Рассказав далее, что эти автографы находились в коллекции С.П.Дягилева, а затем перешли к какому-то русскому эмигранту, Модзалевский кончает такими словами: «Нужно думать, что перечисленные письма надолго ушли из поля зрения исследователей; владеющий ими безвестный эмигрант, конечно, не подумает об их публикации; во всяком случае, ценным автографам грозит печальная участь, если они не вернутся в СССР».

Г. Модзалевский (сын покойного пушкиниста) может не печалиться и не тревожиться. Письма принадлежат не «безвестному», а очень известному эмигранту — С.М.Лифарю. Напрасно Модзалевский полагает, что он, «конечно, не подумает об их публикации»: С.М.Лифарь как раз подготавливает фототипическое издание всех автографов с комментарием и вступительной статьей М.Л.Гофмана. Что же касается «печальной участи», которая будто бы им грозит, если они не попадут в СССР, то по нынешним временам пришлось бы скорее опасаться печальной для них участи в том случае, если бы они попали в СССР: на такие мысли наводит таинственная история с письмами Н.Н.Пушкиной.

1935

АГЛАЯ ДАВЫДОВА И ЕЕ ДОЧЕРИ

Побывав с Раевскими на Кавказе и в Крыму, ссыльный Пушкин расстался с ними в середине сентября 1820 г. и отправился к месту службы своей — в Кишинев. Тотчас по прибытии туда он писал брату: «друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевских». Первой половине этого желания не было суждено исполниться: в Крыму Пушкин более не бывал. Но с Раевскими удалось ему вскоре свидеться. Уже в середине ноября получил он от своего благодушного начальника отпуск и отправился в Киевскую губернию, в село Каменку. То было обширное и богатое поместье, принадлежавшее внучатной племяннице Потемкина Екатерине Николаевне Давыдовой, по первому браку Раевской, — матери генерала Н.Н.Раевского. Жизнь в Каменке текла оживленно. Родственники и знакомые Давыдовых и Раевских то съезжались туда, размещаясь в большом барском доме и флигелях его, то разъезжались, чтобы со временем возвратиться.

24 ноября справлялись именины старой хозяйки дома, и к этому дню в Каменке собралось довольно большое общество. Семья Раевских была представлена самим генералом, его женой, старшим сыном и четырьмя дочерьми, из которых старшая тоже была именница. Тут же находились и дети Екатерины Николаевны Давыдовой от ее второго брака: отставной генерал-майор Александр Львович Давыдов с семейством и его младший брат Василий Львович, впоследствии декабрист.

Почти в одно время с Пушкиным явились еще три гостя: тридцатидвухлетний генерал Михаил Федорович Орлов, влюбленный в дочь Раевского Екатерину Николаевну, на которой он и женился полгода спустя, и двое знакомых его: Константин Алексеевич Охотников и Иван Дмитриевич Якушкин. Орлов, Охотников и Якушкин съехались для переговоров по делам Тайного общества, к которому принадлежал и Василий Львович Давыдов. Эти переговоры, конечно, происходили тайно, в особенности от Александра Раевского и от Пушкина, которого при всем восхищении его поэтическим талантом не считали человеком серьезным и заслуживающим доверия в важных делах. Тем не менее каждый вечер все общество собиралось на половине Василия Львовича, и тут закипали беседы на темы политические и философские, причем порой раздавались речи самые крайние.

4 декабря Пушкин писал Гнедичу в Петербург: «Был я на Кав-

казе, в Крыму, в Молдавии и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами — общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя.— Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов...» Действительно, к тому моменту, когда писалось это письмо, Охотников и Якушкин уже покинули Каменку, направляясь в Москву, а вскоре за ними следом поехал туда и Орлов. «Демагогические споры» поутихли, «аристократические обеды» и шампанское остались: о том и о другом в особенности заботился Александр Львович Давыдов. Жизнь в Каменке потекла несколько по-другому, но не менее приятно для Пушкина. Недаром, ссылаясь на болезнь (действительную или дипломатическую), сумел он продлить свой отпуск до конца февраля или до начала марта. В общем он пробыл в Каменке (включая сюда и поездку в Киев на несколько дней) три месяца с лишним. Все это время он много писал.

«Женщин мало»,— говорит Пушкин, разумея, конечно, таких, за которыми можно было ухаживать или которые способны были тревожить сердце. Однако и на том сравнительно небольшом поле, которое ему открывалось в Каменке, он, как всегда, не остался бездейтелен. Ему была дана способность одновременно носить в сердце не одну любовь, а две или даже более, причем, совмещаясь, его любви ничего не утрачивали в силе и напряженности, различаясь только окраскою и оттенками. Так было и на сей раз. В Каменку он приехал, уже привезя с собой романтическую любовь к старшей из дочерей Раевского. Эта любовь и не могла быть иною. Екатерина Николаевна ни с какой стороны не годилась для легкой интриги. То была «гордая дева», вовсе не разделявшая его любви, быть может — даже не знавшая о ней. Пушкин любил молча, поверяя чувства свои лишь перу. Но в то же время вовсе не безразлична оказалась для него жена Александра Львовича Давыдова — Аглая Антоновна.

Француженка родом, со стороны матери она была внучкою графини де Полиньяк, фаворитки Марии-Антуанетты. Отец ее, герцог Antoine de Gramont, принадлежал к той части французской эмиграции, которая некогда гнездилась в Митаве, вокруг Людовика XVIII. В Митаве, в конце 1804 года, Александр Львович и женился. Быть может, Аглая Антоновна вышла замуж по любви. Но лю-

бовь постепенно испарилась,— отчасти, вероятно, потому, что Аглая Антоновна была постоянным предметом любовных домогательств: она была очень хороша собой. Сын Дениса Давыдова рассказывает, что в двенадцатом году «от главнокомандующего до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но главное — умирало у ног прелестной Аглаи». Когда Пушкин появился в Каменке, Александру Львовичу было уже пятьдесят три года, Аглае Антоновне — тридцать четыре (она родилась в 1786 г.). Он был толст, ленив, заботился всего более о еде, которая всегда была его страстью (отсюда и «аристократические обеды»); она же сохранила красоту, легкомыслие и кокетство; Александр Львович величаво носил рога, которые молва ему приписывала,— Аглая Антоновна спешила воспользоваться возможностями, которые жизнь еще ей предоставляла. Таким образом, уже само положение было соблазнительно. Конечно, Пушкин подпал соблазну.

И.П.Липранди, посетивший Давыдовых в 1822 г. в Петербурге, рассказывает, что «жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал». Чем было вызвано это неблаговоление и что вообще произошло между Аглаей Антоновной и Пушкиным? Свидетельских показаний у нас нет, весь материал для суждения заключается в четырех стихотворениях Пушкина, которые принято с той или иной степенью достоверности относить к Аглае Давыдовой. Однако два из них («Оставя честь судьбе на произвол» и французская пьеска «*A son amant Eglé sans résistance*») должны быть решительно отброшены: первое — потому, что эта до крайности грубая и циническая эпиграмма содержит в себе такие данные, которые никак нельзя применить к Аглае Антоновне, а второе — потому, что самая принадлежность его Пушкину весьма сомнительна, да и коллизия, в нем изображенная, не согласуется с той, которая намечается в стихах, несомненно относящихся к Аглае. Остаются, следовательно, две пьесы: послание, о котором речь будет ниже, и общеизвестная эпиграмма:

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги — понимаю,
Другой за то, что был француз.
Клеон — умом ее страшая,
Дамис — за то, что нежно пел.
Скажи теперь, [мой друг] моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

Эту эпиграмму Пушкин под величайшим секретом сообщил своему брату, а потом Вяземскому, причем брату писал: «в ней каждый стих — правда». Из этих слов и из того, что под именем Дамиса легко было усмотреть самого автора, биографы Пушкина вывели заключение, что Пушкин принадлежал к числу счастливых, «имевших» Аглаю. В таком мнении подкрепляло их и содержание послания, в котором с первого взгляда дело идет как будто о разрыве весьма близких отношений. Но — так ли все это?

Повторим за Пушкиным, что в его эпиграмме «каждый стих — правда». Но есть ли основания отождествлять Дамиса с самим Пушкиным? Если сказано, что Дамис «нежно пел», то значит ли это, что он был поэт? Прежде всего, если Пушкин даже в самом деле «имел Аглаю», то как раз не стихами он мог приманить ее: в ее кругу все говорили по-французски; русского языка она, вероятно, не знала вовсе, а если и научилась нескольким фразам, то их было недостаточно для того, чтобы понять и оценить пушкинскую поэзию. Следовательно, под «нежным пением» должно понимать не стихи, а просто те сладкие и соблазнительные речи, которыми «Дамис» сумел прельстить Аглаю. Но в таком случае Дамис утрачивает тот специфический признак, который позволил бы отождествить его непременно с Пушкиным, а не с кем-нибудь иным. Другими словами: Дамис — может быть Пушкин, а может быть и не он. И по всей видимости — именно не он.

Вот пушкинское послание к Аглае (приводим его в той редакции, которая дает наибольшее количество фактического материала):

И вы поверить мне могли,
Как семилетняя Агнеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб *умер от любви* повеса?
5 Послушайте. Вам тридцать лет:
Да, тридцать лет — не многим боле;
Мне за двадцать. Я видел свет,
Кружился долго в нем на воле:
Уж клятвы, слезы мне смешны,
10 Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Тревоги сердца надоели;
Умы давно в нас охладели,
Некстати нам учиться вновь!

15 Мы знаем: вечная любовь
 Живет едва ли три недели!
 Я вами точно был пленен,
 К тому же скука... муж ревнивый...
 Я притворился, что влюблен,
 20 Вы притворились, что стыдливы...
 Мы поклялись... потом... увы!
 Потом забыли клятву нашу:
 Себе гусара взяли вы,
 А я наперсницу Наташу.
 25 Мы разошлись. До этих пор
 Все хорошо, благопристойно,
 Могли бы мы без глупых ссор
 Жить мирно, дружно и спокойно;
 Но нет! в трагическом жару
 30 Вы мне сегодня поутру
 Седую воскресили древность:
 Вы проповедуете вновь
 Покойных рыцарей любовь,
 Учтивый жар, и грусть, и ревность...
 35 Помилуйте, нет, право нет,
 Я не дитя, хоть и поэт.
 Оставим юный пыл страстей,
 Когда мы клонимся к закату,
 Вы — старшей дочери своей,
 40 Я — своему меньшому брату.
 Им можно с жизнью шалить
 И слезы впредь себе готовить;
 Еще пристало им любить,
 44 А нам уже пора злословить.

В этом стихотворении, помимо язвительных намеков на до-
 ступность Аглаи и на ее возраст, уже неранний по понятиям той
 эпохи, Пушкин попутно дает и историю размолвки или ссоры,
 вызвавшей его очевидную досаду. Перечтем же послание не спе-
 ша, без предвзятой мысли, а главное — стараясь прочитать только
 то, что в нем есть, и не вычитывать того, чего в нем нет.

Признавшись, что первоначально он был «пленен» Аглаей, Пуш-
 кин тотчас, однако, снижает свое признание, мотивируя увлечение
 скукой и желанием посмеяться над ревностью мужа (стихи 17–18).
 В следующем стихе свое увлечение он зовет лишь притворством,
 но не отрицает, что увлечение было им выказано. Каков же был
 ответ Аглаи? «Вы притворились, что стыдливы», — говорит Пуш-
 кин, тем самым указывая, что, не будучи стыдлива (т.е. доброде-

тельна) на самом деле, *на сей раз Аглая такой притворилась*. Это — указание чрезвычайной важности. Его одного было бы достаточно, чтобы отвергнуть предположение о любовной связи. Но и все остальное говорит о том же.

Что произошло после основного объяснения, в котором Пушкин притворился влюбленным, а Аглая — стыдливой? «Мы поклялись...» — довольно туманно сообщает Пушкин, но смысл этого сообщения устанавливается всем содержанием пьесы. Вполне очевидно, что, притворяясь влюбленным, Пушкин говорил о вечной своей любви, чуть ли не о готовности умереть от нее (ст. 1–4). Так же очевидно, что Аглая заявила ему о своей взаимности, но, притворяясь стыдливой, сослалась на препятствие в виде супружеской верности. При этом обе стороны «покаялись» сохранить свою любовь, не преступая, однако, заповедей и законов. Но так как обе стороны уже «видели свет» и так как их умы уже «охладели», и так как «вечная любовь живет едва ли три недели» (ст. 15–16), то случилось то, чего следовало ожидать: клятва была забыта (ст. 22). Забвение клятвы выразилось в том, что у Аглаи Антоновны завелся какой-то гусар, а у Пушкина — «наперсница Наташа», взятая, вероятно, из давыдовской девичьей (ст. 23–24).

Подводя итог происшедшему, Пушкин не без иронической грусти констатирует:

Мы разошлись. До этих пор
Все хорошо, благопристойно:
Могли бы мы без лишних ссор
Жить мирно, дружно и спокойно;
Но нет!..

И тут приступает он к изложению того, что именно его возмутило. «Измену» Аглаи, ее гусара, он ей легко простил (или в том притворился). Но он не мог ей простить того, что, уже «взяв гусара», вздумала она «в трагическом жару» упрекать в неверности его, Пушкина, требовать от него грусти, ревности — вообще романтических чувств (ст. 29–36). Однако ж неверно было бы думать, что бешенство Пушкина было вызвано простою несправедливостью Аглаи или ее непоследовательностью. Зная Пушкина, можем мы утверждать, что в поведении Аглаи он усмотрел то, чего терпеть не мог и что всегда возмущало его в женщинах. Ему показалось (и, быть может, он в этом был прав), что Аглая его упрекает с целью воскресить в нем любовные чувства, с целью играть этими чувствами,— хотя бы даже намереваясь впослед-

ствии, помучив его вдосталь, ему отдаться. Именно эту тактику называл он кокетством, и весьма неслучайно, что в одной из рукописей послание к Аглае носит заглавие: «Кокетке».

Таков был роман Пушкина с Аглаей Давыдовой. Только таким его можно реконструировать на основании единственного материала, который у нас имеется, — на основании собственных пушкинских стихов. Читатель, однако же, может задать два вопроса. Первый: самый факт «послания» не противоречит ли нашему предположению, что Аглая не знала по-русски? На это смело можно ответить: нет. Свои чувства и мысли Пушкин мог выразить ей французской прозой, а в стихах изложил их не для нее, а для себя и для поэзии, как вообще многое, если не все, писал он для себя и для поэзии, не думая ни о каких читателях, порою даже тщательно пряча написанное. Так, до самой смерти он прятал замечательный болдинский цикл, состоящий из «Расставания», «Заклинания» и «Для берегов отчизны дальней». Если же нужен ближайший, более сходный пример — достаточно назвать стихи, написанные в альбом «Иностранке»:

На языке, тебе невнятном,
Стихи прощальные пишу...

Второй вопрос: если Пушкин не «имел» Аглаю, то благородно ли было с его стороны писать вышеприведенную эпиграмму, т.е. мстить женщине может быть именно за то, что он ее не «имел»? На этот вопрос приходится ответить другим: а не было ли бы с его стороны еще менее благородно написать эту эпиграмму, если бы Аглая действительно была его возлюбленной.¹

*

В ту пору, о которой идет речь, Пушкин был мальчишески обидчив и нередко придавал значение вещам совершенно незначительным. Принимая это во внимание, можно отчасти понять

¹ Одновременно с нами, но совершенно иным путем, к тому же выводу относительно характера отношений между Аглаей Давыдовой и Пушкиным пришел М.Л.Гофман. По его мнению, первая часть так называемого «дон-жуанского списка» содержит имена женщин, которых Пушкин любил, но с которыми не был близок. Исходя из этого общего положения, исследователь заключает, что платоническими остались и отношения поэта с Аглаей, имя которой значится как раз в первой части списка. (См. только что вышедшую книгу: М.Л.Гофман. *Пушкин — Дон-Жуан*. Париж, 1935. Сс. 39 и 89.)

еще одно обстоятельство, в котором, однако же, все равно остается много весьма неясного.

История с Аглаей Антоновной разыгралась, когда Пушкин уже обжился в Каменке. Якушкин же видел его там лишь в самом начале его пребывания. И вот, оказывается, за эти несколько дней он успел завязать какие-то очень странные отношения с существом, как будто наименее для этого подходящим. Упомянув об Аглае Антоновне, Якушкин в записках своих рассказывает: «У нее была премиленькая дочь, лет двенадцати. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с нею очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, покрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: „посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя“.— „Я хочу наказать кокетку,— отвечал он,— прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня“. С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться».

У Давыдовых было две дочери, а не одна. Но, по-видимому, старшая из них, Екатерина, родившаяся в 1806 г., в это время была в Петербурге, в Екатерининском институте, и Якушкин не знал об ее существовании. Таким образом, нужно думать, что в его рассказе речь идет о младшей дочери, Аделаиде, или Адели, как обычно звали ее в семье. Лет же ей было не двенадцать, как на взгляд определил Якушкин, а всего десять и во всяком случае меньше одиннадцати, потому что она родилась в 1810 году. Что именно происходило у Пушкина с этим ребенком, мы объяснить отказываемся, потому что, кроме приведенного свидетельства Якушкина, никаких данных у нас нет, а рассказ Якушкина очень неясен. Возможно, что он невольно сгустил краски, потому что Пушкин вообще неприятно удивлял его всем своим поведением. Это предположение тем более допустимо, что замеченное Якушкиным вряд ли могло бы укрыться от огромной семьи Давыдовых и Раевских, и если бы все было совсем так, как описывает Якушкин, то Пушкину не постеснялись бы дать надлежащие указания, как ему следует себя вести с девочкой. Комментаторы Пушкина все же были как бы загипнотизированы якушкинским рассказом. Стихи, написанные Пушкиным два года спустя и, должно быть, поднесенные Адели при вторичном посещении Каменки, коммен-

таторы единогласно признают «неподходящими» для посвящения столь юному существу. Эти двустопные ямбы, для которых Пушкин отчасти воспользовался кое-чем из лицейских своих стихов, общеизвестны. Приведем их все-таки для наглядности:

Адели

Играй, Адель,
Не знай печали,
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна:
Для наслажденья
Ты рождена.
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

Эти стихи — не более как дружеское, ласковое напутствие девушке, которой вскоре (года через три) предстоит появиться «в шуме света», а там и «младые лета отдать любви» — т.е. попросту выйти замуж. Рылеев, в руках которого очутились стихи к Адели, напечатал их в *Полярной звезде* на 1824 г. под произвольным заглавием «В альбом малютке». Тут он, конечно, хватил через край, но им придуманное заглавие все же показывает, до какой степени невинными представлялись эти стихи современникам, еще не замороженным записками Якушкина.

*

Очень возможно, что Пушкин посвятил Адели стихи в связи с важным событием в ее жизни — с предстоящим переселением из Каменки в Петербург. Точной даты этого события у нас нет, но вполне правдоподобно, что оно произошло именно в 1822 или 1823 году. Как бы то ни было, в 1824 г. мы уже несомненно застали обеих дочерей Аглаи Антоновны в Екатерининском институте — товарками А.О.Россет (впоследствии Смирновой), которая тогда же отметила в дневнике своем, что при посещении института

государем «все восхищались голосами Давыдовых-Грамон». В ту же пору произошло знакомство Давыдовых с двадцатидвухлетним подпоручиком Михаилом Петровичем Бестужевым-Рюминым. События развивались быстро. К концу 1824 г. Екатерина Александровна была уже невестой Бестужева. Однако этому браку не суждено было состояться: ему решительно воспротивились родители жениха, считавшие, что по своему служебному и имущественному положению он вообще не вправе жениться.² Судьба, таким образом, избавила Екатерину Александровну от горькой участи быть вдовой одного из казненных по делу 14 декабря. Ее дальнейшая жизнь протекала в общем счастливо. Нельзя того же сказать о ее младшей сестре. Пожелания Пушкина не сбылись.

«Аглая Антоновна после смерти мужа переехала в Париж: ревностная католичка, она обратила двух своих дочерей в католичество, и Адели, вместо наслаждений большого света, выпало на долю уединение монастыря». Так рассказывает А.М.Лобода, автор известной статьи «А.С. Пушкин в Каменке».³ Этими строками, неоднократно цитированными, одной страницей в записках Смирновой, к которым мы еще вернемся, да краткими указаниями на второй брак Аглаи Антоновны до сих пор исчерпывались все сведения о судьбе ее самой и ее дочерей. Эти сведения, крайне скудные и столь же неточные, мы имеем возможность дополнить и исправить на основании документов из находящегося в Париже семейного архива маркизов де Габриак.

Александр Львович Давыдов умер в 1833 г. Однако переход в католичество по крайней мере одной из его дочерей произошел гораздо раньше. Дело в том, что Екатерина Александровна не долго помнила Бестужева. Через пять месяцев после его казни она вышла замуж за француза, маркиза Эрнеста де Габриак. Он родился в эмиграции, в Гейдельберге, в 1792 г., шестнадцати лет был назначен первым пажом при Наполеоне, а затем посвятил себя дипломатической службе. Последовательно состоял он при посольствах в Турине, в Петербурге (где, вероятно, и познакомился со своей будущей женой), в Мадриде, в Стокгольме. Его свадьба с

² См. Б.Л.Модзалевский. Страница из жизни декабриста М.П.Бестужева-Рюмина. *Памяти декабристов. Сборник материалов*, III (Ленинград, 1926), сс. 202–227.

³ *Университетские известия* (Киев), 1899, май, отд. II, сс. 81–99. Там же впервые воспроизведены портреты Аглаи Антоновны и Адели (в монашеском одеянии), затем перепечатанные в *Полном собрании сочинений Пушкина* под ред. С.А. Венгерова, изд. Брокгауз — Ефрон, т. II, сс. 59 и 142.

Екатериной Александровной состоялась в Париже, 12 декабря 1826 г. Незадолго перед тем он был назначен на дипломатический пост в Бразилию, куда молодые и отправились. Там, в Рио-де-Жанейро, через год родился у них первый сын, названный Александром.

Тем временем во Франции назревали политические события, отразившиеся на карьере де Габриака. 8 августа 1829 г. король Карл X назначил новый кабинет министров во главе с графом Полиньяком, который приходился родным дядей Аглае Антоновне. Радея о судьбе внучатной своей племянницы, Полиньяк вскоре назначил ее мужа посланником в Берн. В конце 1829 года Габриаки вернулись в Европу, но их пребывание в Берне оказалось непродолжительным. Настала июльская революция 1830 года. В своем падении Полиньяк увлек за собой своего ставленника, и в середине августа, вслед за восшествием на престол Луи Филиппа, де Габриаку пришлось подать в отставку. На время карьера его прекратилась.⁴

*

Выдающейся красоты, свойственной ее матери, Адель не унаследовала. Однако, насколько можно судить по портретам, она была миловидна. Для суждений о ее характере, о наклонностях и о том, как складывались ее воззрения, у нас нет никаких данных. Лобода, вероятно, прав, приписывая ее обращение в католичество влиянию Аглаи Антоновны. Но в датировке событий он ошибается. В книге, которую много лет спустя Адель издала в Париже (*Quelques conversions au catholicisme racontées par Mme Adèle Davidoff*, Paris, 1876), она приводит письмо, написанное ей католическим священником о. де Равиньяном в 1833 г., т.е. как раз в год смерти Александра Львовича Давыдова. Из этого письма и из рассказа, с ним связанного, совершенно ясно, что к 1833 г. Адель давно уже находилась в Париже и не только сама была католичкой, но и вела католическую пропаганду среди протестантов. Таким образом устанавливается, что она с матерью переселилась в Париж и переменяла религию еще при жизни отца. Тут подходим мы к обстоятельству, которое до сих пор не было известно никому из писавших о семье Давыдовых. По всей видимости, Аглая Ан-

⁴ Как известно, Пушкин весьма интересовался июльскими событиями. С кн. П.А. Вяземским он держал пари на бутылку шампанского, утверждая, что Полиньяк должен быть казнен. Неизвестно, знал ли он о родстве Полиньяка с Давыдовыми.

тоновна покинула «величавого рогоносца» еще за несколько лет до его смерти, увезя с собою Адель, но оставив в России сына Владимира, который был на шесть лет моложе Адели. Наша уверенность подкрепляется письмом Александра Львовича в Берн, к старшей дочери, от 16/28 марта 1830 г. Не стоит приводить полностью это пространное послание, наполненное преимущественно сообщениями о родственниках и знакомых. Характерно в нем то, что в нем нет ни единого упоминания об Аглае Антоновне. О себе самом Александр Львович пишет: «Si tu pouvais te figurer combien je souffre d'être séparé de toi et des miens! Mon cœur saigne toutes les fois que je pense à vous. C'est un vrai martyr. Il est évident que nous sommes nés pour souffrir». («Если бы ты могла себе представить, как я страдаю от того, что разлучен с тобой и со своими! Сердце мое обливается кровью всякий раз, как я о вас думаю. Это настоящая пытка. Видно, мы созданы для страданий».) Под «своими» Александр Львович здесь разумел, конечно, Адель и Владимира, который в это время находился в Петербурге.

Последние годы жизни Александр Львович коротал в своем имении Грушовке, Киевской губернии, от нечего делать сочиняя романы. Один из них был приложен и к упомянутому письму: «Tu m'as demandé de t'envoyer quelquefois <quelque'unes?> de mes romances; en voilà une sur des paroles que j'ai fait aussi et que je t'ai écrits dans une de mes lettres. Si tu la trouvera présentable, copie la et envoie à Adèle». («Ты меня просила иногда присылать мои романы; вот один из них, для которого я написал и слова, посланные тебе в одном из писем. Если ты найдешь его чего-нибудь стоящим, перепиши и пошли Адели».) Романс, к сожалению, не сохранился.

Александр Львович умер в один из первых дней 1833 г., а может быть и в один из последних дней 1832-го. Об этом событии известил Аглаю Антоновну Петр Львович Давыдов, брат покойного. Вслед за тем вдова очень скоро вышла замуж за французского генерала (с 1840 г.— маршала) Ораса Себастиани де ла Порты, который впоследствии был министром иностранных дел при Луи Филиппе. Можно догадываться, что новый избранник ее сердца уже и раньше был с нею близок. К моменту свадьбы ему было уже под шестьдесят лет (он родился в 1775 г.), а Аглае Антоновне сорок восемь. Она, следовательно, как бы поменялась ролями с младшею дочерью: сама вышла замуж, когда, быть может, пора было ей пойти в монастырь, а дочь постригла в монахини, когда той пора было выйти замуж. Адель Александровна стала мона-

хиной в Sacré-Cœur, новициат которого находился на rue de Vaugonne, в д. № 77.⁵ Это произошло летом 1834 года.

Аглая Антоновна, как и ее старшая дочь, занимала очень видное положение в высшем парижском свете. Однако же, как это ни странно, о замужестве Екатерины Александровны и о монашестве Адели в России, по-видимому, знали только ближайшие родственники. По крайней мере Смирнова, которую нельзя упрекнуть в отсутствии интереса к чужим биографиям, в течение целых тридцати лет ничего не знала о судьбе бывших своих подруг по институту. Только в 1862–1863 г., в одном парижском салоне, случайно встретила она с Екатериной Александровной. Об этой встрече она рассказывает: «Кити после многих лет встретила меня: „Сашенька“, а я отвечала: „Кити, à qui êtes vous mariée? Où est Adèle?“ — „Adèle est à Rome à Trinita del Monte, religieuse“. — „Sic transit gloria mundi“, — подумала я <...> Хороши же были лучшие годы цветущей Адели за решеткой в монастыре. Голые стены, messe basse, на завтрак minestra итальянская, т.е. соленая вода с вермишелью, а pour distraction упрямые и капризные дети, которых посвящали в тайны грамматики и римской bigoterie, т.е. русского ханжества».⁶

О монастырской жизни Адели мы можем судить лишь по отрывочным сведениям и намекам, содержащимся в ее книге, а также по нескольким документам семейного архива, в котором, к сожалению, отсутствуют письма самой Адели и ее старшей сестры. Однако, хоть и с большими пробелами, эту жизнь в основных чертах можно восстановить. Прежде всего приходится сказать, что Смирнова представляла ее себе неверно.

Обучение детей никогда не входило в круг монашеской деятельности Адели Александровны. С самого начала она посвятила себя делу католической пропаганды, которую вела под руководством уже упомянутого о. де Равиньяна, известного проповедника-иезуита (под его влиянием вступил в орден и русский иезуит кн. Иван

⁵ Судьба этого здания превратна. Оно было построено в первой половине XVIII века для некоего Абраама Пейран, разбогатевшего парикмахера. После его смерти дом переходил из рук в руки. Между прочим, перед самой Отечественной войной в нем помещалось русское посольство. Новициат Sacré-Cœur занимал его с 1820 по 1904 г. Теперь в нем музей Родена. (Marquis de Rochegude et Maurice Dumolin. *Guide pratique à travers le vieux Paris*. Paris, 1923, pp. 486–487.)

⁶ А.О.Смирнова. *Записки, дневник, воспоминания, письма*. Изд. «Федерация», Москва, 1929, сс. 184–185 и с. 411 (прим. 63 и 65). Стихи Пушкина к Адели здесь ошибочно отнесены к 1821 г.

Сергеевич Гагарин). Этой работе Адель отдалась с исключительным рвением, которое с течением времени не только не ослабевало, но еще усиливалось и в конце концов стало причиной самых драматических событий в ее жизни.

Среди объектов ее миссионерской деятельности русских, по видимому, не было. Работала она среди англичанок, американок и отчасти немок. Судя по ее книге, она хорошо знала свой предмет, обладала ораторскими способностями, порой позволявшими ей выдерживать прения даже со священниками других исповеданий, а главное — умела завладеть умом и волею тех, кого хотела обратиться. Недаром одна американка, совсем уже было обращенная, но буквально сбежавшая в последнюю минуту, перед самою исповедью у о. Равиньяна, писала ей: «*Ma bonne mère, lorsque je suis auprès de vous, tous mes doutes disparaissent; si vous vous éloignez, je redeviens protestante; vous êtes une vraie sirène dont la voix m'enchanter...*» («Дорогая матушка, когда я возле вас, все мои сомнения исчезают; стоит вам отойти, я вновь становлюсь протестанткой; вы — настоящая сирена, голос которой меня зачаровывает...») Такие случаи были, однако, исключением; почти всегда усилия Адели увенчивались успехом, и в некоторые годы ей удавалось обращать в католичество по двадцати и более человек. На свою работу Адель смотрела как на призвание, данное ей свыше: «*c'est Dieu qui m'a conduite*» —, говорит она. Неофитов она доводила до очень высоких ступеней экстаза: им являлись видения.

Шли годы. 21 февраля 1842 г. умерла мать Адели, в 1851 г. — ее отчим. Де Габриак, муж Екатерины Александровны, в 1841 г. стал пэром Франции, а в 1853 г. сенатором. Адель по-прежнему жила в монастыре и занималась пропагандой. Однако в ее отношениях с монастырским начальством постепенно образовалась трещина, причины которой в точности невозможно выяснить. Как ни странно, осложнения возникли в связи с проповеднической деятельностью Адели. Адель считала, что чем больше рвения вложит она в свою работу, тем лучше. Монахини находили, что ее горячность выводит ее за пределы скромности и смирения, налагаемых обетом; ее уверенность в том, что она особенно избрана самим Богом для прославления Веры и Церкви, казалась им недопустимо гордыней. Эти принципиальные разногласия осложнялись тем прискорбным обстоятельством, что Адель, кажется, имела основания подозревать некоторых монахинь в зависти и личных интригах. Не следует упускать из виду и то, что русское происхождение Адели, как и ее былая принадлежность к православию, делали ее

до некоторой степени чужеродным явлением в общем составе монастыря.

В Sacré-Cœur был (и до сих пор сохранился) обычай посылать монахинь в Рим, в главный монастырь ордена — Тринита дель Монте, на Пинчо. В 1857 году очутилась там и Адель, отправленная, по-видимому, для перемены окружающей обстановки. Но и в Риме она занялась пропагандой среди тамошних протестантов. От пребывания в столице католического мира горячность ее, конечно, не ослабела, а возросла. Дело дошло до того, что какой-то протестантский священник объявил ее «существом сверхъестественным», произнес против нее целую проповедь и запретил своей пастве общаться с нею. «Так как запретный плод всегда сладок,— рассказывает Адель,— то никто не последовал этому запрету; одни приходили из любопытства, другие обращались действительно; на Монте Пинчо стекалась неслыханная толпа».

Рассказы об этом дошли до Парижа, как водится, искаженные до нелепости: говорили, что какой-то английский священник склоняет Адель ехать в Англию для пропаганды католицизма! Поняв, однако, что отправкой Адели в Рим они только подлили масла в огонь, монахини стали звать ее обратно в Париж, но она не хотела ехать. Можно себе представить, каково было ее душевное состояние. Она ясно видела, что ее хотят оторвать от того, что она считала главным подвигом своей жизни,— и, чтобы это не случилось, ей, после двадцати с лишком лет пребывания в монашестве, ничего не оставалось, как под всякими предлогами уклоняться от подчинения монастырским властям. Упорство, неожиданно ею проявленное, породило новый слух — о том, что она намерена покинуть конгрегацию. Монахини всполошились и всполошили ее сестру. Перспектива скандала, неминуемого в этом случае, с этих пор отравила жизнь Екатерины Александровны.

Герцог Аженор де Грамон, племянник Аглаи Антоновны и двоюродный брат сестер Давыдовых, был в это время французским посланником в Риме. Екатерина Александровна обратилась к нему с просьбою навести справки об Адели. 12 декабря 1857 г. он ответил нижеследующим письмом:

Ma chère Catinka, j'ai reçu votre lettre du 4 de ce mois et remis à Adèle celle qui y était jointe. Je suis heureux de pouvoir vous tranquilliser complètement sur l'état de son esprit, et d'être en mesure de vous affirmer, que rien n'est plus éloigné de sa pensée que l'idée de se soustraire à l'obéissance envers ses chefs spirituels.

Adèle a ressenti jusqu'au fond de son cœur les traitements qu'elle a es-

sayé. Elle en a cruellement souffert et s'en est affectée au-delà de ce que je puis dire, mais dans sa douleur amère il est impossible d'être restée plus constamment religieuse et soumise. Le malheur est que souvent ses paroles ou ses lettres ne rendent pas très bien sa pensée. Je m'en suis aperçu et j'ai cherché à la comprendre. A mon avis c'est une sainte, et je crois que vous penseriez comme moi si vous voyez ce qu'il y a de foi et d'abnégation dans son caractère. Loin d'être orgueilleuse elle a l'humilité du cœur et celle de l'esprit et il faut que ces vertus soient bien fortes chez elle pour triompher comme elles le font de la vivacité naturelle de son caractère. Le talent et le succès avec lequel elle convertit tous les protestants qui l'approchent tient du miracle et pour ma part je craindrais, je l'avoue, de contrarier les desseins de la Providence si je lui disais un mot pour l'en détourner. Aucun prêtre Anglais ne cherche ainsi que vous paraissez le croire à l'exciter à se rendre en Angleterre pour y faire des catholiques. Personne ne l'engage à quitter sa Société. Elle aime le Sacré-Cœur et veut y rester tout en suppliant ses Supérieurs de la laisser suivre la voie que le Ciel semble lui tracer. Elle se sent calme et heureuse ici, non pas qu'elle préfère ce séjour à celui de la maison de Paris, mais parce qu'elle ne sent pas ici s'agiter autour d'elle toutes les intrigues vulgaires dont elle a été la victime.

N'est-il pas vraiment bien regrettable, que des commères de bas étages comme cette Mme Ram puissent ainsi influencer sur les destinées d'une personne qui leur est tellement supérieure.

Adèle me témoigne de la confiance, elle me demande des conseils. De vous à moi, j'en éprouve parfois de la honte, tant je la trouve au-dessus de nous tous. La religion inspire chacune de ses pensées, comment oserai-je placer à côté mes propres conseils? Cependant je lui ai parlé comme vous le diseriez, je l'ai trouvée très décidée à ne jamais rien faire sans l'avis et le consentement de ses Mères Spirituelles. Je crois qu'il est temps de la laisser tranquille et de ne plus la sermoner, car ce serait perdre son temps que de chercher à calmer une agitation qui n'existe pas. Je vais la voir toutes les semaines et vous pouvez être sûre que jamais il ne lui viendra dans l'idée de s'appuyer sur le crédit que peut me donner ma position pour s'écarter de la ligne de ses devoirs...

Перевод:

Дорогая Катенька, я получил ваше письмо от 4 числа и передал Адели то, которое было к нему приложено. Я рад, что могу совершенно успокоить вас касательно состояния ее мыслей и подтвердить вам, что она как нельзя более далека от намерения не подчиниться своему духовному начальству.

Адель до глубины сердца восчувствовала те воздействия, которые на нее были оказаны. Она от них очень страдала и несказанно ими взволновалась, но в своей горести осталась как нельзя более верующей и смиренной. Беда в том, что часто ее слова и письма не очень хорошо выражают ее мысль. Я это заметил и постарался ее понять. По-моему, это святая, и я уверен, что вы подумали бы то же самое, если бы виде-

ли, сколько веры и самоотречения в ней заключено. Она ничуть не горда, сердце ее смиренно, как и ее мысль, и эти добродетели, должно быть, очень сильны в ней, если они так пересиливают природную живость ее характера. Талант и успех, с которыми она обращает всех встречающихся ей протестантов, похожи на чудо, и, признаюсь, я лично боялся бы препятствовать предначертаниям Провидения, если бы сказал хоть одно слово, чтобы ее отклонить с этого пути. Никакой английский священник не пытается, как вы, видимо, думаете, подбить ее на поездку в Англию, чтобы там обращать людей в католичество. Никто ей не предлагает покинуть конгрегацию. Она любит свой *Sacré-Sœur* и хочет в нем оставаться, умоляя свое начальство дать ей следовать по пути, который как бы само Небо ей предугадывает. Она чувствует себя здесь спокойной и счастливой не потому, что предпочитает здешнее пребывание парижской обители, а потому, что не чувствует здесь вокруг себя тех низких интриг, жертвой которых она была. Не прискорбно ли, в самом деле, что низкопробные сплетницы вроде м-м Рам могут так влиять на судьбу человека, который настолько их выше.

Адель мне оказывает доверие, спрашивает моих советов. Говоря между нами, я иногда чувствую стыд от этого — настолько я считаю ее стоящей выше нас всех. Каждая мысль ее вдохновлена верой — как я смею с этим сопоставлять свои советы? Однако я говорил с нею так, как вы хотели; я нашел, что она твердо решила никогда ничего не делать без ведома и согласия ее Духовных Матерей. Я полагаю, что пора оставить ее в покое и больше ее не отчитывать, потому что стараться унять несуществующее волнение — значит терять время. Я бываю у нее каждую неделю, и вы можете быть уверены, что ей никогда не придет в голову опереться на преимущество, которое мне дается моим положением, чтобы уклониться с пути ее долга...

Последняя фраза этого письма нуждается в пояснении: она показывает, что в монастыре боялись, как бы Адель, пользуясь протекцией своего кузена, не апеллировала к самому Папе в своем споре с монахинями. Такие опасения были, как видим, напрасны, но все-таки Грамон испросил для Адели частную аудиенцию у Пия IX. Адель привела с собою целую группу протестанток, над обращением которых она в то время трудилась. При виде Папы она упала ничком, залилась слезами и не могла выговорить ни слова. Папа сам ее поднял, благословил и сказал: «Бедное дитя, представьте мне вашу паству».

За первой аудиенцией последовала вторая, во время которой Адель, имея в виду препятствия, чинимые ей, просила Папу дать ей особое благословение на то дело, которому она себя посвятила. «Тогда святой отец,— рассказывает она,— вознес отеческие руки свои над моей головой и взволнованным голосом, которого я ни-

когда не забуду, произнес: *Да, дочь моя, во имя Иисуса Христа говорю вам — обращайтесь протестантов; но только делайте это с усердием спокойным, благоразумным и покорным (avec un zèle calme, prudent et dévoué)*». — Эти слова показывают, что Папа почел нужным несколько умерить ее экзальтацию, которую то ли заметил сам, то ли <о которой> был осведомлен другими лицами.

Слова Папы Адель затвердила наизусть, но призыва к смирению в них не расслышала или не захотела расслышать. Через несколько времени она вернулась в Париж, но ее отношения с монастырем были уже в корне испорчены. Дальнейшие события развивались медленно, что вполне естественно в условиях монастырской жизни, — но неуклонно. Подробных и конкретных данных об этих событиях мы не имеем, но их общие очертания можно восстановить.

Судя по рассказам, заключенным в ее книге, Адель прожила в Париже по крайней мере до начала 1861 г. После этого мы вновь находим ее в Риме. Ее раздражение к этому моменту, очевидно, достигло очень высокой степени. Родные были встревожены и недовольны ее поведением. Весьма показательно в этом смысле письмо к ее сестре, написанное 2 апреля 1861 г. тем же Аженором, который три года тому назад называл Адель святою и не считал себя достойным судить о ее поступках. Теперь он пишет:

...Joseph m'a entretenu de ce que notre pauvre Adèle vous avait écrit; j'en ai été fort attristé parce que de tels écarts deviennent sérieux et ne permettent guère malheureusement de fermer les yeux à l'évidence. Il est impossible de ne pas y reconnaître les traces inquiétantes d'un certain désordre dans les idées et d'une faiblesse de pensée dont l'effet est de prendre pour des faits accomplis les fantaisies d'une imagination ardente et un peu déréglée. Il me reste encore l'espoir que ces extravagances sont le résultat *momentané* d'une crise de santé et que plus tard la nature en reprenant son assiette normale, calmera cette effervescence. Cependant, il est nécessaire de la surveiller sans qu'elle s'en doute autant dans son intérêt que pour celui des personnes qu'elle peut compromettre...»

Перевод:

...Жозеф⁷ мне сообщил о том, что написала вам наша бедная Адель; я был этим весьма огорчен, потому что такие уклонения от истины ста-

⁷ Граф (впоследствии маркиз) Жозеф де Габриак, второй сын Екатерины Александровны, родившийся в Берне в 1830 г. В 1861 г. он состоял в Риме секретарем при французском посольстве.

новятся серьезны и, к несчастью, никак не позволяют закрывать глаза на то, что уже очевидно. Нельзя в них не распознать тревожные черты некоторого беспорядка в представлениях и ослабления в мыслях, вследствие чего порождения пылкого и немного расстроенного воображения принимаются за действительные события. Я еще надеюсь, что эти странности суть *временное* следствие нездоровья и что впоследствии природа естественным образом уймёт это возбуждение. Однако необходимо за ней незаметно следить — столько же в ее интересах, сколько в интересах лиц, которых она может поставить в неловкое положение...

В словах де Грамона чувствуются тревога и досада, отчасти вызванные тем, что Адель сообщила сестре неверное сведение о предстоящей будто бы его отставке. Отсюда — предложение следить за ее поведением и забота о «лицах, которых она может поставить в неловкое положение». Однако в «расстроенное воображение» Адели и чуть ли не в ее душевную болезнь, на которую он намекает, он, видимо, сам не верит и пишет об этом лишь для того, чтобы навести Екатерину Александровну на очень выгодную идею: пользуясь экзальтацией и несомненной нервической возбужденностью Адели, выставить ее больною в глазах монахинь. Если бы это удалось, то была бы отстранена опасность, более всего пугавшая родственников: опасность разрыва Адели с монастырем. Душевнобольную монахиню нельзя было бы ни под каким предлогом удалить из монастыря; напротив, на монастырь легла бы прямая обязанность опекать ее до конца жизни,— что и требовалось, ибо таким образом родственники наверняка избавлялись и от пугавшего их скандала, и от обузы, которая могла лечь им на плечи.

В монастыре, однако, всего менее были склонны смотреть на Адель как на сумасшедшую. Она таковой и не была. Это видно хотя бы из того важного обстоятельства, что, когда в 1858 г. умер о. де Равиньян, под руководством которого она вела свою пропаганду, его не поколебался заместить другой, не менее выдающийся проповедник и духовный писатель — о. де Понлевуа, настоятель иезуитского монастыря в д. 35, на rue de Sèvres, того самого, при котором была основана о. Иваном Гагариным Славянская библиотека, находящаяся и ныне в том же доме. О. Понлевуа оставался духовным руководителем Адели вплоть до 1865 г., когда произошел открытый разрыв между Sacré-Cœur и пятидесятипятилетней монахиней, уже тридцать лет состоявшей в конгрегации.

Монастырское начальство не могло прямо препятствовать Адели в ее миссионерской работе, в особенности после полученного ею благословения самого Папы. Но пассивное сопротивление оказывалось. Между тем прежние рамки работы уже не удовлетворяли Адель. Она видела упадок религиозного чувства среди французов-католиков, у нее возникали обширные планы, для осуществления требовавшие денег. Она задумала устроить воскресную школу для бедных, детей и рабочих. Монастырь ей отказал в необходимых средствах, и она, через посредство леди Марии Гамильтон, бывшей принцессы Баденской, которая была дочерью Стефании Богарнэ, обратилась к Наполеону III с просьбой разрешить устройство лотереи, доход с которой пошел бы на организацию и содержание школы. Император отнесся к замыслу сочувственно, но поставил условием, чтобы монастырь поддержал ходатайство Адели. Монахини от этого уклонились, и лотерея не состоялась. Довольно любопытно, однако, что впоследствии при Sacré-Cœur была устроена именно такая школа, какую проектировала Адель; существует она и до сих пор, только никто уж не помнит или не хочет помнить, что этот замысел некогда принадлежал непокорной русской монахини.

Монастырские власти отказались поддержать проект Адели не только потому, что хотели ей досадить. Была у них и причина более уважительная. Ее проповедническая деятельность была вообще сопряжена с расходами. С тех пор как монастырь по тем или иным соображениям стал отрицательно относиться к этой деятельности, он прекратил и финансовую ее поддержку. Тогда Адель, как это ни странно, на свой страх и риск пустилась в какие-то денежные спекуляции, весьма смущавшие монахинь, которые ей вполне справедливо указывали, что, дав обет бедности, она не должна «смешивать финансовые проекты со служением Богу». Но этого мало. Спекуляции требовали оборотных средств, за которыми Адель не раз обращалась к Габриакам, суля им большие прибыли от участия в деле. Габриаки ей отвечали отказами, вполне решительными, порой даже резкими. Тогда Адель, видимо, вовлекла в свои замыслы других лиц, в результате чего у нее образовались долги. Возможно, что случилось и обратное, т.е., наделав долгов, Адель пускалась в спекуляции, чтобы таким образом рассчитаться с кредиторами. Во всяком случае, эти соблазнительные

поступки еще более осложнили ее отношения с монастырем, который был по-своему прав, не желая разделять с нею ни моральную, ни денежную ответственность за поступки, совершаемые против его воли. Положение делалось все более нестерпимо для обеих сторон.

11 июня 1865 г. умер старый маркиз де Габриак, муж Екатерины Александровны. Вдова поехала гостить к своему сыну Жозефу, который в это время состоял секретарем при французском посольстве в Баварии, но временно находился со своей семьей в Зальцбурге. Благодаря отсутствию Екатерины Александровны из Парижа мы имеем несколько писем, относящихся как раз к тому моменту, когда между Аделью и монастырем назрел окончательный разрыв. Устрашенные предстоящим скандалом и встревоженные, как бы им не пришлось платить сделанные Аделью долги, родственники приступили к оживленному обмену мнений. Аженор де Грамон, теперь стоявший во главе посольства в Вене, прислал Жозефу де Габриак обширнейшее послание, в котором на этот раз прямо заявлял, что «*cette pauvre Adèle... s'avance à pas comptés sur le chemin de la folie*» («бедная Адель быстро идет к сумасшествию») и что *Sacré-Cœur* не имеет права бросить ее в таких обстоятельствах. На этом он особенно советовал настаивать перед монастырским начальством. «*Il faut faire appel à l'indulgence des Dames du Sacré-Cœur; c'est un cas de maladie*»,— прибавлял он. («Надо взывать к снисходительности монахинь; дело идет о болезни».) Тут же, противореча себе, рекомендовал он обратиться к старшему сыну Екатерины Александровны, Александру де Габриак, чтобы тот воздействовал на Адель: Александр де Габриак был священником-иезуитом и другом о. Понлевуа. «*Quant à la question d'argent,— прибавляет он,— je ne m'en mêlerai pas et vous n'avez pas à vous en mêler non plus. Nous n'avons tous qu'un rôle à remplir dans ce triste épisode; c'est d'unir nos efforts pour empêcher le scandale*». («Что касается денежного вопроса, то я в него не вмешиваюсь, и вам не к чему вмешиваться. Наше дело в этом прискорбном событии одно: соединить усилия для того, чтобы помешать скандалу».)

Одновременно с этим письмом де Грамон написал другое — к самой Адели, с увещаниями смириться пред Богом и начальством. Оно до нас не дошло, но его содержание явствует из других документов. Однако было уже поздно. Письмо де Грамона помечено 15 октября. В тот же день о. Понлевуа извещал маркизу де Габриак, что настоятельница монастыря поставила Адели *ультиматум*: или

отправиться в Бордо, в одну из обителей Sacré-Cœur, или послать в Рим прошение о разрешении от монашеского обета. После многих перипетий Адель склонилась к последнему.

Через день после этого настоятельница монастыря мать де Гётц со своей стороны отправила Екатерине Александровне весьма сухое письмо, в котором, конечно, нет ни намека на болезнь Адели — и много скрытого к ней недоброжелательства:

Madame,

J'aurais voulu répondre sans retard à votre lettre, et vous dire que non seulement je comprends votre douleur, mais encore que je la partage sincèrement; aujourd'hui permettez-moi de vous donner quelques explications sur un acte que nous déplorons, mais que nous n'avons nullement provoqué, et dont Madame Davidoff prend sur elle toute la responsabilité.

J'ai dû exiger seulement qu'elle renonçât à l'œuvre des protestants. Cette mesure était arrêtée depuis longtemps et devenait impérieusement nécessaire à prendre, à cause du manque de prudence de Madame Adèle, qui compromettrait très souvent non seulement les convenances, mais la Société, d'une manière extrêmement grave. Voilà, Madame, ce qu'elle n'a pas voulu accepter à aucune condition, et malgré toutes les mesures que j'avais prises pour lui en adoucir la peine; car je n'ignorais pas à quel point elle serait sensible à l'abandon d'une œuvre, complètement en dehors cependant de notre Vocation. Ainsi, je lui ai proposé plusieurs positions; entr'autres un séjour, au moins momentanément à Bordeaux, où la Supérieure la connaît depuis de longues années... Je savais que les attentions et les soins les plus délicats seraient prodigués à Madame Davidoff... Mais rien n'a pu la dissuader de demander à Rome le relevé de ses vœux. Que pouvais-je faire Madame? Je ne pouvais m'y opposer, malgré ma peine profonde, et la conviction où je suis, que l'avenir sera fort triste pour cette pauvre Mère. La société lui rendra ce qu'elle en a reçu; quant à ses affaires d'intérêts avec vous, Madame, permettez que nous vous les laissions traiter ensemble; votre affection de sœur, saura, je n'en doute pas, allier vos obligations avec le désir d'alléger la position de Madame Adèle.

Dans ce moment elle est à Conflans, où elle m'a demandé d'aller faire une retraite, ce que je lui ai accordé bien volontiers; elle y restera, je pense, jusqu'à ce qu'elle ait reçu son relevé de vœux...

Перевод:

Милостивая Государыня,

мне бы хотелось незамедлительно ответить на ваше письмо и высказать вам, что я не только понимаю ваше горе, но и искренно его разделяю; затем позвольте мне дать вам несколько разъяснений касательно события, которое мы оплакиваем, но которое нами отнюдь не вызвано и ответственность за которое всецело падает на мать Давыдову.

Я была вынуждена потребовать только того, чтобы она отказалась от

обращения протестантов. Эта мера была решена давно, и принять ее сделалось настоятельною необходимостью вследствие неблагоприятия матери Адели, которая весьма часто самым тяжелым образом нарушала не только приличия, но и интересы Конгрегации. На это она не пожелала согласиться ни под каким условием и несмотря на все меры, которые я приняла, чтобы облегчить ее огорчение; ибо я не упускала из виду, до какой степени было бы для нее чувствительно бросить дело, совершенно, однако же, выходящее за пределы нашего Устава. Так, я ей предложила несколько выходов, между прочим — пребывание, хотя бы временное, в Бордо, где Настоятельница знает ее много лет... Я знала, что матери Давыдовой были бы оказаны внимание и заботы самые нежные... Но ничто не могло отклонить ее от решения ходатайствовать в Риме о разрешении от обета. Что я могла сделать? Я не могла воспротивиться, несмотря на глубокую мою скорбь и твердое убеждение, что этой бедной Матери предстоит весьма печальное будущее. Конгрегация возвратит ей то, что от нее получила; что же касается ее денежных отношений с вами, Милостивая Государыня, то позвольте нам представить их улажению между вами самими; я не сомневаюсь, что ваша любовь к сестре поможет соединить ваши обязанности с желанием облегчить положение матери Адели.

В настоящее время она находится в Конфлане,⁸ куда удалиться она испросила у меня разрешение, на что я и согласилась весьма охотно; она там пробудет, я думаю, до тех пор, когда будет получено ее разрешение от обета...

В этом письме имеется существенное и характерное расхождение с письмом о. де Понлевуа. Настоятельница не только не упоминает об ультиматуме, предъявленном ею Адели (или отказ от пропаганды, или выход из монастыря), но даже представляет дело так, будто сама Адель, отказавшись ехать в Бордо, заявила о своем желании покинуть монашество, она же, настоятельница, ее старалась от этого удержать. Нужно думать, однако, что незаинтересованный, но хорошо осведомленный о. Понлевуа изложил дело более правильно.

Мы не беремся с полной уверенностью объяснить, что значит фраза настоятельницы относительно денежных счетов между Аделью и ее сестрой, но, разумеется, эта фраза вставлена неспроста. Дело в том, что при вступлении в монастырь Адель внесла в его казну 25 000 франков. Эти деньги Конгрегация соглашалась вернуть при выходе ее из монастыря, но ясно, что их не могло хва-

⁸ Городок в департаменте Сены и Уазы. Там находился новициат Sacré-Cœur.

тить на покрытие долгов Адели и на все ее дальнейшее существование. Меж тем, когда умер Александр Львович Давыдов, после него осталось наследство. Оно было невелико — дела Давыдовых были запущены. Однако Петр Львович, занявшийся ими после смерти брата, писал Аглае Антоновне в июле 1833 г., что если лет пять не трогать доходов с имений, то будут покрыты лежащие на них долги и можно будет получать от 16 до 18 тысяч рублей ежегодной ренты. Таким образом, с 1833 по 1861 г. (роковой для помещиков год «эмансипации») наследники Александра Львовича (сын и две дочери) должны были получить по крайней мере 350 тысяч рублей. Из них на долю Адели приходилось 115 тысяч. Если вычесть отсюда 25 000 франков, внесенных за нее в монастырь, то останется на худой конец сто тысяч рублей, от которых она, как монахиня, разумеется, должна была отказаться и которые остались в руках ее брата и сестры. Теперь, когда она возвращалась в мир, на ее родных падала если не юридическая, то моральная обязанность выделить ей ее часть. На это и намекает мать де Гётц, тем самым косвенно мотивируя отказ монастыря заботиться о долгах Адели и об ее материальной обеспеченности. Меж тем дела Габриаков были не блестящи, и некогда полученные деньги Адели успели, конечно, растаять. Если мы примем все это во внимание, то нам легче будет понять тревогу ее родственников и их стремление к тому, чтобы Адель не покидала монастыря.

В то время, когда происходила вся эта переписка, Матильда, жена Жозефа де Габриака, находилась в Париже. По-видимому, она видалась с монастырскими властями; вернувшись через несколько дней в Зальцбург, она привезла более успокоительные известия, которыми Жозеф де Габриак 24 октября спешил поделиться с Аженором де Грамон. Сохранился черновик его письма, в котором сказано, что *Sacré-Sœur* все-таки соглашается заплатить долги Адели (эта фраза даже подчеркнута), а главное — что посланное в Рим прошение еще может быть взято Аделью обратно: в этом случае монастырь ее примет вновь «с распростертыми объятиями» (*à bras ouverts*), при условии, конечно, что она откажется «от своих мечтаний» (*ses rêveries*), т.е. от пропаганды.

*

Надежды родных не оправдались. Адель не смирилась, и Рим освободил ее от монашеского обета. Точная дата этого события неизвестна, но так как подобная процедура занимает месяца два

или три, то надо думать, что Адель перестала быть монахиней в самом конце 1865 или в начале 1866 г. А.О.Смирнова, узнав об этом, писала в своих записках, что Адель «вздумала сделаться игуменьей и наконец, к великому скандалу благородного Faubourg St-Germain, бросила le froc aux horties».⁹ Относительно намерения сделаться игуменьей Смирнова, конечно, путает, ибо рассказывает по непроверенным слухам. Но несомненно, что выходу Адели из монастыря предшествовали какие-то личные осложнения в ее монастырской жизни. На это указывают и упоминания об интригах и сплетнях в переписке Грамонов и Габриаков, и то обстоятельство, что Sacré-Cœur тридцать лет терпел пропаганду Адели, прежде чем спохватился, что эта пропаганда не соответствует уставу.

Как бы то ни было, скандал, вызванный ее возвращением в мир, был действительно грандиозен. Он попал даже на страницы печати. Какая-то газета (сохранилась лишь вырезка из нее) в отделе светской хроники поместила специальную заметку, в которой, как водится — переврав русскую фамилию, писала:

Et cette dame du grand monde, Mlle Demidoff, la propre sœur de Mme la marquise de Gabriac, qui était en religion depuis vingt-cinq ans, et qui, relevée de ses vœux par le Pape, accomplit en ce moment sa rentrée dans le monde? Quel émoi dans le personnel féminin du noble faubourg, et quelle curiosité sur toute la ligne, à l'apparition de ce *revenant* d'un nouveau genre! Je ne sais pas si dans Balzac il y a une situation semblable; mais quel parti en aurait tiré le grand romancier!

Mlle Demidoff n'est point la seule femme dont la chronique a jugé à propos de s'occuper cette semaine».

Перевод:

А великосветская особа, мадемуазель Демидова, родная сестра маркизы де Габриак, которая пробыла в монашестве 25 лет и которая, будучи освобождена Папою от обета, в настоящее время возвращается в мир? Какой переполох в женском составе благородного предместья и какое любопытство со всех сторон по случаю появления этого *выходца* новейшего образца! Не знаю, имеется ли у Бальзака подобная ситуация; но что бы извлек из нее этот великий романист! Мадемуазель Демидова — отнюдь не единственная женщина, которую хроника сочла нужным заняться на этой неделe.

Маркиза де Габриак не выдержала — она прекратила с Аделью всякие сношения. Как были улажены денежные дела, мы не знаем, но несомненно, что Адель очутилась в бедности. В первое время,

⁹ Смирнова, *op. cit.*, 185.

судя по намеку Смирновой, в ней приняла участие дальняя родственница — княжна Екатерина Сергеевна Кудашева.

В 1869 г. сестры помирились. Екатерина Александровна согласилась оказывать некоторую помощь Адели, к этому времени, вероятно, прожившей свои двадцать пять тысяч, а может быть — истратившей их на покрытие долгов. Но не прошло и двух месяцев со дня примирения, как Адель написала письмо в Петербург, своему кузену гр. Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову, жалуясь на Екатерину Александровну. Этой жалобой она поставила в довольно неприятное положение Жозефа де Габриака, который в это время состоял в Петербурге французским уполномоченным в делах. Орлов-Давыдов имел с ним две беседы по поводу Адели, но легко удовлетворился ответом, что Екатерина Александровна помогает сестре сколько может, вообще же нет смысла вручать ей большие деньги, так как она их истратит на свои «фантазии». Тем дело и кончилось. «Фантазии» Адели заключались в том, что она, под тяжестью долгов, снова пустилась в какие-то денежные дела. Поль де Габриак, третий сын Екатерины Александровны, женатый на богатой американке, в том же 1869 г. посетил свою тетку и нашел ее «dans un misérable réduit où son lit peut à peine tenir et situé derrière la cuisine» («в жалком убежище, в котором едва помещается ее кровать и которое расположено позади кухни»). Адель ему, однако, сказала, что вскоре станет обладательницей целого состояния. В это время она задумала купить обширное имение кн. Любенской в Галиции. Покупка должна была состояться без денег, с тем, что Адель будет эксплуатировать имение и из доходов выплачивать долг прежней владелице. По словам де Габриака, была уже заключена купчая. Адель находилась в радостном возбуждении и даже сумела заинтересовать племянника своим проектом. Вслед за тем предприятие рухнуло: надо полагать, что Адель не могла выполнить своих обязательств, и поместье вернулось к кн. Любенской.

Это — предпоследнее точное известие об Адели, до нас сохранившееся. После него имеется лишь указание в отчете поверенного ее сестры о том, что в июле 1880 г. были посланы какие-то деньги «pour Mme Davidoff à Londres». На старости лет Адель нашла приют в Англии — вероятно, у вышеупомянутой леди Гамильтон.

Маркиза Екатерина Александровна де Габриак умерла в Ницце 15 февраля 1882 г. В пятницу, 24 февраля, в 12 час. дня, состоялось отпевание тела в парижской церкви св. Клотильды, а затем

погребение на Монмартрском кладбище, в фамильном склепе де Габриаков. Сохранился экземпляр обычного приглашения присутствовать на похоронах. Оно составлено от имени всех родственников, кроме Адели, которую не сочли приличным упомянуть. Ее внучатная племянница, мать Мария де Габриак, монахиня в Антверпенском монастыре Sacré-Cœur, была добра сообщить нам, что она помнит, как однажды о. Александр де Габриак, иезуит, сказал ей: «Завтра я еду в Англию на похороны тетки Адели». Это было после 1882 г. Более точных известий о времени ее кончины не имеется. Такая скудость сведений объясняется тем, что в глубоко католической семье Габриаков помнили об Адели как о существе исключительно обаятельном и безгранично добром, но не могли ей простить уход из монастыря и не любили о ней говорить.

Из детей Екатерины Александровны уже никого нет в живых, но несколько внуков, детей Жозефа, и ныне здравствуют. Мы приносим глубокую благодарность за сообщенные сведения и материалы только что упомянутой матери Марии и маркизу Жозефу де Габриак, а также графине Фанни де Габриак, супруге графа Артура.

1935

КЛЕВЕТА

Политические воззрения Пушкина представляют собою одно из самых темных мест пушкиноведения. Вопрос этот до сего времени по-настоящему не разрешен, в чем, однако, не должно винить исследователей. Их задача в этой области чрезвычайно трудна. Политические высказывания Пушкина разбросаны по его писаниям, прозаическим, стихотворным, эпистолярным. Многие выражены в образах, допускающих разнообразные толкования, в намеках, в случайно брошенных (иногда — под влиянием порыва) фразах, в заметках и планах, не получивших окончательной обработки. Нельзя упускать из виду и то психологическое обстоятельство, что политические взгляды Пушкина складывались и эволюционировали под влиянием не только общих его идей и не только под влиянием явлений общественного порядка, но и в силу личных, глубоко интимных переживаний. Последовательным политическим мыс-

лителем он не был. Без большого риска можно сказать, что реконструировать его воззрения в виде стройной системы никогда не удастся, по той простой причине, что этой системы и не было. Многое для нас в Пушкине противоречиво потому, что противоречия всегда жили в нем самом.

Тем не менее общая линия политической эволюции Пушкина намечается без труда. По выходе из младенчества, начиная с последних лет лицейской жизни и вплоть до 14 декабря 1825 года, Пушкин в общем был близок идеям декабристов, хотя надо оговориться, что неизвестно, каким именно течениям декабризма, тактическим и программным, он более сочувствовал, и неизвестно даже, в какой степени был он осведомлен об этих течениях. Впоследствии, в эпоху Николая I, его взгляды подверглись значительным изменениям, о чем свидетельствуют и факт его сближения с правительством, и длинный ряд высказываний в стихах и прозе. Достаточно тут указать главнейшие: «В надежде славы и добра», «Друзьям», «Медный всадник», «Из Пиндемонте», «Александр Радищев» и т.д. Такие стихотворения, как «Мой первый друг», «19 октября 1827», «Эпитафия младенцу Волконскому» и даже «Послание в Сибирь», говорят о сильном сочувствии личной участи осужденных, но не об одобрении их поступка. Наконец, сохранившиеся фрагменты десятой главы *Евгения Онегина* идут в этом отношении еще дальше: в них заметна прямая ирония по адресу декабристов.

В прежние времена (впрочем, еще недавние) противоречивость политических высказываний Пушкина порождала печальное, хотя отчасти даже комическое явление: различные исследователи, принадлежавшие к различным политическим толкам, изо всех сил старались представить Пушкина совершенно таким, каковы были они сами. «Правые» тащили его вправо, «левые» — влево. Последним, кто решился на это странное занятие, был Брюсов. Утратив душевное равновесие и отчасти сделавшись, отчасти стараясь сделать себя большевиком, он вздумал и Пушкина перекрасить чуть ли не в большевика. Теперь эти наивные попытки оставлены, пушкинской эволюции «вправо» никто уж не в силах отрицать (быть может, именно вышеупомянутая десятая глава *Евгения Онегина*, как документ ясный и неопровержимый, сыграла тут роль решающую). Однако в ложном истолковании если не самих политических взглядов Пушкина, то его, так сказать, политической психологии, наметилась новая линия, несравненно менее наивная, но зато и более злостная и опасная.

Происшедшая в Пушкине перемена не укрылась от его современников. Уже со дня появления стансов к Николаю I поэта начали упрекать в ренегатстве, в низкопоклонстве, в измене декабристам. Упреки выражались в стихах, распускаемых по рукам, в печатных намеках, в сплетнях и шушуканье по углам. Подсказывались они то низменной завистью, то добросовестным заблуждением, незнанием Пушкина. После его кончины повторять эти клеветы решалось только революционное подполье, в своих брошюрках (об одной из таких брошюрок мы недавно рассказывали). Наука, даже левая, ими гнушалась: как сказано выше, она отрицала самую эволюцию Пушкина. Теперь отыскивались научные работники, пошедшие по стопам клеветников Пушкина. Одним из представителей этого течения оказался Абрам Эфрос, тот самый, который несколько лет тому назад выпустил книгу о рисунках Пушкина.

Продолжая исследования в занимающей его области, Эфрос нашел несколько еще не опубликованных пушкинских рисунков, изображающих декабристов.¹⁰ Эти рисунки находятся на том листе, где набросаны V-X строфы пятой главы *Евгения Онегина*. Имеется пушкинская пометка о том, что пятая глава романа была начата им 4 января 1826 года. Рисунки, следовательно, можно отнести к тому же дню или к одному из ближайших. В то же время известно, что о петербургском восстании Пушкин узнал около 20 декабря 1825 года. Таким образом, рисунки сделаны, очевидно, недели через две после совершившегося события. Что из этого следует? Что мысль Пушкина в эти дни обращалась к Петербургу и к декабристам. Это, конечно, вполне естественно, в особенности если принять во внимание еще одно обстоятельство.

С.А.Соболевский, друг Пушкина, еще в 1870 году напечатал в *Русском архиве* статью «Таинственные приметы в жизни Пушкина». В этой статье Соболевский, между прочим, рассказывает:

Известие о кончине императора Александра Павловича и о происшедших вследствие оной колебаниях по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — потребуют паспорта; у великосветских друзей

¹⁰ А.Эфрос. Декабристы в рисунках Пушкина. *Литературное наследство*, кн. 16–18 (М., 1934).

тоже опасно — огласится тайный приезд ссыльного. Он положил ехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него записаться сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь! а в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим баринном. Всех этих встреч — не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы были бы последствия моей поездки,— прибавляя Пушкин.— Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом: вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»

Рассказ Соболевского не точен в подробностях: о смерти Александра I Пушкин знал уже к 4 декабря, как видно из его письма к Катенину, помеченного этой датой; есть основания полагать, что Пушкин не заезжал прощаться в Тригорское, что заяц был только один, что священника вовсе не было и т.д. Но в основе происшествие изложено верно, то есть верно, что Пушкин поехал в Петербург, но встретил зайца и повернул обратно. Об этом со слов Пушкина рассказывали, кроме Соболевского, еще и В.И. Даль, и П.А. Вяземский, и Адам Мицкевич. День, в который Пушкин отправился из Михайловского, — 12 декабря, — в мыслях Пушкина вскоре связался еще с одной странною мыслью.

Сохранилась заметка Пушкина о том, как писал он «Графа Нулина». «В конце 1825 года находился я в деревне,— пишет Пушкин. — Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы <...> и мир, и история мира были бы не те. <...> Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась: я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть». Как видно из Онегинской рукописи, этим вторым утром было утро 13 декабря. Следовательно, «Графа Нулина» Пушкин писал 12 и 13 числа: начал его, вернувшись из несостоявшегося путешествия. И вот впослед-

ствии, когда узнал о событиях 14 декабря, он подумал, что, может быть, не перебеги ему заяц дорогу, изменилась бы не только его личная судьба (о чем он и говорил Соболевскому), но — как знать? — может быть, его приезд в Петербург изменил бы и все течение событий. Его поразило, что самая мысль о великих следствиях ничтожных причин, легшая в основу «Графа Нулина», занимала его как раз в те дни, когда в Петербурге решалась судьба России. По этому поводу он оставил еще одну заметку, в которой говорит: «Бывают странные сближения». В свое время на эту заметку обратил внимание М.О.Гершензон — она послужила завязью его любопытнейшей статьи о «Графе Нулине». Когда две-три недели спустя после «Графа Нулина» Пушкин писал пятую главу *Евгения Онегина*, он уже знал, что произошло в Петербурге. Когда он набрасывал на полях рукописи портреты декабристов, конечно, мысли его текли примерно в том направлении, как наметил их Гершензон. Об этом и должен бы написать Эфрос. Но повторять Гершензона ему показалось невыгодно, да и мысли эти отдают «мистикой», которая в советской России не поощряется. Поэтому он пустился не только в психологические, но и в исторические догадки, которые, может быть, смутили бы его самого и остановили бы его бойкое перо, если бы не страстная жажда сказать нечто свое, «новое о Пушкине». Эта жажда была в нем так сильна, что он не побрезговал ради нее старинною клеветой о пушкинском ренегатстве.

Современники Пушкина были просто его знакомые, а не ученые-пушкиноведы. Они знали вообще, что Пушкин сочувствовал декабристам, а потом сблизился с правительством. Этого было им достаточно для того, чтобы обвинять поэта в измене. Многие из них могли это делать совсем беззлобно, даже скорбя о «падении» того, кто написал оду «Вольность», «Кинжал» и «два иль три Нозля». От современного ученого-исследователя требуется знание дела более обстоятельное. Поэтому и Эфрос не ограничился какими-нибудь общими восклицаниями, а привлек целый «научный аппарат». Этого мало: изблечить Пушкина лишь в перемене убеждений или в идейном отступничестве было бы недостаточно эффектно. Эфрос решил «доказать», что Пушкин изменил декабристам не только идейно, но и на деле, и даже не только впоследствии, когда их судьба решилась, но и в ту самую минуту, когда эта судьба решалась.

Для того чтобы такое обвинение, тяжесть которого всякому понятна, имело под собой почву, надо прежде всего установить, что

Пушкин был принят в тайное общество и что он по отношению к обществу принял на себя какие-либо обязательства, которых не выполнил.

Мы до сих пор знали, что Пушкин не раз делал попытки вступить в общество, но эти попытки не увенчались успехом: по тем или иным причинам Пушкин в общество не был допущен. Прямо заявить, что он все-таки был принят, Эфрос не решается: такое заявление пришлось бы подкрепить прямыми документами, которых не существует. Но Эфрос отваживается утверждать, что в январе 1825 года, в день своего пребывания в Михайловском, Пушкин посвятил Пушкина во все тайны и связал его обязательством принять участие в общих действиях, когда это понадобится. Полная осведомленность Пушкина явствует для Эфроса из двух фактов: во-первых, из того, что уже через две с половиной недели после 14 декабря, не имея ниоткуда подробных сведений о восстании, Пушкин зарисовывает на полях рукописи как раз главных деятелей декабризма (при этом Эфроса особенно поражает, что среди зарисовок имеется профиль Пестеля); во-вторых,— из того, что в конце 1825 г. Пушкин, по собственному рассказу, сжег свои тетради, ибо в случае обыска власти могли в них почерпнуть многие сведения о составе тайного общества. Все эти сведения, по мнению Эфроса, Пушкин мог получить только от Пущина и только в качестве посвященного. Но вот это-то и есть самая неосновательная выдумка, какую только можно себе представить. По свидетельству Вяземского (да и вообще по всему, что мы знаем о жизни Пушкина от выхода из Лицея до ссылки в Михайловское), Пушкин семь лет провел в атмосфере заговора и среди заговорщиков. Существование тайных обществ, как известно, конспирировалось плохо. Пушкина не принимали в общество, *всех* тайн ему не открывали, но от него и не слишком таились. Он был хорошо знаком с деятелями декабризма — недаром называл их товарищами, друзьями, братьями. Зная их мысли и характеры (в частности — хорошо зная того же Пестеля), без труда мог он сам догадаться, кто должен быть в центре событий. Пущину не было надобности его об этом осведомлять. Наоборот, именно Пущин был с ним более скрытен, нежели другие. Эфросу кажется, будто Пушкин делал свои зарисовки чуть ли не по списку, данному Пущиным, а меж тем наличие профиля Вяземского всего отчетливей свидетельствует, что Пушкин руководился не знанием о составе общества, а просто своими воспоминаниями о самих, так сказать, декабристских умах, ему известных. Если бы рисовал он на основа-

нии специальной своей осведомленности о составе общества, то Вяземского среди декабристов не поместил бы.

Что касается сожженных бумаг, — тут Эфрос еще наивнее. Выходит по нему, что как только Пущин посвятил Пушкина в тайные дела общества, — так Пушкин сейчас же и принялся записывать эти тайны, то есть изготовлять документы, уличающие его самого и других. В действительности было, конечно, совсем иное. Пушкин долго вел дневники — по крайней мере, со времен Кишинева. В этих дневниках он записывал свои встречи и разговоры — в том числе, разумеется, встречи и разговоры с будущими декабристами. Тот факт, что он сжег эти записи только в конце 1825 года, когда декабрьская буря уже разразилась, свидетельствует как раз о том, что вплоть до этого времени был он всего лишь посторонним наблюдателем (и то не особенно осторожным), а отнюдь не лицом, посвященным в тайны общества: такое посвящение должно было бы сделать его сугубо осторожным. Как «посвященный», должен бы он тотчас по отъезде Пущина из Михайловского сжечь свои бумаги, — а не пополнять их новыми, только что ему доверенными тайнами. Если допустить то, что допускает Эфрос, то надо бы уж прямо, не обинуясь, записать Пушкина либо в глупцы, либо в сознательные предатели. Ни в том, ни в другом даже Эфрос его еще не обвиняет, хотя ко второму обвинению подходит очень близко, до ужаса: Эфрос обвиняет Пушкина в трусости, в *дезертирстве* (подлинное его выражение).

Дело в том, что историю несостоявшейся поездки Пушкина в Петербург Эфрос толкует по-новому. Он позволяет себе утверждать, что эта поездка была предпринята не по собственной инициативе Пушкина, а «по прямому вызову или по условию, которое у него было с Пушиным»: Пушкин-де отправился в Петербург, потому что его туда вызвал Пущин как «посвященного», но по дороге «отступился и пополз обратно в михайловскую нору»: не зайцев он испугался, а предстоящей обязанности действовать заодно с декабристами.

Свое утверждение Эфрос основывает на недавно опубликованном отрывке из воспоминаний декабриста Лорера, который приводит рассказ о зайцах в новой версии, полученной от Льва Сергеевича Пушкина. Согласно этой версии, Пушкин выехал из Михайловского после того, как получил из Москвы письмо от Пущина, который писал, что «едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем».

Далее мы увидим, что, быть может, недостоверен самый факт получения этого письма, на котором Эфрос воздвигает всю эфемерную свою постройку. С другой стороны, однако, и нет оснований отрицать его вовсе. Нельзя только придавать ему то значение, которое придает Эфрос. В том виде, как оно изложено Лорером, письмо выражает лишь одну мысль Пушкина: мысль о том, что при изменившихся обстоятельствах (смерть Александра I) в судьбе Пушкина может произойти перемена и он получит возможность приехать в Петербург. Словом, Пушкин высказывал другу ту самую мечту, которая в те дни зародилась и у Пушкина. 4 декабря он писал Катенину: «Может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями. Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти Государя; но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I». О том, в каких формах мерещилась Пушкину процедура освобождения из ссылки, ясно говорит его письмо, в те же дни отправленное Плетневу: «Милый, дело не до стихов, слушай *в оба уха*. Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне... Если брать, так брать — не то что и совести марасть — ради Бога, не просить у Царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; чорт ли в них? *а просить или о въезде в столицы или о чужих краях* <...> Покажи это письмо Ж<уковском>у <...> Он как-нибудь это сладит. Да нельзя ли дам взбудоражить?.. выписывайте меня, красавцы мои <...>»

Возможно, что письмо Пушкина еще более воспламенило эту мечту, ничего, однако же, не имевшую общего с замыслами декабристов. Недаром Лев Пушкин говорит: «Не долго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу...»

С этим вполне согласуется и рассказ Соболевского: «Известие о кончине императора Александра Павловича и происходивших вследствие оной, колебаниях о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидиться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться <в Петербург>».

Тут Соболевский ошибается только в том, что Пушкин узнал о смерти Александра I около 10 декабря. Как мы видели, он знал об этом уже раньше. 10-го же числа приехал из Петербурга повар П.А.Осиповой и сообщил, что в Петербурге неспокойно. Возможно, что рассказ повара совпал с получением пушкинского письма и послужил Пушкину лишним толчком. Как бы то ни было — ясно,

что навязывать этому письму смысл и значение конспиративного «вызова» для революционных действий, как это делает Эфрос,— значит фантазировать. Притом — фантазировать прямо вразрез с показаниями самого Пущина.

В своих записках о Пушкине Пущин говорит, что и в 1825 году, в Михайловском, как в 1818 г. в Петербурге, Пушкин вновь старался выпытать у него сведения о тайном обществе. Пущин ответил, что членом общества состоит, но от дальнейших пояснений уклонился. Поняв это, Пушкин сказал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям». По-видимому, это объяснение взволновало обоих собеседников. Пущин говорит: «Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить; обоим нужно было вздохнуть». Этого мало: еще до разговора о тайном обществе Пущин, со свойственной ему прямоотой, сказал Пушкину, что тот «напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения».

До какой степени этот рассказ Пущина не вяжется с совершенно голословным утверждением Эфроса о том, что Пущин в этот приезд посвятил Пушкина в дела общества,— не нуждается в пояснении. Само собой очевидно, что без «посвящения» и пущинское письмо не могло служить никаким «вызовом». Однако Эфрос бьет себя в грудь и, совершенно как новый Сальери, настаивает: «Я знаю, я!» Если в записках Пущина и в рассказе Соболевского дело представлено совсем не так, как хочет его представить Эфрос, то это будто бы значит, что и Соболевский, и Пущин говорят, но недоговаривают: скрывают правду, «намеренно ведут свой рассказ по ложному пути».

Зачем?

По мнению Эфроса, Соболевскому важно было рассказать главное: «о политическом шаге, важнейшем из всех, какие когда-либо предпринимал Пушкин»: о поездке в Петербург, к Рылеву, в самый канун восстания. Это хотел Соболевский довести до сведения «посвященных в истинную подоплеку событий», а благонамеренное начало насчет свидания с друзьями придумал «для света, для власти». О принятии же Пушкина в общество и о письме Пущина Соболевский умолчал, чтобы не позорить память трагически умершего поэта. Последнее объяснение принять можно. Но спрашивается: зачем в 1870 году, через тридцать три года после смерти Пушкина, скрывать «от света и власти» намерение Пушкина

принять участие в восстании? На этот вопрос у Эфроса ответа не имеется — его и не выдумаешь.

Что касается Пущина, то он будто бы в записках своих умолчал о «посвящении» и о своем вызове Пушкина в Петербург по той же причине: чтобы Пушкин «не оказался перед потомством политическим и моральным дезертиром». Но такое предположение, пригодное для объяснения поступков Соболевского, вряд ли годится, когда дело идет о Пущине. Соболевский декабристом не был, Пушкина «не посвящал» и в Петербург не вызывал. Соболевскому естественно «простить» Пушкина и его выгораживать. Другое должен был чувствовать Пущин, которого лучшие гражданские и дружеские порывы были Пушкиным обмануты, если было все то, в чем нас уверяет Эфрос. Пущину, очень правдивому, чистому, даже несколько ригористическому человеку, пушкинское «дезертирство» должно бы было быть мерзко. А он не только не «клеймит» Пушкина, но еще и всячески покрывает его измену и пишет о нем записки, исключительные по теплоте чувства, их одушевляющего. Меж тем, ведь как бы ни изменились к 1858 г. (год писания записок) взгляды Пущина на декабрьское событие, — его взгляд на «дезертирство» не мог измениться. Этого мало. 5 января 1828 г., в Чите, получает он стихи Пушкина:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое Провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

Да ведь если бы действительно произошло все то, о чем пишет Эфрос, — то каким дьявольским издевательством прозвучали бы Пущину эти подлые стихи, в которых «дезертир» смеет еще вспоминать день своего «посвящения», говорить о своих молитвах, об утешении, о Лицее и которые он нагло помечает 13 декабря 1826 г. — кануном декабрьской годовщины и как раз годовщиной того дня, когда он должен был явиться к Рылеву — и не явился! А между тем тридцать лет спустя Пущин пишет: «Отрадно отозвался во мне голос Пушкина. Преисполненный глубокой, живительной

благодарности, я не мог обнять его» и т.д. Поистине, Эфрос приписывает Пушкину такую долю незлобивости и наивности, которую надо уже назвать глупостью. Но если взглядеться пристально, то ему и сам Пушкин кажется неумен.

Мы уже увидели, что историю о поездке и о возвращении из-за зайцев Пушкин сам рассказывал Соболевскому и Вяземскому наверное; Мицкевичу — вероятно, хотя Мицкевич мог слышать ее не прямо от Пушкина, а, например, от Вяземского или от Соболевского; возможно, что прямо от Пушкина узнала ее и та из дочерей П.А.Осиповой, которая впоследствии делилась своими воспоминаниями с Семевским (от нее-то и идет рассказ о приезде повара); наконец, историю знал и Лев Сергеевич Пушкин, притом — с весьма существенною подробностью относительно пушкинского письма. Словом, Пушкин, который нередко умел быть очень скрытным, вовсе не делал из нее тайны. Он знал об интересе, возбуждаемом его личностью, знал, что история, однажды рассказанная, пойдет гулять по свету. Если же он рассказал ее еще и Льву Сергеевичу, то уже мог быть уверен, что вскоре о зайцах будут знать и Москва, и Петербург, и вся армия. Естественно поэтому задать себе вопрос о том, как рассказывал Пушкин, т.е. как мотивировал он свою поездку, и еще точнее: как он *мог* ее мотивировать, не возбуждая толков, для него крайне неблагоприятных?

Рассказывать, что он ехал по вызову Пушина для того, чтобы присоединиться к Рылееву и прочим, Пушкин, разумеется, не мог: в этом случае он признался бы именно в дезертирстве, причем никакие суеверия и зайцы не оправдали бы его даже в глазах тех, кто не сочувствовал декабристам. Трусость и измену не простил бы ему даже Жуковский.

Следовательно, Пушкину оставалось мотивировать поездку желанием повидать друзей, Петербург, быть может — устроить свои дела. Но в этом случае о письме Пушина мог он говорить только при том условии, что оно никакого заранее условленного, конспиративного вызова в себе не содержало. Ибо если бы такой вызов в нем содержался, то Пушкин весьма рисковал и риска своего не мог не сознавать. Ведь легко могло статься, что рассказ мог дойти до Сибири, до Пушина — и вернуться оттуда с негодующею поправкой Пушина. Мало того, Николай I мог умереть, новый царь мог простить декабристов, как впоследствии и случилось, — и возвращенный из ссылки Пушин мог внести в пушкинский рассказ ту же компрометирующую поправку. Но и этого мало: надежда на помилование декабристов Николаем I, надежда на то, что «смей-

ствам возвратит Сибирь», жила в самом Пушкине. Как же он мог, допуская такую возможность, рассказывать о письме Пущина и придавать ему ложное толкование? Нет, дорожа своим именем (а Пушкин им дорожил даже мучительно), он мог рассказывать о письме Пущина только в том случае, если оно не имело того смысла, который ему приписывает Эфрос. Если бы оно такой смысл имело, Пушкин о нем молчал бы, как мертвый,— оно было бы самой главной, ибо самой стыдной тайной его жизни, и он знал бы, что если когда-нибудь встретится с Пущиным, то не будет ссылаться на зайцев, а станет отрицать самое получение письма. Не будучи глупцом, только так он мог поступить в том случае, если письмо имело смысл вызова. Иными словами: если бы все было так, как воображает Эфрос, то мы бы никогда ни от кого о пушкинском дезертирстве не узнали. И менее всего мог бы Пушкин на этот счет откровенничать именно с братом, которого недолюбливал по разным причинам, в том числе за болтливость.

Следовательно: если пущинское письмо действительно существовало, то «эфросовского» смысла оно не имело ни в глазах отправителя, ни в глазах адресата. Если оно было, то заключало в себе лишь ту мысль о перемене судьбы, которая явилась и самому Пушкину, и могло только дать толчок поездке, но не быть ее основной причиной. Поэтому-то Пушкин о нем и не упоминал никому, кроме, быть может, Льва Сергеевича. Точно так же и Пущин потому не упомянул о нем в своих записках, что важного значения, значения вызова, оно не имело, заключая в себе лишь дружеский привет и намек на возможность благоприятной перемены в участи Пушкина; по той же причине Пущин мог и просто забыть об этом письме; если бы в нем был вызов, он, разумеется, не забыл бы. Но могло быть и то, что письма просто не существовало вовсе: Лев Сергеевич мог чего-то напутать, а то и присочинить. Словом, тут возможны разные предположения, кроме одного: кроме обвинения Пушкина в «политическом и моральном дезертирстве». Для такого обвинения, самого тяжкого из всех, когда-либо предъявлявшихся Пушкину, нет никаких оснований. Ничего, кроме клеветы на Пушкина, оно в себе не содержит.

1935

«ДРУЗЬЯ-МОСКАЛИ»

Прошу прощения у читателей — сегодняшнюю статью я позволю себе начать воспоминаниями характера семейственного и личного. Надеюсь, однако, что они до некоторой степени посодействуют внутреннему пониманию книги, о которой речь будет ниже.

Мой отец родился ровно сто лет тому назад, в 1835 году, в том самом Новогрудке, который был родиной Мицкевича. По семейному преданию, предки мои были в дальнем родстве с Мицкевичами. В отцовских бумагах я не нашел подтверждения прямому родству, но несомненно, что оба рода принадлежали к одному шляхетскому гнезду и знаменовались общим гербом. Отец мой рано покинул родину, добрался до Петербурга и поступил в Академию художеств, где был учеником Бруни и товарищем Перова, с которым они вместе и голодали. Окончив Академию, отец поехал в Вильну, но там прожил недолго и, женившись, окончательно перебрался в Россию: сперва в Тулу, где родились все мои братья и сестры, а потом в Москву.

В России мои родители обжились прочно, говорили по-русски без малейшего акцента, настоящим московским говором. При всем том оставались они горячими польскими патриотами, знакомство водили по большей части с поляками и весьма огорчались тем, что дети, обрусевшие окончательно, не разделяли их чувств. Все их надежды сосредоточились на мне, как на младшем, из меня мечтали они сделать поляка и отчасти старались меня отделить от других детей, благо был я много моложе. Говорили со мной по-польски, покупали мне польские книжки, по воскресеньям возили в польскую церковь. Однако имели неосторожность отдать меня в русскую школу, потом в гимназию — и, разумеется, мало-помалу мечты их рушились. Тем не менее, махнув рукою на старших, меня долго еще корили и упрекали. Мать то и дело говорила о других, счастливых матерях, которым Бог не послал такого испытания, как ей.

Среди тех настоящих, хороших, заядлых поляков, которых ставили нам в пример, исключительное, особливо почетное место занимал московский адвокат Александр Робертович Ледницкий. О нем говорили почти что с благоговением, а мне сверх того ставили в пример и попрек его сына, сверстника моего, который был всего лишь несколькими годами меня моложе. Александра Робертовича

я видел всего раз в жизни, мельком, в передней у моего старшего брата, к которому он заезжал по какому-то делу. Запомнились только его статная фигура и красивый поворот головы. Был он в оленьей дохе и в меховой шапке. Сына же его я в ту пору не видел ни разу, но — что греха таить? — заочно его недолюбливал, как все мы в ребячестве не любим тех, кого нам ставят в пример. Разговоры об этом хорошем мальчике меня раздражали, и я ревновал к нему свою мать. Досаде моей была и еще причина, столь же несправедливая, но в тогдашнем моем возрасте естественная. Должен сказать по совести, что никакой нелюбви к России у моих родителей решительно не было, но у других поляков мне случалось ее замечать. Поэтому, воображая семью Ледницких, я представлял их себе лютыми ненавистниками России, и это меня приводило в бешенство.

С тех пор прошло много лет, и только уже здесь, в эмиграции, понял я вполне, до какой степени был несправедлив. Перебравшись в воскресшую Польшу и заняв в ней почетное положение, А.Р.Ледницкий вплоть до недавней своей трагической кончины остался искренним другом России и русских.

Его сын Вацлав Александрович ныне состоит профессором Краковского университета, в котором читает историю русской словесности. Под его же редакцией выходит серия книг, носящих несколько громоздкое название «Труды Польского Общества для изучения Восточной Европы и Ближнего Востока» и в значительной степени посвященных изучению России. Несомненно, что среди современных европейских ученых В.А.Ледницкий принадлежит к числу наилучших знатоков русской литературы, а может быть, и занимает среди них первое место, так как, в отличие от многих других, является не только осведомителем по данному предмету, но и самостоятельным исследователем, знакомство с трудами которого становится необходимо и современным русским ученым. При этом необходимо отметить, что отличительную черту его работ составляет не только глубокая любовь к русской словесности, но и очень высокое мнение о всей духовной культуре былой России. В этом отношении Ледницкий поддерживает традицию своего отца.

В своих трудах, публикуемых отчасти по-польски, отчасти по-французски, В.А.Ледницкий сосредоточивает особое внимание на истории русско-польских культурных отношений. Надо ему отдать справедливость — эта тема, чрезвычайно сложная и во многих пунктах болезненная, трактуется Ледницким не только с боль-

шой эрудицией, но и с проникновенным пониманием русской психологии, русских исторических обстоятельств. Отнюдь не замалчивая даже таких острых тем, как известное полонофобство, довольно широко распространенное в русском обществе, Ледницкий старается вникнуть в его объективные причины и если не оправдать, то объяснить его. С другой стороны, он старательно напоминает о том сочувствии к Польше и полякам, которое не раз проявлялось в среде лучших представителей культурной России. В этом отношении весьма характерна его книга о Льве Толстом, изданная минувшим летом: *Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoi*. Польский вопрос послужил Ледницкому как бы фонарем, с которым он прошел сквозь творчество и жизнь Толстого, обнаружив наглядно, как под влиянием нравственного перерождения, совершавшегося в великом русском писателе, изменялось от худшего к лучшему его отношение к полякам и Польше. Вообще говоря, прослеживая русско-польские отношения, Ледницкий неизменно стремится в них вскрыть и подчеркнуть в особенности все то, что связывало, а не то, что разделяло два братских народа. В этом — не только главная особенность, но и отличительное достоинство его работ.

Образ Мицкевича есть центральный и величайший образ в истории польской литературы, а может быть, и в истории Польши вообще. Изучение Мицкевича столь же естественно, необходимо и привлекательно для поляка, как изучение Пушкина — для историка русской литературы. Поэтому не приходится удивляться, что Ледницкий, как поляк и историк русской литературы, обратился к специальному изучению этих авторов. Было, однако, еще одно обстоятельство, благодаря которому параллельное, даже совместное изучение Пушкина и Мицкевича постепенно заняло центральное место в научных трудах Ледницкого. Взаимоотношения Пушкина и Мицкевича по целому ряду причин представляют собою не только один из самых драматических моментов в истории польско-русских отношений, но как бы и зеркало, в котором эти отношения отразились с особою полнотою и выразительностью. Трагическое сплетение любви и вражды, соединявшее двух столь великих людей, так много значивших друг для друга и так величественно представивших свои народы, было историческим и символическим выражением тех сил и чувств, которыми были соединены и разделены эти народы. Исследование русско-польских отношений само по себе предполагает подробное исследование отношений между Пушкиным и Мицкевичем, а затем и шире — ис-

следование отношений Мицкевича с теми русскими, которые могли о нем сказать пушкинскими словами — «он между нами жил». В свою очередь, ознакомление с мицкевичевско-пушкинской драмой невозможно без изучения Пушкина вообще. Вот почему естественно было Ледницкому не только стать пушкинистом, но и быть одним из зачинателей польского пушкинизма. В 1926 г. вышла его книга *Александр Пушкин*. В ней центральное место занимает исследование об «антипольской лирической трилогии Пушкина» — в этом исследовании автор не только проявил глубочайшее знание и понимание предмета, но и выказал по отношению к Пушкину более терпимости, чем в свое время выказали такие современники поэта, как, например, Соболевский и Вяземский. Однако наряду с русско-польской темой в книге были затронуты столь специальные вопросы пушкиноведения, как предполагаемая любовь Пушкина к Марии Волконской, история пушкинской женитьбы и т.д. Следующей работой Ледницкого, имеющей самую тесную связь с основной темой его работ, было обширное послесловие к польскому переводу «Медного всадника»; об этом послесловии, едва ли не самом обширном исследовании, касающемся пушкинской повести, мы в свое время писали.

Новая, только что вышедшая книга Ледницкого озаглавлена *Друзья-москали* — по имени знаменитого мицкевичевского стихотворения, в котором с такой силой сказалась вся сложная гамма отношений поэта к русским друзьям. Этот объемистый том составлен из ряда статей, посвященных преимущественно русско-польским отношениям и связям все той же пушкинско-мицкевичевской поры. Часть статей (например — «Пушкиниана и мицкевичиана», «Мицкевич в переписке кн. П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым в 1834—1844 гг.») представляет более интереса для польских читателей, чем для русских, являясь сводкою данных, опубликованных в русской научной литературе. Зато другая часть могла бы послужить вкладом и в русскую историко-литературную науку. К числу таких статей надо отнести: «Грибоедов и Польша»; «„Метель“ Пушкина» (полезнейшее исследование о литературных источниках пушкинской повести); «Пушкин — Мицкевич» (о некрологе Пушкина, принадлежащем перу Мицкевича); «Стихи Каролины Павловой о Мицкевиче»; «Баратынский и Мицкевич» (статья, посвященная спорному вопросу о том, к кому обращено стихотворение Баратынского «Не бойся едких осуждений»: здесь мы, впрочем, не можем согласиться с предположением автора, что стихи не имели определенного адресата и даже, быть может, были обраще-

ны Баратынским к себе самому; оно, конечно, не обращено к А.Н. Муравьеву, как в одной из своих работ заявил М.Л.Гофман: в этом случае пришлось бы допустить, что Баратынский себя самого называет наставником и пророком, что было бы слишком для Баратынского нескромно и неумно; но так как слишком немного было и таких людей, которых Баратынский мог бы назвать пророками и наставниками, то приходится вернуться к старым предположениям: стихотворение либо обращено к Мицкевичу, хотя доводы, приводимые Ледницким, против такого мнения довольно убедительны,— либо к Пушкину). Наконец, большой интерес для русских историков литературы представляет подробное, снабженное несколькими факсимиле, описание альбома Марии Шимановской, тещи Мицкевича. Здесь Ледницким приведены неизданные письма Жуковского, Вяземского, Козлова, а также дан ряд стихотворений Батюшкова, Козлова, Жуковского, Карамзина, Дмитриева, Дениса Давыдова, Гнедича, Зинаиды Волконской, Федора Глинки и Державина. Некоторые из этих стихотворений публикуются впервые, другие содержат неизданные варианты. В общем, описание альбома и чрезвычайно содержательная статья, ему предпосланная, составляют любопытнейший вклад в ту русско-польскую культурную историю, над которой так любовно, с таким дружеским усердием трудится польский ученый. Приходится только пожалеть, что большинство работ В.А.Ледницкого, будучи написаны по-польски, недоступны широкому кругу русских читателей. В частности, нельзя не пожелать, чтобы и на русском языке было издано исследование, которым он занят в настоящее время: «Легенда и правда о смерти Грибоедова». Сколько нам известно, это исследование основано на неизданных и весьма интересных архивных документах.

1935

1936

ПИСЬМА ПУШКИНА К Н.Н.ГОНЧАРОВОЙ

В 1830 году, в пору жениховства, Пушкин написал своей невесте четырнадцать писем. Из них первое, предположительно относимое к началу июня, сохранилось только в черновике, находящемся среди рукописей, принадлежащих московскому Румянцевскому музею. Можно думать, что оно либо вовсе не было отослано Пушкиным по адресу, либо утрачено еще самой Натальей Николаевной. Прочие тринадцать писем (а также одно письмо позднейшей эпохи, адресованное Пушкиным его теще, Н.И.Гончаровой) после смерти Н.Н.Пушкиной-Ланской перешли к ее младшей дочери от первого брака — граф. Наталье Александровне Меренберг. Судьба этих рукописей оказалась неодинакова. Одно письмо было потеряно И.С.Тургеневым еще в семидесятых годах, при обстоятельствах, о которых будет сказано ниже. Два письма после некоторых скитаний сделались собственностью Пушкинского Дома при Академии Наук. У гр. Меренберг, таким образом, осталось десять писем к невесте и одно — к теще. Она завещала их своей дочери, гр. Торби, морганатической супруге великого князя Михаила Михайловича. В 1928 году гр. Торби скончалась, и в следующем году пушкинские письма были приобретены у ее наследников С.П.Дягилевым. По смерти Дягилева его библиотека и собрание автографов были куплены известным артистом С.М.Лифарем, который и стал обладателем писем. В настоящее время, в связи с приближающимся пушкинским юбилеем, С.М.Лифарь посвятил принадлежащим ему документам особый том, изданный с исключительной роскошью. К сожалению, нам кажется, что благие намерения щедрого издателя были использованы не так, как бы следовало. Постараемся объяснить, в чем дело.

Еще в 1877 г. гр. Меренберг передала принадлежащие ей письма И.С.Тургеневу для их опубликования. Все они — за исключением одного, ныне принадлежащего Пушкинскому Дому и не вошедшего в собрание С.М.Лифаря, написаны по-французски. Тургенев их напечатал в *Вестнике Европы* за 1878 г., причем поступил в духе своего времени: дал не подлинный текст, а русский перевод, исполненный им самим или под его наблюдением. С тех пор этот перевод перепечатывался многократно и вошел во все существующие издания пушкинских писем. Таким образом, *все содержание* ныне публикуемых документов известно уже почти

шестьдесят лет. Неизвестен оставался только их подлинный французский текст.

До тех пор, пока этот текст оставался неизвестен, можно было ожидать, что Тургеневым при печатании писем были сделаны значительные пропуски или что в его переводе имеются существенные неточности. Эти ожидания не оправдались. Оказалось, что тургеневский перевод — полный. Что же касается его смысловых неточностей, то их нашлось всего шесть, притом — в сущности, незначительных, представляющих некоторый интерес только для специалистов. Столь же незначительны, а к тому же и спорны два текстуальных разночтения, предложенных комментатором писем — М.Л.Гофманом. (Комментатор полагает, что в письме от 30 сентября надо читать «1000» рублей, а не «7000», как прочел Тургенев в том месте, где речь идет о цене бронзовой статуи, которую дед невесты собирался продать. Нам кажется, что тут М.Л.Гофман прав; но мы думаем, что в другом случае прав был Тургенев, когда последнее слово того же письма прочел «autres», а не «centres», как предлагает читать М.Л.Гофман, который, впрочем, и сам на таком чтении не настаивает.) Из всего этого следует, что новая публикация, ради которой и было предпринято все нынешнее издание, представляет несомненную ценность для пушкинистов, но не дает ничего нового широкой публике, которая, разумеется, в письмах Пушкина ищет о нем новых сведений, а не новых текстов.

Французский текст писем сопровождается двумя переводами: старым, тургеневским, и новым, принадлежащим перу М.Л.Гофмана. Но специалистам-пушкиноведам старый перевод не нужен, ибо у каждого из них он имеется в нескольких изданиях. К тому же теперь, с опубликованием подлинников, специалисты прямо к последним и будут обращаться. Новый перевод мог бы быть полезен для рядовых читателей, не знающих французского языка, но лишь в том случае, если бы он был лучше тургеневского. Между тем перевод М.Л.Гофмана — не лучше. Шесть смысловых ошибок, допущенных Тургеневым, можно было оговорить в небольшой заметке. Давать же полный новый перевод стоило лишь при том условии, если бы он был стилистически совершеннее и точнее. Этого нет. Некоторые погрешности и неточности Тургенева в гофманском переводе исправлены. Зато другие сохранены и к ним прибавлены новые. Подробное сличение переводов заняло бы слишком много места, но вот несколько примеров. У Пушкина в передаче разговора с Загряжской сказано: «Oui, Madame»; Гофман, не со-

храня вежливого оттенка фразы, отрубает: «Да». У Тургенева сказано гораздо лучше: «Точно так». У Пушкина: «n'allez pas vous éffraier»; Тургенев переводит: «Не испугайтесь»; у Гофмана: «Не пугайтесь, пожалуйста». Тут оба неточно передают оттенок фразы: надо бы сказать: «не вздумайте испугаться». У Пушкина сказано просто: «ne me pardonnent pas»; Тургенев просто переводит: «не прощают мне»; М.Л.Гофман слегка присочиняет: «не могут мне простить». У Пушкина: «il faudra proceder au partage»; у Тургенева: «нужно приступить к разделу»; у Гофмана: «придется произвести раздел»; тут оба переводчика частично правы, частично неправы, ибо следовало сказать: «придется приступить к разделу». Отмечу, наконец, что у М.Л.Гофмана осталась вовсе без перевода приписка к письму от 30 июля.

Поскольку публикация подлинного текста придает давно известным письмам лишь новое словесное обличие, ничего не прибавляя к их содержанию,— издатели поступили бы правильно, если бы ограничились примечаниями палеографического характера. Реальный комментарий, данный М.Л.Гофманом, составлен хорошо, обстоятельно, но, разумеется, он не полнее и не лучше комментариев покойного Модзалевского, которые имеются у каждого пушкиниста и у многих читателей, интересующихся Пушкиным. Новый комментарий имел бы смысл только в том случае, если бы давал что-нибудь существенно новое для понимания текста. Этого нет, и, следовательно, комментарий Гофмана, как и его перевод писем, только напрасно тягощает и удорожает издание.

Вырабатывая план книги, С.М.Лифарь и М.Л.Гофман не пожелали откровенно сознать и признать, что по самому поводу своего возникновения она может иметь лишь научный и специальный характер. Основную, несомненную ее ценность составляют те факсимильные воспроизведения писем, которые к ней приложены. Исполнены они превосходно. К ним следовало приложить транскрипцию текста, историю публикуемых рукописей, их описание и небольшую заметку о тех шести смысловых погрешностях, которые ныне обнаруживаются в переводах Тургенева. Получилась бы небольшая книга, страниц в тридцать, а не в 158,— зато носящая серьезный, строгий характер, достойный предмета, которому она посвящена.

Публикуемые тексты не вносят ничего существенно нового ни в творчество Пушкина, ни в его биографию, ни даже в историю его женитьбы. В истории отношений Пушкина с его женой составляют они лишь одну главу. Следовательно, они прежде всего не да-

ют ни малейшего повода для тех вполне импрессионистических рассуждений о Пушкине вообще, которыми С.М.Лифарь открывает книгу. Допускаю, что многим поклонникам и поклонницам восхитительного артиста весьма интересно узнать, что он думает о Пушкине. Но эту статью лучше было издать отдельной брошюрой, хотя бы просто потому, что она отнюдь не основана на тех текстах, ради которых предпринято издание книги. Столь же лишним в данном издании представляется нам обширный очерк М.Л.Гофмана — «Невеста и жена Пушкина». По самой теме он слишком широк для книги, в которой дана лишь небольшая вступительная часть переписки Пушкина с Натальей Николаевной. Его тоже следовало напечатать отдельно, тем более что и он носит если не импрессионистический, то все же весьма субъективный характер. Для издания, возникшего по совершенно научному поводу, в этом очерке слишком много спорного и недоказанного.

Мы склонны думать вместе с М.Л.Гофманом, что фактически Наталья Николаевна сумела или успела остаться верной женой Пушкина. Но это еще не основание для идеализации ее образа. Восторженные оценки самого Пушкина в письмах к приятелям и в разговорах с ними — материал ненадежный, а может быть даже и свидетельствующий против Натальи Николаевны. Пушкин был крайне самолюбив (М.Л.Гофман справедливо отмечает роковую роль самолюбия в истории его гибели). Он мог подчеркнуто, нарочито расхваливать свою жену именно потому, что хотел внушить окружавшим веру в те достоинства, которых Наталья Николаевна на самом деле не имела. Всякий раз, как современники хотели сказать о ней что-нибудь хорошее, они говорили только об ее красоте. По-видимому, у нее не было нравственных пороков, но она была легкомысленна и не умна. Несколько лет тому назад сам М.Л.Гофман опубликовал письмо Соболевского Плетневу. В этом письме, написанном после смерти Пушкина, находим ряд характеристик Натальи Николаевны: «она добра, но ветрена и пуста»; «привыкнуть к порядку, к бережливости, к распорядительности она не может»; «большим охотником я до нее никогда не был, но крепко, крепко верую с ним (с Пушкиным) вместе, что она виновата только по ветрености и глупости»; «она к прихотям и роскоши слишком привыкла». Эта характеристика подтверждается отзывами других лиц, знавших Наталью Николаевну, и не опровергается письмами самого Пушкина к ней, написанными в пору их брачной жизни. При таких обстоятельствах попытка М.Л.Гофмана представить Н.Н. образцом всех добродетелей и ума в том числе

— дело безнадежное. Гораздо ценнее и убедительнее некоторые соображения, высказанные им по поводу роли Геккерена в истории дуэли. С этими соображениями, мне кажется, придется считаться биографам Пушкина.

Неправильный основной взгляд на задачу издания привел к тому, что и по внешности оно более помпезно, чем хотелось бы и чем то предписывал хороший вкус. Воспроизведенная на фронтисписе миниатюра, изображающая Пушкина, вряд ли принадлежит кисти Тропинина: вероятнее, что она — позднейшего происхождения и лишь иконографически восходит к тропининскому портрету; однако, если она даже и писана с молодого Пушкина, трудно допустить, чтобы он действительно мог ее подарить невесте: «потомок негров безобразный» был слишком нелестного мнения о своей наружности для того, чтобы подносить красавице свой портрет, а главное — самый этот жест слишком плохо вяжется с представлением о благовоспитанности и даже дендизме Пушкина. Портрет Н.Н.Пушкиной (вариант общеизвестного портрета в берете со страусовым пером) обозначен как работа К.П.Брюллова; если не ошибаемся, это — работа Гау. Наконец, не слишком тактичным нам кажется то, что обертка книги запечатана подлинною печатью Пушкина, приобретенною С.М.Лифарем у его наследников. Что бы сказал «шестисотлетний дворянин» Пушкин, если бы узнал, что мы так свободно пользуемся его гербовой печатью?

1936

О ПИСЬМЕ Г. ГОФМАНА

2 апреля в *Возрождении* была напечатана моя статья о книге г.г. Лифаря и Гофмана — *Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой*. Она не содержала ни резких оценок, ни резких выражений, но вызвала в авторах книги крайнее раздражение, внутренние причины которого объяснять не стоит. Полетели письма в редакцию. Первое, подписанное г. Лифарем, было тем хорошо, что кратко. Редакция *Возрождения* любезно его напечатала с моим небольшим ответом, в котором я, между прочим, указал г. Лифарю, что критика свободна и что не должно ее смешивать с рекламой. Прочитав мой ответ, на выручку г. Лифарю поспешил г. Гофман, приславший статью строк в триста. Считая вопрос исчерпанным и оценив по

достоинству это произведение, редакция возвратила его автору. Тогда г. Гофман обратился в редакцию *Последних новостей*, которая поместила его письмо в номере от 30 апреля. Признаюсь, мне до последней степени противно и скучно вникать в неправдивую казуистику г. Гофмана «и сплетней разбирать игривую затею». Я бы и не удостоил его ответа, но беда в том, что писание г. Гофмана явно рассчитано на неосведомленность читателей. С полемикой этого рода необходимо бороться, и вот, делать нечего, приходится мне снизойти до ответа.

Г. Гофман начинает с того, что обвиняет меня в «пристрастии», в «раздражении», в «желании дискредитировать большое культурное русское дело» — «культурный подвиг Сергея Лифаря». Не буду останавливаться на голословности этих обвинений. Г. Гофман отлично знает, что и по существу они ложны. В 1934–1935 гг. С.Лифарем изданы были три книги: *Путешествие в Арзрум* с примечаниями г. Гофмана, *Египетские ночи* с его же статьей и *Пушкин — Дон Жуан*, исследование того же г. Гофмана. Обо всех этих изданиях я писал в *Возрождении*, отмечая полезную издательскую деятельность г. Лифаря и сочувственно отзываясь о работах г. Гофмана (в частности — о *Египетских ночах*, сделав г. Гофману несколько принципиальных возражений, я говорил несравненно снисходительнее, нежели Н.К.Кульман в *Современных записках* и Г.В.Адамович в *Последних новостях*). Этими фактами мое беспристрастие устанавливается неопровержимо. Г. Гофману они известны, но о них он молчит, ибо ему нужно уверить читающую публику в моей критической несправедливости. А это, в свою очередь, нужно ему потому, что последнее издание г. Лифаря вызвало во мне менее сочувствия, нежели предыдущие.

Говоря «менее сочувствия», я выражаюсь совершенно точно, ибо основная цель издания (публикация подлинных французских писем Пушкина, дотоле известных лишь в переводе) может быть встречена без сочувствия разве только сумасшедшим, а я еще, слава Богу, с ума не сошел. Я ее и приветствовал, но при этом счел своим долгом отметить, что благие намерения издателя были им самим и г. Гофманом использованы неудачно, ибо книга оказалась загромождена лишним материалом, непомерно удорожившим ее стоимость. Прошу заметить, однако, что, говоря об этом балластном материале, я всякий раз указывал и на его положительные стороны. Так, находя очерк г. Гофмана «Невеста и жена Пушкина» в данном издании лишним и не соглашаясь с характеристикой г. Гофмана, я подчеркнул, что им высказано несколько «ценных и

убедительных» соображений по поводу роли Геккерена в истории пушкинской дуэли. О комментариях г. Гофмана к публикуемым текстам я писал, что при наличии комментариев Модзалевского в них нет надобности, но что сами по себе они составлены «хорошо, обстоятельно». Г. Гофман заявляет, что я и тут непоследователен и придиричив, ибо некогда я сам приветствовал полноту его комментария к «Путешествию в Арзрум». Это заявление в высшей степени характерно для полемических приемов г. Гофмана. Оно рассчитано на неосведомленность читателей, ибо сам-то он очень хорошо понимает, почему я приветствовал комментарий к *Путешествию в Арзрум*, а комментария к письмам не приветствовал: причина вся в том, что письма давно и прекрасно комментированы Модзалевским, а полный и последовательный комментарий к *Путешествию в Арзрум* г. Гофманом дан впервые. Отмечаю, наконец, что даже вступительной статье г. Лифаря я дал предельно мягкую оценку, назвав ее «импрессионистской» и указав, что так как она не основана на письмах Пушкина к невесте, то лучше было издать ее отдельной брошюрой. И вот, после всего этого, г. Гофман осмеливается меня обвинять в недоброжелательстве и несправедливости!

*

Предвидя, что развязные, но голословные обвинения меня в несправедливости объективно неубедительны, г. Гофман вздумал подкрепить их заявлениями о моей пушкинистской некомпетентности. Забавно, что вплоть до появления моей статьи от 2-го апреля г. Гофман на этот счет был иного мнения. Начну с того, что в течение двух лет г.г. Лифарь и Гофман систематически снабжали меня всеми своими сочинениями с дружескими надписями. Некоторые издания подносились мне даже в двух экземплярах — в виде цельных книг и отдельных оттисков. На некоторых книгах делались специальные печатные пометы: «Экземпляр такого-то». Этого мало. Г. Гофман считал полезным беседовать со мной о своих текущих работах и показывать мне их в корректурах, прося советов и указаний. Последнее обстоятельство может быть мною доказано документально, а след наших бесед имеется на 86 стр. книги г. Гофмана *Пушкин — Дон-Жуан*, где сказано: «В.Ф. Ходасевич... высказывал нам предположение... Это предположение кажется нам тем правдоподобнее, что...» — и т.д. Насколько г. Гофман ценил мои мнения, видно из следующего факта. Выше-

упомянутую свою статью г. Лифарь прислал мне за несколько месяцев до выхода книги в виде отдельного оттиска. По этому поводу г. Гофман мне писал, что интересуется моим мнением о статье, а также — что несколько экземпляров оттиска выпущено в продажу — с единственной целью создать повод для появления моего печатного отзыва об этом произведении. Собираясь предложить французскому издателю сборник статей о Пушкине, г. Гофман считал полезным привлечь меня к участию в этом деле. Наконец, не так давно г. Гофман предлагал мне написать *статью под общей нашей подписью*.

Я упомянул здесь только о тех фактах, которые могу подтвердить документами. Однако они доказывают неопровержимо, что, как сказано выше, в моей пушкинистской некомпетентности г. Гофман убедился только после появления статьи, вызвавшей его досаду.

Посмотрим теперь, в чем проявилось мое пушкинистское невежество. Г. Гофман указывает несколько ошибок, будто бы мною допущенных. Я должен прежде всего обратить внимание читателей на то, что *даже если бы эти ошибки существовали в действительности, ни одна из них не касалась бы существенных вопросов пушкиноведения и, следовательно, не давала бы повода к заявлениям о моей некомпетентности*. Но в действительности я, конечно, не сделал и тех ошибок, которые мне старается подбросить г. Гофман. Наперед прошу извинения у читателей: мне придется привлечь их к участию в скучноватом и кропотливом распутывании хитросплетений г. Гофмана.

Г. Гофман притворяется, будто его ужасают мои слова о том, что старые переводы пушкинских писем, напечатанные в *Вестнике Европы*, исполнены самим И.С.Тургеневым «или под его наблюдением», тогда как в *Вестнике Европы* сказано, что Тургеневым они только «просмотрены». Между тем среди пушкинистов всегда существовало предположение, что переводы эти Тургеневым не только просмотрены, но и исполнены. Таково, между прочим, было мнение М.О.Гершензона, который Тургеневым занимался побольше, чем г. Гофман. На это предположение я и намекнул, отметив, однако, что, может быть, Тургенев только наблюдал за исполнением переводов. В чем же моя ошибка?

Далее, я указал, что г. Гофманом отмечено шесть смысловых ошибок в старом переводе. Г. Гофман, стараясь ввести читателя в заблуждение, заявляет теперь, что этих ошибок «гораздо больше». Но, во-первых, их не больше, а во-вторых, речь ведь идет не об

ошибках вообще, а лишь о тех, которые отмечены г. Гофманом в книге. Этих ошибок именно шесть. Они им указаны на сс. 31, 36 (три ошибки), 41 и 66.

Отмечая, что в старом переводе имеется ряд *стилистических погрешностей и неточностей* (которые должно отличать от *смысловых ошибок*), я писал, что такие же стилистические погрешности есть и в переводе г. Гофмана, и привел четыре примера. Стараясь ввести читателя в заблуждение, г. Гофман заявляет, что «курьезны» мои указания на допущенные им «ошибки». Если бы дело шло действительно об ошибках, мои указания были бы не только курьезны, но и нечестны. Но я указывал не на *ошибки* перевода, а на *стилистические неточности*. Я привел четыре примера таких неточностей. Г. Гофман, молчаливо соглашаясь с тремя из них (но не сообщая об этом читателю), заявляет, будто я выискал *ошибку* в его переводе фразы: «il faudra proceder au partage», которую он перевел: «придется произвести раздел». Но никакой *ошибки* я, разумеется, в этом переводе не указывал. Я лишь отметил, что *стилистически точнее* было бы сказать: «придется приступить к разделу». Оно так и есть. Но г. Гофману хочется недобросовестно обвинить меня в том, что я приписываю ему *ошибки*, которых у него нет. Он оправдывается в том, в чем я его не обвинял.

Перейдем к следующей моей «ошибке». Я писал, что приложенная к книге миниатюра (портрет Пушкина) вряд ли принадлежит кисти Тропинина. Г. Гофман возмущается тем, что я смею сомневаться после того, как А.Н.Бенуа, Браз и кн. Аргутинский единогласно признали миниатюру тропининской. При всем уважении к названным лицам я позволяю себе по-прежнему сомневаться, памятуя, что история живописи изобилует ошибочными атрибуциями, порою принадлежащими не менее почтенным знакам. Но поразительнее всего то, что сам г. Гофман пишет: «было (и есть) сомнение в том, что миниатюра принадлежит Тропинину, и у меня». Спрашивается: почему же г. Гофман считает свое сомнение (которое у него «*было и есть*») законным, а мое — чуть ли не кощунственным, и почему его сомнение — только сомнение, а мое — проявление невежества?

Я высказал предположение, что миниатюра не была подарена Пушкиным невесте и что она, быть может, позднейшего происхождения. Г. Гофман заявляет: «миниатюра написана между 1825 и 1830 гг.» Заявление точное, но ничем не подкрепленное, подбитое ветром. Читатель может спокойно не верить г. Гофману, пока

он не подтвердит своих слов документами о происхождении миниатюры и о времени ее написания.

Допуская, что все-таки миниатюра писана с молодого Пушкина, я писал, что вряд ли он мог сам поднести ее невесте, ибо такой жест плохо вяжется с представлением о благовоспитанности и даже дендизме Пушкина. Г. Гофман возражает, что если бы я был знаком с писательским бытом пушкинской эпохи, то знал бы, что такой жест был «очень распространен». Опять — расчет на неосведомленность читателя и на убеждающую силу развязности. В «распространенность» обычая я бы поверил, если бы г. Гофман сумел привести хоть три-четыре примера, но он не приводит ни одного. Однако и в этом случае не было бы оснований считать, что Пушкин должен был поступать как другие. То, что вяжется с обычаями других писателей, могло не вязаться с характером и взглядами Пушкина.

Чтобы покончить с этим вопросом, укажу, что совершенно нелепо утверждение г. Гофмана, будто Пушкин не был благовоспитан в том смысле, как я это понимаю. В доказательство г. Гофман ссылается на переписку Пушкина. Смею уверить, что я ее читал. В ней много непристойностей, как и в некоторых его стихах. Однако ни таких писем, ни таких стихов Пушкин не посылал и не мог посылать своей восемнадцатилетней невесте. Писание непристойностей в письмах, например к Вяземскому, не противоречило понятиям Пушкина о благовоспитанности, а поднесение своего портрета невесте очень могло противоречить. Впрочем, мне кажется, что и здесь г. Гофман только делает вид, будто не понимает, что дело идет о совершенно разных вещах. И опять: почему мое *сомнение* в том, что миниатюра была поднесена Пушкиным невесте, есть признак моего невежества? Только потому, что я не могу слепо верить заявлениям г.г. Лифаря и Гофмана? А что, если они ошибаются? Есть ли у них доказательства? Полагаю, что нет, ибо в противном случае они привели бы их в своей книге, и потому полагаю себя вправе сомневаться до тех пор, пока г.г. Лифарем и Гофманом не будет *доказано*, что миниатюра действительно была поднесена Пушкиным невесте.

От портрета Пушкина г. Гофман переходит к портрету Н.Н. Пушкиной. Об этом портрете я писал: «если не ошибаемся — это работа Гау». Г. Гофман, ловко включая мое условное предположение в число моих «ошибок», заявляет: «Смею также уверить знатока пушкинской иконографии, что есть портрет Натальи Николаевны работы Гау (постоянно воспроизводимый) и есть мало-

известный портрет работы К.П.Брюллова (воспроизведенный в нашем издании)». Но я «не верю увереньям». Портрет, бездоказательно приписываемый г. Гофманом Брюллову, слишком близок к портрету Гау, чтобы не предположить принадлежность его тому же художнику. Портрет работы Гау читатель найдет в IV томе брукгаузовского издания сочинений Пушкина, в 16–18 вып. *Литературного наследства* и в др. книгах. Сличив его с портретом, напечатанным в книге г.г. Лифаря и Гофмана, нельзя не увидеть разительного тождества в платье, в брошке, в ленте на шее, в повороте головы, в прическе. Разница только в том, что на общеизвестном портрете нет белой звездочки на берете и перо несколько иное. Все это и давало и дает мне возможность предполагать, что портрет, приписываемый ныне Брюллову, принадлежит тому же Гау, являясь вариантом или эскизом.

*

От неосновательных обличений в «ошибках» г. Гофман переходит к инсинуациям иного порядка. Признав, что в моей статье я ничего не говорю о добросовестности авторов, через несколько абзацев г. Гофман вдруг заявляет, будто в ней есть «одно не совсем место» и каким способом его можно истолковать как скрытый намек на плагиат». Он, однако, не указывает, какое это для него самого «не совсем ясное» место и каким способом его «можно истолковать» как намек на плагиат. Причина простая: такого места в моей статье просто нет. *Это голословное и заведомо ложное обвинение меня в клевете само по себе есть клевета на меня*, рассчитанная на то, что разыскивать и перечитывать мою статью читатель не станет, а то, что я будто бы обвинял г. Гофмана в плагиате, запомнит. Я отбрасываю клевету с отвращением, так же как и весь заключительный мотив статьи Гофмана, касающийся инцидента, происшедшего между нами в начале 1929 г. Вспоминать об этом инциденте понадобилось г. Гофману затем, чтобы заявить, будто однажды я уже «попался» на несправедливом обвинении г. Гофмана в плагиате. На самом деле я и тогда ставил в вину г. Гофману не плагиат у Морозова, а нечто иное, и г. Гофман тогда обвинил меня в клевете столь же облыжно, как и теперь. Я тогда действительно согласился на суд чести между нами и действительно ушел с четвертого заседания, после того, однако, предлагал суд восстановить (см. об этом мое письмо в редакцию *Последних новостей*, напечатанное в № 2967 этой газеты). Г. Гофман на воз-

обновление суда не согласился, из этого явствует, что в конечном счете суд был прекращен им, а не мною. Об этом г. Гофман умалчивает.

Он молчит и о том, что 5 декабря 1933 г. он *первый* обратился ко мне с письменным предложением помириться, чего, конечно, не сделал бы, если бы считал меня клеветником. Ровно через год после этого г. Гофман подарил мне свою книгу о «Египетских ночах» с надписью: «Дорогому Владиславу Фелициановичу Ходасевичу с доброй памятью и на добрую память». Ныне, после всего этого, г. Гофман позволяет себе повторять старые инсинуации. Его ссылка на Томашевского не стоит бумаги, на которой она напечатана, ибо *оправдывает его в том, в чем я его не обвинял*. Возобновлять же старый спор по истинному существу дела у меня нет ни времени, ни желания, ибо, однажды приняв руку, протянутую мне г. Гофманом, я тем самым нравственно обязался не возобновлять спора. Г. Гофман держится иных правил — тем хуже для него.

*

В 1924 г. г. Гофман дал г. Милюкову свою статью об отрывках т.н. X главы *Евгения Онегина*. Самые отрывки были приведены в статье полностью, но в ней не было указано, что они появлялись в печати уже четыре раза: в XIII вып. *Пушкина и его современников* (1910 г.), в VI т. брокгаузовского собрания сочинений Пушкина, в XXXIII—XXXV вып. *Пушкина и его современников* (1922 г.) и в *Хрестоматии по русской истории* М.Н.Коваленского (т.IV, изд. 1923 г.). Г. Милюков принял статью г. Гофмана за публикацию нового пушкинского текста и, печатая отрывки в пятый раз, посвятил им особую передовую статью, которая начиналась торжественными словами: «Читатель прочтет сегодня у нас неизданные строфы Пушкина, восстановленные известным пушкинистом М.Л.Гофманом...» (См. *Последние новости* от 28 декабря 1924 г., №. 1435.)

Казалось бы, однажды попав в крайне конфузное положение, наш историк литературы впредь воздержится от упражнений в области пушкинизма. Но нет. Получив письмо г. Гофмана, он решил выступить арбитром нашего спора. В том же номере газеты он за полной своею подписью напечатал статью под названием «Пушкинский подарок». Величаво отметив, что письмо г. Гофмана есть «ответ, вполне заслуженный сотрудником *Возрождения*»,

г. Милюков принялся расхваливать ту самую книгу, из-за которой сыр-бор загорелся. Статья представляет собою, так сказать, лирическую рекламу, немножко в духе кн. Шаликова. С лирикой не поспоришь — Бог с ней. Но вот что забавно. Большая часть статьи посвящена пересказу работы г. Гофмана «Невеста и жена Пушкина», — и тут мне приходится вступить за г. Гофмана. По словам г. Милюкова, г. Гофман «нам рассказывает, как во время самого своего сватовства к Гончаровой Пушкин три раза влюблялся и трижды собирался жениться на предметах своих увлечений: Пушкиной, Ушаковой, Олениной». Смее уверить читателей *Последних новостей*, что таких нелепостей г. Гофман «нам» не рассказывал. К С.Ф.Пушкиной Пушкин сватался не «во время самого своего сватовства к Гончаровой», а в конце 1826 г., т.е. ровно за два года до того, как познакомился с Н.Н.Гончаровой. В то время, когда он сватался к Гончаровой, С.Ф.Пушкина давно уже была замужем за В.А.Паниным. Точно так же и к А.А.Олениной Пушкин в Петербурге сватался в 1828 г. Сватовство это расстроилось до отъезда Пушкина из Петербурга, т.е. никак не позже 19 октября 1828 г. А с Гончаровой, как уже сказано, Пушкин познакомился только в декабре. Г. Гофман не писал и не мог написать тех очевидных глупостей, которые ему приписывает г. Милюков.

Другое дело — печать, которую запечатана обертка книги г.г. Лифаря и Гофмана. Я писал, что нахожу бестактным, когда г. Лифарь запечатывает свои издания случайно попавшей в его руки печатью, которою Пушкин запечатывал свои письма. Г.г. Лифарь и Гофман на меня обиделись, а г. Милюков растрогался: вы подумайте — «точно вчера запечатано»! Я, пожалуй, готов взять обратно свои слова о печати. Усомнившись в том, что миниатюра, приложенная к изданию, писана Тропининым и была подарена Пушкиным невесте, я поначалу не усомнился в подлинности печати. Оказывается — напрасно не усомнился! Если сличить сургучный оттиск печати на обертке и ее рисунок на 158 стр. книги с факсимильными изображениями ее оттисков на письмах № 9 и № 10, то мы тотчас увидим, что рисунок короны не совпадает: основание (обруч) короны на печати, принадлежащей г. Лифарю, значительно шире, чем на той печати, которой запечатаны письма. Таким образом, это во всяком случае не та печать, которою запечатаны письма к невесте. Но это не все. Печать приобретена г. Лифарем у внучки Пушкина. Допускаю, что, по семейному преданию, он ею пользовался. Однако в действительности это не так. Не знаю, когда и откуда печать взялась, но утверждаю категорически:

в гербе рода Пушкиных (его изображение, взятое из *Общего Гербовника*, т. V, можно найти на 24 стр. 1-го тома брокгаузовского издания сочинений Пушкина) рука с мечом находится в правом поле (считая не от зрителя, а от щитоносца), а орел — в левом. На печати, принадлежащей г. Лифарю, поля перепутаны: рука помещена в левом поле, а орел в правом. Пушкин, гордившийся «славою своих предков» и ревниво относившийся к подобным вещам, такую вывихнутой печатью пользоваться, конечно, не мог. Следовательно, издание запечатано не печатью, принадлежавшей Пушкину, и даже *не печатью рода Пушкиных*, а вообще каким-то предметом, которому не возбраняется дать любое употребление. Так что г. Милюков умилился напрасно.

1936

АВТОР, ГЕРОЙ, ПОЭТ

Мой пленник вовсе не любезен,—
Он хладен, скучен, бесполезен...
Все так, но пленник мой не я.
Напрасно славил...
Дидло плясать его заставил.
Мой пленник следственно не я.

Этот набросок Пушкина принадлежит к той поре, когда балетмейстер Дидло поставил на сцене балет, переделанный из «Кавказского пленника». По-видимому, Пушкин намеревался в полусутоливой форме возразить против отождествления его личности с личностью его героя: намерение, разумеется, отвечающее истине, но — лишь в известной степени. Не в стихах, предназначавшихся для печати, а в частном письме Пушкин писал: «Характер пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения».

Из всех пушкинских героев наиболее похожи на самого автора Кавказский пленник, Алеко и Евгений Онегин. Но первые два поставлены в вымышленные бытовые условия. Онегин показан в той самой обстановке, в которой жил Пушкин. Порою эта обстановка приближается к действительности весьма близко — таково описание петербургской жизни Онегина в первой главе; порою действи-

тельность воспроизводится в романе с совершенною точностью: «В четвертой главе *Евгения Онегина* я изобразил свою жизнь», — говорит Пушкин. Именно совпадение бытовых условий привело к тому, что из всех пушкинских героев Онегин наиболее похож на автора.

Как бы ни было велико бытовое и психологическое сходство Онегина с Пушкиным, все-таки мы не можем поставить знак равенства между героем романа и его автором. Главное препятствие здесь, однако, вовсе не то, что история Онегина не совпадает с историей самого Пушкина. Если бы они даже совпадали, между Онегиным и Пушкиным сохранилось бы то различие, которое мы ощущаем явственно.

Прочитав первую главу романа, А.Бестужев писал Пушкину о его герое: «<В>ижу человека, которых тысячи встречаю наяву». Поскольку Пушкин действительно был одним из этих тысяч тогдашних молодых людей, отмеченных, по его собственному выражению, «равнодушием к жизни» и «преждевременною старостию души», Бестужев был прав. Но дело все в том, что *Евгений Онегин* написан не Евгением Онегиным, а Пушкиным. В Пушкине был заключен Онегин, но Онегин не вмещал в себе Пушкина. Онегин по отношению к Пушкину есть многоугольник, вписанный в окружность. Вершины его углов лежат на линии окружности: в некоторых точках Онегин, автобиографический герой, так сказать, простирается до Пушкина. Но площадь круга больше площади вписанного многоугольника: $\Pi > O$. Следственно,

$$\Pi = O + x.$$

Решение этого уравнения подсказывается само собой: $x = \text{Поэт}$:

$$\Pi = O + \text{Поэт}.$$

В более общем виде эта формула может быть заменена другой:

$$A = \Gamma + \Pi,$$

в которой A — автор, Γ — герой, Π — поэт.

*

Онегин не написал бы *Евгения Онегина* не только потому, что не мог «отличить ямба от хоря». Причина здесь в том, что между ним и Пушкиным есть глубочайшее субстанциональное различие. Его жизнь под пером Пушкина вырастает в поэтическое произве-

дение. Онегин стимулирует творчество Пушкина, но сам по себе он существо нетворческое. В этом и заключается его коренное отличие от Пушкина. Вышеприведенная формула здесь получает подтверждение. Сложение поверяется вычитанием. Каждое из двух слагаемых равно сумме без другого слагаемого: $\Gamma = A - \Pi$. Иными словами — Герой есть Автор минус Поэт: Автор, лишенный своего поэтического, творческого начала.

Увеличивая число сторон вписанного многоугольника, мы увеличиваем его площадь, приближая ее к площади круга. По мере того как увеличивается число точек совпадения между Героем и Автором, разница между ними уменьшается. Теоретическая геометрия допускает определение окружности как многоугольника, имеющего бесконечное множество сторон. В теории Герой может стать Автором, как площадь многоугольника может стать равна площади круга. Однако это произойдет лишь при *бесконечном* увеличении числа сторон многоугольника. Такое увеличение математически мыслимо, но практически неосуществимо. Герой никогда не дорастает до Автора, как площадь многоугольника не сравняется с площадью круга. Чтобы стать Автором, он, согласно первой формуле $A = \Gamma + \Pi$, должен присоединить к себе второе слагаемое — Поэта, т.е. творца, художника.

Сколько бы Герой ни изображал свою жизнь, какой бы полноты и правдивости ни достиг он при этом, его произведение не станет поэтическим (в широком смысле этого слова), если он от природы лишен поэтического начала или если сознательно решил это начало отбросить. Отсюда — неизбежная неудача всех попыток подменить художественное творчество человеческим документом. В человеческом документе Герой как будто равняется Автору, но это равенство — кажущееся и ложное. Автор человеческого документа есть $A - \Pi$, то есть существо нетворческое, то есть все тот же Герой. Между ним и действительным Автором — пропасть, не заполняемая совпадением наименований. Он — автор лишь в том смысле, что механически записывает мысли и чувства Героя. В нем творчество либо сознательно заменено исповедью — тогда мы имеем дело с заблуждением, с художественной ересью, напоминающей скопчество, — либо оно есть следствие писательского зуда, и тогда перед нами простое самозванство, опять же — либо произвольное, приближающееся к графомании, либо злостное. Случаи самозванства (произвольного или злостного) встречаются чаще, чем случаи принципиального отказа от творчества. На путь самозванства вступают люди, в которых вычитание $A - \Pi$

произведено самою природой: попросту говоря, люди, лишенные дарования. От природного недостатка своего они страдают, тщательно скрывая его от других и в особенности от самих себя. Это страдание достойно сочувствия, но ценность их произведений от того не повышается.

*

В процессе творчества Автор распадается на составные части своего существа — на Поэта и Героя: на творца и тварь. Поэт создает мир произведения. Герой есть Адам, человек этого мира. В истории Героя Автор глазами Поэта созерцает свою человеческую историю. Человеческие чувства, мысли и страсти отданы Герою. Эти чувства, мысли и страсти влекут Героя на путь страданий, греха и смерти, которым Поэт в своем творческом покое остается чужд. Так в самом Авторе страдает, грешит и подпадает смерти Герой, человек, но не Поэт. «Преждевременною старостию души» болеет Онегин, заключенный в Пушкине, но не Поэт. Умирает Вертер и за собой увлекает десятки маленьких Вертеров, рассеянных по Европе, но остается жив Гете.

Если $A=G+P$, то $P=A-G$: Поэт есть обесчеловеченный Автор. Проблематика жизни составляет удел Героя и разрешается Автором в его истории. Для Поэта существует лишь проблематика творчества. Герой, посланный в жизнь Поэтом, страдает и умирает, как солдат на поле сражения. К Поэту и в этом случае применимо то, что сказано о нем в ином смысле и по иному поводу:

А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан или сам Наполеон.

Герой есть пушечное мясо поэзии. Поэт созерцает его судьбу бестрепетно. Сверхчеловек, олимпиец, демон,— Поэт лишен страсти, чувства, морали, смерти. Нельзя отрицать, что он страшен и может быть отвратителен. Позволительно отвергнуть его, но не иначе, как вместе с творчеством. Тот, в ком этот демон не заключен от природы или кто его изгнал из себя, никогда не существовал или погиб как художник. Искусство — не последняя правда. Можно стать выше искусства, но нельзя одновременно стать выше его и остаться в нем. В этом сознании — гордое смирение художника.

Автор, однако ж, есть не механическое, а химическое соединение. Элементы, его составляющие — Герой и Поэт,— в чистом виде в природе не встречаются. Как никто не видал живого Оне-

гина, так никто не видал и Поэта, отделенного от живого авторского существа. Если бы нам предстал Поэт иначе, как в соединении с Героем, то есть с человеческим существом Автора,— он показался бы нам кровожадным идолом, «болваном». Наличие демонического начала в Авторе житейски смягчается, а мистически очищается и искупается его человеческим естеством.

1936

ПУШКИН В ИЗДАНИИ «ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ РОССИИ»

Еще в ноябре 1934 г. Русский Национальный комитет обратился «ко всем зарубежным русским, без различия подданств» с воззванием, в котором говорилось о необходимости к предстоящему юбилею издать два собрания сочинений Пушкина: академическое и популярное. Что касается первого из них, то неосуществимость подобного замысла сразу была очевидна для всех, имеющих понятие о деле. Не говоря уже о том, что издание академическое, то есть неизбежно состоящее по крайней мере из десяти-двенадцати весьма объемистых томов, потребовало бы огромных, невозвратимых и для эмиграции непосильных затрат, совершенно ясно, что оно не может быть выпущено и по другим причинам: во-первых, в эмиграции вряд ли нашлось бы достаточно специалистов, которые могли бы подготовить издание в короткий срок, остающийся до юбилея; во-вторых (и это, конечно, главное, решающее препятствие, покрывающее все прочие),— подготовка академического издания не исполнима в эмиграции потому, что она требует непосредственного обращения к пушкинским рукописям, которые, за ничтожными исключениями, находятся в советской России.

Таким образом, мысль об академическом издании отпала тотчас. Инициатива издания популярного из рук Национального Комитета перешла к Комитету Пушкинскому. Что сделает Пушкинский Ком. (и сделает ли он что-нибудь), в настоящее время нам неизвестно. Вопрос, однако, был поднят, и им заинтересовались частные предприниматели, не заинтересованные, однако, в культурной стороне дела. Первое из «юбилейных» изданий Пушкина уже выброшено на рынок журналом *Иллюстрированная Россия*.

Нужно сказать без обиняков, что оно в высшей степени неудовлетворительно со всех точек зрения.

Одно из первых требований, предъявляемых к любому изданию классического автора, заключается в том, что такое издание должно содержать текст, критически проверенный, то есть освобожденный от цензурных изменений и пропусков, от искажений и дополнений, сделанных предыдущими редакторами, от опечаток и т.п. В тех случаях, когда имеются налицо разночтения, восходящие к бумагам самого автора и к изданиям, выпущенным при его жизни, установление «канонического» текста встречает ряд особых затруднений, требующих большого труда по каждому отдельному поводу и предварительного разрешения ряда методологических вопросов. По отношению к Пушкину в этом направлении за последние годы сделано довольно много, но еще далеко не все. Поэтому требовать «канонического» текста от популярного издания было бы и наивно, и просто несправедливо. Однако можно от него требовать, чтобы в нем не повторялись погрешности, давно разъясненные и отброшенные. Меж тем издание «Иллюстрированной России» страдает множеством именно таких погрешностей, к которым прибавлены собственные, так сказать, оригинальные опечатки. От подробного анализа издания со стороны текстологической я избавлю читателей, тем более, что он занял бы слишком много места. Укажу, однако же, для примера, что в стихотворении «Певец» воспроизведена «классическая» ошибка в 10-м стихе: «Встречали ль вы?» вместо «Встречали вы?». Столь же «классично» бессмысленное заглавие стихотворения — «Не дорого ценю я громкие права»: «Из VI Пиндемонта» вместо простого «Из Пиндемонта». Стихотворение 1832 г. «Красавица» имеет подзаголовок «В альбом Н.Н.Гончаровой», хотя написано в альбом гр. Завадовской и хотя в 1832 г. Н.Н.Гончарова была уже Н.Н.Пушкиной. На 151 стр. первого тома напечатано стихотворение «Куда же ты? — В Москву...» — под заглавием «Из записки к приятелю», тогда как это — лишь окончание стихотворения «Румяный критик мой», напечатанного, в свою очередь с ошибками, на странице 146.

Не менее (если не более) дефектно расположение стихотворений. Напечатаны они как будто в хронологическом порядке, который, однако, может только сбить читателя с толку. Ряд пьес, время создания которых может быть определено лишь приблизительно, безоговорочно разнесен по определенным годам. Таковы стихотворения: «Делия», «О, Делия драгая», «Измены», «Леда», «Рас-

судок и любовь», «Роза», «Погреб», «Лиле», «Больны вы, дядюшка», «Что можем наскоро», «Сновидение», «Печален ты», «Покойник Клит в раю не будет», «На Аракчеева», «Воспитанный под барабаном», «Золото и булат», «Любопытный», «Подражание Данту». Во многих случаях, когда стихотворение может быть отнесено к тому или иному году, избрана датировка, как раз менее вероятная. Так, например: «Городок» помечен 1814 г.— лучше пометить его 1815, «Бова» 1815 — лучше 1814, «Вянет, вянет» 1816 — лучше 1814, «К молодой вдове» 1816 — лучше 1817, «К портрету Вяземского» 1821 — лучше 1820, «Уединение» 1822 — лучше 1819, «Сказали раз царю» 1823 — лучше 1824, «Покров, упитанный...» 1825 — лучше 1835, «Я думал, сердце позабыло» 1828 — лучше 1835. Стихотворение «О муза пламенной сатиры» отнесено к 1830 г.— в действительности оно написано гораздо раньше. Эпиграмма «Охотник до журнальной драки» напечатана даже два раза: под 1817 и под 1824 гг.— достаточно было поместить его только под 1824 г. Я мог бы указать еще немало таких неточностей, но ограничусь приведенными выше. За ними следуют прямые ошибки. Так, стихотворение «Вам восемь лет, а мне семнадцать было» по самому тексту не может быть приурочено к 1815 г., эпиграмма «Куда ты холоден и сух» относится к 1827, а не к 1822 г., послание к Н.В.Кочубей («Простой воспитанник природы») надо датировать 1817 г., а не 1827. «Подъезжая под Ижорь» написано в 1829, а не в 1828 г. «Первое послание к цензору» — в 1822, а не в 1824 году. Повторяю — и здесь мною, для краткости, приведен только ряд примеров.

Но хуже всего обстоит дело с составом книги. На титульном ее листе значится: *Сочинения А.С.Пушкина. Полное собрание в двух томах*. В действительности ни на какую полноту издание претендовать не может. Вот список вполне законченных стихотворений Пушкина, не помещенных в издании «Иллюстрированной России»: «Угрюмых тройка есть певцов», «Царское Село», ода «Вольность» (!), «Добрый человек», «Нозль», «Бессмертною рукой раздавленный зоил», «К В.Л.Давыдову» («Меж тем как генерал Орлов»), послание к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный»), «Поверь мне, быть тебе Панглоссом», послание к Я.Н.Толстому («Горишь ли ты, лампада наша»), «Ты Богоматерь, нет сомненья», «Гавриилиада», «Песни о Стеньке Разине», «Послание Лиде» («Тебе, наперсница Венеры»), «Седой Свистов! ты царствовал со славой», «Акафист Е.Н.Карамзиной», «Кипренскому» («Любимец моды легкокрылой»), «Языкову» («К тебе сбирался я давно»), «В

прохладе сладостной фонтанов», «Крив был Гнедич-поэт...», «К кастрату раз пришел скрипач». Из неоконченных, но известных в больших отрывках стихотворений отсутствует поэма «Монах».

Отсутствие подлинно пушкинских пьес вызывает особую досаду еще потому, что взамен их издание «Иллюстрированной России» изобилует стихотворениями, принадлежность которых Пушкину сомнительна или которые заведомо Пушкину не принадлежат. Таковы: «Ты слышал весть благоую», «Пожарский, Минин, Гермоген», «Вишня», «Вот карапузик наш, монах», «Великим быть желаю», «Наденьке», «Десятая заповедь», «Составлен он из подлой смеси», «Не веровал я Троице доньне», «Черна, как галка», «Вот здесь лежит больной студент». Наличие последнего стихотворения характеризует неряшливость и бессистемность издания. Оно заимствовано из воспоминаний И.И.Пущина, который сам говорит, что «Пушкин не сознавался в этом экспромте». Но тот же Пушин приводит еще два экспромта, несомненно пушкинских и сомнительных лишь в смысле точности передачи, потому что они записаны по памяти много лет спустя. Это — «И останешься с вопросом» и «От всенощной вечор идя домой». Но как раз этих двух пьес в издании «Иллюстрированной России» почему-то нет. При стихотворении «Боже, царя храни» не указано, что первая строфа его принадлежит Жуковскому. Наконец, из «классической» псевдопушкинианы в числе пушкинских стихотворений помещены два: «Не бойся, Глазунов, ты моего портрета» и «Там, где Семеновский полк», о которых «уж сколько раз твердили миру», что первое принадлежит Дельвигу, а второе написано Дельвигом и Баратынским сообща.

Этот беглый и далеко не полный анализ стихотворного отдела приведен мною единственно для того, чтобы мое заявление о решительной негодности издания не показалось голословным. После этого считаю себя вправе не останавливаться на отделе прозы, указав лишь, что он составлен не лучше стихотворного. В заключение скажу несколько слов о биографическом очерке, предпосланном изданию. Он банален и бледен — но это бы еще полбеды. Хуже, что в нем немало ошибок. Вот некоторые из них. Автор очерка заявляет, что «Руслан и Людмила» вышла из печати в первой половине 1820 года. На самом деле поэма появилась в продаже в конце июля или в начале августа. Неверно заявление биографа, будто из Одессы в Михайловское Пушкин ехал «без всяких остановок в пути». О дружеских отношениях между Пушкиным и Мицкевичем биограф нашел «множество упоминаний в стихах

обоих поэтов». На самом деле таких упоминаний имеется по одному у каждого из них. Село Болдино, находящееся в Нижегородской губ., названо подмосковным именем Пушкиных. О приезде И.И.Пушина в Михайловское сообщается: «Это было 19 октября 1825 г.». На самом деле Пушин посетил Пушкина 11 января. О Дельвиге сказано, что он был Пушкину «брат родной по музе, по судьбам», — в действительности Пушкин так назвал Кюхельбекера. Происхождение Дантеса почему-то названо «довольно двусмысленным», для чего нет никаких оснований, ибо он был законным сыном благородных родителей.

Отрицательные качества издания, выпущенного «Иллюстрированной Россией», объясняются (но отнюдь не оправдываются) тем, что оно, по-видимому, представляет собою механическое воспроизведение одного из дешевых довоенных изданий (если не ошибаюсь — вольфовского). Благодаря этому его продажная цена оказалась невысока. Но рекомендовать его читателям никак невозможно, ибо оно способно лишь засорить всякую библиотеку. Самое его появление к предстоящему пушкинскому юбилею, признаться, довольно компрометантно. Выходит так, что мы начали с намерения выпустить «академическое издание», а кончили перепечаткой макулатуры.

1936

ЖЕНАТЫЙ ПУШКИН

Небольшая книжка Александра Шика, только что выпущенная издательством «Парабола», посвящена вечно волнующей теме: в ней дан обзор жизни Пушкина с момента встречи с Н.Н.Гончаровой до дня смерти. Это — именно обзор, сводка данных, уже известных, — отнюдь не исследование. Автор не претендует на большую оригинальность, не пытается даже дать собственное толкование тех неясностей, которых все еще много в истории пушкинской катастрофы. Но он тщательно группирует показания современников, и хотя не всегда относится к ним достаточно критически (в упрек ему можно поставить слишком большое доверие к таким ненадежным источникам, как, например, Лев Павлищев), в самой тщательности и скромности его работы сквозит столько истинной, я решился бы сказать — трогательной любви к Пушки-

ну, что его книжка невольно к себе располагает. Специалист не найдет в ней ничего нового, кое с чем он в ней даже не согласится, кое в чем, что кажется несомненным автору, будет сомневаться по-прежнему, — но рядовым читателям труд А. Шика можно рекомендовать. Рядового читателя он чрезвычайно обогатит сведениями и даст ему картину событий, верную если не во всех деталях, то в общем.

✽

1936

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Несколько времени тому назад в газетах промелькнула заметка о том, что одним из пушкинских комитетов, существующих в эмиграции, сделано ценное приобретение: миниатюрное, размером в почтовую марку, издание *Евгения Онегина*. На днях появилось известие, что другой экземпляр той же редкости «найден» в советской России, в городе Грозном. Несколько читателей обратились ко мне с запросом, известно ли мне что-либо об этой библиографической драгоценности.

К сожалению, должен сказать, что дело идет отнюдь не о редкости и не о драгоценности. Московские пушкинисты к грозненскому открытию отнесутся без всякого интереса. Книжечка эта была выпущена в очень большом количестве к столетнему юбилею со дня рождения Пушкина — в 1899 г., а не в 1849 г., как сказано в газетных заметках. Издал ее один варшавский кондитер, и она, заключенная в небольшой металлический футлярчик, прилагалась к шоколаду и карамели. Никакой библиографической ценности не представляет она еще и потому, что, в отличие от других подобных редкостей, была издана не при помощи микроскопического типографического набора, а фотографическим способом. Она представляет собою цинкографическое воспроизведение фотографий, снятых с одного из популярных изданий — не то Панафидина, не то Йогансона — не помню в точности. Ручным способом набраны в ней всего лишь одна или две строки на заглавном листе — обозначение места и времени издания. Но соответственно миниатюрного шрифта у издателя не было — и как раз эти строки оказались набраны слишком крупно.

Одновременно с *Евгением Онегиным* и тем же способом была издана вторая книжка: *А.С.Пушкин. Все поэмы*. Ни та, ни другая, повторяю, никакой редкости собою не представляют. В частности, обе они были у меня в России. Один экземпляр «Всех поэм» был мне подарен в Париже, в 1924 г., покойным редактором *Современных записок* А.И. Гуковским. Во время моих переездов, он, признаюсь, затерялся, но я сожалею не о потере книжной редкости, а о потере предмета, связанного с памятью дарителя. Наконец, один парижский собиратель недавно мне говорил, что миниатюрное издание *Евгения Онегина* имеется у него в нескольких экземплярах.

1936

«ИРИДИОН»

В этом году исполнилось столетие «Иридиона» — центрального и самого замечательного произведения Сигизмунда Красиньского, одного из трех великих польских поэтов.

Исторически беспримерная и в высшей степени поучительная особенность польской литературы заключается в том, что ее золотой век приходится не на эпоху политического расцвета, а наоборот — совпадает с годами национальной катастрофы. Творчество Мицкевича, Словацкого и Красиньского окрепло и расцвело в эпоху, последовавшую за разгромом 1831 года, вдалеке от родной земли, в эмиграции.

Мы знаем, конечно, все отрицательные качества польской эмиграции, все темные страницы ее истории. Но и раздираемая внутренними распрями, порой погрязающая в интригах, очевидно, она всё-таки сохранила глубокое внутреннее здоровье и, может быть, приобрела еще особую закалку, если три поэта, неразрывно с ней связанные, именно в эту пору вознесли польскую литературу на вершины, которых эта литература не знала прежде и никогда уже не достигала впоследствии. Всей своей жизнью они доказали неопровержимо, что необходимая писателю «родная почва» может быть заменена глубокой, творческой *памятью о родине*. Так жива, так сильна была в них эта память, что своим творчеством они как бы создали ту мистическую Польшу, тот миф о родине, который и до сего дня служит духовным фундаментом реальной,

исторической Польши. В изгнании, среди кучки таких изгнанников, они с полным правом могли говорить от имени всего народа, воистину быть его посланниками перед лицом человечества.

Борьба за освобождение родины была смыслом и целью этого посланничества, с особенной остротой и силой восчувствованного Мицкевичем. Отсюда естественно возникала и основная тема, одушевлявшая творчество всех троих. По существу она была, разумеется, политическая, революционно-освободительная, одной стороной обращенная к полякам, другой — к народам запада, у которых приходилось искать сочувствия и помощи. Однако, ни Мицкевич, ни Словацкий, ни Красиньский, не уронили своего творчества до уровня «художественной» пропаганды, потому что все трое были слишком для этого подлинными художниками и, быть может, слишком глубокими политиками. Свою тему они никогда не сознавали и не переживали, как политическую, в узком практическом значении этого слова. Какая бы то ни было политика была им чужда и даже враждебна, если она не была основана на религиозной идее, не была этой идеей проникнута. Мицкевич доходил до утверждения, что, как слово фарисей, с течением времени стало означать лицемера, так некогда и слова: король, министр, пэр — станут бранными. Если Красиньский и Словацкий не выражали этой мысли с такой резкостью, то всё-таки они ее разделяли. Свое национальное дело они не ощущали и не мыслили иначе, как и религиозное в то же время. (Замечу в скобках, что вероятно они тут следовали исконному народному сознанию; но, кажется, нужно признать и наличие обратного влияния, сказавшегося позднее: если во второй половине XIX столетия сама религия в Польше оказалась глубоко проникнута национализмом, отчасти даже им как бы подменена, то не малая доля ответственности за это падает на них).

Национальное угнетение несовместимо с христианской религией. С Польши, как наиболее угнетаемой из культурных наций, должно начаться всеобщее освобождение. Польша есть жертва, приносимая за благо всего человечества, и потому ее страдания имеют религиозный и провиденциальный смысл. Таковы основные положения польского мессианизма, который лишь с теми или иными оттенками был исповедуем всеми тремя поэтами. Несомненно, религиозная база придавала большую силу их политической деятельности. Однако, она же создавала и душевные осложнения.

Уже в середине двадцатых годов, во время своих вынужденных скитаний по России, Мицкевич написал «Конрада Валленрода», поэму, в которой прославлялась непримиримая ненависть к угнетателям родины. Ее герой, литовец Вальтер Альф, под именем Вапленрода проникает в орден крестоносцев, постепенно становится его великим магистром, ведет орденские войска в очередной набег на Литву, но предательски губит своих воинов, с казной и обозом; его измена наносит ордену первый, но непоправимый удар. Поэма, которую польский историк Мохнацкий назвал «руководством для заговорщиков», имела в Польше огромный успех. Молодые поляки бредили политическим коварством. Однако, даже польская критика вскоре стала порицать идею поэмы. В печати и в обществе начались протесты против увлечения валленродизмом.

В эпоху эмиграции проблема валленродизма приобрела новую, усиленную остроту. Пафос ненависти, неизбежно сопутствующий пафосу освободительной борьбы, оказался в противоречии с религиозной основой мессианизма. Это противоречие сделалось для Красиньского источником долголетних и мучительных сомнений, сказавшихся в ряде его произведений. «Иридион» всецело из этих сомнений возник, всецело ими проникнут.

Трагедия Красиньского была издана по-русски дважды: в переводе В. Уманского (1904) и в переводе пишущего эти строки (1910). Тем не менее, русским читателям она мало известна, и потому вкратце пересказать ее содержание будет не лишне.

Действие происходит на закате античного мира, в эпоху римского владычества, еще крепкого внешне, но уже подточенного изнутри. Герой трагедии — молодой знатный, богатый эллин, сын некоего Амфилоха Гермеса, который всю жизнь свою посвятил тайной борьбе против Рима и перед смертью завещал своим детям, Иридиону и Эльсиное, быть мстителями за порабощение Эллады. Иридион поселяется в Риме, где царствует император Гелиогабал — юный выродок, вечно скучающий развратник, сентиментальный, жестокий и слабоумный. Против него назревает заговор легионеров, возглавляемых его двоюродным братом, Александром Севером. Александр пытается привлечь на свою сторону Иридиона, но тот предвидит, что победа умного и благородного Александра послужит укреплению Рима. Исподволь составляет он отряды из преданных ему людей: сюда входят рабы и гладиаторы, захваченные в порабощенных Римом провинциях, а также разоренные и опустившиеся представители древних патрицианских родов. По мысли Иридиона, эти отряды должны прийти на помощь прето-

рианской охране императора, чтобы не допустить Александра до легкой победы. Разумеется, его заботит не участь Гелиогабала. По его расчету, должны погибнуть и Гелиогабал, и Александр, а самый Рим должен стать жертвой разрушительной гражданской войны; которая повлечет за собой отпадение провинций и конец римской империи. Чтобы усыпить подозрения Гелиогабала и сделаться начальником преторианцев, Иридион отдает ему в наложницы свою сестру. Таким образом, до сих пор его позиция совпадает с позицией Валленрода. Однако, судьба его оказывается иная. Силы его отрядов, вместе с силами преторианцев, еще не достаточны, чтобы разбить войско Александра. Победа Иридиона обеспечена только в том случае, если из катакомб выйдут христиане и станут на его сторону. С этой целью Иридион принимает христианство, но так как не имеет в катакомбах собственного авторитета, то пытается использовать религиозную экзальтацию пророчицы Корнелии, которую в себя влюбляет. При всём политическом коварстве своем, Иридион благороден в личных отношениях. Ему самому не пришло бы в голову обольщать Корнелию, но эта мысль внушена ему неким Масиниссой. Масинисса – личность таинственная. Возраст его неопределен. Он где-то когда-то встретился с отцом Иридиона, стал его другом и чем-то вроде наставника его детей. Настает решительная минута. Часть христиан готова присоединиться к отряду Иридиона, другая колеблется, удерживаемая архиепископом Виктором. Во время замешательства, происходящего в катакомбах, Масинисса пускает в ход магические средства, выдающие его inferнальное происхождение. Христиане окончательно прозревают, с кем имеют дело. Они остаются в катакомбах. Корнелия умирает, раздавленная сознанием своего падения. Тем временем на поверхности земли происходят стычки легионеров Александра Севера с преторианцами императора и отрядами Иридиона. Север побеждает; Гелиогабал убит; Эльсиноя, сестра Иридиона, закалывается. Иридион остается один. В отличие от Валленрода, он побежден. Вся сложная внутренняя диалектика трагедии сводится к тому, что он наказан за применения низменных средств для возвышенной цели. То обстоятельство, что замысел Иридиона проваливается вследствие его связи с Масиниссой и вследствие осуждения со стороны Церкви, имеет в трагедии символическое и как будто решающее значение. В действительности это не так.

«Иридион» был бы прямым и безоговорочным осуждением тактики Мицкевича, если бы на этом кончался. Но это означало бы

разрыв автора с делом борьбы за освобождение Польши. Красинский, меж тем, искал не разрыва с революционной тактикой, а религиозного с ней примирения. По художественным законам трагедии, побежденный герой должен бы быть убит или должен покончить с собой. Красинский, однако, придает пьесе иное окончание. Дух Иридиона остается непоколеблен. Жажда мщения, владеющая героем трагедии, побеждает законы самой природы. Иридион навек отдает душу Масиниссе, получая в обмен обещание увидеть конечное сокрушение Рима. Масинисса уводит его в пещеру и погружает в многовековой сон.

На этом кончается драматическая часть трагедии. Художественное чутье подсказало Красинскому, что нужное ему мистическое оправдание Иридиона не может уместиться в рамках драматического произведения, ибо не может быть представлено в виде логически развивающихся событий. «Счастливый» конец не мог быть пришит к событиям, вся логика которых говорила о другом. Поэтому (и здесь несомненно заключается слабое место всего произведения) к трагедии прибавлен лирико-повествовательный эпилог. Иридион просыпается в эпоху, современную автору. Масинисса ведет его по ночному Риму, с торжеством показывая развалины форума. Но они приходят в Колизей и там, под сенью креста, Масинисса принужден отступить от своего ученика. Молитвами Корнелии Иридион получает прощение, ибо он «любил Грецию, — то есть за то, что душу свою погубил во имя любви к ближним. Голос самого Бога возвещает ему новое посланничество:

Иди на север, во имя Христа, иди и не останавливаясь, пока не придешь в землю могил и крестов. Ты узнаешь ее по молчанию мужей и по грусти малых детей, по сгоревшим хатам бедняков и по разрушенным дворцам изгнанников, узнаешь по стонам ангелов Моих, летящих в ночи. Иди и поселись среди братьев, которых даю тебе! Там — второе твое испытание: вторично увидишь любовь свою пронзенную, умирающею, а сам не сможешь умереть, и мучения тысяч людей воплотятся в единое твое сердце! Иди и надейся на имя Мое! Не проси о славе — но лишь о счастье тех, которых Я тебе поручаю. Не взирай на гордость, и притеснение, и издевательства несправедливых: они прейдут, а ты и слово Мое не преидете. И после долгих страданий зарю раскину над вами, одарю вас тем, чем ангелов Моих одарил предвечно: счастьем — и тем, что обещал людям с вершины Голгофы - свободой...

Таким образом, мысль Красиньского описывает полный оборот: Иридион находит спасение на самом дне гибели, и Бог оправдывает то, чего не может оправдать Церковь. Трагедия, все *события* которой логически идут против Мицкевича, получает сверх-логическое *завершение*, совпадающее с концепцией «Конрада Валленрода». Иначе и не могло быть, потому что, выступая против валленродизма, Красиньский, в сущности, лишь искал путей для примирения с ним. Однако же, замечательно, что сам Мицкевич в «Конраде Валленроде» описал такой же круг, как Красиньский в «Иридионе» — только в обратном направлении. Несколько лет тому назад, в № 905 *Возрождения*, я писал о поэме Мицкевича. Не буду повторять содержания своей статьи, но отмечу, что я в ней указывал на замечательную черту поэмы: очень глубоко, незаметно для поверхностного взгляда, в ней самой уже содержится моральное осуждение валленродизма: торжествуя победу над политическими врагами, Валленрод навеки теряет Альдону, свою Прекрасную даму, свою Психею. Сомнения, мучившие Красиньского, были, следственно, хорошо ведомы и Мицкевичу. Но он переболел ими раньше, чем Красиньский вступил на литературное поприще.

1936

ЧЕРНАЯ ГОДОВЩИНА

Пушкин умер в пятницу, 29 января 1837 года, в три четверти третьего часа пополудни. В прошлом столетии старый стиль разнился от нового не на тринадцать дней, как теперь, а лишь на двенадцать. Следовательно, это событие, быть может — самое трагическое в русской истории, произошло по новому стилю 10 февраля. Однако цикл событий, непосредственно приведших к роковой дуэли с Дантесом, начался раньше: 4/16 ноября. Сотая годовщина этого злого дня исполняется послезавтра.

Незадолго до того в жизни Санкт-Петербурга появилось нововведение: была учреждена городская почта. Как всякое новшество, она была встречена со стороны одних — одобрением, со стороны других — брюзжаньем и недовольством. Находились люди, которые говорили, что новый способ доставки писем поведет к злоупотреблениям. Над приверженцами старых порядков подтруни-

вали. И вот, несмотря на то что в общем они, конечно, были смешны, их мрачные опасения оправдались с поразительной быстротой.

Утром 4 ноября Пушкин получил по городской почте три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для его чести и для чести его жены. Тотчас до его сведения дошло, что семь или восемь лиц из числа его знакомых в тот же день получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, из которых внутренний был адресован на его имя. Письма были написаны по-французски и представляли собою юмористический «диплом» следующего содержания:

Les Grands-Croix, Commandeurs et Chevaliers du sérénissime ordre des Cocus, réunis en grand chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l'Ordre, S.E. D.L.Narychkine, ont nommé à l'unanimité Mr Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand-Maître de l'Ordre des Cocus et historiographe de l'Ordre.

Le secrétaire perpétuel: C-te J.Borch.

Перевод :

Великие Кавалеры, Командоры и Рыцари Светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в великом Капитуле под председательством досточтимого Великого Магистра Ордена, Его Превосходительства Д.Л.Нарышкина, единогласно избрали г. Александра Пушкина коадьютором Великого Магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена.

Непременный секретарь:

Граф И.Борх.

Содержание диплома тотчас стало известно всему высшему петербургскому обществу. Всеми без исключения, и в том числе ближайшими родственниками, друзьями и знакомыми Пушкина, было понято, что пасквиль содержит в себе намек на связь жены Пушкина с бароном Жоржем Дантесом, кавалергардом, приемным сыном голландского посланника бар. Геккерена: ухаживания красивого, веселого, не лишённого остроумия офицера за Натальей Николаевной давно уже, года два, были известны всему городу и составляли предмет наблюдений и пересудов. Точно так же, в смысле намека на Дантеса, понимался пасквиль и всеми историками литературы и биографами Пушкина — вплоть до П.Е.Щеголева, посвятившего последней дуэли Пушкина большое исследование, в некоторых отношениях одностороннее, не лишённое мел-

ких неточностей, но все же представляющее собою лучшее из всего, что было написано по данному вопросу.

Первое издание книги вышло в 1916 г. Однако в третьем издании, появившемся через двенадцать лет, тот же Щеголев дал пасквилю новое толкование. Впервые он обратил внимание на то, что великим магистром ордена рогоносцев пасквиль называет Д.Л.Нарышкина, жена которого, как известно, была возлюбленной императора Александра I. Из того обстоятельства, что Пушкин именуется в пасквили коадьютором великого магистра, вытекает, что он ставится в такое же положение при нынешнем императоре, в каком Нарышкин был при покойном. Иными словами — в дипломе говорится о связи Н.Н.Пушкиной не с Дантесом, а с государем Николаем Павловичем.

Оставим в стороне выводы, сделанные Щеголевым из его открытия: они малоубедительны и, быть может, отчасти подсказаны Щеголеву обстоятельствами, посторонними науке. Тем не менее само по себе его открытие настолько обосновано, что в его правильности вряд ли можно сомневаться. Для фактической и психологической истории дуэли оно может иметь значение первостепенное. Мы говорим *может иметь*, а не *имеет*, потому что, к сожалению, несмотря на огромную литературу по этому предмету, мемуарную и исследовательскую, в нем еще остается такое множество невыясненных и темных сторон, столько вопросов, даже самых основных, все еще не разрешено, что трудно сказать, в чем именно и насколько новооткрытый смысл пасквиля повлиял на ход роковых событий.

В небольшой газетной статье невозможно исчерпать эту обширную и крайне сложную тему. Поэтому я коснусь только двух первостепенных вопросов, с ней связанных. Первый из них: как понял диплом сам Пушкин? Увидел ли он в нем намек на Дантеса — или на государя? Прямого ответа нет. То, что Пушкин никому не говорил о намеке на государя, еще не значит, что сам он его не понял: у него были основания об этом молчать. То, что его гнев тотчас обрушился на Дантеса и Геккерена, опять же не противоречит тому, что он понял намек на Николая Павловича; Дантеса он вызвал на дуэль потому, что давно хотел с ним рассчитаться, и потому, что если не диплом, то общая молва называла оскорбителем его чести именно Дантеса; в кого бы диплом ни метил, Дантес все равно был Пушкину ненавистен. Что же касается Геккерена, то он был в глазах Пушкина виноват, как человек, сводничавший Дантесу, а главное — как автор самого пасквиля (опять же — в

кого бы ни метил пасквиль). В авторстве голландского посланника Пушкин не сомневался.

Косвенные основания полагать, что Пушкин понял диплом как намек на связь Натальи Николаевны с государем, на наш взгляд, имеются. Чтобы их понять, надо вкратце припомнить события, последовавшие за получением пасквиля. Пушкин послал вызов Дантесу. Семья Геккеренов просила двухнедельной отсрочки, за время которой успела наладить сватовство Дантеса к свояченице Пушкина. Пушкин согласился наружно признать, будто ошибся, думая, что Дантес ухаживал за его женой, тогда как он ухаживал за свояченицей. На этом основании он взял вызов обратно. Позже он писал Геккерену, что заставил Дантеса сыграть в этом деле жалкую роль: жениться на нелюбимой женщине из страха перед дуэлью. Таким образом, Дантесу он отомстил, сделав его смешным в глазах Натальи Николаевны и в глазах общества, да еще связав его с Екатериной Гончаровой. Оставалось отомстить Геккерену, и к выполнению этой задачи он приступил немедленно. 17 ноября была официально объявлена помолвка Дантеса с девицей Гончаровой, а уже 21 ноября Пушкин сказал гр. В.А.Соллогубу: «С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте».

Каков же был план пушкинской мести Геккерену? Мы не знаем этого. Но вот что известно. Того же 21 ноября Пушкин написал письмо, в точности не известно кому: министру иностранных дел гр. Нессельроде или гр. А.Х.Бенкендорфу (вернее — последнему). В этом письме Геккерен прямо обвиняется в составлении диплома, и с этим письмом хочется связать факт, долго остававшийся неизвестным, а широкой публике неизвестный и до сих пор: тем же Щеголевым было установлено уже после выхода последнего издания его книги, что, как записано в камер-фурьерском журнале, в понедельник, 23 ноября, в 3 часа дня, то есть в неурочное время, после прогулки, «Его Величество принимал Генерал-Адъютанта Графа Бенкендорфа и Камер-Юнкера Пушкина».

Опять неизвестно, о чем шла речь при этом свидании. Неизвестно, велся ли разговор втроем, или Пушкин оставался с царем и наедине. Впоследствии Николай Первый рассказывал, что дня за три до дуэли Пушкин ему признался в своих подозрениях относительно ухаживания его, государя, за Натальей Николаевной. Государь мог спутать сроки, мог спутать их и бар. М.А.Корф, передавший этот разговор со слов государя. Не шла ли речь об ухаживании Николая I — не за три дня до дуэли, а 23 ноября, в Зимнем дворце? И не возник ли этот разговор именно по тому поводу, что

Пушкин представил экземпляр диплома и объяснил государю истинный смысл этого документа, смысл, о котором ни с кем другим он не мог или не хотел говорить? Не был ли этот доклад Пушкина именно тем средством, при помощи которого он намерен был, как обещал кн. Вяземской, по отношению к автору диплома осуществить месть «полную», «единственную в своем роде» и «втоптать человека в грязь»? В самом деле, он мог рассчитывать на то, что Геккерен не только будет заклеен как пасквилянт, но и бесславно кончит свою дипломатическую карьеру.

Если все это так и если Пушкин действительно в то свидание представил государю диплом и его неприятное для государя толкование, то ожидаемые поэтом последствия все же не осуществились. Отозвание Геккерена из России произошло лишь гораздо позже и в результате несчастной дуэли Пушкина, а не в результате его разоблачений касательно пасквиля.

Николай I либо счел для себя неудобным вмешаться в дело, либо нашел, что Пушкин обвиняет Геккерена в составлении пасквилей без достаточных оснований. Действительно, хотя Пушкин настаивал на полной своей осведомленности в этом деле, но доказательств не приводил никогда. В упомянутом письме к Бенкендорфу он пишет, что «убедился» в авторстве Геккерена, но тут же прибавляет, что не может и не хочет никому представлять доказательства своего мнения.

Тут подходим мы ко второму из главных вопросов, относящихся к пасквилю. Кто был его автором? Многие исследователи были склонны обелять Геккерена; другие считали, что он действовал в союзе с гр. Нессельроде, женой министра; некоторые современники Пушкина, минуя названных лиц, обвиняли представителей тогдашней петербургской молодежи, в том числе кн. И.С.Гагарина (впоследствии иезуита) и кн. П.В.Долгорукова, того самого, который позже сделался эмигрантом. Из всех этих версий ни одну нельзя назвать бесспорно доказанной. Щеголев в последние годы своей жизни страстно отстаивал версию комбинированную: по его мнению, вдохновителями дела были Геккерен и Нессельроде, а физическим исполнителем, писцом — Долгоруков, который нашел убежденного прокурора также в лице Б.Л.Модзалевского. Однако прямых улик против Долгорукова обвинители не представили, основываясь лишь на слухах и на том, что по нравственному своему облику Долгоруков мог пойти на такое дело. Правда, по поручению Щеголева, судебный эксперт петербургского суда Сальков произвел графологическую экспертизу и пришел к выводу, что

дипломы писаны измененным почерком Долгорукова. Однако и в этой экспертизе не все убедительно. В конечном счете приходится сказать, что участие Долгорукова весьма правдоподобно, но не доказано. Что касается кн. И.С.Гагарина, то обвинение его в соучастии с Долгоруковым давно отпало.

Имена Долгорукова и Гагарина впервые были оглашены в печати в 1863 году, в брошюре Аммосова *Последние дни жизни и кончина А.С.Пушкина*. Естественно, что оба они выступили с печатными возражениями. Однако пишущему эти строки казалось небесполезным выяснить, не было ли между Гагариным и Долгоруковым частных сношений по поводу разоблачений Аммосова. Благодаря любезному содействию о. И.Н.Кологривова мне удалось обнаружить в парижском архиве Гагарина собственноручное письмо Долгорукова, до сих пор не опубликованное, его первый отклик на аммосовскую брошюру. Письмо довольно пространно, но я воспроизвожу здесь (с сохранением орфографии) лишь первую его часть, ту, которая имеет отношение к истории пасквиблей.

London, Fulham,
Parsons-Green, 7,
le 29 juillet 1863.

Mon cher ami, il y a un siècle que je n'ai de Vos nouvelles, et je Vous envoie cette lettre *registered*, vu l'importance de son contenu.

Le gouvernement russe a payé un certain Ammosow, officier d'état-major, pour imprimer, dans une brochure *intitulée* последние дни жизни А.С.Пушкина, со слов Константина Карловича Данзаса, comme si c'étaient Vous et moi qui furent la cause de la mort de Pouchkine! Je n'ai la connaissance de cette infamie d'Ammosow que par le compte-rendu de la brochure, inséré dans le *Современник* et je Vous transmi ici sés paroles:

«По смерти Пушкина многие подозревали в этом позорном деле князя Гагарина, вступившего потом в иезуиты. Будучи уже за границею, он признался, что записки были писаны у него и на его бумаге, но не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Если бы не было анонимных писем, то, по мнению г. Данзаса, не было бы и дуэли. Таким образом, главным виновником смерти великого поэта оказывается князь Долгоруков, при участии достойного последователя Лойолы, князя Гагарина». (*Современник*, июньская книжка, статья о русской литературе, страница 319.)

J'ai sur de champ écrit une lettre au rédacteur du *Современник*, cette lettre sera insérée dans le 10-e № de mon journal *Листок*, qui paraîtra le 4 août et elle sera également insérée dans le *Колокол* du 1-er août. Il est indispensable, cher ami, que Vous, de Votre côté, Vous écriviez une lettre au rédacteur du *Современник*. (Panaiew est mort, et vu l'absence de Nékrassow, le rédacteur actuel est Пыпин.) Comme il n'est rien moins certain que la censure russe (permette) autorise l'impression de Votre lettre, envoyez m'en une copie au plus vite (et non par la voie de la France, mais par celle de l'Autriche. Je l'imprimerai dans le *Listok*, et je la ferais imprimer dans le *Kolokol*. On ne peut pas garder le silence en présence d'une infamie pareille...

Как видно из этого письма, Долгоруков был крайне встревожен появлением брошюры и тотчас обратился за помощью к Гагарину. Психологически любопытны его инсинуации по поводу подкупа Аммосова и желание прихвастнуть перед Гагариным, будто русское правительство с ним, Долгоруковым, серьезно считается. По существу же дела, то есть относительно виновности Долгорукова в составлении пасквилей, письмо, к сожалению, не дает оснований ни для каких суждений.

Ответ Гагарина Долгорукову неизвестен. Его статья об этом деле появилась лишь два года спустя, но не в *Современнике*, а в *Биржевых ведомостях*, и не в ответ на статью *Современника*, а по другому поводу. Отрицая свое участие в деле, относительно Долгорукова Гагарин подчеркнул, что во время дуэльной истории жил с ним на одной квартире, но никаких улик или доказательств против него не приметил.

1936

ДНЕВНИК А.А. ОЛЕНИНОЙ

Советские историки литературы нередко упрекают старый, до-революционный пушкинизм в том, что он занимался по преимуществу любовными делами Пушкина, не уделяя достаточно внимания вопросам характера социального и чисто литературного. Упреки эти, конечно, преувеличены, но доля правды в них есть. Однако нельзя забывать и того, что дела сердечные играли весьма важную роль в жизни Пушкина и еще большую — в его творче-

стве. Отсюда — естественный интерес, который к ним проявлялся и будет к ним проявляться пушкинистами, не окончательно ушибленными т.н. социальным подходом.

Как вся биография Пушкина, история его сердечной жизни изобилует неясностями. К числу их принадлежат события, связанные с именем Анны Алексеевны Олениной, дочери А.Н.Оленина, ученого, художника, истинного мецената, создателя и директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств.

Известно, что Пушкин сильно ухаживал за Олениной в 1827–1828 гг., посвящал ей стихи, собирался на ней жениться, что сватовство это расстроилось, что Оленина вышла замуж только в 1840 г., когда ей было уже тридцать два года. Оставались неясными — вся внутренняя атмосфера этого романа, чувства Олениной, чувства самого Пушкина, история и причины разрыва. В частности, в отношении разрыва существовали две версии, противоположные друг другу и совершенно различно освещающие всю историю. Долгое время считалось, что брак не состоялся единственно потому, что против него была мать невесты, Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая (родная тетка А.П.Керн, с которой именно у Олениных впервые и встретился Пушкин еще в 1819 г., когда его будущей невесте было всего одиннадцать лет). Эта версия шла от художника Ф.Г.Солнцева, довольно близко стоявшего к дому Олениных. В 1922 году был опубликован отрывок из воспоминаний некоего Железнова, тоже художника. Этот Железнов со слов Н.Д.Быкова, служившего в Академии художеств и занимавшего при ней квартиру, записал другую, можно сказать — сенсационную версию: «Пушкин посватался и не был отвергнут. Старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов; но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и наконец предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда, довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем, что Анна Алексеевна осталась без жениха».

Хотя железновская версия, дающая сведения из вторых рук, отнюдь не имела никаких научных преимуществ перед солнцевской и столь же была лишена документальных подкреплений, некоторые пушкинисты приняли ее на веру — должно быть, просто потому, что она была новее и, так сказать, острее.

Если прибавить к этому, что в письмах Пушкина нет ни одного упоминания об Олениной; что вопрос о том, какое отношение к ней имеют некоторые его стихотворения («Приметы», «Что в имени тебе моем?», «Я вас любил...»), остается неясным; что до сих пор было очень мало известно о ней самой и не было известно ее писем к кому бы то ни было,— то станет вполне понятно, какой интерес для пушкиноведения должен представлять ее дневник, относящийся как раз к 1828–1829 гг. и неожиданно опубликованный в Париже ее внучкой О.Н.Оом.¹

К сожалению, дневник не дает ни полной, ни совершенно ясной картины событий. В частности, в нем нет рассказа о разрыве, и самое имя Пушкина упоминается в последний раз 19 сентября 1828 г., то есть как бы в самый разгар событий. Однако некоторые важные данные для истории романа дневник все же содержит.

Прежде всего мы находим в нем, под 17 июля 1828 г., интереснейший рассказ Олениной о первой встрече с поэтом и его характеристику. Рассказ ведется в третьем лице — Оленина собиралась начать им нечто вроде романа, носящего неясное заглавие —

«Les inconséquences ou pardonner à l'amour». Выписываем рассказ целиком.

Annette Olénine avait une amie, une amie sincère; elle seule, connaissant sa passion pour Alexis, tâchait de l'en détourner. Marie disait souvent: „Annette, ne vous fiez pas à lui: il est faux, il est fat, il est méchant”. Son amie lui promettait de l'oublier et l'aimait toujours. Aux bals, aux spectacles, aux montagnes, elle le voyait partout et peu à peu le besoin de le voir plus souvent devenait une idée fixe. Mais elle savait aimer sans le faire voir qu'elle était occupée de quelqu'un et son caractère gai trompait le monde.

Un jour, au bal chez la comtesse Tiesenhausen-Hitroff,² Annette vit le personnage le plus intéressant de son temps et distingué dans la carrière des lettres: c'était le fameux poète Pouchkine.

Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не

¹ *Дневник Анны Алексеевны Олениной (1828–1829)*. Предисловие и редакция Ольги Николаевны Оом. Париж, 1936, стр. LIII+137.

² Вероятно, в зимний сезон 1827–1828 гг.

украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие — вот все *достоинства* телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия.

Говорили еще, что он дурной сын, но в семейных делах невозможно все знать; <что он распутный человек, но, впрочем,> вся молодежь почти такова.

Итак, все, что Анета могла сказать после короткого знакомства, есть то, что он умен, очень любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен.

Parmi les singularités du poète était celle d'avoir une passion pour les petits pieds, que dans un de ses poèmes il avouait préférer à la beauté même. Annette réunissait à un extérieur passable deux choses: elle avait des yeux qui des fois étaient jolis, des fois bêtes. Mais son pied était vraiment très petit et presque personne de ses amies ne pouvait entrer dans ses souliers.

Pouchkine avait remarqué cet avantage et ses yeux avides suivaient sur le parquet glissant les pieds de la jeune Olénine.

Il était à peine revenu d'un exil de six ans. Tout le monde — hommes et femmes — s'empresaient de lui montrer les attentions, que l'on a toujours pour le génie. Les uns le faisaient par mode, d'autres — pour tâcher d'avoir de jolis vers pour se faire par cela une réputation, d'autres, enfin par véritable respect pour le génie, mais la plus grande partie — à cause de la faveur, qu'il avait auprès de l'empereur Nicolas, qui était son censeur.

Annette l'avait connu, quand elle était encore enfant. Depuis elle avait admiré avec enthousiasme sa poésie entraînant.

Elle aussi voulut distinguer le fameux poète; elle alla donc le choisir dans une des danses; la crainte, qu'elle serait ridiculisée par lui, la fit baisser les yeux et rougir en l'approchant. La nonchalance, avec laquelle il lui demanda, où était sa place, la piqua. Supposer, que Pouchkine put croire, qu'elle était une sottise, la blessa, mais elle répondit simplement et de toute la soirée elle ne se hasarda plus à venir le choisir:

Mais ce fut alors lui à son tour, qui vint l'inviter à faire la figure et elle le vit s'avancer vers elle.

Elle lui donna la main, en détournant la tête et en souriant, car c'était un bonheur, que tout le monde lui enviait.

Je voulais écrire un roman, mais cela m'ennuie, j'aime mieux n'en rien faire et écrire simplement mon journal.

J'ai relu le portrait de Pouchkine, je suis contente de l'avoir si bien esquissé. On le reconnaîtrait entre mille!!

Этот «портрет», набросанный в самый разгар пушкинской любви, дает нам прекрасную характеристику тех чувств, которые питала Оленина к поэту: она находила в нем много любопытного, но никакой любви к нему не питала. Больше того — мы отсюда же узнаем, что сердце ее было прочно занято неким Алексеем (по указанию О.Н.Оом — кн. А.Я.Лобановым-Ростовским). Ухаживания Пушкина она принимала по ряду причин. Во-первых, они ей льстили и создавали ей известный ореол в глазах окружающих; стихи, которые он писал ей в альбом, она показывала знакомым и давала списывать; она только заботилась о том, чтобы Пушкин при других «не соврал чего в сентиментальном роде» (запись 20 июня 1828 г.). Во-вторых, не надеясь выйти за любимого человека, она в это время явственно искала жениха. «Я сама вижу, что мне пора замуж,— писала она 17 июля, — я много стою родителям, да и немного надоела им: пора, пора мне со двора». Заранее при этом готовясь к несчастной семейной жизни с будущим нелюбимым мужем, она не делала большой разницы между многочисленными претендентами на ее руку. Пушкин был одним из них, она не решалась упустить и его, но он, несомненно, занимал в ее мыслях последнее место. Кроме того, в соответствии с версией Солнцева, против ее брака с Пушкиным была мать. 19 сентября она записала, что кн. Сергей Голицын (по светскому прозвищу Фирс) упрекал Елизавету Марковну Оленину в излишней резкости обращения с поэтом. Как видно из записи 17 июля, против брака с Пушкиным был и ближайший друг оленинской семьи, чрезвычай-но в ней почитавшийся,— И.А.Крылов.

Таким образом, Пушкин имел против себя мать невесты и холодность ее самой (20 июня Оленина отмечает, что она «даже» с ним говорила). Он, однако же, не сдавался, и в сентябре месяце до Олениной дошло, что в одном обществе Пушкин выразился приблизительно так: «Мне бы только с родными сладить, а с девчонкой я слажу сам». Этим словам вполне соответствует любопытная подробность, сообщенная О.Н.Оом со слов своей бабушки: стихотворение «Кобылица молодая», хотя и представляющее собой перевод из Анакреонта, было посвящено Олениной.

Ухаживания Пушкина, видимо, были не лишены того «ловласического» оттенка, который не раз наблюдался в его обращении с «девчонками». 13 августа 1828 г. Оленина записала: «Он влюблен в Закревскую, и все об ней толкует, чтобы заставить меня ревновать, но при том тихим голосом прибавляет мне нежности». Несомненно, одною из целей было именно возбуждение ревности. Но, вероятно, рассказами о Закревской, вокруг которой вся атмосфера была насыщена эротизмом, Пушкин пытался в Олениной расшевелить и иные чувства.

Последнее свидание с Пушкиным, отмеченное в дневнике, происходило 5 сентября 1828 г. Никакого сообщения, хотя бы отдаленно подтверждающего железновскую версию, у Олениной нет. Пушкин как бы внезапно исчезает из ее поля зрения. Если бы произошло все то, о чем рассказывает Железнов, то есть если бы Пушкин, добившись согласия и самой Олениной, потом отступился, то, может быть, этот оскорбительный для ее самолюбия факт Оленина и не записала бы. Но и тогда, и впоследствии он резко бы отразился на отношении к поэту с ее стороны и со стороны всей семьи. Между тем О.Н.Оом сообщает, что Оленина до конца жизни сохранила о Пушкине наилучшие воспоминания. Этого мало. О.Н.Оом, которой некогда принадлежал альбом Олениной (оставленный в сов. России и там погибший или еще не разысканный исследователями), сообщает, что под стихотворением «Я вас любил...», кроме даты «1829», имелась приписка Пушкина «Plus que parfait — давнопрошедшее, 1833». Эта приписка показывает, что четыре года спустя женатый Пушкин был принят у Олениных и вместе с Анной Алексеевной просматривал ее альбом, вспоминая прошлое, — что, разумеется, было бы невозможно, если бы в самом деле произошла сцена, изображенная Железновым.

Таким образом, вопрос о том, когда и как кончилось сватовство Пушкина, остается открытым. Молчание Олениной дает некоторое основание допустить даже такую возможность, что официального предложения Пушкин не сделал и официального отказа не получил, ограничившись всем известными ухаживаниями, стихами, зондированием почвы — вплоть до того момента, когда, в конце 1828 г., в Москве, встретил Н.Н.Гончарову и чувства его приняли иное направление. Чувства эти, по-видимому, были по отношению к Олениной не слишком глубоки. Кажется, прав был Вяземский, писавший жене 7 мая 1828 г.: «Пушкин думает, и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен...» Такому взгляду отнюдь не противоречат довольно резкие отзывы Пушки-

на об Олениной, записанные в воспоминаниях А.П.Керн и относящиеся к зиме 1828–1829 гг., как и тот факт, что, едва расставшись с Олениной осенью 1828 г., Пушкин отправился в Малинники, «собирать недоимки» с тамошних барышень, и написал А.Н.Вульф известные стихи:

За Netty сердцем я летаю
В Твери, в Москве,
И R и O позабываю
Для N и W.

Недостаток места лишает нас возможности подробнее остановиться на дневнике Олениной, а также вступительной статье О.Н. Оом. В этой статье имеются весьма интересные данные, но, к сожалению, она не лишена неточностей.

1936

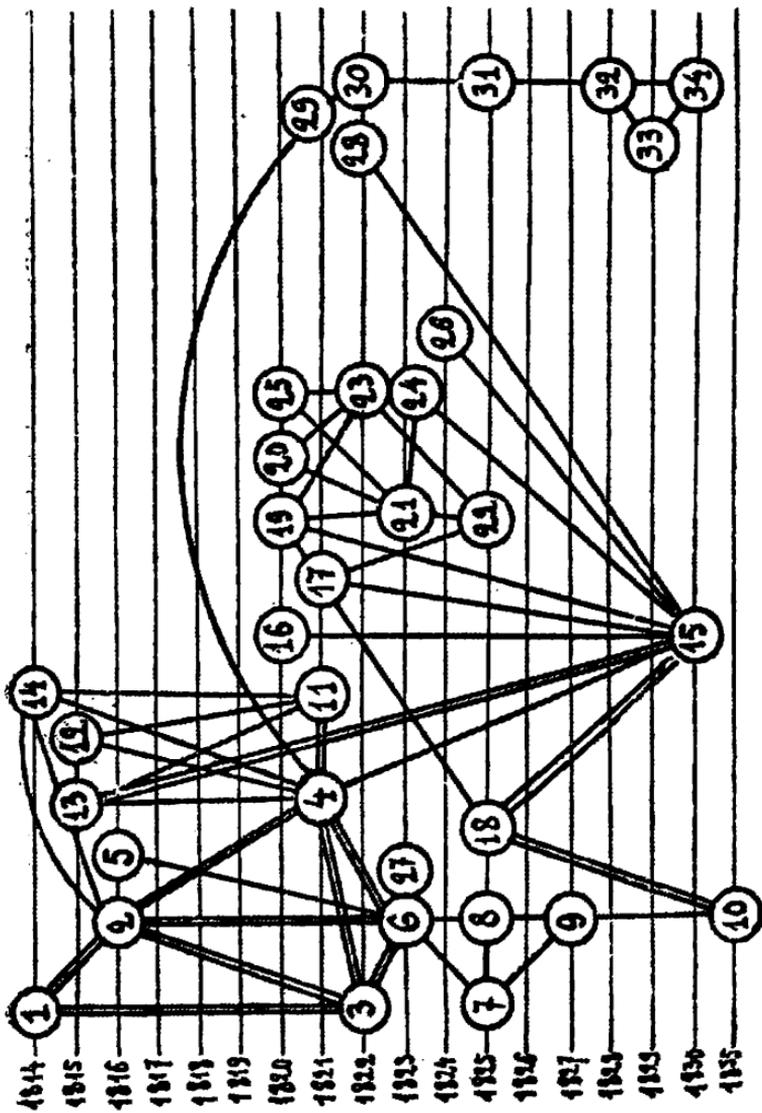
О ПУШКИНЕ

В 1924 г. появилась моя книга *Поэтическое хозяйство Пушкина*, изданная без моего участия и в таком неслыханно искаженном виде, что я тогда же печатно снял с себя ответственность за ее содержание. С тех пор мною написан ряд статей и заметок, по теме примыкающих к *Поэтическому хозяйству Пушкина*, в котором, с другой стороны, многое вовсе перестало меня удовлетворять, а многое подверглось коренному пересмотру. Так образовалась предлагаемая книга, которой решился я дать новое заглавие.

Общеизвестно обилие самоповторений в произведениях Пушкина. Одни из них представляют собою использование материала из недовершенных произведений; другие объясняются сознательным пристрастием к определенным образам, мыслям, слово- и звуко-сочетаниям, интонациям, эпитетам, рифмам и т.п.; третьи могут быть названы автоцитатами, цель которых — закрепление (иногда — для читателя, иногда — для себя самого) внутренней связи между пьесами, порой отделенными друг от друга значительным промежутком времени; четвертые суть не что иное, как стилистические, языковые или просодические навыки, штампы; пятые, наконец, являются в результате бессознательного самозаимствования и могут быть названы автореминисценциями. Установить, к какой из этих категорий относится каждое данное самоповторение, не всегда возможно, но все они представляют тот или иной интерес, ибо каждая группа их вскрывает какую-нибудь черту в творческой личности Пушкина.

Многолетние наблюдения над этими самоповторениями приводят меня к убеждению, что если бы можно было собрать и надлежащим образом классифицировать их все, то мы получили бы, между прочим, первостепенной важности данные для суждения о языке и стиле Пушкина, о его поэтике, о связи формы и содержания в его творчестве. Однако такая задача для меня неисполнима по техническим причинам, да вряд ли она и под силу одному человеку, ограниченному возможностями своей памяти. Поэтому я избегаю широких обобщений и выводов, ограничиваясь тем, что предлагаю вниманию читателей ряд отдельных наблюдений, цель и смысл которых могут быть определены словами самого Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Если мне удалось несколько раз уловить ход мысли Пушкина или обнаружить мысль, им не высказанную, но сопутствовавшую его творчеству, то я в праве считать, что моя работа небесплодна.

В.Х.



ЯВЛЕНИЯ МУЗЫ

На прилагаемом чертеже графически изображена связь между тридцатью четырьмя моментами пушкинского творчества. Каждому кружку чертежа соответствует цельная пьеса или часть ее. Кружки расположены на вертикальной шкале, указывающей хронологию пьес. Горизонтальное положение кружков, правее или левее, не имеет значения. Существенно важны лишь высота кружков на хронологической шкале и, в особенности, линии, соединяющие кружки друг с другом. Цифры внутри кружков соответствуют следующим пьесам и отрывкам:

1. К Батюшкову («Философ резвый и пиит...»).
2. А.А.Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...»).
3. Адели («Играй, Адель...»).
4. «Наперсница волшебной старины...»
5. Сон («Пускай поэт с камильницей наемной...»).
6. *Евгений Онегин*, гл. 2, чернов. наброс. («Ни дура английской породы...»).
7. Зимний вечер («Буря мглою небо кроет...»).
8. *Евгений Онегин*, гл. 4, XXXV.
9. «Подруга дней моих суровых...»
10. «...Вновь я посетил...»
11. Муза («В младенчестве моем она меня любила...»).
12. К Батюшкову («В пещерах Геликона...»).
13. Мечтатель («По небу крадется луна...»).
14. Городок («Прости мне, милый друг...»).
15. *Евгений Онегин*, гл. 8, I–VII и XLVI.
16. Руслан и Людмила.
17. Кавказский пленник.
18. 19 октября 1825 г. («Роняет лес багряный свой убор...»).
19. Нереида («Среди зеленых волн...»).
20. «Редет облаков летучая гряда...»
21. Бахчисарайский фонтан.
22. Буря («Ты видел деву на скале...»).
23. «За нею по наклону гор...»
24. *Евгений Онегин*, гл. 1, строфы XXXIII и LVII.
25. Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан живой!...»).

26. Цыганы.
27. *Евгений Онегин*, гл. 2, XXIV–XXIX.
28. Братья разбойники.
29. «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»
30. Наброски вступления или посвящения «Гавриилиады».
31. П.А.Вяземскому («Сатирик и поэт любовный...»).
32. В.С.Филимонову («Вам музы, милые старушки...»).
33. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»
34. Домик в Коломне.

Первоначально три текста привлекли мое внимание. Хотелось показать их взаимоотношение, точнее — возникновение текста, означенного цифрой 3, из 1 и 2. Но в процессе работы я заметил, что 2, в свою очередь, связан с 6 и 4, а 6 сам собою связался с целую цепью: 7, 8, 9, 10, а 4 — с 11 и 15, который оказался центром, в котором сходятся умственные линии от целого множества кружков: 16, 17, 18 и т.д. Помимо связи с 15, тексты оказались сепаратно связаны друг с другом, стали перекликаться, привлекать новые тексты — и в конце концов сложились в систему, которую я, для наглядности, решил представить графически. Такова история чертежа.

Вот два текста, послуживших его завязью:

Кружок 1-й:

Мирские забывай печали,
Играй: тебя младой Назон,
Эрот и Грации венчали,
А лиру строил Аполлон.
(К Батюшкову)

Кружок 2-й:

Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их¹ лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.
(А.А.Шишкову)

Интонационное и смысловое родство этих текстов очевидно. В обоих — обращение к поэтам; в обоих — приглашение к беззаботности и веселью: в первом — к забвению печалей, во втором — к согласованию «игривой свирели» с лирами трех эротических поэ-

¹ Т.е. лирой Тибулла, Мелецкого и Парни, упомянутых перед тем.

тов. Мотивировка предложения в обоих случаях выражена одинаково: синтаксически — пропуском союза «ибо» и заменой его знаком двоеточия; логически — тем, что оба поэта с младенчества пользуются особым, прямым покровительством богов: Батюшков — со стороны Эрота, Граций и Аполлона, Шишков — со стороны «веселья резвого» и нимф Геликона. Наконец, есть фонетическое сродство рифм: «Назон — Аполлон» в первом тексте, «Аполлона — Геликона» — во втором.

Посмотрим теперь на 3-й текст: начало стихотворения «Адели»:

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.

Несмотря на то, что стихи обращены не к поэту, здесь прежде всего замечается интонационное и смысловое тождество с обоими предыдущими текстами: опять приглашение к беззаботности, выраженное в повелительном наклонении, а в мотивировке — снова пропуск союза и покровительство богов. Далее, видим, что призыв к веселью сделан тем же глаголом и в той же форме, как в 1: «играй». Слова «забывай печали» (1), будучи обращены к юному существу, еще не имеющему печального опыта, в 3 соответственно изменены: «не знай печали». Слова «тебя... Эрот и Грации венчали» в смысловом отношении повторены точно: «Хариты, Лель тебя венчали». Лексическая разница подсказана лишь изменением мифологической номенклатуры: латинские Грации заменены эллинскими Харитами, а эллинский Эрот — славянским Лелем. Таким образом, первые четыре стиха «Адели» почти без остатка растворяются в послании к Батюшкову. Точно так же стихи 5–6 растворяются в обращении к А.А.Шишкову:

И колыбель
Твою качали —

целиком взято из нашего 2-го текста. Начало «Адели» оказывается почти сводкой 1-го и 2-го текстов.

Если теперь обратимся к рифмовке, то увидим, что и в этом отношении «Адели» представляет собою сводку 1 с 2. «Печали — венчали» взято из 1. Созвучие «Назон — Аполлон — Аполлона — Геликона», связующее 1 с 2, в 3 отброшено, но рифма «Адель —

Лель — колыбель» восходит ко 2-му тексту: там «колыбель» рифмована со «свирель», а здесь — с «Адель» и «Лель», причем вполне вероятно, что имя «Адель» именно и вызвало замену Эрота Лелем. Однако примечательно, что рифма «свирель» не вовсе выпадает из ряда, а лишь дана позже, как бы отсрочена: в конце пьесы читаем:

Люби, Адель,
Мою свирель.

Получается такая же рифменная сводка, как и смысловая.

Тексты 1, 2, 3 образуют на чертеже треугольник. Двойные линии, образующие его стороны, означают здесь, как и в других случаях, что между текстами есть не только тематическая и смысловая связь, но и словесные и фонетические совпадения. Такими же двойными линиями пришлось обозначить и смежный треугольник: 2, 3, 4.

В самом деле, сравнивая 2 и 3 с 4 («Наперсница волшебной старины»), замечаем словесное и рифменное совпадение:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворжила.

В 2 и 3 колыбель качают мифологические покровители младенца: в 2 — нимфы, в 3 — Хариты и Лель. В 4 образ такой покровительницы дан, на первый взгляд, в чертах бытовых, ничего не имеющих общего с изображениями нимф и Харит: «Наперсница волшебной старины» является перед нами «веселую старушкой», «в шушуне, в больших очках и с резвою гремушкой». В этом образе принято видеть воспоминание Пушкина о бабушке или няне (скорее — о последней, так как очки носила Арина Родионовна). Комментируя пьесу, Брюсов заявляет: «Образ *старушки* — няня Пушкина или его бабушка». Подчеркивая слово «старушка», он, по-видимому, хочет этим указать, что только старушка в начале пьесы — няня или бабушка, а та «прелестница», о которой повествуется дальше,— уже не бабушка и не няня. Однако это не совсем так: все стихотворение обращено к одному лицу, которое только является поэту в двух образах, сперва старушкой, потом —

Это волшебное существо, обладающее способностью изменяться «мило» и «быстро», оставляет в колыбели младенца-поэта завороченную свирель. Пушкин, сказавший ранее, что колыбель Шишкова качали нимфы Геликона, а колыбель Адели — Хариты и Лель, здесь говорит о себе самом, что его колыбель стерегло такое же мифическое существо. Коротко говоря, мы имеем здесь рассказ Пушкина о первом явлении его Музы. Смысловый параллелизм с 2 и 3 здесь вполне сохранен. Различие заключается только в том, что традиционный образ Музы, обычно изображаемой в виде прелестной девы, на сей раз расширен и усложнен: Муза Пушкина является в двух образах, соответствующих разным биографическим моментам и разным характерам его вдохновений. Ряд подобных явлений Музы и есть основная тема моего чертежа.

Поскольку Муза в первой половине стихотворения показана в образе старушки, она связывается с более ранней пьесой, в которой речь идет о той же няне; я имею в виду «Сон»:

Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Этот незаконченный отрывок (на чертеже — кружок 5) любопытен в двух отношениях. Во-первых, из сопоставления его с 4, написанным позже, видно, как совершается превращение няни в Музу. Точнее — видно, как реальный образ, взятый из детских воспоминаний, к моменту написания «Наперсницы» претворяется в образ Музы. Во-вторых, здесь можно наблюдать обычное у Пушкина использование ранее накопленного материала. Набросав, но не кончив «Сон», Пушкин через пять лет заимствовал из него внешний облик няни для изображения Музы в «Наперснице». Приняв образ старушки, богиня сохранила от былой «мамушки» чепец и «старинное одеяние», названное в 4 прямо шушуном.² О

² Образ старушки, восставший из детских воспоминаний, абстрагировался постепенно. «Наперсница» — вторая фаза этого процесса. Первая относится к 1819 году,

сказках, в «Сне» точно указанных (Бова, Полкан, Добрыня), в «Наперснице» упомянуто обще и условно: «Мой юный слух напевами пленила». О молитвах и крестном знамении, конечно, не сказано, ибо мамушка стала Музой. Однако мотив, не использованный в «Наперснице», вскоре всплывает в черновиках *Евгения Онегина* (кружок б), где дается изображение ларинской няни:

Ни дура английской породы,
Ни свосравная мамзель,
В России, по уставу моды,
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель,
Она же ей стлала постель,
Она ж за Ольгою ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала золото кудрей,
Читать «Помилуй мя» учила,
Поутру наливала чай
И баловала невзначай.

Преемственная связь б с 5 в том и заключается, что в б взяты из 5 мотивы, не использованные в «Наперснице»: молитва и рассказ о Бове. В то же время слова «качала колыбель» текстуально связывают черновик *Онегина* с одной стороны — с 2 и 3, с другой — с 4.

Подводя итог сказанному и всматриваясь в треугольники чертежа, получаем:

1) Треугольник 5, 4, б рисует происхождение мифического образа Музы (в 4) и бытового образа няни (в б) из общего источника: детских воспоминаний.

2) Треугольник 2, 3, 4 устанавливает связь няни-Музы с другими мифологическими образами.

3) Треугольник 2, 3, б дает наглядное изображение той же связи с мифологией — для вполне реального образа няни Лариных.³

но тогда старушка ассоциировалась не с Музой, а с Москвой, где протекло детство Пушкина. Он писал Н.В.Всеволожскому:

В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.

³ Необходимо заметить, что няня Лариных, сперва названная Фадеевной, а потом переименованная в Филиппьевну, есть то же лицо, что и Арина Родионовна, историческая няня Пушкина. Пушкин, так сказать, уступил ее Лариным и ввел ее в свой

4) Треугольники 2, 4, 6 и 3, 4, 6 очерчивают тему: явление богов-покровителей у колыбели младенца, причем ларинская няня вновь оказывается вовлеченной в хоровод существ мифологических.

Таким образом, сопоставление треугольников подсказывает вывод: постепенно образ няни для Пушкина стал полумифическим.

Тема няни продолжена в 7, 8, 9 и 10. Та «старушка», к которой в «Зимнем вечере» (7) Пушкин обращается: «добрая *подружка* бедной юности моей»; та, о которой в XXXV строфе 4 гл. *Евгения Онегина* (8) говорит он опять как о «подруге юности»; та, к которой, два года спустя, он пишет:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя! —
(«Няне», кружок 9);

та, наконец, о которой в 1835 г. («Вновь я посетил...»), кружок 10) он говорит: «Уже старушки нет» — это все не только няня, не просто няня: это все та же Муза, «богиня тихих песнопений», представшая ему в «Наперснице». Поэтому не случайно (посмотрим опять цепь 6, 7, 8, 9, 10) ларинская няня рассказывает «Бову» в 6; не случайно в «Зимнем вечере» (7) поэт просит ее:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла;

не случайно вспоминает он в 10:

уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора,
А вечером при завыванье бури
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет...

роман, как и других живых лиц: как Каверин дружит с Онегиным (гл. 1, XVI), а кн. П.А.Вяземский подсаживается к Татьяне на московском балу (гл. 7, XLIX), так Арина Родионовна под именем Филипповны нянчит Татьяну с Ольгой. В 1824 г. Пушкин писал Д.М.Княжевичу: «вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели; она единственная моя *подруга*, и с нею только мне не скучно». До какой степени Филипповна <так!> отождествлялась с ларинской няней в сознании Пушкина, мы еще увидим далее.

Только в 9 («Подруга дней моих суровых...») няня является молчаливой: это потому, что на этот раз она одна. Во всех прочих случаях она предстает с песней и сказкою на устах. Ее слова — лепет Музы. И обратно: ей же, как Музе, поэт поверяет свои вдохновения (8):

А я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Такова история одного из явлений Музы: в образе няни. К нему мы еще отчасти вернемся. Теперь же, заметив, что в теме няни мы встречаемся с *переходом момента автобиографического в мифотворческий*, обратимся к правой стороне чертежа, пойдем по линии 4–11, от «Наперсницы волшебной старины» к «Музе».

«Наперсница» не окончена. Мне кажется, Пушкин мог быть недоволен стихотворением по двум причинам. Во-первых, надо принять во внимание, что процесс мифологизации няни, процесс ее превращения в Музу, протекал подсознательно. Поэтому, когда Муза написалась старушкой в очках и шушуне, поэт, слишком еще помнивший поэтический канон XVIII века, вероятно, был несколько озадачен: в начале двадцатых годов такая модернизация могла показаться ему рискованной. Недаром и позже, сколько ни приближался в его стихах образ няни к образу Музы, Пушкин все же ни разу не поставил между ними того знака равенства, который стоит в «Наперснице».

Вторая причина недовольства могла заключаться в построении пьесы. Двенадцать начальных ее стихов посвящены изображению Музы в виде старушки. Десять заключительных живописуют Музу-прелестницу. Между первой и второй частями — связующее четверостишие. Стихотворение явно не закончено в длину — это видно из его содержания. Сколько же стихов Пушкин мог приписать? Очень немного: два, четыре, вряд ли больше шести, так как иначе вторая часть перевесила бы, забила бы первую. Каково могло быть содержание этих завершительных стихов? Только одно: совершенно статически показанной «прелестнице» мог быть придан какой-либо жест, выводящий ее из неподвижности и соответствующий жесту Музы-старушки, которая, первоначально изображенная столь же статически, затем

...меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Иное окончание пьесы вряд ли можно предположить. Но и в этом случае, даже не нарушая равновесия частей, Пушкин не спас бы стихотворения от архитектурного недостатка. Получилась бы пьеса, построенная на симметрическом сопоставлении двух образов, ярко выписанных, но пластически плохо связанных. Получилось бы стихотворение, разламывающееся на две части, с вялой, только психологически намеченной связью:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила —
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила.

Удачно переделать эти связующие стихи было бы невозможно. Что с ними ни делай — они должны были изображать пустое место, пробел между двумя яркими, но отдаленными друг от друга моментами. В лирической пьесе такая задача вряд ли разрешима.

Точная датировка «Наперсницы» неизвестна. Однако почти немислимо предположить, чтоб она могла быть написана позже «Музы» (кружок 11). Если бы мы допустили, что «Муза» писана раньше, то пришлось бы допустить, что из стихотворения, которым Пушкин был доволен и которое вскоре отдал в печать, он тотчас же начал заимствовать образы и отдельные выражения для новой пьесы. Вероятнее, что «Наперсница» была брошена до написания «Музы», в которую и перенесены некоторые ее частности:

1) Свирель, «оставленная меж пелен» «веселою старушкой», превращена в «семиствольную цевницу», «врученную» Музой.

2) Посещение Музы, сделанное в «Наперснице» «тихонько», проступило в «Музе» эпитетом «тайный»: «Прилежно я внимал урокам девы тайной».

3) Как в «Наперснице» Муза «сама заворожила» свирель, так теперь «сама из рук моих свирель она брала» и «оживляла» ее «божественным дыханьем».

4) Стихи «Наперсницы»:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила —

в измененном виде даны в первом же стихе «Музы»:

В младенчестве моем она меня любила.

Добавим, что внешний облик Музы близок к тому, который показан во второй половине «Наперсницы»; одна частность — локоны — даже повторена в точности.

Примечательно, однако, что образ старушки теперь отсутствует, и богиня трактована в полном согласии с антологическим канонem.

Здесь же, в «Музе», последний раз встречается у Пушкина типично антологический мотив: вручение пастушески-поэтического атрибута: дудки, цевницы, лиры или свирели. По канону, мифическое существо, покровительствующее поэту, вручает ему такой атрибут в младенчестве. Идя в обратном хронологическом порядке, видим, что вручению цевницы в 11 предшествует оставление «меж пелен» замороженной свирели в 4. Этому, в свою очередь, предшествует аналогичный момент в стихотворении «Батюшко-ву»⁴ (12): там покровителем будущего поэта является Пан:

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил:
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.

С «Наперсницей» и «Музой», также полюбившей поэта в младенчестве, стихотворение составляет треугольник 4, 11, 12.

Еще раньше, в «Городке» (14), читаем:

Ах! счастлив, счастлив тот,
Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет!

В один год с 12 написан «Мечтатель» (13), примечательный для нас тем, что здесь явление Музы, не первое по времени, впервые рассказано:

Нашел в глуши я мирный кров,
И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
Поэту дар бесценный;
И Муза верная со мной:
Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
И дикая пустыня.

⁴ <Здесь название этого стихотворения приведено в современном виде. — ред.>

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!
Летай с мечтаньем надо мной,
Расправля легки крылы...

Как видим, здесь дан традиционный образ богини, что сближает стихотворение с «Музой» 1821 г. (11). Получение лиры от богов, как и упоминание об «утре дней златых» (почти в тех же словах, как в 12), сближает пьесу с 12, 4, 11 и 14. Появление Музы у колыбели связывает 13 с 2, но еще более — с 4: в «Мечтателе», как впоследствии в 4, Муза является у колыбели самого автора (в 2 — у колыбели другого поэта), слову же «колыбель» в 13, как и в 4, придан общий (почти тавтологический) эпитет «детская».

Так возникают треугольники:

2, 13, 14: муза у колыбели.

13, 4, 11 и 12, 4, 11, а также 14, 4, 11, имеющие общее основание 4–11, т.е. разнящиеся лишь вершинами (13, 12 и 14): получением дудки от Пана (12), лиры от Феба (14) и лиры от богов вообще (13). Общая тема треугольников — получение поэтического атрибута (в 4 — свирель, в 11 — цевница) от Музы.

Линии, расходящиеся от 13 к 4 и 11, дают еще один пример позднейшего расщепления материала: традиционный образ Музы переносится из 13 в 11, а колыбель — в 4.

Впервые говоря в «Мечтателе» о *своей* Музе, поэт к ней обращается:

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!

Муза и осталась его спутницей, и не только в том смысле, что он не расставался с поэзией «до самых врат могилы», но и в другом, более тесном: самая тема явления Музы сопутствовала ему почти до конца жизни. Но — образ Музы менялся.

Изменение этого образа прослежено самим Пушкиным и закреплено в 8-й главе *Евгения Онегина* (кружок 15). Последуем за рассказом Пушкина и посмотрим, как сюда, к 15, тянутся нити от других моментов пушкинского творчества.

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал;
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

Это не только рассказ о начале поэтического пути, но и свидетельство о том, что сам Пушкин рассматривал этот путь именно как ряд последовательных явлений Музы. Тем самым 15 непосредственно связано с 4 и 11.

В приведенных строках намечен лишь первый образ Музы: богиня «озаряет» «студенческую келью». Примечательно, что здесь, через пятнадцать лет, использован тот самый словесный материал, который находим именно в первом описании явления Музы — в «Мечтателе». Там:

...горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью.

Здесь, в *Евгении Онегине*:

Моя студенческая келья
Вдруг озарилась...

Таким образом, 13 связывается с 15 двумя линиями: тематической и текстуальной.

В заключительных стихах этой строфы, а также в строфах I, II и III Пушкин представил Музу такую, какой она являлась ему в Лицее и в краткий период между Лицеем и ссылкой. Это — Муза, окрыленная «первым успехом», приведенная «на шум пиров и буй-

ных споров», та «вакханочка», за которую «буйно волочилась» «молодежь минувших дней». Однако в этих строфах нет намеков на какие-нибудь определенные пьесы лицейского и послелицейского периодов. Точнее — здесь подразумевается все, что было написано в те годы, здесь перечисляются основные мотивы ранней пушкинской поэзии: «детские веселья» (напр. — в посланиях к Галичу и в «Пирующих студентах»), «сердца трепетные сны» (напр. — любовные стихи 1816 г.), «пение за чашей» (стихи, обращенные, напр., к Юрьеву или Кривцову). В упоминании о «шуме пиров и буйных споров» заключен намек на собрания «Зеленой лампы» и тем самым — на политические стихи вроде «Вольности». В соответствии с отсутствием конкретных обозначений я мог поместить на своем чертеже лишь один кружок — 16-й, — означающий «Руслана и Людмилу»: намек на эту поэму заключен в словах: «Воспела... славу нашей старины».⁵

Четвертая и пятая строфы содержат вполне отчетливые намеки, и наш чертеж расширяется. Излагая историю явлений Музы, Пушкин продолжает:

Но рок мне бросил взоры гнева
И в даль занес... она за мной.
Как часто ласковая дева
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа.
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!..

Здесь Пушкин вспоминает явление Музы — вдохновительницы «Кавказского пленника» (кружок 17), той, о которой в эпилоге этой поэмы он говорил:

⁵ По-видимому, говоря о своей ранней лирике, Пушкин сперва намеревался в начальных строфах 8-й главы представить ранние явления Музы как импульс к созданию первой книги *Стихотворений Александра Пушкина*. Намек на эту книгу имеется в III строфе первоначальной редакции:

Везде со мной, неутомима,
Мне муза пела, пела вновь
(Amorem sanat aetas prima)
Все про любовь да про любовь.

Здесь третий стих — изменение того Проперциева стиха, который послужил эпиграфом к первой книге стихов, изданной в 1826 г.: «Aetas prima sanat amorem, extrema tumultus».

Так Муза, легкий друг мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Она бродила по скалам — и т.д.

Заметим, что в стихах:

Как часто ласковая дева
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам *Кавказа...*—

есть рифменная и лексическая связь с обращением к Кюхельбекеру в «19 октября 1825 г.»:

Приди: огнем *волшебного рассказа*
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях *Кавказа...*

Таким образом, кружок 18 («19 октября 1825») соединяется с 17 и 15 темою Кавказ — Кюхельбекер.

Далее в *Евгении Онегине* читаем:

Как часто по берегам *Тавриды*
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот *Нереиды*,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.

Тут Муза вспоминается Пушкину как вдохновительница его крымских произведений — прежде всего «Нереиды» (кружок 19), связь с которой закреплена и в повторении рифмы.⁶

В намеке на «Нереиду» зашифровано очень много воспоминаний, поэтических и сердечных. Думая о Музе, сопутствовавшей ему при созерцании Нереиды, Пушкин не мог не вспомнить весь

⁶ Начало «Нереиды»:

Среди зеленых волн, ласкающих *Тавриду*,
На утренней заре я видел *Нереиду*...

цикл таврических вдохновений и впечатлений. Намек на «Нереиду» содержит в себе также намек на «Редает облаков...» (20), «Бахчисарайский фонтан» (21), «Бурю» (22), на набросок «За нею по наклону гор...» (23), сделанный в 1822 г. и затем переработанный в XXXIII строфу 1-й главы того же *Евгения Онегина* (24).

В свою очередь кружок 24 отмечает связь 20, 21 и 22 не только с XXXIII, но и с LVII–LIX строфами 1-й главы *Онегина*. Эта связь вскрывает необыкновенно изящный момент в творческой психологии Пушкина. Перечтем LVII строфу внимательно:

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало — милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?»

Первые пять стихов говорят о том, что поэту некогда было ведомо любовное чувство, что чувство это прошло, и только «тайный образ» «милых предметов» сохранился в душе. Шестой стих устанавливает связь «милых предметов» с творчеством: тайно сохраняемые в душе, они там находятся в состоянии как бы анабиоза, между жизнью и смертью. Творчество их оживляет. В каком виде? Ответ дан в трех следующих стихах. Поэт вспоминает, как он, уже свободный от «безумной тревоги» любви (LVIII), уже «беспечный», воспевал

И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира,—

то есть вспоминает эпоху создания «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Но поскольку в предыдущих стихах дан недвусмысленный намек на происхождение «девы гор» и «салгирских пленниц», поскольку эти образы суть оживленные образы «милых предметов»,— мы можем утверждать, что и черке-

шенка, и жены Гирея суть поэтически преображенные («оживленные») образы, почерпнутые в семье Раевских.

Строфа LIX начинается формулой:

Прошла любовь, явилась Муза.

Это явление Музы описано в IV строфе 8-й главы, и следовательно, из всего предыдущего надлежит сделать вывод, что оно содержит намек на воспоминания о Раевских.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали, говоря о «Нереиде». Однако признание Пушкина о том, что образ «девы гор» стоит в связи с любовными переживаниями, которыми вызваны также образы «Бахчисарайского фонтана», позволяет включить кружок 17 в фигуру: 17–19–20–25–23–24–15, которую можно бы назвать фигурой Раевских. (Заметим кстати, что сюда же отчасти относятся III, XIV и XVI строфы «Путешествия Онегина», в которых вместе с темой Раевских опять звучит тема Музы.)

Следующая, V строфа 8-й главы *Онегина* показывает нам сперва Музу — вдохновительницу «Цыган» (кружок 26):

И, позабыв столицы дальней
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...

До сих пор Муза является вдохновительницей поэта и лишь отчасти меняет свой облик в связи с «колоритом местности». В дальнейших строках этой строфы она принимает образ героини романа. Перед нами Муза, сливающаяся с Татьяной:

Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Здесь мы уже имеем воспоминание о явлении Музы Пушкину — автору 2-й главы *Евгения Онегина*, той главы, где впервые показана Татьяна (строфы XXIV—XXIX, кружок 27). Наконец, в начальных стихах следующей, VI строфы 8-й главы показано последнее, как бы в данную минуту происходящее явление Музы. Если до сих пор явления были тайными, зримыми одному поэту, то теперь все происходит на глазах у читателя:

И ныне Музу я впервые
На светский раут привожу;
На прелести ее степные
С ровнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села молча и глядит — и т.д.⁷

Это явление Музы — хронологически предпоследнее в поэзии Пушкина. От последнего оно отделено, по-видимому, лишь несколькими неделями. Но тут мы должны вернуться к 1821 г., к тому моменту, когда Муза впервые предстала поэту в образе старушки.

Выше, говоря о возможных причинах недовольства Пушкина «Наперсницей», я указывал, что Муза, представленная в виде старушки, могла показаться ему слишком не соответствующей канону. Эта неканоничность в «Наперснице» слагается из двух элементов: во-первых, богиня, канонизированная в образе юной девы, показана здесь старушкой; во-вторых, старушке приданы русские черты XIX столетия, — иными словами, Муза модернизирована. Первый из этих элементов был отброшен Пушкиным: старушка Муза больше ему не являлась.⁸ Что же касается модернизации

⁷ Описание раута, продолженное в следующей, VII строфе, имеет глубокую ритмическую и, может быть, затаенную смысловую связь с начальными стихами «Братьев разбойников» (кружок 28).

⁸ Кружком 32 отмечено послание к В.Филимонову (1828), начинающееся словами:
Вам Музы, милые старушки...

Также и в XV строфе «Домика в Коломне» говорится о «хороводце старушек-муз». Этих старушек нельзя, однако, сблизать со старушкой из «Наперсницы»: они не являются Пушкину, как *его* Муза, вдохновительница *его* поэзии; к тому же в этих обоих случаях речь идет не о старости Муз, а, в сущности, лишь об устарелости

Музы, то она, в соответствии с романтическими приемами пушкинской поэзии, сохранилась: именно в 8-й главе *Евгения Онегина* Муза, оставаясь юною, принимает ряд образов, противоречащих классическому канону, и, наконец, даже появляется на петербургском рауте. Однако она неизменно остается «прелестницей» и, как ни модернизуется, все же сохраняет черты «высокого стиля»: она сравнивается с Ленорой, в очах у нее печальная дума и т.д. Модернизация не переходит ни в прозаизацию, ни в пародию.

Однако несколько попыток такого пародирования или прозаизации было Пушкиным сделано. Из них большинство приходится на шуточные, не предназначенные для печати послания. Самая ранняя относится к 23 марта 1821 г. От «Музы» (11) ее отделяет месяц с небольшим. В этот день Пушкин писал Дельвигу:

Теперь я, право, чуть дышу,
От воздержанья Муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.
(Кружок 29)

Вскоре после того, набрасывая вступление к «Гавриилиаде», Пушкин в одном наброске зовет Музу «игривой», в другом говорит:

Вот Муза, добрая душой,
Не испугайся, милый мой,
Ее израильскому платью... и т.д.

В третьем наброске:

Вот Муза, резвая болтуня,
Которую ты так любил.
Она раскаялась, шалуня — и т.д.

Эти наброски означены кружком 30.

В 1825 г., в шуточном послании к Вяземскому (кружок 31), Пушкин считается с приятелем родством Муз:

Но, милый, Музы наши — сестры,
Итак, ты все же братец мой.

сти их культа. Меж тем старушка в «Наперснице» и старушка няня — существа извечно древние, невнятно лепечущие свои древние сказки, быть может — близкие Паркам. Быть может, в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» «Парки бабье лепетанье» имеет глубокое сродство с темой Музы, и самые стихи эти, быть может, суть запись Паркина лепета, как другие — запись песен Музы.

Только в 1829 г. он единственный раз прозаизирует Музу в серьезных, не шуточных стихах:

Беру перо, сию; насильно вырываю
У Музы дремлющей несвязные слова...
«Зима. Что делать нам...» (круж. 32).

Наконец, последнее явление пародированной Музы было и последним явлением Музы вообще. Через несколько дней после окончания 8-й главы *Евгения Онегина*, в XXIII октаве «Домика в Коломне» (кружок 33) Пушкин обращается к своей «младой спутнице»:

Усядся, Муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки. Не вертись, резвушка...

Пушкин делался сух и горек. Его влекли картины суровой, порой убогой действительности. Романтическая Муза 8-й главы была последним даром прошлому. Потом ему стало уже вовсе не до богинь. Он навсегда изгнал мифологию из своего творчества.

Няню Арину Родионовну Пушкин, как сказано выше, уступил семье Лариных. Надо заметить, что до отъезда Татьяны в Москву, чем и заканчивается 7-я глава *Евгения Онегина*, ларинская няня, очевидно, была жива. Случись ее смерть ранее, это событие, важное в жизни Татьяны, было бы отмечено в 7-й главе. В последнем своем разговоре с Онегиным Татьяна ему говорит о смиренном кладбище,

Где ныне крест и сень ветвей
Над бедной нянею моей.

Следовательно, мысль о смерти ларинской няни пришла Пушкину после окончания 7-й главы, т.е. после 4 ноября 1828 г. Этим подтверждается ее идентичность с Ариной Родионовной, скончавшейся в конце 1828 г. Таким образом, в той самой главе, где Пушкин подводит итог явлениям своей Музы, он иносказательно, зашифровано, «для себя» прощается и с той, которая была ее первым реальным воплощением.

На нашем чертеже 10-м кружком отмечено стихотворение «Вновь я посетил...», в котором Пушкин в последний раз вспоминает няню и ее рассказы. Этим кружком заканчивается фигура 5–4–6–7–8–9–10: тема Арины Родионовны. Воспоминанием об «опальном домике», где жил Пушкин с няней, это стихотворение связывается текстуально с 18: с «19 октября 1825 г.».

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Он был до мелочей бережлив и внимателен в своем поэтическом хозяйстве. Один стих, эпитет, рифму порою берег подолгу и умел, наконец, использовать. Примеров такой экономии можно бы привести очень много. В большинстве случаев они ни о чем, кроме именно бережливости, не говорят. Нет ничего исключительного в том, что, выбросив из «Кто знает край» стих:

Где Данте мрачный и суровый,

он через три года в «Сонете» воспользовался тем же эпитетом:

Суровый Дант не презирал сонета.

Точно так же довольно естественно, что, набросав в 1820 г. два с половиной стиха:

Жуковский,
Как ты шалишь и как ты мил,
Тебя хвалить — тебя порочить! —

он воспользовался вторым из них шесть лет спустя в послании к Языкову:

Языков! кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь, и как ты мил...

Тут оба раза старый материал использован для новых пьес того же стиля и тона, как те, для которых он был первоначально найден. Гораздо интереснее случаи, когда из пьесы цинично-шуточной Пушкин заимствует материал для созданий очень высокого стиля.

В 1823 году, в послании к Вигелю, он бранит Кишинев:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить — язык устанет!
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет —
И не найду твоих следов.
Падут, погибнут, пламенея,
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея — и т.д.

Комизм этой брани заключается в ее высоком стиле, которого Кишинев не стоит. Дело все в том, однако, что здесь как бы заранее пародировано отнюдь не пародическое произведение самого Пушкина. Через год, в третьем «Подражании Корану», изображая конец мира, трагическую гибель человечества, поэт пользуется ритмическим, инструментальным (аллитерации на «гр», «пр» и «п») и лексическим материалом из послания к Вигелю:

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом:
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

Еще разительнее другое заимствование. В набросках цинической сатиры на кишиневских дам читаем:

Вот еврейка с Тодорашкой,
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой — и проч.

Через семь лет, в одном из самых патетических мест «Полтавы», которую он писал с таким душевным напряжением, он повторил:

И весть на крыльях полетела.
Украина смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карла положил
Бунчук покорный». *Пламя пышет*,
Встает кровавая заря
Войны народной...

«ГАВРИИЛИАДА»

«Гавриилиада» — один из больших бассейнов, куда стекаются автореминисценции и самозаимствования из более ранних произведений. В свою очередь, она питает позднейшие. Я приведу лишь

наиболее выразительные случаи, оставляя в стороне параллели фонетические, как рифмы и аллитерации, и чисто стилистические, как архаизмы и т.п.

1. *Романс*, 1814:

Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

Друзьям, 1816:

И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.

Гавриилиада, 1821:

И знатоков внимательные взоры...⁹

2. *Послание к Юдину*, 1815:

...Но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают,
Как тень на утренней заре.

Гавриилиада:

На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.
Красавица проснулась на заре...

3. *Усы*, 1816:

...Одной рукой
В восторгах неги сладострастной
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

Гавриилиада:

Одной рукой цветочек ей подносит,
Другую мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо...
.....
Ее груди дерзнул коснуться он.

4. *«Любовь одна...»*, 1816:

И к радостям и к неге неизвестной
Стыдливую склонили красоту.

⁹ Впоследствии, в 1829 г. («Зима. Что делать нам в деревне?...»):

Сначала косвенно-внимательные взоры...

Гавриилиада:

И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту.

5. *Руслан и Людмила*, II, 1817–1818:

«Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов».
Подумала — и стала кушать.

Гавриилиада:

...Подумала Мария:
Не хорошо в саду, наедине,
Украдкой внимать наветам змия...
.....
Подумала — и ухо преклонила.

6. *Руслан и Людмила*, IV, 1818:

Но между тем, никем не зрима,
От нападений колдуна
Волшебной шапкою хранима...

Гавриилиада:

...Вдали забав и юных волокит,
Которых бес для гибели хранит,
Красавица, никем еще не зрима...

7. *Руслан и Людмила*, V, 1818–1819:

Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость.

«Погасло дневное светило...», 1820:

Моя потерянная младость.

Гавриилиада:

Но молодость утрачена твоя.¹⁰

¹⁰ Впоследствии этот мотив повторяется много раз:

Мой проклиная век, утраченный в пирах...
(«Андрей Шенья», 1825)

Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья.
(«19 октября 1825»)

Мои утраченные годы.
(«Воспоминание», 1828)

Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след
Утраченных безумных лет.
(*Евгений Онегин*, VIII, 1830)

8. *Руслан и Людмила*, эпилог, 1820:
Чем кончу длинный мой рассказ?

Гавриилиада:

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?

Посмотрим теперь обратные заимствования — из «Гавриилиады» в более поздние произведения.

1. *Гавриилиада:*

...Любви, своей науки,
Прекрасное начало видел я.

Первое послание цензору, 1822:

Дней Александровых прекрасное начало.¹¹

2. *Гавриилиада:*

И дерзостью невинность изумлять.

Евгений Онегин, гл. 1, XI, 1823:

Шутя невинность изумлять.

Гавриилиада:

Поговорим о странностях любви
(Не мыслю я другого разговора),
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы, и страданий —

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризну или ропот

Мной утраченного дня?

(«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 1830)

Я помышлял о юности моей,

Утраченной в бесплодных испытаньях...

(«Вновь я посетил...», 1835)

Почти одновременно с «Гавриилиадой», в черновике послания к Алексееву, было: «В моей утраченной весне...»

Впервые этот мотив прозвучал еще в 1816 г., в послании к кн. А.М.Горчакову. Примечательно, что там говорится еще в настоящем времени: «Я слезы лью, я трачу век напрасно». Впоследствии неизменно звучит прошедшее: «утраченный», «потерянный».

¹¹ Через двенадцать лет, 2 апреля 1834 г., он записал в дневнике: «Сперанский у себя очень любезен.— Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра».

Не правда ли? в толпе младых друзей
Наперсника мы ищем и находим,
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать,—
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

С этих пор тема наперсничества становится у Пушкина частой. Разберемся в том, как она трактуется.

По мысли, высказанной в приведенном отрывке, одна из «странностей любви» заключается в том, что мы всегда ищем наперсника: сперва — чтобы поверять любовь, потом — «чтобы оживить о ней воспоминанье».

В том же году, когда написана «Гавриилиада», Пушкин написал послание к Н.С.Алексееву. В послании говорится:

Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Вдали штыков и барабанов
Так точно старый инвалид
Встречает молодых уланов
И им о битвах говорит.

Здесь одновременно даны оба вида наперсничества: друзья рассказывают Пушкину о своих нынешних любовях, он с ними вспоминает свои минувшие. Тут — наперсничество взаимное. Текстуальных совпадений с «Гавриилиадой» здесь, однако же, нет. Через два года, в XVIII и XIX строфах второй главы *Евгения Онегина*, Пушкин повторяет общий тезис «Гавриилиады» и заимствует ситуацию из послания к Алексееву. Слушая рассказы Ленского, Онегин становится на то место, которое сам Пушкин занимал по отношению к «неопытным друзьям». Разница лишь в том, что Пушкин в качестве «старого инвалида» сам «говорил о битвах», Онегин же только слушает Ленского — впрочем, охотно и прилежно. Самое же сравнение с инвалидом повторено буквально:

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И вам он сердце шевелит;
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

Как видим, из «Гавриилиады» здесь повторена только тема. Текстуальные совпадения восходят не к поэме, а к посланию Алексею, которому «Гавриилиада», вероятно, была посвящена.¹² Однако, спустя еще год, «Гавриилиада» откликается в *Евгении Онегине* уже более явственно — и опять в связи с темой наперсничества. Влюбленной Татьяне некому поверить свою тайну. Ее наперсницей становится книга. И как в «Гавриилиаде» было сказано:

Наперсника мы ищем и находим,—

так в X строфе третьей главы *Онегина* читаем:

Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит.
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты.

Здесь будет нелишним припомнить, что два стиха из вышеупомянутой XVIII строфы 2-й главы *Евгения Онегина*:

¹² 23 марта того же 1821 г., когда написаны «Гавриилиада» и послание к Алексею, Пушкин обратился с посланием к Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»). В то время он изображал себя инвалидом не только в любви, но и в поэзии. Поэтому в конце послания говорится:

Но все люблю, мои поэты,
Фантазии волшебный мир,
И, чуждым пламенем согретый,
Внимаю звуки ваших лир...
Так точно, позабыв сегодня
Проказы, игры прежних дней,
Глядит с лежанки ваша сводня
На шашни молодых б.....

И по ходу мысли, и по построению образа, и по способу уподобления эти стихи следует сопоставить со стихами: «Так точно старый инвалид...» и т. д.

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный

позднее в свою очередь откликнулись в стихотворении «Наперсник» (1828):

Страстей безумных и мятежных
Так упоителен язык.

4. *Гавриилиада*:
Поговорим о странностях любви.

19 октября 1825 г.:
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

5. *Гавриилиада*:
На вражью грудь опершись бородой...

«*Пред рыцарем блестит водами...*» (1826):
На грудь опершись бородой...

6. *Гавриилиада*:
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу...

Евгений Онегин, гл. 8, XXVII, 1830:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу.

Примечательно, что в черновике было: «к погибельному древу», но затем Пушкин вернулся к старому эпитету из поэмы, от которой усиленно отрекался.

7. *Гавриилиада*:
.....двух девственных холмов
Под полотном упругое движение.

Домик в Коломне, 1830:

.....сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упругое толкалось полотно.

8. *Гавриилиада:*

Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха
И знатоков внимательные взоры.

Черновой набросок, 1830 г.:

И девицы без блонд и жемчугов
Прельщали взоры знатоков.

ПОРА!

У него было исключительное пристрастие к восклицанию «Пора!». Начиная с «Мечтателя» (1815) и кончая наброском «Пора, мой друг, пора» (1836?), я насчитал около пятидесяти случаев только в стихах, не считая художественной прозы, статей и писем, в которых оно тоже не редко. Я приведу лишь несколько примеров, характеризующих способы его применения.

- 1) Пора в жилище теней! (Жених)
- 2) Пора покинуть скучный брег... (*Евгений Онегин*)
- 3) Пора, давно пора домой. (Там же)
- 4) Пора и мне... Пируйте, о друзья! (19 октября 1825)
- 5) В душе подумала: пора! (Руслан и Людмила)
- 6) Пора, поди. (Каменный гость)
- 7) Пора, пора! Рога трубят. (Граф Нулин)
- 8) Пора, пора! — взываю к ней. (*Евгений Онегин*)
- 9) Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: «пора, пора!» (Полтава)
- 10) Нет, пора, пора, пора... (Русалка)

Лексические и интонационные пристрастия неслучайны. Они порой говорят о поэте больше, чем он сам хотел бы сказать о себе. Они обнаруживают подсознательные душевные процессы, как пульс обнаруживает скрытые процессы физического тела. Считать их — не пустое занятие.

А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

(*Онегин*, гл. 7, XLV)

- 4) Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор, как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирает;
Что не ведает святыни,
Что он не помнит благодости,
Что он не любит никого,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.
(«Полтава»)
- 5) О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливыцы,
Ума недалнего, ленивыцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
(«Медный всадник»)
- 6) У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,

Кто занимается вином.

(*Онегин*, гл. 4, XXXVI)

От этих примеров, в которых единоначатия и ряды однородно построенных предложений, в сущности, переходят в перечисления, а иногда, как в примере 1 (топать, сморкаться и т.д.), сочетаются с ними,— перехожу к чистым перечислениям, которые разбиваю на грамматические группы.

А. Ряд сказуемых при одном подлежащем:

- 1) Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.
Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос...
(*Онегин*, гл. 2, XXXII—XXXIII)

- 2) Идет волшебница Зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравнила пухлой пеленою...
(*Онегин*, гл. 7, XXIX—XXX)

- 3) И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...
(«Кавказский пленник»)

Б. Ряд подлежащих при одном сказуемом:

- 1) Но ни *Виргилий*, ни *Расин*,
Ни *Скотт*, ни *Байрон*, ни *Сенека*,
Ни даже *Дамских мод журнал*
Так никого не занимал.
(*Онегин*, гл. 5, XXII)

- 2) Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике.
(*Онегин*, гл. 6, II)
- 3) Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.¹³
(*Онегин*, гл. 7, XXXVIII)
- 4) На нем броня, пицаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка...
(«Кавказский пленник»)
- 5) На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь...
(«Сцена из Фауста»)
- 6) Мелькали мысли, примечанья,
Портреты, буквы, имена,
И думы тайной письмена,
Отрывки, письма черновые...
(«Альбом Онегина»)
- 7) — пародийно:
...И да блюдут твой мирный сон
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вахх, Харон.
(«Ода Его Сиятельству графу Д.И.Хвостову»)

¹³ В первоначальных набросках, сверх перечисленных здесь предметов, были названы еще дети, солдаты, девки, попы, сбитенщики, немцы, карлы, заборы, колонны, решетки, ружья и дрожки.

В. Ряд дополнений к одному сказуемому:

- 1) На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцирь и шелом,
Колчан и лук...
(«Кавказский пленник»)
- 2) ...Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал...
(Там же)
- 3) Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.
(Там же)
- 4) Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего.
(«Сказка о золотом петушке»)
- 5) Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный.
.....
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость

Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту;
В их стройно-зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.¹⁴
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни блеск и гром...
(«Медный всадник»)

- 6) Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera.¹⁵
(*Онегин*, гл. 7, XXXI)

- 7) Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Бишо, Тиссо,
Прочел скептического Беля,

¹⁴ В рукописи далее было:

Цветные дротики уланов,
Звук труб и грохот барабанов;
Люблю на улицах твоих
Встречать поутру взводы их.

¹⁵ Этим «et cetera», как бы предоставляющим читательскому воображению продолжить перечисление, Пушкин заканчивает еще трижды: 1) в послании к В.Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба»):

...побольше серебра
И золота et cetera;

- 2) в «Графе Нулине»:

...С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera;

- 3) В *Онегине* (гл. 3, II):

Предмет и мыслей, и пера,
И слез и рифм et cetera.

Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого...¹⁶
(*Онегин*, гл. 8, XXXV)

Г. Ряд определений к одному подлежащему:

Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
(«Граф Нулин»)

Д. Ряд составных сказуемых к одному подлежащему:

1) К тому ж оне так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин...
(*Онегин*, гл. 1, XLII)

2) Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.
(*Онегин*, гл. 8, I, первонач. ред.)

3) Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,

¹⁶ В черновом было:

Прочел он Гердера, Руссо,
Манзони, Гиббона, Шамфора,
Madame de Staël, Парни, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел идильи Фонтенеля...

В первоначальном очерке этой строфы:

Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Локк, Фонтенель, Дидрот, Парни,
Гораций, Кикерон, Лукреций...

Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
(*Онегин*, гл. 8, XIV)

Е. Ряд обстоятельств места и образа действия — при одном сказуемом:

- 1) Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.
(*Онегин*, гл. 1, XXXII)
- 2) Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
(*Онегин*, гл. 5, XXV)

Ж. Ряд приложений к одному подлежащему:

Косматый баловень природы,
И математик, и поэт,
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
Короче вам — студент присяжный...
(«Череп»)

З. Ряд обращений:

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! Я предан вам душой.
(*Онегин*, гл. 1, LVI)

И. Чистые перечни без легко подразумеваемого сказуемого:

- 1) Шестнадцать лет, невинное смирение,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов.
(«Гавриилиада»)
- 2) Прогулки, чтение, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,

Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина...
(*Онегин*, гл. 4, XXXIX)

- 3) А только ль там очарованья?¹⁷
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima dona? а балет?
А ложа...?
(«Путешествие Онегина»)

- 4) Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жида, богатыри,

Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари...
(«Осень», черн.)

Число этих групп и количество примеров внутри каждой группы можно значительно увеличить. Но я ограничусь тем, что, не приводя цитат, укажу несколько мест, в которых читатель найдет ряд комбинированных перечислений, т.е. таких, где, например, ряд подлежащих при одном сказуемом сменяется рядом определенных к одному дополнению и т.п. Таковы в *Онегине* (дающем вообще наибольшее количество перечислений) X–XI строфы 1-й главы; XXVI и XXXVII строфы 5-й главы; XLVI строфа 7-й главы; XXIV–XXVI строфы 8-й главы с их вариантами и черновиками; две заключительные строфы из «Путешествия Онегина»; таково же и посвящение Онегина Плетневу («Не мысля гордый свет забавить...»). Далее, комбинированные перечисления встречаем в «Братьях разбойниках» (первые 27 стихов); в «Полтаве» (песнь 1-я, стихи 7–15); в «Графе Нулине» (весь абзац, начинающийся словами «Слуга бежит...» и кончающийся пародически растянутым перечислением того, что везет Нулин из Парижа); в «Родословной

¹⁷ Кажется, все издатели пишут «очарований», не решаясь исправить опisku Пушкина, который вряд ли сознательно рифмовал очарований — свиданья.

моего героя» (строфа, начинающаяся словами: «Скажите, экой вздор!..»). Таково, наконец, раннее стихотворение, еще 1819 года, «В.В.Энгельгардту», с начала до конца построенное на перечислениях. Оно так любопытно, что выписываю его целиком:

Я ускользнул от Эскулапа Худой, обритый, но живой: Его мучительная лапа	}	3 определения к одному подлежащему «я».
Не тяготеет надо мной, Здоровье, легкий друг Приапа, И сон, и сладостный покой		
С Кипридой посетили снова Мой угол тесный и простой. Утешь и ты полубольного! Он жаждет видеться с тобой, С тобой, счастливый беззаконник, Ленивый Пинда гражданин, Свободы, Вакха верный сын, Венеры набожный поклонник И наслаждений властелин!	}	3 подлежащих при сказуемом «посетили».
От суеты столицы праздной, От хладных прелестей Невы, От вредной сплетницы молвы, От скуки, столь разнообразной, Я еду в даль. Простите, дамы, Артисты, франты, доктора, Шумящи игры, вечера, Где льются пунш и эпиграммы.		
Меня зовут: поля, луга, Тенисты липы огорода, Озер пустынных берега И деревенская свобода.	}	5 приложений к одному дополнению «с тобой».
Дай руку мне — приеду я В начале мрачном октября: С тобою пить мы будем снова, Открытым сердцем говоря		
Насчет глупца, вельможи злого, Насчет холопа записного, Насчет небесного царя, А иногда насчет земного.	}	4 обстоятельства места при одном сказуемом «еду».
	}	6 обращений при одном повелении «простите».
	}	5 подлежащих при одном сказуемом «зовут».
	}	5 дополнений к одному обстоятельству образа действия «говоря».

На единоначатиях и перечислениях сознательно построены некоторые пьесы. Такова элегия «Мне вас не жаль». На комбинации

повторения с перечислением построены «Дорожные жалобы». Целиком на перечислениях задуманы и построены: «Бог помочь вам, друзья мои», «Что дружба?..», «Полу-милорд», «Собрание насекомых», «Сват Иван, как пить мы станем...» и «Все в жертву памяти твоей», в «неоконченности» которого позволительно сомневаться.¹⁸

Что касается применения перечислений, то Пушкин пользуется этим приемом очень широко, в самых разнообразных случаях, в частности — при описании смятений, массовых сцен, боев.

В «Цыганах» — движение табора:

...Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрип телег...

В «Медном всаднике» — наводнение:

Садки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли.
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!..

В *Онегине* (гл. 5, XXV) — приезд гостей:

В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмокание девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

¹⁸ Сюда же относятся «Начало сказки» и написанное вместе с Вяземским «Помянутое». На перечислениях же построены: отчасти — «Гауэншильд и Энгельгард» и вполне — «Молитва лейб-гусарских офицеров», что, может быть, говорит за участие Пушкина в их авторстве.

Там же, XXIX, за обедом:

Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.

Онегин, гл. 7, LI, бал:

Ее привозят и в Собрание.
Там теснота, волнение, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг
Все чувства поражают вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

На сложной смене перечислений и единоначатий построено описание боя с печенегами в последней песне «Руслана и Людмилы». На тех же приемах построен и знаменитый бой в «Полтаве». Не выписывая слишком длинных цитат, отмечу лишь некоторые черты сходства в обоих описаниях.

В «Руслане и Людмиле»:

Чудесный рыцарь на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревуший рог, летая, трубит...

В «Полтаве»:

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Но описание боев по приемам граничит с описаниями явлений совершенно иного характера. Например, точно так же, как приведенная фраза из «Полтавы», построено изображение грязной улицы в Одессе:

Кареты, люди — тонут, вязнут.
(«Путешествие Онегина»)

В «Руслане и Людмиле», — Руслан громит замок Черномора:

И рев, и треск, и шум, и гром.

В «Полтаве»:

Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон...

В гл. 5 *Онегина*, XLIV, бал у Лариных:

Треск, топот, грохот по порядку.

Там же, XVII, в сне Татьяны:

Лай, хохот, пенье, свист и хлопок,
Людская молвь и конский топ.

В «Медном всаднике»:

Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ловит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..

(Здесь, между прочим, повторена рифма из Полтавского боя: режет — скрежет.)

ОТЪЕЗДЫ, ОТЛЕТЫ, ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Изображения отъездов, отлетов, исчезновений, бегств и т.п. у него необычайно живы. Большею частью это достигается сочетанием двух приемов: 1) изменением времени при изображении предотъездного, так сказать, момента и самого момента отъезда и 2) вставкою прямой речи между этими моментами. Поясню примерами.

1. «Руслан и Людмила»,— отъезд Руслана от Финна:

...Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня;
В седле оправился, присвистнул.
«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.

Здесь предотъездный момент дан в глаголах прошедшего времени: стиснул, оправился, присвистнул. Самый отъезд — в насто-

ящем: скачет. Между этими моментами вставлена прямая речь (в повелительном наклонении).

2. В том же «Руслане». Рогдай решает изменить направление и настичь Руслана:

Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью... преграды все разрушу...
Руслан... узнаешь ты меня...
Теперь-то девица поплачет...»
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

Опять прошедшее время (тревожил, смущал, шептал), затем — прямая речь и, наконец, скачка назад — в настоящем времени: скачет.

3. *Евгений Онегин*, гл. 5, XV, сон Татьяны:

Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

Опять прошедшее время (промолвил), прямая речь (в повелительном наклонении) и настоящее время: идет, кладет.

4. «Сказка о царе Салтане», ссора царя с бабами и его уход:

Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? Царь или дитя? —
Говорит он не шутя: —
Нынче ж еду». — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Снова изменение времени: настоящее (внимает, унимает, говорит), затем прямая речь, точнее — ее заключительная фраза, непосредственно предшествующая уходу, — и, наконец, прошедшее: топнул, вышел, хлопнул.

5. *Евгений Онегин*, гл. 6, XIX, прощание Ленского с Ольгой и его отъезд домой:

Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — «Так». — И на крыльцо.

Здесь невозможно определить, применены ли оба приема. Один, вставка прямой речи, несомненно налицо, но есть ли изменение времени — сказать нельзя. Перед прямой речью — настоящее время, но после нее глагол опущен, так что можно подразумевать и «вышел», и «выходит».

От этого примера перехожу к тем, где сохранен лишь прием вставки прямой речи — без изменения времени в описательной части.

6. «Руслан и Людмила», отлет Наины:

И мрачно ведьма повторила:
«Погибнет он, погибнет он!»
Потом три раза прошипела,
Три раза топнула ногой
И черным змием улетела.

7. «Медный всадник», Евгений перед статуей:

И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе...» И вдруг стремглав
Бежать пустился.

8. «Граф Нулин», — отъезд на охоту:

Вот мужу подвели коня,
Он холку хватъ — и в стремя ногу,
Кричит жене: «Не жди меня!» —
И выезжает на дорогу.

В сущности, здесь есть даже и изменение времени (подвели, кричит), но оно предшествует прямой речи, которая заключена между двумя настоящими: кричит, выезжает. Прямая речь и здесь, как в 1 и 3, дана в повелительном наклонении.

На фоне этих примеров некоторый интерес представляют еще два случая.

Таковы:

9. «Руслан и Людмила», отлет Черномора:

Чу... вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятенье, бледный чародей
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней.

И он летит к безвестной встрече,
Закинув бороду за плечи.

Все движения карлы показаны в настоящем времени, вплоть до отлета. Прямой речи его нет — но все же непосредственному моменту отлета предшествует звуковой образ: «Трубят опять; звучней, звучней». Тут — как бы суррогат прямой речи. Почти то же и в следующем примере:

10. «Полтава». Погоня за Марией:

Ушла. Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков,
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий крик погони,
Верхом, и скачут молодцы
Во весь опор, во все концы.

Здесь опять момент, предшествующий отъезду, и самый отъезд даны в одинаковом времени: бегут, храпят, скачут. Но — снова движения отъезжающих перебиты звуковым образом, «диким криком погони», о котором сказано все же с изменением времени: прошедшее «раздался» — между двумя настоящими — «храпят» и «скачут».¹⁹

Вообще изменением времени он пользуется необычайно часто, в особенности — при изображении быстрых движений. Примеры:

«Руслан и Людмила»:

Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал...

«Граф Нулин»:

Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам.

Евгений Онегин (6, XXXV):

Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

¹⁹ Любопытный материал для рассмотрения пушкинских отъездов и т.д. представляет также XXXII строфа 7-й главы *Онегина*.

Наконец, в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», в связи с переборами прямой речи, после которой время меняется каждый раз:

И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала».
И встает она из гроба...
«Ах!..» и зарыдали оба,
В руки он ее берет — и т.д.

Здесь ход времен в сказуемых: прошедшее — прошедшее — прошедшее — настоящее — прошедшее — (прямая речь) — настоящее — (прямая речь) — прошедшее — настоящее. Шесть последних сказуемых даны каждый раз с переменной времени: прошедшего на настоящее и обратно.

ПРЯМОЙ. ВАЖНЫЙ. ПОЖАЛУЙ

Между Пушкиным и его нынешним читателем порой возникают недоразумения, происходящие оттого, что за сто лет смысл некоторых слов (или оттенок смысла) изменился. Так, например, слово «прямой» у Пушкина очень часто означает: истинный, настоящий, подлинный, полный. Например:

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
Вдался в задумчивую лень...

Прямого просвещения ради.

Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить...

Соответствующее значение имеет и наречие «прямо», в котором у Пушкина часто нет нынешней интонации «прямо-таки»; оно у Пушкина не предназначается, как у нас, для отстранения упрека в

преувеличении. «Приятный голос, прямо женский» — значит: вполне женственный. «Без разделенья унылы, грубы наслажденья: мы прямо счастливы вдвоем» — т.е. только вдвоем мы действительно счастливы.

Точно так же слова «важный» никогда не употребляет он в значении: чванный, гордый, надменный. У Пушкина оно всегда равняется словам: серьезный, строгий, вдумчивый. Так, он неоднократно называет важными — Муз. Важные гимны внушаются поэту богами. Важные гроба покоятся на родовом деревенском кладбище. Это необходимо иметь в виду во многих случаях, чтобы не ошибиться в значении пушкинской фразы. Так, на основании стихов:

К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал —

отнюдь не следует представлять себе мужа Татьяны надменным: он только серьезен. В заметке о холере (1831) сказано об А.Н. Вульффе, что «разговор его был прост и важен» — т.е. прост и серьезен. (Эта фраза буквально заимствована Пушкиным из первой главы «Арапа Петра Великого» (1827), где она относится к Ибрагиму.)

Даже в «Альбоме Онегина», где сказано:

Он важен; красит волоса;
Он чином от ума избавлен,—

не следует думать, что дело идет о надменности. Здесь пушкинская ирония тоньше: *серьезность* персонажа, его *вдумчивость* потому и комична, что он «от ума избавлен».

Нечто подобное произошло со словом «пожалуй». У нас оно выражает нерешительность, неуверенность, предположительность. У Пушкина оно очень часто еще имеет первоначальный, основной смысл повелительного наклонения от глагола «жаловать», т.е. благоволить. Пожалуй = соблаговоли, то же, что наше «пожалуйста»: «Смотри, пожалуйста». «Пожалуй, будь себе татарин», т.е. сделай одолжение — будь хоть татарин.

Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи,
Не усыпляй меня — иль после не буди,—

т.е. пожалуйста, не приходи.

Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру —

значит: поздравь, пожалуйста, а вовсе не «если хочешь, поздравь, а не хочешь — не поздравляй».

По-видимому, в таком смысле это слово надо понимать и в дуэльной сцене «Евгения Онегина». Ленский сам посылает вызов. Он так же «злобно» и «хладнокровно» готовит гибель Онегину, как Онегин ему. Он хочет драться, потому что в нем так же, как в Онегине, «светская вражда боится ложного стыда». Пушкин в этом отношении не делает разницы между ними. Поэтому, когда Онегин спрашивает: «Что ж, начинать?» — Ленский ему отвечает не с колебанием, не на высокой, унылой ноте, как в опере Чайковского, а с твердостью и мужеством: «Начнем, пожалуй», — т.е. начнем, изволь.

ИСТОРИИ РИФМ

В одном из самых ранних стихотворений, «К сестре» (1814), Пушкин поминает

.... Моську престарелу,
В подушках поседулу.

В 1816 г., в стихотворении «Сон», дано человеческое подобие этой моськи:

Похвальна лень, но есть всему пределы.
Смотрите: Клит, в подушках посудельый,
Размученный, изнеженный, больной...

Итак, наметилось созвучие: престарелу — поседулу — пределы.

Год спустя, в начале «Руслана и Людмилы», Пушкин начинает перечисление соперников Руслана:

Один — Рогдай, воитель смельый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей.

Таким образом, от слова «пределы» рифма сворачивает в новое русло, по направлению к «смельый». Но в 1823 году оба русла («пределы — посудельый» и «пределы — смельый») сливаются в наброске, начинающемся словами:

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый.

Набросок остался неотделанным, но его отголоски еще не раз звучали в стихах Пушкина. В частности, рифма «смелый — поседелый» снова всплыла наружу и, что характерно, снова в связи с приведенными стихами из «Руслана и Людмилы». Три соперника Руслана с окончанием поэмы не исчезли из пушкинского творчества. В стихах о Клеопатре они воскресли тремя соискателями царицыной любви: Рогдай стал Флавием, Фарлаф — Критоном, а «младой Ратмир» тем «последним» юношей, который «имени века не передал». И как в «Руслане и Людмиле» было сказано:

Один — Рогдай, воитель смелый,—

так теперь почти повторяется:

И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый...

Круговое движение рифмы закончено: «престарелу — поседелу»; отсюда — «поседелый — пределы — смелый» — и обратно к «поседелый».

Таков многолетний ход звука — от моськи до римского воина.

История другой рифмы еще более любопытна.

Пушкин срифмовал:

- 1815(?): Младость — радость. («Роза»)
- 1816: Радость — младость. («Здравный кубок»)
Младость — радость. («Послание к кн. А.М.Горчакову»)
Сладость — радость. («Любовь одна...»)
Радость — младость. («Фавн и пастушка»)
Сладость — радость. («Пробуждение»)
- 1817: Младость — радость. («К ней»)
Радость — сладость. («Простите, верные дубравы...»)
Младость — радость. («Добрый совет»)
Радость — младость. («Именины»)
- 1818: Сладость — младость — радость. («К портрету Жуковского»)
- 1819: Гадость — радость. («Все призрак, суета...»)
Радость — младость. («Руслан и Людмила», V)
- 1820: Младость — радость. («Погасло дневное светило»)
Младость — радость. («Кавказский пленник»)
Младость — радость. (Там же)

- Сладость — радость. (Там же)
 Радость — младость. (Там же)
 Сладость — радость. (Там же)
- 1821: Сладость — младость. («Дева»)
- 1822: Младость — радость. («Братья разбойники»)
 Радость — сладость. («Адели», чернов.)
 Младость — радость. («Свод неба мраком обложился...»)
- 1823: Младость — радость. (*Евгений Онегин*, гл. 1, XXX)
 Младость — сладость. (Там же, чернов. гл. 1, XLV)
 Младость — сладость. (Там же, чернов. гл. 2, IX)
 Младость — радость. (Там же, гл. 2, XIX)
- 1824: Младость — радость. («Цыганы»)
 Радость — младость. («Подражания Корану», IX)
 Сладость — младость. (*Евгений Онегин*, гл. 4, XXXIII)
- 1825: Младость — радость. («Андрей Шеньев»)
- 1826: Радость — младость. (*Евгений Онегин*, гл. 5, VII)

Таких традиционных, устойчивых рифм у Пушкина много. Из них рифма сладость — радость — младость — гадость выделяется тем, что, во-первых, она повторяется едва ли не чаще всех, а вторых, как уже сказано, имеет довольно любопытную историю.

«Пробуждение», написанное в 1816 г., начинается стихами:

Мечты, мечты,
 Где ваша сладость?
 Где ты, где ты,
 Ночная радость?

Как видно из приведенного перечня, рифма употреблена здесь не в первый раз и далеко не в последний. Пушкин «запросто жил» с ней еще десять лет, не ропща на ее избитость. Но в 1826 г., в шестой главе *Евгения Онегина*, чувствуя, может быть, что его стихи слишком пестрят этой рифмой, он решил пойти навстречу опасности: не дожидаясь упрека со стороны читателя, сам подчеркнул и разоблачил традиционность звукосочетания. Для этого он заимствовал у самого себя два первых стиха «Пробуждения», превратил их в один: «Мечты, мечты! где ваша сладость?» — а в следующем стихе написал: «Где вечная к ней рифма младость?»

С этого момента рифма на «адость», будучи названа вечной, теряла всякую видимость неожиданности. Если раньше ее избитость была секретом Полишинеля, то теперь это было разоблачено окон-

чательно. Разоблаченной рифмой пользоваться уже неудобно. И в самом деле, у Пушкина она после этого почти исчезает. Однако в том, как он ее разоблачил и как еще раз к ней вернулся в *Евгении Онегине*, есть особый интерес.

Из нашего перечня видно, что приведенные 32 случая рифмования на «адость» дают 34 двойных словосочетания (тройная рифма в надписи к портрету Жуковского дает три сочетания). По степени употребительности они распределяются так:

Младость — радость (и радость — младость) 21 раз.
Сладость — радость (и радость — сладость) 7 раз.
Сладость — младость (и младость — сладость) 5 раз.
Гадость — радость 1 раз.

Таким образом, если какое-нибудь из этих сочетаний назвать вечным, то, разумеется, сочетание «младость — радость»: оно встречается не менее чем в три раза чаще всякого другого. До момента разоблачения слово «сладость» было рифмовано 7 раз с «радостью» и только 5 раз с «младостью». Следовательно, словосочетание «сладость — младость» к тому моменту, когда Пушкин назвал его вечным, было, в сущности, как раз наименее использованным, если не считать «гадость — радость», употребленное лишь однажды, в неоконченном наброске 1819 года. Но Пушкин, конечно, сам своих рифм не подсчитывал. Он имел в виду избитость не слово-, а звукосочетания. Но вот что примечательно.

Казалось бы, процитировав свои ранние стихи и вознамерившись взглянуть иронически на избитое рифмование «сладости», всего естественней Пушкину было и на этот раз рифмовать ее с тою «радостью», с которой он ее сам рифмовал в пародируемых стихах. Но именно этого он не сделал, не написал он:

Где вечная к ней рифма радость?

Почему? Потому что он здесь хотел рифмовать не слово, а понятие. Весь конец 6-й главы *Евгения Онегина* посвящен прощанию с молодостью и воспоминанию о ней. Стихи из «Пробуждения» вспомнились Пушкину не потому, что он думал о мечтаниях, а потому, что размышления о «младости» привели ему на память старые стихи о «сладости» мечтаний. Самое понятие «младость» психологически связалось, как бы срифмовалось у него в ту минуту с двумя стихами из юношеской пьесы. Именно эту *рифмовку воспоминаний* он и выразил. Слова «вечная рифма» здесь говорят

не столько об избитости словосочетания, сколько о том, что «младость» есть вечный источник «сладости».

Как бы то ни было — рифма была осмеяна, и вернуться к ней можно было только пародически или саркастически. Пушкин это и сделал в XLII строфе 7-й главы того же *Евгения Онегина* — и опять при случае размышления об утрате молодости. Здесь старая тетка Татьяны говорит:

Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...

Так повторил Пушкин свою давнюю рифму из брошенного отрывка, в котором некогда говорилось: «Все дрянь и гадость». Но эта пессимистическая и прозаически звучащая рифма перед читателем Пушкина являлась впервые. Столь же пессимистически и прозаически она должна была завершить историю рифмования «младости — радости — сладости». Прощаясь с молодостью, Пушкин прощался и с этим созвучием.

Впоследствии он оказался не до конца последователен. В 1829–1830 г. он срифмовал «радость — младость» в «Путешествии Онегина» при воспоминании об Одессе и в 1833 г. — в «Анджело» («сладость — младость»). Однако он несомненно избегал этой рифмы. Не случайно, что до разоблачения он воспользовался ею за одиннадцать лет (1815–1826) тридцать два раза, а после разоблачения за такой же промежуток времени (1826–1837) только два раза.²⁰

²⁰ Психологически схожий случай отказа от осмеянного приема имеется в его переписке. В раннюю пору жизни он любил заканчивать письма латинским приветствием «Vale». Оно встречается в письме к Вяземскому от 27 марта 1816 г., к Гнедичу от 24 марта 1821 г., к Л.С.Пушкину от 27 июля 1821 г., к Гречу от 21 сентября 1821 г., к В.Ф.Раевскому от конца 1821 — января 1822 гг., к Гнедичу от 29 апреля 1822 г., к нему же от 13 мая 1823 г. Через 15 дней после этого, ночью 28 мая, Пушкин начал *Евгения Онегина* и в VI строфе 1-й главы посмеялся над латинскими познаниями своего героя, умевшего «В конце письма поставить Vale». После этого «Vale» на три года вовсе исчезает из пушкинских писем, чтобы затем появиться всего три раза — и то с большими перерывами: в конце августа 1825 г. (Вульффу), во второй половине августа 1827 г. (Погодину) и в середине ноября 1828 г. (Дельвигу).

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЗВУКИ

К некоторым сочетаниям слов и звуков у него были пристрастия, причины которых объяснению не поддаются. Вот один из наиболее выразительных примеров:

Но я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.
(*Евгений Онегин*, гл. 4, XXXV, 1825)

Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
(«Граф Нулин», 1825)

Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней?
(*Евгений Онегин*, гл. 6, XLIV, 1826)

Она была нетороплива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без раздражительных затей...
Все тихо, просто было в ней.
(*Евгений Онегин*, гл. 8, XIV, 1830)

Вероятно, эти четыре стиха ведут происхождение от стиха из послания к Алексееву (1821): «Без упоительных страстей».

ХУДОЖНИК

Художник-живописец или рисовальщик представлялся ему обладателем быстроты: в кисти, в карандаше, в самом взгляде.

В «Руслане и Людмиле»:

Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

В «Полководце»:

Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокий.

В «Каменном госте» Лепорелло говорит Дон-Гуану о его любовном воображении:

Оно у вас проворней живописца,—

т.е. живописец тут взят как образец проворства.

В 1824 г., заботясь о рисунках к *Евгению Онегину*, Пушкин пишет брату: «Найди искусный и быстрый карандаш».

Эта быстрота, по-видимому, представлялась ему неотъемлемым качеством истинного художника. Изображая художника бездарного, Пушкин прежде всего лишает его этого свойства:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит...

Все это имеет отношение к манере его собственных рисунков, в которых разительна прежде всего быстрота. Он старается как бы на лету уловить движение, характерную линию, черту сходства. Нечто подобное можно заметить и в первоначальных набросках его стихов, когда он явно стремится наскоро закрепить ход мысли, мелькнувшие образы, рифмы и т.п.

НАПОЛЕОН

У Державина есть стихи о волшебном фонаре. В них каждая строфа, посвященная отдельной картине, начинается словом «Явись!» и кончается словами: «Исчезни! — исчез!» Тема стихотворения — преходящность, призрачность, быстрое исчезновение: силы, счастья, власти, жизни.

«Послание к Юдину» Пушкин написал еще в 1815 г. под влиянием Державина: тут сказались и «Приглашение к обеду», и «Евгению (Жизнь Званская)», и, может быть, «Призывание и явление Пленеры», и др. Но всего заметней влияние «Фонаря». Оно сказалось и в построении пьесы, состоящей из смены картин, и в отдельных образах:

...Но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре.

Незадолго перед «Посланием к Юдину», в конце 1814 г., Пушкин писал «Воспоминания в Царском Селе», которые предстояло ему читать на лицейском экзамене. Историческим моментом подсказывалась тема стихов — падение Наполеона. Державинское влияние в «Воспоминаниях в Царском Селе» — факт общепризнанный. Однако никем не отмечалось влияние именно «Фонаря». Между тем оно несомненно и очень сильно, несмотря на то, что текстуальных и стилистических совпадений с «Фонарем» в «Воспоминаниях» нет. Однако образ Наполеона, внезапно явившегося из политического небытия, мелькнувшего и в небытие вернувшегося, просиявшего и затмившегося, уже тогда был связан с представлением о картинах волшебного фонаря, о свете и тени, о заре, горящей и угасающей, об исчезновении, столь же внезапном и таинственном, как появление. Уже в двух местах «Воспоминаний в Царском Селе» являются мотивы зари, сна, исчезновения:

Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани
Зарделась грозная заря.

И далее:

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны?

.....

Исчез, как утром страшный сон.

Взятые в отдельности, эти строки еще ничего не говорят об ассоциациях, возникавших у Пушкина при слове «Наполеон». В «заре брани» мог явиться любой полководец. О быстром падении кого угодно можно сказать: он «исчез, как сон». Но замечательно то, что все последующие стихи Пушкина о Наполеоне обнаруживают упорную, постоянную повторяемость как этих образов, так и других, с ними связанных.

Вслед за «Воспоминаниями в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе» является на фоне зари:

Вечерняя заря в пучине догорала...
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.

И в конце стихотворения:

Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла
Лицо пылающей зари.

Там же Наполеон говорит о своей судьбе:

О счастье! злобный обольститель!
И ты, как сон, сокрылось от очей.

С течением времени Наполеон не только является на фоне зари, но и сам ей уподобляется. В наброске «Недвижный страж дремал...» он уже

...царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

Здесь мотивы сна, исчезновения, тени и зари сконцентрированы в одном стихе.

Несколько лет спустя этот образ повторен в 10-й главе «Евгения Онегина»:

Сей всадник, Папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари,—

и затем в «Герое»:

Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Даже о Байроне, когда его смерть сближается со смертью Наполеона («К морю»), по ассоциации сказано, что он «исчез».

Наполеону сопутствуют *угасающие* светила:

Звезда губителя потухла в вечной мгле.
(«На возвращение Государя Императора...»)

Померкни, солнце Австерлица!
(«Наполеон»)

О физической его смерти, не о его политическом конце, всегда, без исключения, говорится одним и тем же словом — «угас»:

Угас великий человек.
(«Наполеон»)

Там угасал Наполеон.
(«К морю»)

Он угасает, недвижим.
(«Герой»)

Угас в тюрьме Наполеон.
(«19 октября 1831 г.»)

Всему чужой, угас Наполеон.
(«19 октября 1836 г.»)

Явление — исчезновение; свет — тень; заря — угасание — вот Наполеон у Пушкина. Конечно, все это — его собственное, личное, им постигнутое и пережитое. Но подсознательно все это восходит к «Фонарю» Державина.

ВОЛЬНОСТИ

1814 г. «Наталье»:

Дерзкой, пламенной рукою
Белоснежну, полно грудь...

1816 г. «Усы»:

...одной рукой
В восторгах неги сладострастной
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

1816 г. «Фавн и пастушка»:

Неверная, кто смеет
Пылающей рукой
Бродить по груди страстной?..

1817 г. «Письмо к Лиде»:

По смелым, трепетным рукам...
Узнай любовника — настали
Восторги, радости мои!..

1817–1820 гг. «Руслан и Людмила»:

О, страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!

1821 г. Наброски:

Вот еврейка с Тодорашкой.
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой...

1821 г. «Гавриилиада»:

В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...

Там же:

Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,
Другою мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво
До милых тайн...

Там же:

Смутясь, она краснела и молчала...
Ее груди дерзнул коснуться он...

Но после «Гавриилиады» этот мотив исчезает навсегда. Пушкин из него вырос, как из мальчишеской одежды.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН, гл. 5, XXXVI

В XXXVI строфе пятой главы *Евгения Онегина* можно угадать несколько ассоциаций Пушкина, а по ним — ход создания самой строфы.

Перед тем описываются именины Татьяны: съезд гостей, обед, послеобеденный переход всего общества в гостиную. XXXVI строфа начинается словами:

Уж восемь робберов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут...

Вознамерившись рассказать именинный день час за часом, Пушкин не мог избежать упоминаний об этом чаепитии, неотделимом от деревенского быта. Однако от подробного описания нужно было уклониться по двум причинам: во-первых, будучи всего лишь одной строфой отделено от пространного описания обеда, оно создало бы нежелательное однообразие; во-вторых — сама тема по сравнению с только что изображенным обедом не предоставляла достаточно живописных деталей. Вместе с тем одним только упоминанием о чаепитии нельзя было ограничиться, потому что в таком случае события между обедом и предстоящим балом оказались бы скомканы, время для читателя побежало бы слишком быстро, несоответственно общему темпу повествования. Следовательно, необходимо было дать читателю почувствовать время, ушедшее на чаепитие, не изображая самого чаепития. Способ для этого был один, уже неоднократно использованный в романе для разных целей: отступление. Пушкин к нему прибегнул. А так как все отступление было вызвано желанием выиграть время, то — вероятно, бессознательно — именно о чувстве времени Пушкин и повел речь:

.....Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет.

Тут вспомнилась ему первая глава *Евгения Онегина* — два места оттуда:

Пока недремлющий брежет
Не прозвонит ему обед —

и

Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.

Первое из этих двустиший должно было напомнить следовавший за ним обед Онегина с Кавериным:

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел — и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток...

— и так далее: весь знаменитый перечень блюд этого обеда. Может быть, вспомнились и другие гастрономические мотивы в романе: ларинские блины и квас, рассуждения об Аи и Бордо, и уж несомненно — только что перед тем обстоятельно описанный именной обед. Пушкин почувствовал, что роман уже несколько перегружен гастрономией, и, как часто делал в подобных случаях, решил забежать вперед, разоблачить себя прежде, чем его упрекнет читатель.²¹ Этим было предreshено дальнейшее течение строфы: она должна была содержать такое саморазоблачение.

Между тем второе двустишие:

Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет,

особенно в сопоставлении со стихом:

Желудок — верный наш брежет, —

в свою очередь заводило воспоминание еще дальше в прошлое, к «Руслану и Людмиле». Там, в 1-м издании поэмы, было рассуждение о желудке, по смыслу близкое к этому стиху, а по рифме — к приведенному двустишию:

Обеда лишь наступит час —
И в миг нам жалобно доносит
Пустой желудок о себе.²²

²¹ Таким приемом в XXVI строфе 2-й главы предупрежден упрек в избытии иноплеменных слов; тем же приемом в XLII строфе 4-й главы и в XLIV строфе главы 6 отведены упреки в избитости рифм, а в «Домике в Коломне» — в болтливости.

²² Возможно, что Пушкин впоследствии потому и выбросил эти строки из 2-го издания, вышедшего в 1828 г., что в окончательном тексте поэмы хотел избежать совпадения с *Евгением Онегиным*.

Вспомнив «Руслана и Людмилу», Пушкин вспомнил, что как теперь он уклоняется от описания чаепития, так тогда он уклонился от описания обеда, за который в IV песне усадил Ратмира. Тогда, в «Руслане», он это сделал, сказав:

Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин...

На сей раз, в *Евгении Онегине*, к тому же приему неудобно было прибегнуть: нельзя было сказать: «Я не Омер» — потому что о «пирах» было уже сказано даже слишком много. Но можно было не противопоставлять, а наоборот — сблизить себя с Гомером. Этой мыслью весь ход и окончание строфы были подсказаны окончательно. Получилось, по ассоциации с каверинским обедом:

И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

Тут открывалась возможность нового отступления: переход к сравнению своих героев с гомеровскими. Такому сравнению и посвящены ближайшие строфы: XXXVII и XXXVIII. В следующей, XXXIX строфе можно было вернуться к чаю, чтобы от него тотчас перейти к роковому балу, который и был главной целью пушкинского рассказа:

Но чай несут: девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались...

XXXVII и XXXVIII строфы появились только в первом издании пятой главы. Впоследствии Пушкин их исключил. Вероятно, рассуждение о своих и гомеровских героях показалось ему слишком замедляющим ход повествования, и он ограничился тем отступлением, которое содержится в строфе XXXVI.

КОЩУНСТВА

«Кощунственные» произведения Пушкина до недавних пор оставались публике неизвестны либо печатались с цензурными изменениями и пропусками. Даже такая крупная вещь, как «Гавриилиада», лишь в 1917 г. появилась полностью в легальном издании. Правда, «запретный» Пушкин не раз являлся в изданиях заграничных, но они были доступны небольшому кругу и страдали многими недостатками, как то: испорченный текст, неполнота состава и опечатки; с другой стороны, в них приписывались Пушкину вещи, ему не принадлежащие. О пушкинских «кощунствах» знали понаслышке. Специальная литература не могла ими заняться по тем же цензурным причинам. В обществе ходила о них легенда, как о чем-то в высшей степени ядовитом и разрушительном.

Если мы обратимся к пушкинскому тексту, то увидим, что эта легенда имеет весьма ограниченное право на существование или, по крайней мере, нуждается в серьезных ограничениях. Пользуясь термином «кощунство» наиболее широко (и в этом смысле условно), соглашаясь подвести под эту рубрику даже самые незначительные высказывания, способные оскорбить религиозное чувство или хотя бы задеть слух, я нахожу в лирике Пушкина 26 текстов, подходящих под такое расширенное применение термина.

При рассмотрении и сопоставлении текстов выясняется, что их можно разбить на несколько групп, соответствующих типам кощунств. К первой группе я отношу шесть текстов, содержащих профанацию религиозного догмата, обряда, обычая, или предания. Такая профанация слабо намечена в заключительных стихах «Городка», когда пятнадцатилетний Пушкин, признавшись в нелюбви к «сельским иереям», заканчивает послание обетом:

Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами
(И слово уж сдержу),
Я с сельскими попами
Молебен отслужу. (1)

Столь же невинную профанацию встречаем в послании к В.Л. Пушкину (1816):

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай Бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай Бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна — и т.д. (2)

В наброске послания к А.И.Тургеневу (1819?) ключи от царства небесного неуважительно сопоставлены с ключом камергерским:

В себе все блага заключая,
Ты, наконец, к ключам от рая
Привяжешь камергерский ключ. (3)

В набросках сатиры на кишиневских дам (1821) сделана ссылка на Библию, непочтительная по контексту и применению:

Вот еврейка с Тодорашкой.
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею:
Ах, еврейка, Бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет. (4)

То же — в послании к «Еврейке» (1821):

Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня, следуя душой
Закону Бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй твой, не робея,
Готов, еврейка, приступить
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить. (5)

Профанационно применены библейские темы в письме к Вигелю (1823):

Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить язык устанет,
Когда-нибудь на старый кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет —
И не найду твоих следов.
Падут, погибнут, пламенея,
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея.
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом —
Но только с этим городком
Я Кишинев равнять не смею,
Я слишком с Библией знаком
И к лести вовсе не привычен.
Содом — ты знаешь — был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами
И красотой нестрогих дев.
Мне жаль (сердечно), что громами
Его сразил Еговы гнев — и т. д. (6)

Уже в приведенных текстах ощущается привкус пародии, шуточного сопоставления «высокого» религиозного мотива с «низким», житейским. Следующую группу составляют тексты, которых кощунственность всецело заключается в пародийности, чаще всего — в применении религиозного термина к предметам низменным, порою смешным или соблазнительным. Такая пародия, в сущности, есть один из видов профанации. Здесь она выделена в особую группу по признаку отчетливо проведенного литературного приема. Данная группа — самая обширная: она содержит одиннадцать текстов.

Впервые христианский термин по заведомо несоответственному поводу применен в послании к Дельвигу (1815):

Послушай, Муз невинных
Лукавый духовник. (7)

В том же году, в послании к Батюшкову, читаем:

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен. (8)

В 1817 г. послание к Жуковскому начинается пародийным приглашением: «Благослови, поэт!» (9).

В стихах, обращенных в том же году «К Е.С.Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду», прием уже значительно заострен:

Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислал своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что будто сам он бог садов.
Чему дивиться тут? Харита
Улыбкой дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желаний в нем родит.
И он, твой встретя взор волшебный,
Забудет о своем кресте
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте. (10)

Тогда же, в послании к А.И.Тургеневу, Пушкин его называет любовником «и Саломирской, и креста» — и делает примечание: «Креста, сиречь не Аннинского и не Владимирского, а честного и животворящего» (11). (Ср. с 3).

В 1818 г., даря Кривцову «La Pucelle» Вольтера, он ее называет «святою Библией Харит», рекомендует по ней «молиться Венере» и восклицает:

Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон! (12)

В письме к Энгельгардту (1819) все кощунство заключено в тончайшем намеке: эпитет «набожный» приложен к «поклоннику Венеры» (13).

Такое же применение того же эпитета наряду с приемом, повторяющим прием текстов 7 и 8, находим в альбомных стихах Щербинину (1819):

Проводит набожную ночь
С молодой монашенкой Цитеры. (14)

В черных набросках стихов при посылке «Гавриилиады» (1821) Пушкин говорит, что его Музу «Всевышний освятил своей небесной благодатью», а сочинение кощунственно-пародической поэмы называет «духовным занятием». Тут же обитель Господа названа «двором» Его (в смысле царского двора) (15).

В отрывочных строках, составляющих набросок стихов о современных поэтах, повторен прием текстов 7, 8 и 14: «Жуковский... святой Парнаса чудотворец» (16).

В приписке к письму, посланному 8 декабря 1824 года А.Родзянке, имеем профанацию догмата и пародию церковного текста:

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим — деревня; ты мой Папа,
Благослови ж меня, певец! (17)

Наконец, в стихах, предположительно относимых к кн. Хованской (1824), прием пародийного применения христианской тематики доведен до наибольшей остроты:

Ты богомать, нет сомненья,
Не та, которая красой
Пленила только Дух Святой,
Мила ты всем без исключенья;
Не та, которая Христа
Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой, земного круга —
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я,
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица моя. (18)

Вся эта пьеса — лишь распространение профанационного каламбура: мать бога Амура есть богородица. Но и самый каламбур, и вся его мотивировка, данная в предварительной части пьесы, содержат ряд кощунственно-пародических сопоставлений. Стихотворение составляет как бы переход к следующей группе, состоящей из шести текстов, в которых дано прямое пародирование религиозного догмата, понятия или текста.

Впервые такую пародию встречаем в лицейской пьесе, по памяти воспроизведенной Пушкиным, но несомненно пушкинской. Она содержит непристойную переделку евангельского текста в перебранке двух женщин, идущих от всеобщей:

В чужой... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна. (19)

Пародийны по смыслу и стилю две эпиграммы на митрополита Фотия и гр. Орлова:

1

Благочестивая жена
Душою Богу предана,
А грешной плотию
Митрополиту Фотию. (20)

2

«Внимай, что я тебе вещаю:
Я телом евнух, муж душой». —
— Но что ж ты делаешь со мной? —
«Я тело в душу превращаю». (21)

В послании к А.Ф.Орлову (1819) пародирована Библия:

Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
«Мундир и сабля — суеты!» (22)

В «Акафисте Ек. Ник. Карамзиной» (1827) пародийны только заглавие, применение эпитета «набожный», как в текстах 13 и 14, а также церковно-славянская форма родительного падежа множественного числа:

Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес. (23)

Само же сопоставление Е.Н.Карамзиной с Богородицей проведено чрезвычайно осторожно и вряд ли может быть признано кощунственным.

Наконец, к этой же группе я отношу четверостишие 1827 г., обращенное к кн. С.А.Урусовой:

Не веровал я Троице доньше:
Мне Бог тройной казался все мудрен.
Но вижу вас — и, верой озарен,
Молюсь трем грациям в одной богине. (24)²³

За пределами намеченных групп остаются еще две пьесы. Это, во-первых, большое послание к В.Л.Давыдову (1821), содержащее признаки всех трех групп (25). Во-вторых — «Noël» (1818), в котором Богородице и Спасителю приданы прозаически-бытовые

²³ Принадлежность этих стихов Пушкину не вполне доказана.

черты. В этой пьесе не больше кощунства, чем во многих легендах, носящих вполне благочестивый характер, но содержащих такое же «снижение», как результат упрощенного, «народного» подхода к религиозным темам. Неуважительного отношения к Пресвятой Деве и к Спасителю Пушкин здесь не выказал, острее же пьесы направлено не против них, а против императора Александра I (26).

Если теперь мы посмотрим в то, какое отношение имеют приведенные кощунства к общему содержанию стихотворений, из которых они извлечены, то прежде всего обнаружим, что в текстах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 22, т.е. в четырнадцати из двадцати шести, кощунство не только не составляет цели стихотворения, но и является в ней лишь деталью, с общим заданием не связанной и порой выраженной чрезвычайно слабо, например — в единственном и случайно брошенном эпитете. В текстах 6, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 и 26 кощунственно-пародийный момент проходит через всю или почти всю пьесу, но опять же играет в ней лишь служебную роль: то как мотивировка сатиры (19, 20, 21), то как затейливая болтовня дружеского послания (6), то как один из мотивов стихотворения, заостренного в сторону политики, а не религии (25, 26). Таким образом, кощунство само по себе составляет цель только в двух текстах: в 5 и в 17, но и то лишь в том случае, если их не рассматривать как мадригалы, столь перегруженные кощунственно-пародийной мотивировкой, что средство уже заслонило в них самую цель.

Этот подсобный, аксессуарный характер пушкинских кощунств вполне согласуется с тем обстоятельством, что из всех наших текстов только два (19 и 26) приходятся на произведения полуповествовательного, лироэпического характера. Еще два текста (20 и 21) составляют эпиграммы. Все прочие (22 из 26) входят в состав шуточных посланий и альбомных стихов. Добавим, наконец, что сама «доза» кощунственности в 2, 3, 4, 13 и 16-м текстах очень невелика, а в 1, 7, 8, 9, 16, 22 и 23-м — едва уловима.

Если, как выше сказано, с точки зрения религии пародия есть вид профанации, то и обратно: профанация со стороны литературной есть вид пародии. Таким образом, оказывается, что кощунственные стихи Пушкина всегда построены на пародийной основе. Это заключение представляется очень важным, потому что вскрывает психологическую подкладку кощунств, содержащихся в пушкинской лирике.

Влечение к пародии было у Пушкина чрезвычайно сильно. Пародийные задания и приемы наблюдаются в огромном количестве его произведений. Он сам признавался, что написал «Графа Нулина» потому, что не мог противиться двойному искушению — «пародировать историю и Шекспира». «Домик в Коломне» есть пародия «Уединенного домика на Васильевском». Пародийная природа «Истории села Горюхина» несомненна. «Гробовщик» — пародия легенды о Дон-Гуане вообще и пародия пушкинского «Каменного гостя» — в частности. Пушкин пародировал других авторов (Карамзина, Жуковского, Языкова, В.Л.Пушкина, Хвостова, Дмитриева) и самого себя. Многие из его излюбленных тем и приемов оказываются им же пародированы. Кошунства Пушкина связаны с этим влечением к пародии. Они из него возникают. Говоря его собственными словами, пародия состоит из сочетания смешного с важным. Всякая религия, как литературный источник, составляет для пародиста в высшей степени соблазнительный материал, ибо сила пародии прямо пропорциональна расстоянию между смешным и важным: чем важнее, выше предмет, тем разительней получается его сочетание со смешным, его снижение.

Религия раздражала в Пушкине его пародическую жилку. Его кошунства должно рассматривать как частный случай его пародии. В них больше литературной забавы, чем философии. Пушкинские кошунства можно определить как шуточные, а не воинствующие. Они не содержат *борьбы* с религией. Они даже гораздо более незлобивы, чем его литературные или политические эпиграммы. Они остры по форме и не глубоки философически: следствие того именно, что они возникают из чисто литературного пристрастия к пародии, а не из побуждений атеистических. В них несравненно больше свободословия, чем последовательного свободомыслия. Они легкомысленны и неядовиты. Необходимо, наконец, отметить то чрезвычайно важное обстоятельство, что после 1827 года мы не встречаем у Пушкина ни одного кошунства.

Что касается «Гавриилиады» (1821), единственной кошунственной поэмы Пушкина, то многое из сказанного о лирике применимо и к ней. «Гавриилиада» построена на пародии, принявшей самые разнообразные виды и оттенки. Ее внутренняя незлобивость бросается в глаза. В ней больше жизнерадостности и веселья, чем яда. Кошунственность этой поэмы, по внешности самая резкая в кругу подобных творений Пушкина, по существу безопасна и здесь. Атеизм «Гавриилиады» слишком весел, открыт и легок, чтобы быть опасным. Быть может, весьма демонический в неко-

торых других созданиях, именно в «Гавриилиаде» Пушкин недемоничен, потому что прежде всего беззаботен. Больше того: если всмотреться в «Гавриилиаду», то сквозь соблазнительную оболочку кощунства увидим в ней равномерно и широко разлитое сияние любви к миру, благоволение и умиление.

ССОРА С ОТЦОМ

Высланный из Одессы в Михайловское, Пушкин приехал туда в августе 1824 г. В деревне он застал всю свою семью: родителей, брата и сестру. События, разыгравшиеся после его приезда, лучше всего изображены им самим в письме к Жуковскому от 31 октября:

«Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мной смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решил молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата, и повелевает ему не знатья *avec ce monstre, ce fils dénaturé...* (Жуковский, думай о моем положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу нахожу его с матерью, и высказываю все что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить.* — Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — еще раз спаси меня. А.П. 31 Окт.

Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до правительства, посуди что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я hors la loi...»

Дальнейшие подробности этой истории не выяснены. Во всяком случае, она кончилась тем, что Сергей Львович уехал с семьей из Михайловского в Петербург, оставив Пушкина в Михайловском наедине с няней. 29 ноября Пушкин снова писал Жуковскому:

«Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу; но что мне было делать? Я сослан за строчку глупого письма, что было бы если правительство узнало обвинение отца? Это пахнет палачем и каторгою. Отец говорил после: *Экой дурак, в чем оправдывается! да он бы еще осмелился меня бить! да я бы связать его велел!* — зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? *да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?* Это дело десятое. *Да он убил отца словами!* — каламбур и только...»

Если мы сопоставим приведенные в обоих письмах обвинения, которые, пользуясь отсутствием свидетелей, выдвигал против сына Сергей Львович, то увидим, что они идут в убывающей прогрессии. Тотчас после бурной сцены Сергей Львович кричал, что сын его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить»; затем он понизил свои обвинения еще более: «непристойно размахивал руками»; наконец, дело шло уже только о том, что Александр Сергеевич «убил отца словами».

Вот это Пушкин не только подчеркнул в своих письмах к Жуковскому, но и крепко запомнил и использовал в качестве блестящего сценического эффекта.

«Скупой рыцарь» только закончен в 1830 г. Он был начат еще в Михайловском. Основной конфликт между Альбером и старым бароном в свою очередь воспроизводит очень давние столкновения между Пушкиным и его отцом. В 1817–1820 гг., по выходе из Лицея, Пушкин жил в Петербурге, тянулся за своими приятелями из среды богатой молодежи и глубоко страдал от отсутствия денег, которое постоянно наносило удары его самолюбию. Мог ли Сергей Львович предоставить ему желаемые средства — вопрос особый. Пушкину во всяком случае казалось, что мог, но не хотел. Отчасти оно так и было. Досада на скупость отца не проходила и позже, когда Пушкин жил на юге. По приезде в Михайловское прибавилось негодование на то, что Сергей Львович согласился шпионить за сыном. Последнее обстоятельство само по себе в

«Скупом рыцаре» не отражено: ради художественной цельности Пушкин ограничил арену столкновения денежными делами, потому что в основе трагедии лежит тема скупости. Но в разработке сюжета он прямо использовал михайловскую историю.

Старый барон ведет себя перед герцогом совершенно так, как Сергей Львович после объяснения с сыном вел себя перед «всем домом».

Начинается с того, что герцог предлагает барону прислать Альбера ко двору. Барон начинает хитрить:

Простите мне, но право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Герцог.

Но почему ж?

Барон.

Увольте старика...

Он нарочно разжигает любопытство герцога, делая вид, что скрывает какое-то важное обстоятельство. Тогда герцог становится настойчивей:

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Барон продолжает интриговать:

На сына я

Сердит.

Герцог.

За что?

Барон.

За злое преступление.

Вот оно: это — первая редакция обвинения, решительная и недвусмысленная. Барон обвиняет сына в *совершенном преступлении*. В том, что кричал «всему дому» Сергей Львович, этому обвинению соответствует слово «бил». Сергей Львович сгоряча солгал, и ему затем пришлось под допросом домашних понизить свои обвинения. Барон действует обдуманнее: он надеется, что герцог не станет расспрашивать о подробностях: согласится, что раз Альбер

преступник, то все кончено и о преступном сыне хлопотать не к чему. Но герцог не унимается:

А в чем оно, скажите, состоит?

Неподготовленный барон просит:

Увольте, герцог...

Герцог.

Это очень странно!

Или вам стыдно за него?

Старику этот вопрос на руку. В надежде, что «стыд» позволит ему уклониться от подробного рассказа о «несбыточном преступлении», он подхватывает:

Да, стыдно.

На его несчастье, герцог продолжает допытываться:

Но что же сделал он?

Барону отступить некуда. Но так как он знает, что его сын именно ничего не сделал, что никаких доказательств преступного деяния нет, то и называет вину недоказуемую: не проступок, а умысел:

Он... он меня

Хотел убить.

Обвинение сразу сильно понижено — и вполне соответствует второму обвинению Сергея Львовича: «Хотел бить».

Герцог, конечно, догадывается, что барон лжет. Он решается припугнуть старика необходимостью поддержать обвинение перед судом:

Убить! так я суду

Его предам, как черного злодея.

Такая перспектива барону не улыбается, и он заранее отказывается от предъявления доказательств:

Доказывать не стану я, хоть знаю...

В действительности он знает только то, что теперь надо постараться дело замять. И он вторично понижает свое обвинение, на сей раз отрицая даже умысел и сводя дело к психологической возможности умысла:

.....хоть знаю,
Что точно смерти жаждет он моей.

Это — тот самый момент, когда Сергей Львович объявил, что Пушкин его «мог прибить».

Однако теперь и это обвинение кажется барону рискованным. Он спешит окончательно затушевать мотив отцеубийства. Он продолжает:

Хоть знаю то, что покушался он
Меня...

Барон останавливается, потому что все-таки еще не придумал, на что именно покушался Альбер. Но герцог его торопит:

Что?

Далее тянуть некогда, и барон предъявляет обвинение, переводящее все дело в иную плоскость:

Обокрасть.

«Это дело десятое», мог бы сказать спрятанный Альбер словами пушкинского письма к Жуковскому. В сравнении с обвинением чуть ли не в отцеубийстве обвинение в покушении на кражу равняется последнему из обвинений, предъявленных Сергеем Львовичем: «да он убил отца словами». Тут, пожалуй, Альбер мог бы повторить и другое замечание Пушкина: «каламбур и только». Но Альбер — не автор трагедии, а герой. Он «бросается в комнату», кричит отцу: «Барон, вы лжете» — и все кончается так, как должно кончиться в трагедии между рыцарями и как не могло кончиться в 1824 году, в Опочецком уезде Псковской губернии.

Автобиографический элемент в «Скупом рыцаре» замечен давно. Я лишь хотел на конкретном примере показать, под каким углом порой отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях.

ДВОР — СНЕГ — КОЛОКОЛЬЧИК

Пушкин посетил Пушкина в Михайловском 11 января 1825 года. В это свидание, продлившееся менее суток, многое было сказано, еще больше — почувствовано без слов. Почти целых пять лет не видел Пушкин никого из лицейских друзей, а в последние месяцы, особенно после отъезда брата и сестры из Михайловского, он глубоко томился своей заброшенностью. «Опала» была ему в тягость. Вдобавок он знал, что переписка его вскрывается, а на всех, кто поддерживает с ним сношения, правительство смотрит косо. Гостей ждать не приходилось. И вдруг — неожиданный приезд Пуштина. Не удивительно, что от этого свидания в сердце и в памяти осталась не столько беседа, как бы она ни была существенна, сколько первые мгновения нежданной встречи и вечная благодарность за самый приезд. Любовней, чем разговоры с Пуштиним, Пушкин запомнил само появление друга.

Вот что впоследствии рассказывал Пуштин:

«Мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши на ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кое-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилюстою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками... Было около восьми часов утра».

Эта картина запомнилась раз навсегда и Пушкину. Раннее зимнее утро и особенно двор, снег, колокольчик сделались в его поэзии лейтмотивом Пуштина. Вспоминая Пуштина, он почти неизменно к ним возвращается. И обратно: двор, снег, колокольчик напоминают ему о Пушине.

О наброске «Стрекотунья-белобока...» известно лишь то, что он сделан в том же 1825 году. Это — первая, самая непосредственная запись о приезде Пуштина.

Стрекотунья-белобока,
Под калиткою моей
Скачет пестрая сорока
И пророчит мне гостей.
Колокольчик небывалый
У меня звенит в ушах,
Луч зари сияет алый,
Серебрится снежный прах...

Здесь колокольчик и снег упомянуты прямо. Двор дан в словах «под калиткою моей». Это — те самые ворота, в которые с маху вломилась пушинские сани. Пророча гостей, сорока скачет именно там, откуда суждено появиться гостю.

В седьмом стихе этого наброска иногда читают «луч луны», а не «луч зари». Такое чтение вряд ли правдоподобно. «Алый луч луны», быть может, и не совсем невозможен, но в этой простой картине он был бы некстати. Пушкин о нем сказал бы: «изысканно, а потому плохо». Стрекошущая сорока тоже с луной не вяжется. Главное же — Пушкин правдив и точен. Пущин говорит, что приехал в Михайловское рано утром: «К утру следующего дня уже приближался к желанной цели». Он и еще точнее определяет время: «Было около восьми часов утра». В январе поздно светает — вот откуда и «луч зари».

Не закончив этого стихотворения, Пушкин в том же году начал послание к Пущину, но не закончил и этой пьесы, от которой мы имеем лишь черновой набросок:

Мой давний друг, мой гость бесценный.
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Пустынным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
На стороне глухой и дальней
Забитый кров, шалаш опальной
Ты с утешеньем оживил,
Ты день изгнанья, день печальной
С печальным другом разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы?
Скажи, что наши, что друзья?
Где ж эти ласковые лица?
Где молодость? Где ты? Где я?

.....

Судьба рукой своей железной
Наш мирный развела Лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
(Счастлив — ты гражданин полезный)
На избранной чреде своей
Ты победил предрассужденья;
Ты от общественного мненья
Умел потребовать почтенья,
Смиранный возвеличил сан
В глазах... граждан...

Этот набросок иногда относят к 1826 г., что, конечно, неверно. В 1826 году декабрист Пущин был уже в крепости, и Пушкин не мог, как ни в чем не бывало, говорить о его судейской деятельности да еще прибавлять: «Но ты счастлив, о брат любезный». В действительности было, конечно, иначе. По тем или иным причинам не кончив послания, набросанного ранее 19 октября 1825 г., Пушкин затем воспользовался им дважды. В первый раз — для «19 октября 1825 г.». Начальными пятью стихами на этот раз воспользоваться было нельзя. Мотив «двор — снег — колокольчик» был бы слишком живописен и детален для этой пьесы. Но второе пятистишие, как легко убедиться из сравнения, было Пушкиным широко использовано в 12-й строфе первоначальной (полной) редакции:

.....Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Последние четыре стиха неконченного послания отразились в следующей, позднее отброшенной строфе, где о судейской деятельности Пущина говорится почти в тех же выражениях:

Ты освятил тобой избранный сан,
Ему в глазах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

Наконец, надо заметить, что девятый стих наброска имел вариант:

Ты день *отрадный*, день *печальный*...

Пушкин с изумительной тонкостью как бы разложил, расплел его в заключительной строфе «19 октября»:

Пускай же он с *отрадой*, хоть *печальной*,
Тогда сей *день* за чашей проведет,—

после чего повторил и рифму из первоначального наброска:

Как ныне я, затворник ваш *опальный*,
Его провел без горя и забот.

Второе использование наброска произошло значительно позже. К нему мы еще вернемся. После «19 октября 1825 г.» Пушкин некоторое время не обращался прямо к теме пушкинского приезда. Но заглушенно она прозвучала еще дважды — и оба раза вскоре после 19 октября.

Через два месяца, 12–13 декабря, был в два утра написан «Граф Нулин», в котором описание грязного двора, на который глядит героиня, прерывается стихом:

Вдруг колокольчик зазвенел...

Этот вид двора и звук колокольчика натолкнули воспоминание на приезд Пущина, и Пушкин тотчас прервал повествование лирическим отступлением — единственным во всей повести:

Кто долго жил в глуши *печальной*,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик *дальной*
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?
Уж не она ли? Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется,
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Несмотря на то, что здесь говорится об обманутой надежде на приезд друга, все же в этих стихах есть несомненный отзвук пушкинского колокольчика. Однако ход пушкинской мысли тут еще сложнее. Дело в том, что стих «Не друг ли едет запоздалый?» имеет самостоятельное отношение к «19 октября 1825 г.». Там, обращаясь к Кюхельбекеру, Пушкин говорил: «Я жду тебя, мой запоздалый друг». Таким образом, по поводу двора и колокольчика Пушкин вспоминает: о приезде Пущина, о «19 октября 1825 г.» и о несостоявшемся приезде Кюхельбекера.

Однако на этом лирическом отступлении воспоминание о приезде Пушкина не оборвалось. Возвращаясь к прерванному повествованию, Пушкин говорит:

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звуку,
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы, коляска скачет.

Если мы перечтем «Деревню», «Домовому», «Вновь я посетил», то заметим, что Наталья Павловна со своего балкона видит михайловский пейзаж, открывающийся с того балкона, на который Пушкин выбежал встречать Пушкина. После этого сама собою напросится мысль, что упавшая набок коляска графа Нулина имеет некоторую связь с перевернувшимися санями Пушкина. Я отнюдь не хочу сказать, будто замысел «Графа Нулина» имеет хоть какое-нибудь отношение к пушкинскому приезду, но в разработке деталей и в частности — в мотивировке того, почему Нулин очутился гостем Наталии Павловны, есть несомненный отзвук воспоминаний об этом событии.

Через три недели после написания «Графа Нулина» Пушкин начал пятую главу *Евгения Онегина*:

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе;
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе,
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко усталые горы
Зимы блистательным ковром...

В «Графе Нулине» Пушкин вспомнил о дворе и колокольчика. Теперь — от утра, двора и снега, покрывшего гористую местность, — и тотчас воспоминание проступило наружу в виде упоминания о сороках, взятых из первого наброска, связанного с приездом Пушкина.

Как сказано выше, начальные строки послания к Пушкину остались неиспользованными в «19 октября 1825 г.». Пушкин использовал их 13 декабря 1826 года, в канун годовщины декабрьского восстания и в самую годовщину написания «Графа Нулина». Теперь это было вновь послание к Пушкину, уже сосланному в Сибирь. Все послание содержит в себе лишь десять стихов. Из них первые пять почти без изменений заимствованы из первого послания:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Вторая половина стихотворения как нельзя более точно подтверждает ту мысль, что в воспоминаниях о приезде Пушкина всего драгоценнее был для Пушкина именно самый факт неожиданного и утешительного приезда, навсегда связавшийся со звуком неожиданного колокольчика. Теперь Пушкин хочет отплатить другу, заброшенному в Сибирь, радостью, хотя бы напоминающей ту, которую некогда доставил ему Пушкин: свое послание, самый факт, самый звук его он сравнивает со звуком того колокольчика:

Молю святое Провиденье,
Да *голос* мой душе твоей
Дарует *то же* утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней.

На этом кончается «тема Пушкина». Слабый отголосок ее встречаем мы еще только раз: в 1835 г., в стихотворении «Вновь я посетил...», при виде того домика, в котором он жил с нянею, Пушкин говорит:

Вот *опальный* домик...

Здесь в третий раз употреблен эпитет, впервые произнесенный в наброске послания к Пушкину, а во второй раз — в «Пушкинской» строфе «19 октября 1825 г.».

СТИХИ И ПИСЬМА

Не любя отца и постоянно подшучивая над дядей, которые оба считали себя остроумцами, он плохие свои каламбуры приписывал наследственности. Довольно натянуто скаламбурив в письме к Вяземскому (середина апреля 1825 г.), он прибавляет: «Извини эту плоскость: в крови!» В начале декабря того же года, написав Кюхельбекеру, что духом прочел его комедию «Шекспировы духи», он делает сноску: «Calembourg! reconnais-tu le sang?»

Вообще же свои остроты и удачные выражения он помнил и не прочь был повторить. Так, 4 сентября 1822 г. в письме к брату он острит, говоря, что стих Кюхельбекера: «так пел в Суворова влюблен Державин» — «слишком уж Греческий». В апреле 1825 г. он сообщает Вяземскому, что переписывает для него *Евгения Онегина*, и прибавляет: «Отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для Голицыной — из сего следует что я в тебя влюблен, как кюхельбекерской Державин в Суворова».

В начале января 1824 г., в письме к брату, он бранит лобановский перевод «Федры» и, процитировав стих:

Тезея жаркий след иль темные пути,—

прибавляет: «Мать его в рифму!» — а 29 ноября того же года пишет Вяземскому: «Ольдекоп, мать его в рифму, надоел!»

В середине ноября 1824 г. он писал брату по поводу петербургского наводнения, того самого, которое впоследствии стало сюжетом «Медного Всадника»: «Что это у вас? потоп? ничто проклятому Петербургу! voilà une belle occasion à vos dames de faire bidet». Через месяц, не получив ответа на свою остроту, он спрашивает: «Получил-ли ты мое письмо о Потопе где я говорю тебе voilà une belle occasion pour vos dames de faire bidet? NB. NB.».

17 августа 1825 г. он пишет Жуковскому об «Истории» Карамзина и прибавляет: «c'est palpitant comme la gazette d'hier, писал я Раевскому».

9 сент. 1830 г. он рассказывает Плетневу о последних минутах В.Л.Пушкина: «Приезжаю к нему, нахожу его в забытии, очнувшись он узнал меня, погоревал потом помолчал: как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином на щите». Через четыре года он извещает И.И. Дмитриева (14 февр. 1835 г.) о смерти секретаря Академии,

«умершего на щите, то есть, на последнем корректурном листе своего Словаря».

В его письмах нередко цитаты из собственных стихов — точные или несколько измененные. В письме к Тургеневу от 7 мая 1821 г. четверостишие из элегии 1820 г.

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отчески края,
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья! —

дает ему повод написать: «дайте знать минутным друзьям моей минутной младости чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут искателя новых впечатлений». 26 сент. 1822 г., в письме к Я.Н.Толстому: «Ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной молодости, вспомнил обо мне». 29 июня 1824 г.— А.А.Бестужеву: «постарайся увидеть Никиту Всеволожского, лучшего из минутных друзей моей минутной младости».

Известная эпиграмма на Кюхельбекера, кончающаяся стихом: «И кюхельбекерно, и тошно», написанная еще в 1818 г., откликается в письме к брату от 30 января 1823 г.: «кюхельбекерно мне на чужой стороне». В письме к Вяземскому (конец июня 1824 года) стих повторен в точности. Еще раньше, 27 июня 1822 г., он сообщает из Кишинева Гнедичу: «Здесь у нас *молдаванно* и тошно» — и сам подчеркивает слово «молдаванно», как неологизм от общеизвестного «кюхельбекерно».

Стих «Святую заповедь Корана» (Бахчисарайский фонтан) приведен в письме к Вяземскому от конца июня 1824 г.: «С другой стороны деньги, Онегин, святая заповедь Корана — вообще мой эгоизм...»

Во второй половине декабря 1824 г. он повторяет в письме к брату два стиха из «Уединения»: «Кто думает ко мне заехать? Избави меня

От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала».

Посвятив Н.С.Алексееву в 1821 г. стихи: «Мой милый, как несправедливы...» — 26 дек. 1830 г. он начинает письмо к нему же словами: «Мой милый, как несправедливы — твои упреки моей забывчивости и лени!»

В «Путешествии Онегина» несколько раз повторяется: «Тоска, тоска!» После этого (и *только* после этого) восклицание появляется в письмах: С.Д.Киселеву, 15 нояб. 1829: «В Петербурге тоска,

тоска». Плетневу 21 янв. 1830: «Грустно, тоска». Н.Н.Пушкиной, 16 дек. 1831: «Тоска, мой Ангел». Ей же, конец июля 1834: «Тоска, тоска!»

В конце 1824 г. в стихотворении «Сказали раз царю...» он написал:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства,—

а 25 января 1825 г., по совершенно иному поводу, повторил: «В подлостях нужно некоторое благородство».

«Явись, возлюбленная тень!», сказано в «Заклинании» (1830), а в письме к Плетневу от 11 апреля 1831 г.: «Если тебя уже нет на свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину...»

В XIV–XV строфах 8-й главы *Евгения Онегина* Пушкин говорит о Татьяне:

Она казалась верный снимок

Du comme il faut...

.....

Никто бы в ней найти не мог

Того, что модой самовластной

В высоком лондонском кругу

Зовется vulgar...

Через три года, в письме к жене от 30 октября 1833 г.: «...ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет Московской барышнею, все что не comme il faut, все что vulgar...»

Таких переносов из стихов в письма можно указать еще много. Мы ограничились наиболее выразительными примерами. Однако гораздо больший психологический интерес представляют случаи обратного переноса: из писем в стихи.

Еще 2 янв. 1822 г., в письме к Вяземскому, он назвал Буянова, героя дядиной поэмы, своим двоюродным братом. Четыре года спустя, в 5-й гл. *Евгения Онегина*, «Мой брат двоюродный Буянов» указан в перечне ларинских гостей.

1 сентября 1822 г. в письме к тому же Вяземскому сказано: «Лета клонят к прозе» и повторено года через четыре в *Евгении Онегине* (6, XLIII):

Лета к суровой прозе клонят.

Когда умерла тетка Анна Львовна, а кн. Шаликов сочинил стихи на смерть ее, Пушкин писал сестре (4 декабря 1824 г.): «Au vrai j'ai toujours aimé ma pauvre tante et je suis fâché que Chalikof ait pissé

sur son tombeau». Месяцев через пять, в «Элегии на смерть Анны Львовны», написанной при участии Дельвига, появились стихи:

Увы! зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил?..

«Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа» (Рылееву, конец мая 1825 г.). После этого — в «Сцене из Фауста»:

Вся тварь разумная скучает.

4 декабря 1825 г. он писал Катенину о своих «Цыганах»: «Это годится для публики, но тебе надеюсь я представить что-нибудь более достойное твоего внимания». В посвящении *Евгения Онегина* (1827) сказано очень близко к этому:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя.

В полустихотворном, полупрозаическом письме к Соболевскому (9 ноября 1826 г.) Пушкин советует:

У податливых крестьянок,
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок...

Впоследствии — в «Путешествии Онегина»:

Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.
Тут у привязчивых крестьянок
Берет три связки он баранок...

1 июня 1831 г. он пишет Вяземскому: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря». Через два месяца эти слова переложены в стихи:

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор...
.....
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда.

4 декабря 1824 г. он писал брату: «Пришли же мне Эду Баратынскую. Ах он Чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь...» Здесь уже заключены все элементы стихотво-

рения, с которым он позже обратился к Баратынскому, прочитав неблагоприятный отзыв критика об «Эде»:

Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой Зоил — прямой чухонец.

Эти стихи, в свою очередь, вскоре отозвались в обращении к Гомеру — в XXXVII строфе 5-й главы *Евгения Онегина*:

Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.

Здесь же кстати укажу для примера один случай перенесения образа из письма — сначала в статью, а потом в повесть. 6 февраля 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «До сих пор читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч.— мне казалось что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова» (то есть толки публичного дома). В т.н. «Отрывках из разговоров» (1830) читаем: «Извините, Пушкин читает все №№ «Вестника Европы», где его ругают, что значит, по его энергичному выражению,— *подслушивать у дверей, что говорят о нем в прихожей*». Отсюда — в «Египетские ночи» (1835): «Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения..., что называл он на своем энергическом простонаречии — *подслушивать у кабака, что говорят об нас холопья*».

ВДОХНОВЕНИЕ И РУКОПИСЬ

В апреле 1824 г. Пушкин пишет Вяземскому, рассуждает о классической и романтической поэзии, но вдруг обрывает свои рассуждения: «Обо всем этом поговорим на досуге. Теперь поговорим о деле, т.е. о деньгах». Спустя десять лет эта фраза повторена почти дословно в письме Нащокину: «Сперва поговорим о деле, т.е. о деньгах». Года за полтора до смерти, в письме к В.Ф. Одоевскому, он рассуждает: «Зачем мне *сот-действовать* Детскому

журналу? уж и так говорят, что я в детство впадаю. Разве уж не за деньги ли? О это дело не детское, а дельное».

Таких высказываний в его письмах не мало. Порой они облачаются в форму афористическую: «Деньгами нечего шутить; деньги вещь важная», пишет он Плетневу в 1830 г., а спустя несколько месяцев, в письме к нему же, выделяет в особую строку:

«Деньги, деньги: вот главное».

Он был стыдлив и скрытен. Пуще всего он боялся предстать глазам современников в ореоле сладенькой поэтичности. Эта боязнь постоянно заставляла его ревниво скрывать свое поэтическое лицо под разными масками: шалуна из числа золотой молодежи, картежника, циника, светского человека. Маска литературного дельца была в том числе. Он любил себя выставлять *торгующим* стихами. В 1821 г. писал он Гречу из Кишинева о «Кавказском пленнике»: «Хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы — разрезано на 2 песни; дешево отдам, чтоб товар не залежался». Когда «Бахчисарайский фонтан» стал известен публике ранее появления в печати, Пушкин писал брату, что при таких условиях впредь ему невозможно будет «продавать себя» с барышом, и далее жаловался: «Ни ты, ни отец... денег не шлете, а подрываете мой книжный торг». В письмах к Вяземскому и Гнедичу называет он себя владельцем «мелочной лавки». В 1828 г., когда его хотели заставить даром работать в журнале, он писал Соболевскому: «Да еще говорят: он богат, чорт-ли ему в деньгах — Положим так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами...» Летом 1830 г. он просит своего кредитора Огонь-Догановского об отсрочке: «Я никак не в состоянии, по причине дурных оборотов, заплатить вдруг 25 тыс.».

Иногда свой литературный доход сравнивал он с помещичьим. Уже в 1825 г., обещая отдать долг Вяземскому, он писал ему: «Жди оброка, что соберу на-днях с моего сельца С.-Петербурга». В августе 1831 г., назначая высокую цену за экземпляр «Повестей Белкина», он говорит в письме к Плетневу: «Думаю, что публика будет беспрекословно платить сей умеренный оброк и не принудит меня принять строгие меры». Тот же мотив звучит в стихотворных набросках 1833 г.:

Вы говорите: «слава Богу,
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу
Пиши ж его — не будь ленив.

Со славы, вняв ее призванью,
Сбирай оброк хвалой и бранью...

.....
И с нашей публики меж тем
Бери умеренную плату:
За книжку по пяти рублей —
Налог не тягостный, ей-ей.

Или в другом наброске:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман мой продолжать...
Брать с публики умеренную плату —
За каждый стих по десяти рублей
(Составит, стало, за строфу сто сорок) —
Оброк пустой для нынешних людей...

В третьем — несколько иначе:

Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму,
Прихлынет публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе и славу, и доход.

Наконец, печатая «Историю Пугачевского бунта», в письме же-
не от 15 сент. 1834 г. он называет Пугачева своим «оброчным му-
жичком».

Поза литературного дельца была им, однако ж, не выдумана.
Обстоятельства в самом деле заставляли его смотреть на занятия
литературой как на заработок. В письме к Бенкендорфу от 20
июля 1827 г. он говорит об этом всего отчетливей: «Не имея дру-
гого способа к обеспечению моего состояния кроме выгод от по-
сильных трудов моих...» и т.д. В следующем году он пишет тому
же Бенкендорфу: «Как надлежит мне поступить с моими сочине-
ниями, которые, как Вам известно, составляют одно мое иму-
щество?»

Нельзя не заметить, впрочем, что своим положением литератора-
профессионала он иногда пользуется перед лицом правительства
опять же для маскировки: самое влечение к литературе он при-
крывает необходимостью добывать деньги. Вдохновение, вещь лег-
комысленную и даже подозрительную в глазах начальства, он под-
меняет нуждой в деньгах. В июле 1833 г. он пишет Мордвинову:
«Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении,
дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно
мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нуж-
ду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но

что делать? они одни доставляют мне независимость и способ прожить с моим семейством в Петербурге...» Эта книга была «Капитанская дочка». Что писание книг есть в глазах начальства суетное занятие, он давно знал. Еще в 1824 г. он писал Казначееву: «Ради Бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость». Он знал, что таким образом выставляет себя в глазах начальства человеком благонамеренным. Правда, несколько дней спустя, в письме к тому же Казначееву, он выражает ту же мысль несколько точнее и, что касается вдохновения, несколько правдивее: «J'ai déjà vaincu ma répugnance d'écrire et de vendre mes vers pour vivre; le plus grand pas est fait — si je n'écris encore que sous l'influence capricieuse de l'inspiration, les vers une fois écrits je ne les regarde plus que comme une marchandise à tant la pièce».

Эта промышленная эксплуатация вдохновения была ему на первых порах в самом деле тяжела. Необходимость торговать стихами переживал он как унижение, которое прикрывал, как всегда, цинической позой. Прося Вяземского скорее печатать «Бахчисарайский фонтан», он ему пояснял: «Не ради славы прошу, а ради Мамона». В январе 1824 г. он писал брату: «Русская слава льстит может какому-нибудь В.Козлову, которому льстят и Петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. Mais pourquoi chantais-tu? на сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего Цинизма».

Однако перед самим собою одним напускным цинизмом отделаться было трудно. Пушкин настойчиво искал формулу, которая примирила бы вдохновение с торговлей стихами. 8 февраля того же года он, наконец, пишет Бестужеву о «Бахчисарайском фонтане»: «Я писал его единственно для себя, а печатаю потому что деньги были нужны». Ровно месяц спустя, 8 марта, в письме к Вяземскому, формула уже выработана окончательно и лапидарно: «Я пишу для себя, а печатаю для денег». Эта формула и остается его заповедью на всю жизнь. В том же году он ее выражает поэтически в «Разговоре продавца с поэтом»:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

В 1833 г. он начал набрасывать стихотворение, в котором повторил ту же мысль почти в той же форме, как некогда писал Вяземскому:

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите — вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите, вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она;
Зачем же пишете? — Я? для себя.— За что же
Печатаете вы? — Для денег.— Ах мой Боже,
Как стыдно! — Почему ж?..

На этом стихи обрываются, но в «Египетских ночах» Пушкин рассказывает о своем «приятеле» стихотворце: «Долго бы дожидалась почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если бы книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутную нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения».

Его нелюбовь к славе, т.е. к шумихе, сопряженной с опубликованием писаний, окончательно сложилась к началу тридцатых годов. За несколько дней до свадьбы он писал Плетневу: «Взять жену без состояния — я в состоянии — но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять по крайней мере на свадьбе. Делать нечего: придется печатать мои повести». Три года спустя та же мысль высказана еще отчетливее в письме к Погодину: «Много пишу про себя, а печатаю поневоле и единственно ради денег».

Между тем семейная жизнь вызвала резкое увеличение расходов. Требовалось увеличить и литературное производство. Тут, однако же, получался порочный круг: «Нет у меня досуга, вольной-холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде; все это требует денег, деньги достаются мне черз труды, а труды требуют уединения» (Нащокину, 23 февр. 1833 г.).

Все настоятельней становилась нужда не только продавать рукописи, но и искусственно возбуждать самое вдохновение. Это было ему так противно, что он проговаривался даже Бенкендорфу: «il m'est tout à fait impossible d'écrire pour de l'argent» (1 июня 1835 г.). Осенью он уехал в Михайловское, чтобы там спокойно работать. Но именно потому, что нужно было писать для денег, а не для себя,— он не мог делать ничего и приходил в отчаяние. Он напрягал воображение, но оно направлялось не в ту сторону. Он писал жене: «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не

можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?.... Писать книги для денег, видит Бог, не могу».

БУРИ

В мае 1820 г. Пушкин был выслан из Петербурга. Через полтора месяца, на Кавказе, вспоминая свою вдохновенную жизнь перед высылкой, он писал:

На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
А между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной.

Первое же воздействие правительства в первых же стихах представлено в виде грозы. Позже, намекая на то же событие, он иронически замечает:

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель!
Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня.

Здесь неблагоприятное положение правительства представлено в виде вредного климата. Далее, в L строфе той же 1-й главы *Евгения Онегина*, мечты о побеге за границу оказываются вновь связаны с образами погоды и климата:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами спора,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный берег

Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России...

Четыре года спустя, за новые провинности, его пересослали из Одессы в Михайловское. Одним из первых стихотворений, там написанных, был «Аквилон», в котором ветер, черные тучи, гроза, зефир суть иносказания, прикрывающие правду об отношениях Александра I к Пушкину. В этих стихах много презрения ко всемогущему «Аквилону», который, низвергнув дуб, своей злобой преследует и бессильный пред ним тростник.

Вслед за «Аквилоном», в послании к Языкову, мы читаем:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье.

Летом 1825 г. написано «Я помню чудное мгновенье», в котором речь идет о двух встречах с А.П.Керн: в 1819 и в 1825 г. Между этими двумя встречами лежит момент ссылки, о котором сказано:

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный...

Позже, в 8-й гл. *Евгения Онегина*, изображая превращения своей Музы, Пушкин говорит:

И позабыв столицы дальной
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной...

Здесь Муза является сперва как внушительница «Цыган», потом — в образе Татьяны. Эти два явления отделены друг от друга строкой: «Вдруг изменилось все кругом». Весьма примечательно, что в черновике она читалась иначе:

Но дунул ветер, грянул гром...

Этот стих намекал на ссылку из Одессы в Михайловское. Хронологически здесь была неточность: момент ссылки не приходился *между* созданием «Цыган» и появлением Татьяны, потому что «Цыганы» окончены уже в Михайловском, а первые главы Евгения *Онегина* написаны еще на юге. Но психологически Пушкин был вполне правдив, когда момент ссылки считал границей между одесскими вдохновениями «Цыган» и михайловскими вдохновениями *Евгения Онегина*.

Своей ссылкой он также коснулся в «19 октября 1825 г.» — и вновь прибегнул к тому же иносказанию:

Из края в край преследуем грозой...

И далее:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурю главой поник я томной...

В «Арионе» гроза и вихрь знаменуют катастрофический конец декабристского движения. Через две недели после «Ариона» заключительный мотив этого стихотворения:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою —

повторен в «Акафисте Е.Н.Карамзиной»:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный Провиденьем — и т.д.

В 1828 г., когда неприятности по делу об «Андрее Шенье» сменились опасениями пострадать за «Гавриилиаду», Пушкин пишет «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине...
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду...

13 апреля 1835 г. помечено стихотворение «Туча». Точно установить, какие события послужили поводом к этой пьесе, трудно. Что была за «последняя туча» «промчавшейся», «рассеянной бури», какая «молния» угрожала поэту, какой «таинственный» гром до него доносился — обо всем этом можно только догадываться. Не-

которые исследователи полагают, что здесь идет речь о неприятности, происшедшей между Пушкиным и Николаем I в июле 1834 г. Как бы то ни было, нельзя сомневаться, что и на сей раз дело касалось сношений с правительством.

Не только о вмешательстве правительства в его жизнь он говорит как о погоде. С погодой сравниваются и общие политические события в Европе.

В 1824 г. по поводу русско-польских отношений он обращается к гр. Олизару:

Певец, издревле меж собою
Враждуют наши племена,
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозюю.

Через семь лет, по поводу польского восстания 1831 г., эти стихи почти дословно перенесены в «Клеветникам России»:

Уже давно между собою
Враждуют эти племена.
Не раз клонилась под грозюю
То их, то наша сторона.

О терроре французской революции Пушкин говорит устами Андрея Шенье: «И буря мрачная минет». Там же: «Когда гроза пройдет...»

В «19 октября 1836 г.» говорится о «грозе двенадцатого года». Там же состояние Европы в конце двадцатых годов изображено в следующих стихах:

И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлись новы тучи,
И ураган их...

К иносказаниям, прикрывающим всяческие невзгоды именем бурь, гроз, ураганов, мы давно привыкли. Для нас они стали банальностью. Иное дело — Пушкин. Уже и в его эпоху они не были новы, но еще сохраняли свежесть, выражали некое реально переживаемое соответствие. Поэтому мы их находим и в письмах Пушкина.

В 1822 г., приравнивая свою участь к участи Овидия, он в письме к брату цитирует собственный стих: «О други, Августу мольбы мои несите!» — и тотчас, мысленно подставляя на место Августа Александра I, дает каламбур: «Но Август смотрит сентябрем» (т.е. надежды на возвращение из ссылки нет).

Получив от брата ответ, до нас не дошедший, Пушкин вновь пишет ему 30 января 1823 г.: «Ты не приказываешь жаловаться на погоду — в Августе месяце — так и быть — а ведь неприятно сидеть в заперти, когда гулять хочется».

Через четыре месяца после высылки из Одессы он начинает письмо к одному из тамошних знакомых: «Буря, кажется, успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать вам голос...» Это письмо сохранилось только в черновике и, может быть, не было отослано. 13 августа 1825 г. той же фразой начинается письмо к другому одесситу — В.И.Туманскому: «Буря, кажется, успокоилась: осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда».

23 февраля 1825 г., почти повторяя уже цитированный стих из «Евгения Онегина», он пишет Гнедичу: «Сиж у моря, жду перемены погоды», т.е. перемены своей участи. В том же году, 6 октября, на ту же тему он пишет Жуковскому: «Милый мой, посидим у моря, подождем погоды».

Когда в 1831 г. кн. Вяземский, который тоже был не в фаворе у власти, сделан был камергером, Пушкин его поздравляет в шуточном послании и говорит:

Так солнце и на нас взглянуло из-за туч.

Может возникнуть предположение, что в письмах политика прикрыта метеорологией из опасения перлюстрации. Такое предположение заранее следует отклонить. Пушкин, конечно, знал, что перлюстраторы достаточно сообразительны, чтобы понимать его намеки и каламбуры. Скорее такие шутки могли быть ему поставлены в вину, как неуважительные в отношении государя и правительства. Наконец, в одном письме (к А.Н.Гончарову, 9 сентября 1830 г.) он сам расшифровывает иносказание: «Сношения мои с правительством подобны вешней погоде: поминутно то дождь то солнце. А теперь нашла тучка...» Такую же расшифровку встречаем и в дневнике, где под 22 июля 1834 г. записано: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором...»

Но это не все. Переписка Пушкина открывает нам совпадение многозначительное. Оказывается, что к тому же иносказанию Пушкин прибегает еще в одном случае. Осенью 1830 г., когда он

был в Нижегородской губернии, началась холерная эпидемия, и карантины надолго отрезали его от Москвы. И вот об этой помехе он говорит буквально в тех же выражениях как о правительстве. 28 октября он пишет Плетневу: «Воротился в Болдино и жду погоды». 4 ноября — Дельвигу: «Жду погоды, чтобы жениться и добраться до Петербурга».

Тогда же, в Болдине, написал он песнь председателя из «Пира во время чумы» (кстати сказать — чумой в своих письмах он неоднократно зовет холеру). Примечательно, что и здесь прежде всего дано сравнение с погодой:

Когда могущая зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов,—
Навстречу ей трещат каминь,
И весел зимний жар пиров.
Царица грозная, Чума

Теперь идет на нас сама...

.....

Как от проказницы-зимы,
Запремся так же от Чумы...

Что же общего между русским правительством, якобинскою революцией, войной, мором и дурной погодой? Ответ ясен: и организованная государственность, и разнуздавшаяся масса, и бушующая стихия — все это явления, одинаково лежащие вне личности, вторгающиеся в ее жизнь и подавляющие ее свободу. Молодому Пушкину было невтерпеж «сидеть в заперти, когда гулять хочется». Постепенно ему сделалось так же невыносимо все то, от чего приходится запирается в доме, как от чумы:

Зависеть от царей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?..

Он мечтал от того и другого бежать «в обитель дальнюю трудов и чистых нег»; «труды поэтические, семья, любовь» — вот что его манило. Но он не сумел бежать — и погиб, как бедный Евгений, который пытался бороться с Медным всадником — демоном бури и государственности.

О ДВУХ ОТРЫВКАХ

В первом издании *Поэтического хозяйства Пушкина* была помещена заметка о стихотворении «Куда же ты? — В Москву...». Впервые опубликованное Анненковым, оно почти семьдесят лет печаталось во всех изданиях Пушкина под вымышленным (и бессмысленным) заглавием «Из записки к приятелю». Я предложил считать его не самостоятельной пьесой, а окончанием стихотворения «Румяный критик мой...», до тех пор считавшегося неоконченным. Мое предложение было принято всеми компетентными редакторами, и ныне оба отрывка печатаются слитно. Таким образом, надобность в этой заметке миновала, и я ее здесь не перепечатаваю.

Тогда же возникло у меня другое предположение, сходное с предыдущим. Несмотря на все поиски, никаких объективных подтверждений моей догадки на сей раз добыть мне не удалось, хотя, с другой стороны, я не нашел ничего, что бы могло послужить к ее опровержению. Поэтому я высказываю свою мысль в качестве всего лишь предположения.

Дело идет о стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...». Для наглядности привожу его полностью.

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших Мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут —
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

Но как же люблю мне
Осеннюю порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.

Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых Гениев, растрепанных Харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колелясь и шумя...

Этот текст мною взят из издания *Пушкин и его современники* (вып. XXXIII—XXXIV, стр. 408—410), где он воспроизведен с рукописи, представляющей собою вторую стадию работы, т.е. не первоначальный черновик, но и не окончательную беловую, а перебеленный черновик, тут же еще раз подвергшийся обработке, которая в нем коснулась тринадцати стихов из 27½, составляющих пьесу. Возможно, что данная редакция этих 27½ стихов — окончательная. Но это не значит, что мы имеем законченную пьесу. Напротив, не приходится сомневаться, что Пушкин собирался ее продолжить. В том убеждают ее содержание и построение.

Первые 16½ стихов содержат брезгливое описание пригородного кладбища, законченное энергически выраженным желанием «хоть плюнуть да бежать». Со второй половины семнадцатого стиха мысль Пушкина обращается к иному, воображаемому, зрелищу — кладбищу деревенскому, изображенному с любовью и благоговением. Но тут пьеса на полустихе обрывается. Перед нами оказываются лишь теза и антитеза: два кладбища, внушающие поэту глубоко противоположные чувства и мысли. Несомненно, что Пушкин на этом остановиться не мог. Из данного противопоставления должен быть сделан вывод, взятый аккорд требует разрешения. Мы имеем дело лишь с экспозицией более обширной пьесы. То, что под стихами стоит дата: 14 авг. 1836,—отнюдь не меняет дела: таких дат, отмечающих не окончание, а лишь пройденный этап работы, у Пушкина сколько угодно, он любил их ставить.

Уже с начала 1833 г. отношения Пушкина с петербургским обществом и с двором стали портиться. «Свинский Петербург» становился ему все более мерзок. В приведенных стихах сквозь жестокое описание городского кладбища слышится готовность с такою же или с еще большею резкостью высказаться о самом городе. Пошлое, лживое и неблагодарное прибежище, болото, на котором гниют «все мертвецы столицы», показано Пушкиным в качестве завершения такой же пошлой и лживой жизни столичных

обитателей. Желание «хоть плюнуть да бежать» с «публичного» городского кладбища, чтобы посещать «кладбище родовое», включает желание вообще бежать из столицы в деревню. С какой силой оно владело Пушкиным в последние годы его жизни — общеизвестно. Мне кажется, что именно этой теме и предстояло быть развитой в дальнейших строках стихотворения. Среди незаконченных пьес Пушкина имеется одна, которая и по содержанию, и по характеру стиха могла бы служить такой цели. Коротко говоря, мне думается, что стихотворение «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» есть не самостоятельная пьеса, а продолжение стихотворения «Когда за городом...». После некоторого недостающего соединительного звена, не написанного Пушкиным или до нас не дошедшего, должно было следовать:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия — а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить — и глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Как известно, на этом стихотворение не должно было закончиться. В его единственном автографе, представляющем собою также получерновик, вслед за стихами написана программа дальнейшего:

«Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен кто находит подругу — тогда удались он домой.

О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтич.— семья, любовь etc. религия, смерть».

Эта программа не была Пушкиным осуществлена. Однако бесспорно, что она как нельзя более естественно могла быть связана со стихами, составляющими «Когда за городом...». Такой ход пьесы кажется тем более правдоподобным, что он не только соответствует мыслям и настроениям Пушкина в последние годы его жизни, но и согласуется с некоторыми другими стихами его: с попытками перевода «Hymn to the Penates» Соути и особенно с черновым наброском:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...

ПРАДЕД И ПРАВНУК

То, что некогда пережил он сам, Пушкин нередко заставлял переживать своих героев, лишь в условиях и формах, измененных соответственно требованиям сюжета и обстановки. Он любил эту связь жизни с творчеством и любил для самого себя закреплять ее в виде лукавых намеков, разбросанных по его писаниям. Искусно пряча все нити, ведущие от вымысла к биографической правде, он, однако же, иногда выставлял наружу их едва заметные кончики. Если найти такой кончик и потянуть за него — связь вымысла и действительности приоткроется.

По семейному преданию, первая жена арапа Ибрагима, пушкинского прадеда, изменила своему мужу, родила белого ребенка и была заточена в Тихвинский монастырь. Ныне это предание отчасти опровергнуто, но Пушкин в него верил. 15 сентября 1827 г. он сказал своему приятелю А.Н.Вульфу, что эта история должна составить главную завязку «Арапа Петра Великого».

По неизвестной причине работа Пушкина над этою повестью оборвалась на сватовстве Ирбагима. То, как должны были развернуться дальнейшие события, мы знаем только благодаря словам, сказанным Вульфу. Но как раз те главы, которые были написаны и сохранились до нас, содержат отражения подлинных событий пушкинской жизни, непосредственно предшествующих писанию. Роман был задуман еще до этих событий, но не в том, как он задуман, а в том, как начал писаться, не в плане, а в разработке деталей, заключены отголоски действительности. Будучи отчасти схож лицом со своим прадедом, Пушкин в романе заставил его самого сходствовать с правнуком в некоторых мыслях и житейских положениях.

«Арап Петра Великого» начат в июле 1827 года. За десять месяцев до того опальный Пушкин был прощен государем, возвращен из ссылки и доставлен в Москву, прямо во дворец. Как царь Петр, если не считать ямщиков, был первым человеком, которого черный предок Пушкина встретил при въезде в Россию из-за границы, так Николай Павлович был первым, кого Пушкин увидел при возвращении на волю. Доставленный во дворец фельдъегерем, он стал свободным человеком лишь по выходе из дворца. Известно, с каким доверием отнесся он к царской ласке, как уверовал в ум, доброту и великодушие государя, в его любовь к просвещению. В

те дни он воистину не льстил, слагая царю «свободную хвалу» и находя в Николае I «семейное сходство» с Петром Великим. Он верил, что «царственная рука» подана ему в знак чистосердечного примирения, и надеялся, что будет «приближен к престолу» не в качестве «раба и льстеца». Он собирался служить Николаю, как «сходно купленный арап» служил Петру: «усердно» и «неподкупно». Он думал, что теперь ему предстоит «смело сеять просвещение» в союзе с царем. Веря, что его старые грехи забыты, он обещал царю не делать новых и был намерен остепениться, чтобы без помех отдать свои силы на служение отечеству. В связи с этим надобно было занять в обществе более прочное положение. В цепь таких размышлений вплеталась мысль о женитьбе. С этой поры на каждую девушку, тревожившую его слишком пылкое сердце, смотрел он с новыми для него мыслями — о возможной женитьбе.

Тогда же, в Москве, он познакомился с С.Ф.Пушкиной, своей дальней родственницей, и влюбился в нее. Это была хорошенькая двадцатилетняя девушка, очень кокетливая, ничем не замечательная. Увлечение Пушкина было неглубоко, но он ухватился за него и решил свататься. На время уехав из Москвы, он поручил это дело своему приятелю Зубкову, который был женат на сестре С.Ф.Пушкиной. По этому поводу между Пушкиным и Зубковым произошла переписка. Письма Зубкова не сохранились, но, видимо, Зубков предупреждал Пушкина, что Софья Федоровна его не любит и что счастье не может быть прочно. На это Пушкин ответил из Пскова 1 декабря 1826 г.: «J'ai 27 ans, cher ami.— Il est temps de vivre, c. à d. de connaître le bonheur.— Vous me dites qu'il ne peut être éternel: belle nouvelle! Ce n'est pas mon bonheur à moi qui m'inquiète, pourquoi-je n'être pas le plus heureux des hommes auprès d'elle» и т.д.

Месяцев через восемь после этого, пишучи VI главу «Арапа», Пушкин заставляет своего героя размышлять о предстоящей женитьбе на Наталии Ржевской. Начало этих размышлений содержит доводы в пользу женитьбы, весьма схожие с доводами Пушкина в письме к Зубкову: «Жениться,— думал африканец,— зачем же нет? Ужели мне суждено провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека?» Еще замечательнее, что вслед за тем арап словно напоминает чьи-то возражения и мысленно отвечает на них: «Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение». Если посмотрим в письмо Пушкина и сравним, то увидим, что это арап отвечает Зубкову на его слова о непрочности счастья. При этом часть своего

ответа он интонирует точно так же, как интонировал Пушкин: «Детское возражение!» соответствует словам: «Belle nouvelle!»

Пишучи к свату и свойственнику невесты, Пушкин должен был, разумеется, подчеркивать свою любовь и говорить, что он не может не быть счастлив подле Софии Федоровны. Арап размышляет наедине откровеннее, а потому может не высказывать никаких особых надежд на счастье. Зато свое намерение жениться он мотивирует более вескими причинами, весьма близкими к тем, которые толкали на сватовство самого Пушкина. Ибрагим говорит: «Разве можно верить любви? Разве существует она в женском легкомысленном сердце? Отказавшись навеки от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою».

Не веря в женскую любовь и отказавшись на сей счет от «милых заблуждений», арап исходил из собственного опыта. Но он был ревнив и самолюбив. Поэтому, собираясь жениться, он разделил понятия: «любовь» и «верность». От первой он был готов отказаться, но от второй — нет. Сам он мужей обманывал, как например — в Париже, с графиней Л., но быть обманутым мужем он не хотел. «От жены я не стану требовать любви,— говорит он,— буду довольствоваться ее верностью».

София Федоровна, несомненно, с Пушкиным кокетничала, им «повелевала». 9 ноября он писал Вяземскому: «Буду у вас к 1-му — она велела». Но и кокетничая, в любви она ему отнюдь не клялась. Больше того: Пушкин отлично знал, что она готова отдать предпочтение некоему Панину. Насколько мало поэт рассчитывал на ее чувства, видно из его обращения к Зубкову: «Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настрашай ее Паниным скверным и жени меня». И даже еще более отчетливо и безнадежно: «Je ne puis avoir des prétentions à la séduction».

Итак, в вопросе о любви позиция Пушкина совпадала с позицией Ибрагима: автор романа так же мало в свое время надеялся на любовь Софии Федоровны, как герой — на любовь Наталии Ржевской. Посмотрим теперь, как обстояло дело с вопросом о верности.

Так же, как Ибрагиму, Пушкину в прежние годы случалось обманывать мужей, но быть обманутым он тоже не хотел; не ожидая любви со стороны Софии Пушкиной, он заранее задумывался над этим, совершенно так же, как в его романе задумывался арап. Он страшился своих будущих подозрений, мук самолюбия и возможных вспышек темперамента: «mon caractère inégal, jaloux, suscep-

tible, violent et faible, tout à la fois — voilà ce qui me donne des moments de reflexions pénibles», — писал он Зубкову. В «Арап Петра Великого» эти мучительные опасения, эти доводы благоразумия и осторожности он вложил в уста Корсакова:

«Послушай Ибрагим», — сказал Корсаков: «брось эту блажную мысль — не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет к тебе особого расположения. Мало ли что случается на свете?... Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно. Но ты... С твоим ли сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой ли шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы...»

Слова Корсакова о наружности Ибрагима заключают в себе словесный автопортрет Пушкина, они словно писаны перед зеркалом. Но главное здесь, конечно, намек на «опасности женитьбы», на то, что арап не сумеет «смотреть равнодушно» на возможные измены жены. Корсаков напоминает Ибрагиму о том самом, что Пушкин писал Зубкову касательно своего собственного характера. Собираясь жениться на Софии Федоровне, Пушкин, как и его герой, ранее страшился своей бурной ревности.

Из этого сватовства ничего не вышло. Мы не знаем в точности, каков был ответ невесты, но красноречивее всяких слов было то, что не прошло и месяца после пушкинского предложения, как она уже повенчалась с тем самым Паниным, которым Пушкин просил Зубкова ее «настращать». Только узнав об этой свадьбе, Пушкин должен был до конца понять, как близок он был к несчастью — очутиться в толпе обманутых мужей. Спустя несколько месяцев, в деревне, словно бы радуясь сознанию избегнутой опасности, вознамерился он описать «ужасный семейственный роман» своего черного предка.

За год до этого, узнав о казни декабристов, в раздумии нарисовал он виселицу, на ней пятерых повешенных, а внизу подписал: «И я бы мог... И я бы мог, как шут...» Нечто подобное этому психологическому жесту повторил он теперь, пишучи о сватовстве царского арапа к Наталии Ржевской. И так как он любил, маскируя действительность вымыслом, оставлять маленькие приметы, по которым можно ее узнать, то молодого «стрелецкого сироту», пленившего сердце Ибрагимовой невесты, он назвал именем своего счастливого соперника: «стрелецкого сироту» зовут Валерианом, как и Панина, за которого только что вышла София Пушкина. В другом месте романа, по свойственной ему экономии, Пушкин прямо использовал одну фразу из своего письма к Зуб-

кову. В этом письме читаем: «Dois-je attacher à un sort aussi triste... le sort d'un être si doux, si beau?» В прощальном письме Ибрагима к графине Л. дан почти дословный перевод этой фразы: «Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, прекрасного создания с бедственной судьбой негра?»

Исторический предок Пушкина первым браком женился на Евдокии Диопер, а не на Наталии Ржевской. Почему в романе он сватается к Ржевской, мы не знаем. По этому поводу возможны разные предположения, в данную минуту для нас несущественные. Роман во всяком случае должен был быть основан на том, что Ибрагим не внял голосу благоразумия и соединил свою судьбу с существом, ни на любовь, ни на верность которого не мог рассчитывать. Приступая к писанию «Арапа Петра Великого», Пушкин сознавал, что сам благополучно избег участи своего прадеда.

Казалось бы, на историю с Софией Пушкиной он сам смотрел как на предостережение. Но он вскоре забыл его. За первым сватовством тотчас последовали другие: к Ушаковой, к Олениной. Что касается первой из них — мы не знаем в точности, каковы были ее чувства к Пушкину; судя по некоторым данным, она могла быть к нему и не совсем равнодушна: возможно, что этот брак был расстроен самим Пушкиным, по причинам, о которых мы можем только строить предположения. Но Ушакову быстро сменила Оленина, сердце которой было так же занято, как сердце Софии Пушкиной. Когда и это сватовство расстроилось, Пушкин снова обрадовался. Однако он тотчас воспользовался новым увлечением для нового сватовства — к Наталье Николаевне Гончаровой.

Сватовство длилось долго. За это время первоначальная страсть начала остывать, и Пушкин опять стал задумываться о будущем. Ряд достоверных свидетелей сообщает, что он серьезно подумывал об отступлении. Но уверенность в том, что ему *надо* жениться, пересилила. Некогда Ибрагим в неконченном романе говорил Корсакову: «Я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению». Приблизительно через три с половиной года после этого, за восемь дней до свадьбы, Пушкин писал Н.И.Кривцову: «Все что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно

живут. Щастья мне небыло. Il n'est de bonheur que dans les voies communes. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди и вероятно не буду в том раскаваться. К тому-же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования».

Подобно Ибрагиму и подобно тому, как во время первого и второго сватовства, Пушкин знал, что невеста к нему вполне равнодушна. А так как была у него привычка переносить мысли и фразы не только из писем в творения, но и обратно, из творений в письма, то, при повторении ситуации, сами собой стали повторяться и мысли. Говоря Корсакову о своем намерении жениться по соображению, арап Петра Великого прибавил: «и то если она не имеет от меня решительного отвращения». В 1830 году, в пору самого пылкого увлечения Гончаровой, Пушкин написал ее матери: «ne te prendra-t-elle en aversion?». Еще ближе к «Арапу Петра Великого» другая фраза из того же письма. Некогда Ибрагим размышлял: «От жены я не стану требовать любви: буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянною нежностью, доверчивостью и снисхождением». Теперь Пушкин пишет будущей теще: «L'habitude et une longue intimité pourroient seules me faire gagner l'affection de M-lle votre fille; je puis éesperer me l'attacher à la longue, mais je n'ai rien pour lui plaire». Внутренний смысл этих фраз — один и тот же. Пушкин, разумеется, не мог написать матери своей невесты прямо о верности: высказывать на сей счет сомнения было бы с его стороны непристойностью. Но он был слишком опытен в «науке страсти», чтобы искренно думать, будто «привычка и продолжительная близость» способны вызвать любовь. Поэтому когда он говорит о будущем расположении (affection) Натальи Николаевны, то он подразумевает именно верность.

В «Арапе Петра Великого» он припомнил историю своего первого, неудачного сватовства и предсказал психологическую ситуацию последнего, удавшегося. Он женился на Н.Н.Гончаровой с теми же «ганнибаловскими» мыслями, которые им владели во время сватовства к Софии Пушкиной. К несчастью, не нашлось второго Панина, чтобы расстроить и этот брак. Еще большим несчастьем для Пушкина было то, что если не страсть к Гончаровой, то неотвязная мысль о необходимости жениться заглушила в нем голос рассудка. О тех иллюзиях, которые он себе сам при этом внушил, подробнее сказано в следующей статье.

АМУР И ГИМЕНЕЙ

Воспитавшись в литературных преданиях «галантного века», Пушкин чуть ли не с детства усвоил сочувственное отношение к «любовникам» и презрительное — к «мужьям». Еще в 1816 г. он написал стихотворную сказку «Амур и Гименей», в которой очень доброжелательно повествуется о том, как

Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливица провожает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена
Он охраняет тайну дверь...

Два заключительных стиха пьесы содержат недвусмысленное поучение и предложение:

Пойми меня, мой друг Елена,
И мудрой повести поверь!

В действительности этой Елены не существовало. Но годы шли, воображаемые героини сменились живыми — воззрения Пушкина от этого только упрочились. В 1821 г., напоминая Аглае Давыдовой историю своего с ней романа, о муже говорит он лишь мимоходом:

Я вами, точно, был пленен,
К тому же скука... муж ревнивый...
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы...

Выходит даже так, что наличие мужа не только Пушкина не оставляло, но и подзадоривало. Помимо любовной связи, прельщала его веселая возможность «орогатить» доброго знакомого.

За этими стихами вскоре последовала эпиграмма:

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус;
Другой за деньги — понимаю;
Другой за то, что был француз;
Клеон — умом ее страшая;
Дамис за то, что нежно пел;
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

Перелистывая стихи Пушкина, написанные на юге, в ссылке, иного отношения к «рогачам», кроме насмешливо-презрительного, не встречаем. Молодому Пушкину судьба всякого мужа заранее известна и несомненна:

У Кларисы денег мало,
Ты богат; иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

Муж — неизбежная и легкая тема карикатуры. Сидя под арестом, Пушкин развлекается «невинною игрою»: припоминает молдаванских дам

И их мужей рогатых,
Обритых и брадатых.

Таким же карикатурным является муж и в первой, тоже на юге написанной, главе *Евгения Онегина*. Изображая отношение своего героя к женщинам, Пушкин рассказывает:

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

Эта строфа очень многозначительна. В ней важно различие между мужьями и «соперниками». Соперников приходится уничтожить, бороться с ними с помощью язвительного злословия и расставляемых сетей. Другое дело — мужья. Эти даже не удостоиваются имени соперников. С ними бороться нечего, они и так бессильны, с ними можно оставаться друзьями. Соперник опасен, муж просто смешон.

В 1825 г., уже из Михайловского, Пушкин пишет послание к Родзянке. Речь идет об общей знакомой, А.П.Керн, прелестной супруге старого мужа, которую Пушкин мельком когда-то видел.

Он говорит:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей...
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай Бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви!

Тотчас вслед за этим Керн приехала в Тригорское, и Пушкин снова с ней встретился. Действительно ли она показалась ему «гением чистой красоты», или нет,— вопрос спорный, и мы его сейчас касаться не будем. Несомненно лишь то, что поскольку Керн была жена своего мужа, Пушкин и после того, как написал «Я помню чудное мгновенье», в отношении ее семейственной жизни полностью сохранил прежние навыки. Первое же письмо к ней, от 25 июля 1825 г., содержит насмешливое приветствие по адресу мужа: «Milles tendresses à Ермолай Федорович et mes compliments à M-r Voulf». Молодому приятелю своему, Вульф, Пушкин шлет обычные «compliments», а почтенному генералу Керну — «milles tendresses».

Столь же язвительно он осведомляется 14 августа: «Comment va la goutte de M-r Votre époux? j'espère qu'il en a eu une bonne attaque le surlendemain de votre arrivée. Поделом ему! Si Vous saviez quelle aversion mêlée de respect je ressens pour cet homme! Divine, au nom du Ciel, faites qu'il joue et qu'il ait la goutte!..» И далее в том же письме: «C'est un bien digne homme que M-r. K., un homme sage, prudent etc., il n'a qu'un seul défaut — c'est celui d'être votre mari».

Насмешки над Керном продолжают и в следующем письме, а

28 августа Пушкин указывает простейший способ разрешить семейную неурядицу: «Si M-r votre époux vous ennuie trop, quittez-le...»

Той же философии Пушкин остается верен и в «Графе Нулине». Рассказав, как Наталья Павловна пощечиной отвадила «нежного графа», поэт заканчивает повесть благонамеренным заключением:

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

Весь яд этого заключения в том, что читателю предварительно дается понять другое: меж тем как муж, узнав о покушении графа, сердился, — «Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет», смеялся. Наталья Павловна оказывается верна не мужу, а Лидину, а муж, как ему и полагается, одурачен.

Наконец, в L строфе 4-й главы *Евгения Онегина* Пушкин не без язвительности жалеет Ленского:

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок,
И тайна брачные постели,
И сладостной любви венки
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...
Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден.

Матримониальная хроника весьма занимала пушкинских современников и друзей; их письма и дневники пестрят известиями о браках — возможных, предполагаемых, состоявшихся и расстроившихся. Молодому Пушкину эта тема чужда на редкость. Он откликнулся на нее лишь когда дело шло о трех людях, ему очень близких. Но как!

Над предстоящим браком Михаила Орлова с Екатериной Раевской, к которой сам был неравнодушен, он смеется в стихотворном послании к В.Л.Давыдову:

Меж тем как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименя,
Священной страстью пламеня,
Под меру подойти готов...

О том, что этот брак состоялся, он известил А.И.Тургенева цинической шуткой, невоспроизводимой в печати.

23 июля 1825 г., за два дня до того, как впервые посмеялся над Керном, он пишет к Дельвигу и в самом конце письма замечает почти небрежно: «Ты, слышал я, женишься в Августе, поздравляю мой милый — будь щастлив хоть это чертовски мудрено». Правда, он еще прибавляет: «Цалую руку твоей невесте и заочно люблю ее как дочь Салтыкова и жену Дельвига». Однако это теплое отношение к будущей жене ближайшего друга довольно поверхностно: едва ли оно не дань вежливости. Уже в следующем письме, спрашивая у Дельвига совета по части печатания стихов, Пушкин прибавляет: «Как ты думаешь? отпиши покамест еще не женился».

Свадьба Дельвига состоялась 30 октября. Пушкин его не поздравил. В ближайшем своем письме, во второй половине января 1826 г., он об этом событии тоже не упоминает и даже не шлет поклона жене Дельвига. И в следующем письме — снова ни звука ни о свадьбе, ни о Софье Михайловне. Наконец, уже 20 февраля, он шлет Дельвигу вполне своеобразное поздравление: «Милый друг Барон, я на тебя не дулся и долгое твое молчание великодушно извинял твоим Гименеем.

io Hymen Hymenaeae io,
io Hymen Hymenaeae!

т.е. чорт побери вашу свадьбу, свадьбу вашу чорт побери — Когда друзья мои женятся, им смех, а мне горе; но так и быть: Апостол Павел говорит в одном из своих посланий что лучше взять себе жену, чем идти в геенну и в огонь вечный — обнимаю и поздравляю тебя — рекомендую меня Баронессе Дельвиг».

По поводу женитьбы Баратынского он выразился еще решительней (в письме к Вяземскому): «Правда ли, что Бар. женится? боюсь за его ум». Далее идет непристойная шутка — и наконец заключение: «Я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой,— брак холостит душу».

Подобного взгляда на брак и семейную жизнь придерживались весьма многие современники Пушкина — люди его круга. Он был тут вовсе не оригинален. Все это было лишь проявлением россий-

ского «ловласизма» и «вальмонизма», которыми даже и рисовались. И вдруг обнаружилась в Пушкине резкая перемена, не только психологически интересная, но и оказавшая решительное и роковое влияние на его участь.

В 1830 году он сделался женихом Н.Н.Гончаровой, и с этой поры его, так сказать, бракооущение стало совсем иным. Как далеко зашла в нем эта перемена, увидим ниже. Сейчас отметим лишь то, что с момента жениховства он в своих письмах начинает проявлять сочувственный интерес к чужим бракам. Брак прежде всего перестает быть в его глазах величиною, не стоящею внимания. Уже 14 марта 1830 года он сообщает Вяземскому: «...вот что важно: Киселев женится на Л.Ушаковой». После свадьбы он начинает следить за чужими матримониальными делами очень пристально.

1 июня 1831 года он пишет Нащокину относительно сватовства некоего Поливанова к одной из своих своячениц.

3 августа он сообщает Плетневу, что А.О.Россет «гласно сговорена. Государь уж ее поздравил».

8 декабря он сообщает жене из Москвы, что «Корсокова выходит за К.Вяземского».

25 сентября 1832 г. пишет ей же: «Твой Давыдов, говорят, женится на дурнушке».

Несколько дней спустя — ей же: «Горскина вчера вышла за кн. Щербатова, за младенца. Красавец Безобразов кружит здешние головки... Кн. Урусов влюблен в Машу Вяземскую... Другой Урусов, говорят, женится на Бороздиной».

26 августа 1833 г. он сообщает жене о сватовстве ее брата.

2 сентября 1833 года — ей же: «Обедал у Суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят...»

8 октября — целая философия: «Безобразов умно делает, что женится на К.Хилковой. Давно бы так. Лучше завести свое хозяйство, чем волочиться весь свой век за чужими женами».

Таких цитат можно привести еще очень много. Сообщения, слухи, сплетни, гадания о предстоящих или совершившихся браках имеются в письмах к жене от 21 октября 1833 г., от 30 апреля и 11 июня 1834-го, в другом письме того же, приблизительно, времени, в письмах от конца сентября 1835 г., от 4 и 5 мая 1836-го... Замечательно, что в подавляющем большинстве случаев речь идет относительно людей, до которых Пушкину в сущности нет дела. Какая разница с теми временами, когда и брак Дельвига не занимал его!

То обстоятельство, что матримониальные темы трактуются всего чаще в письмах к жене, способно вызвать предположение, что Пушкин не сам интересуется чужими браками, а сообщает о том, что интересуется ее. Но предположение такое будет неверно. Во-первых,— потому что в последнем случае Пушкин не стал бы сообщать Натальи Николаевне о людях, вовсе ей не известных, как Судиенко. Во-вторых же — не только с Натальей Николаевной, но и с самим собой, в дневнике, беседует он на ту же тему. Под 17 марта 1834 года читаем: «Из Италии пишут, что гр. Полье идет замуж за какого-то принца» — и т.д.

Главное же, конечно, тон: обо всех этих браках Пушкин говорит вполне серьезно, деловито, порой сочувственно. От былых насмешек и издевательств не осталось следа.

Бывало, ни в одном письме его не встречалось ни слова о деторождении. Даже рождения дочери у Дельвига он не заметил, счастливого отца не поздравил, хотя тот на другой же день радостно сообщил ему об этом событии. Другое дело — когда оказалась беременна Наталья Николаевна. Помимо забот о ней самой, забот, конечно, естественных,— с этих пор (и *только* с этих пор) встречаем мы в пушкинской переписке ряд упоминаний о родах, на которые раньше он просто не обратил бы внимания.

В начале января 1832 года, когда Н.Н.Пушкина была на шестом месяце беременна первым ребенком, встречается первое в переписке Пушкина упоминание о родах. Пушкин пишет П.А.Осиповой: «Nous avons appris ici la grossesse de Madame votre fille. Dieu donne que tout celà finisse heureusement» — и так далее.

После того тема беременности и родов становится очень частой, особенно начиная с 1834 года. О двух детях, «сделанных» Судиенкой (письмо от 2 сентября 1833 года), мы уже упоминали. В начале мая 1834 года Пушкин пишет жене о «брюхе» Смирновой; через несколько дней — опять: «Смирнова ужасно брюхата, а родит через месяц»; 3 июня: «Смирнова на сносях. Брюхо ее ужасно; не знаю, как она разрешится» и т.д. В том же письме: «Долгорукая Малиновская выкинула, но, кажется, здорова». В июне же — вновь о Смирновой, заботливо и подробно: «Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабенка, и каков красноглазый кролик Смирнов? — Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь принуждены на двое разделить. Сегодня, кажется,

девятый день — и слышно, мать и дети здоровы». 14 июля снова о ней же: «Смирнова опять чуть не умерла. Рассердилась на доктора, и кровь кинулась в голову, слава Богу, что не молоко». В январе 1835 года он поздравляет Нащокина с рождением дочери, желает здоровья роженице и нежно пеняет другу за несообщение подробностей: «Ты не пишешь, когда она родила». 21 сентября того же года он рассказывает жене об Е.Н.Вревской: «Вревская... толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И незаметно, что она уж не брюхата: все та же как когда ты ее видела». 14 апреля 1836 года он сообщает Н.М.Языкову о той же Вревской, что она «в пятый раз брюхата». 14—16 мая рассказывает жене: «На днях звал меня обедать Чертков. Приезжаю — а у него жена выкинула».

И опять, как о браках, записывает он в дневнике: 29 ноября 1833: «Молодая Штакельберг умерла в родах». 17 марта 1834: «Из Москвы пишут, что Безобразова выкинула». В том же году, в среду на святой, записывает о Смирновой: «Дай Бог ей щастливо родить, а страшно за нее».

Получается такое впечатление, словно до женитьбы Пушкина никто ни на ком не женился — а после его женитьбы все кинулись венчаться. И словно пока не рождались у Пушкина дети, не рождались они ни у кого — а со времени первой беременности Натальи Николаевны все кругом принялись «делать детей».

Таковы две черты перемены, случившейся в Пушкине. Но есть еще третья. Она-то и оказалась для него роковой.

В 1821 г., в Кишиневе, написал он «Гавриилиаду». Сделав рогосцами всех мужских персонажей поэмы, в заключительных стихах Пушкин задумался о себе самом, о своей вероятной участи:

Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком осеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
И я тогда, Иосиф утешитель,
Молю тебя, колена преклоня,
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю — тогда благослови меня,
Даруй ты мне блаженное терпенье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь.

Это значит, что Пушкин не сомневался в неизбежной участи каждого мужа — рано или поздно стать рогоносцем. Иного не ждал он и для себя и, не мечтая о верности со стороны будущей супруги, просил у небес только одного: блаженного незнания об ее изменах.

Третья перемена, в нем происшедшая (перемена самая важная, бывшая причиной и первых двух), в том и заключалась, что когда он задумал жениться на самом деле, то пожелал не только «уверенья в супруге», но и действительной верности с ее стороны. Для своего требования он тогда же стал искать как бы высшей санкции — и с тех пор самый обет супружеский, который раньше был ему только смешон, внезапно приобрел в его глазах высокую ценность и важность. Начиная с 1830 года он создает ряд образов идеальной супружеской верности, причем в основе их всякий раз лежит ситуация вполне автобиографическая: собираясь жениться на девушке, которая к нему заведомо равнодушна, он создает примерные образы героинь, которые хранят верность не во имя хотя бы угасшей, но некогда существовавшей любви, а именно безо всякой любви, единственно во имя произнесенного обета.

В 1830 г. писана восьмая глава *Евгения Онегина*. Здесь Татьяна, никогда не любившая мужа, дает знаменитый ответ тому, кого давно любит:

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Тогда же написана «Метель», в которой Марья Гавриловна и Бурмин не решаются перешагнуть через верность своим супругам, которых они даже не знают и никогда не знали. В 1832 году Маша Троекурова, очутившись в положении Татьяны, пересказывает прозой Дубровскому то, что Татьяна сказала стихами Онегину.

При таких требованиях не могло быть уже и речи ни о «блаженном терпении», ни о «спокойном сне». Терзания Пушкина начались очень рано. Еще во время жениховства, в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов», он писал о своем деде со стороны отца: «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе». Пушкин знал, что рассказ не достоверен, но записал его, потому что эта история ему нравилась. В его взглядах явилось отныне немало «феодализма», которым заменил он галантные взгляды юности.

Холостой Пушкин знал ревность и порой глубоко страдал от нее. Но ревность к Наталии Николаевне окрашена совершенно иначе. Это не ревность любовника, произвольная и порывистая. Это сознательная, тяжелая, методическая ревность семьянина и собственника. Пушкина мучит не страх утратить любовь жены — он знает, что этой любви никогда и не было. Он не хочет, чтобы были нарушены его законные права, ему страшно очутиться в толпе обманутых мужей. Он требует не любви, а верности.

И вот, с тех пор, как его жена явилась в свете, кишасем Ловласами и Дантесами, он начинает отмечать знакомых ему рогоносцев. Самое понятие рогача, прежде такое забавное и не выходящее за пределы веселых стихов, теперь входит в житейский его обиход. Слово это, вслед за появлением записей о браках и детях, является в его письмах и в дневниках.

Первая запись о рогоносце относится к 22 сентября 1832 г. и еще хранит оттенок легкого отношения к теме. Рассказывая жене о Нащокине, Пушкин пишет: «Он кокую, и видит, что это состояние приятное и независимое». Шутливость здесь объясняется тем, что речь идет не о законной жене, а о цыганке, от которой Нащокин и сам старается избавиться, чтобы законным образом жениться на другой.

Примечательно, что пять дней спустя Пушкин читает Наталии Николаевне первую нотацию и впервые предостерегает ее от кокетства: «Нехорошо только, что ты пускаешься в разные кокетства... хоть я в тебе и уверен, но не должно свету подавать повод к сплетням». Во время предыдущей разлуки с женой этого мотива в письмах Пушкина еще не было. Отныне становится он постоянным. Тревога еще только намечается, но уже в следующем письме, хоть и в шутку, а все-таки Пушкин впервые как будто примеряет роковое слово к себе: «Ты так тиха, так снисходительна, так забавна, что чудо. Что это значит? Уж не кокую ли я? Смотри!»

С этих пор увещания не кокетничать, не давать повода к сплетням становятся все настойчивей. Наконец, в письме от 6 ноября 1833 г. целая страница (печатная) таких увещаний кончается любопытным признанием: «К хлопотам неразлучным с жизнью мужчины не прибавляй беспокойств семейных, ревности etc. etc., — не говоря об сосуаге, о коем прочел я на днях целую диссертацию в Брантоме».

Он не только стал читать диссертации о рогоносцах, но и в дневнике своем отмечает известные ему случаи чужого неблагополучия на сей счет. 6 марта 1834 года он записывает городские

толки о «связи молодой Княгини С. с графом В.», 8 апреля — слух о связи Воронцова с О.Нарышкиной.

Напряженное внимание к теме рогачества не покидало его до тех пор, пока ненавистное слово «кокю» не было произнесено о нем самом. 4 ноября 1836 года он получил анонимный диплом на звание рогоносца — и с этого начались его предсмертные муки. «Мнимая или настоящая связь с французом» решила его судьбу. Повесить Дантеса на черном дворе, к несчастью, он не мог.

1937

ДУЭЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Что дуэль, на которой Пушкин погиб, была не первая в его жизни, знают все. Однако широкая публика не довольно осведомлена о том, какое вообще видное место занимали в пушкинской жизни дуэли, или, лучше сказать, дуэльные истории. Как и вообще в биографии Пушкина, в этих историях имеется много неясностей, которые могли бы стать предметом особого исследования. Тем не менее даже беглый обзор данных, которыми мы в настоящее время располагаем, далеко не лишен интереса.

Несмотря на то, что дуэли в пушкинскую пору были запрещены, они были в моде, особенно в 1815—1825 гг., то есть между окончанием наполеоновских войн и событиями 14 декабря. Эта мода возникла в той же военной среде, где зародилось декабрьское движение, и даже имела с ним некоторую психологическую связь: в увлечении дуэлями, как и в самом декабризме, сказалось обострившееся чувство человеческого достоинства и личной чести; самая любовь к риску, сопряженному с дуэлями, была отголоском пробужденной любви к гражданскому мужеству. Наконец, дуэли были запоздалым, деформированным проявлением боевой удалости, которая была до крайности возбуждена войной и с наступлением более мирной эпохи не находила себе естественного применения. Кроме военных, тою же удалью бредила штатская молодежь, выросшая в атмосфере отечественной войны. Дуэли были окружены романтическим ореолом. Опошляясь, как все на свете, увлечение дуэлями вырождалось в бретерство, но и бретерство имело успех. «Внимательные взоры» женщин были наградой записным дуэлянтам, вроде Якубовича, о котором Пушкин писал в 1825 году Бестужеву: «Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. — в нем много, в самом деле, романтизма».

Не удивительно, что молодой Пушкин, тянувшийся за гусарами и мечтавший о военном мундире, поддался общему увлечению. Спеша жить и торопясь чувствовать, он спешил стать дуэлянтом. По выходе из Лицея, летом 1817 года, отправился он в Псковскую губернию к родителям. Там он сдружился с Павлом Исааковичем Ганнибалом, соседом по имению и двоюродным своим дядей. Но на каком-то семейном торжестве Павел Исаакович в одной из фигур котильона отбил у него перезрелую девицу Лошакову. Этого было достаточно, чтобы Пушкин вызвал милейшего дядюшку на

дуэль. Минут через десять все, разумеется, кончилось примирением и объятиями, но начало было положено. Что касается примирения до «поля» и выпивки с объятиями, то они сделались одним из лейтмотивов в дуэльных историях Пушкина и всего лучше свидетельствуют о его быстрой возбудимости и легкой отходчивости. К сожалению, вторым лейтмотивом, прозвучавшим уже в столкновении с Ганнибалом, была необоснованность вызовов, и эта черта проходит довольно отчетливо через всю биографию Пушкина.

Забегая вперед, назовем общую цифру: нам известно не менее двадцати дуэльных историй, окончившихся для Пушкина благополучно. Роковая дуэль с Дантесом была не менее чем двадцать первая. Мы говорим «не менее», потому что, по-видимому, не обо всех столкновениях до нас сохранились конкретные данные. 23 марта 1820 года Е.А.Карамзина, жена историка, писала своему брату, кн. П.А.Вяземскому: «Пушкин всякий день имеет дуэли; благодаря Бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы». Что касается иронии, звучащей в этих словах, то она слышится и в некоторых других свидетельствах о ранних дуэлях Пушкина. Так, упоминая о поединке с В.К.Кюхельбекером (к нему мы еще вернемся не раз), Н.И.Греч писал в записках своих: «Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин принял вызов. Оба выстрелили, но пистолеты заряжены были клюквою, и дело кончилось ничем». С другой стороны, декабрист Басаргин, говоря о встречах с Пушкиным в Тульчине и в Одессе, рассказывает: «Как человек он мне не нравился. Какое-то бретерство, *suffisance* и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли».

*

Прежде всего приведем для наглядности общий список дуэльных историй Пушкина, обозначая их именами тех лиц, с которыми произошли столкновения, закончившиеся или имевшие закончиться поединком (т.е. такие столкновения, в результате которых с той или с другой стороны был сделан формальный вызов на поединок):

1) П.И.Ганнибал (1817). 2) В.К.Кюхельбекер (1818). 3) Бар. М.А.Корф (1818? 1819?). 4) Майор Денисевич (зима 1819–1820). 5) Ф.Ф.Орлов (1820). 6) А.П. Алексеев (1820). 7) Друганов (1820). 8) Дегильи, бывший французский офицер (1821). 9) Инглези (1821? 1822?). 10) Неизвестный грек (1821? 1822?). 11) Зубов, офицер генерального штаба (1821? 1822?). 12) Полковник С.Н.

Старов (конец 1821 — начало 1822). 13) Т. Балш (1822). 14) Неизвестный, фамилия которого до нас не дошла (1824?). 15) Гр. Ф. И. Толстой («Американец») (1826). 16) В. Д. Соломирский (1827). 17) Т. Лагрэнэ (1828). 18) Гр. В. А. Соллогуб (1836). 19) С. С. Хлюстин (1836). 20) Дантес (ноябрь 1836).

Уже хронологическая сторона этого списка отчетливо обнаруживает прямое соответствие, так сказать, дуэльной волны с душевным состоянием Пушкина. Из двадцати дуэльных историй четырнадцать приходятся на те «безумные лета», которыми в душе Пушкина было оставлено тягостное похмелье: на годы бурной петербургской жизни по выходе из Лицея и на годы ссылки. Сюда же надо причислить и пятнадцатую историю, потому что вызов, посланный Пушкиным Толстому, тотчас по возвращении из ссылки, представляет собою лишь эпилог событий, разыгравшихся гораздо раньше. Из этих пятнадцати историй целых девять (5–13) падают на бурное трехлетие, проведенное в Кишиневе. После возвращения из ссылки дуэльная волна резко падает: мы видим лишь две истории (16 и 17), относящиеся к 1827 и 1828 годам. У Пушкина-жениха, положившего себе задачею остепениться и жить «как все», и у женатого Пушкина дуэльных историй нет вовсе — вплоть до 1836 года, когда нараставшее раздражение разрешается тремя столкновениями, следовавшими одно за другим. Добавим, что к 1836 г. относится также столкновение с кн. Н. Г. Репниным, не включенное в наш список, потому что кн. Репнин наставительным письмом к Пушкину предотвратил вызов, готовый уже последовать.

Если мы теперь обратимся к вопросу о дуэльной инициативе, то увидим, что в подавляющем большинстве случаев, в пятнадцати из двадцати, вызов был сделан Пушкиным. Из тех пяти случаев, когда инициатива принадлежала его противникам, четыре раза Пушкин своими поступками дал повод к вызову, ибо он был обидчиком и зачинщиком ссоры. Так, Кюхельбекер, выведенный из себя многолетними насмешками Пушкина, наконец вызвал его за обидную эпиграмму; у кишиневского купца Инглези Пушкин отбил цыганку-сожительницу; офицера Зубова он без всяких оснований публично обвинил в нечистой карточной игре; полковник Старов вызвал его за дерзкое поведение с молодым офицером, который был под началом у Старова. Только в одном случае повод к вызову представляется неосновательным — мы имеем в виду столкновение с Соломирским, который вызвал Пушкина, придравшись к его шутке о гр. А. В. Бобринской, на самом же деле потому, что приревновал к нему другую особу.

Если теперь мы обратимся к тем пятнадцати столкновениям, при которых вызов на поединок исходил от Пушкина, то окажется, что с точки зрения обоснованности этих вызовов они распадаются основным образом на три группы. К первой из них мы относим два столкновения, с французом Дегильи и с неизвестным (8-е и 14-е по вышеприведенному списку); их причины и поводы остаются неизвестными. Вторая группа, содержащая пять столкновений, характеризуется тем, что Пушкин во всех этих случаях имел то или иное основание считать себя оскорбленным и требовать удовлетворения, но самые обиды, ему учиненные, были следствием его собственного поведения. Так, майор Денисевич был вызван Пушкиным после того, как отечески отчитал его за неприличное поведение в театре: будучи его соседом, Пушкин мешал ему слушать пьесу — громко зевал, шикал, разговаривал и т.д. Впоследствии, в письме к кн. Вяземскому, Пушкин вспоминал об этой истории как об одной из тех мальчишеских проказ, которые повторять не следует.

В 1820 г., находясь в кишиневской бильярдной и выпив лишнее, он до тех пор мешал играть Орлову и Алексеву, пока первый не назвал его школьником, а второй не присовокупил, что школьники наказывают. Оскорбившись, Пушкин тотчас вызвал обоих, но, идя домой из бильярдной, уже сам раскисался и говорил своему секунданту: «скверно, гадко; да как же кончить?».

Столкновение с молдаванином Балшем заключалось в том, что Пушкин наговорил дерзостей его жене, за которой перед тем ухаживал, а когда та не осталась в долгу — потребовал удовлетворения от ее мужа.

Толстого Пушкин вызвал за эпиграмму и оскорбительные слухи, которые Толстой распустил о нем еще в 1820 г. Однако со стороны Толстого и то и другое было ответом на такие же поступки самого Пушкина, который был истинным зачинщиком ссоры. Свое первоначальное суждение о Толстом Пушкин впоследствии, в письме к брату, назвал «резким и необдуманым». Года три спустя Пушкин избрал Толстого посредником при первом своем сватовстве к Н.Н.Гончаровой.

Следующую группу, насчитывающую семь случаев, составляют вызовы, сделанные Пушкиным же, но уже без достаточных оснований, иногда в силу повышенной чувствительности к обидам, иногда под влиянием раздражения или злобы, а однажды, как ниже увидим, даже вовсе без всякого повода.

Эта серия открывается тем столкновением с П.И.Ганнибалом,

которое уже нами описано. За ним следует ссора с бар. М.А. Корфом, бывшим товарищем по Лицею. Пушкин и Корф жили в одном доме. Пьяный камердинер Пушкиных ворвался в переднюю Корфа и стал скандалить. Корф вышел на шум и поколотил его. Пушкин немедленно послал Корфу письменный вызов.

Одного кишиневского грека (его фамилия не сохранилась) Пушкин решил вызвать на дуэль за то, что тот удивился, как мог Пушкин не знать какую-то книгу, о которой случайно зашла речь.

Лагренэ, секретаря французского посольства, Пушкин вызвал в 1828 г. потому, что ему послышалось, будто, когда Пушкин подошел к одной даме, которая разговаривала с Лагренэ, последний сказал: «Прогоните его».

Целый клубок дуэльных историй связан с началом 1836 г. В январе, на каком-то балу, Н.Н.Пушкина почему-то сочла непристойным вопрос, заданный ей молодым гр. В.А.Соллогубом: «Давно ли вы замужем?» Пушкин послал Соллогубу письмо, требуя объяснений. Письмо не дошло до Соллогуба, который как раз в это время уехал в служебную командировку. Дело на время заглохло. 4 февраля Пушкин вызвал на дуэль некоего Хлюстина за то, что тот в разговоре с Пушкиным процитировал обидную для него фразу из статьи Сенковского. По-видимому, это столкновение еще не вполне было улажено, как уже на следующий день, 5 февраля, Пушкин письменно затребовал объяснений от кн. Н.Г.Репнина, будто бы неуважительно отозвавшегося о Пушкине в разговоре с третьим лицом. В этом письме не было еще прямого вызова, но были намеки на возможность дуэли в случае неудовлетворительных объяснений. Как сказано выше, ответом Репнина Пушкин удовлетворился и вызова не послал. В марте месяце он получил наконец письмо с объяснениями Соллогуба, счел их недостаточными и послал Соллогубу вызов через вышеупомянутого Хлюстина.

К этому же разряду вызовов относится случай, происшедший еще в ноябре 1820 г., в Кишиневе. На сей раз предложение драться было сделано без всяких оснований. Вот что рассказывает по этому поводу В.П.Горчаков в своем дневнике: «Мы встретились с Пушкиным у полковника Ф.Ф.Орлова. В это утро много было говорено о „Черной шали“, на днях только Пушкиным написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре. Пушкин это заметил и обещал мне прочесть ее; но, повторив в разрыве некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; прыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту

минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался, Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребенок, стал шутя затрагивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукой, Пушкин не унимался. Чтобы предупредить их раздор, я снова попросил Пушкина прочесть мне молдаванскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением». Сообщению Горчакова тем более можно верить, что оно соответствует не только «детской» резвости, но и той озлобленной тоске, которая порой владела Пушкиным в кишиневскую пору. Под влиянием этой тоски он явственно искал ссор и дуэлей. Недаром и столкновение с Балшем началось именно с того, что Пушкин сказал его жене: «Экая тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя!».

Наконец, вне намеченных нами групп остается единственный случай, когда вызов был послан Пушкиным если и без достаточных формальных оснований, то все же по достаточным основаниям внутренним: мы имеем в виду первый вызов, посланный Дантесу 4 ноября 1836 г. Хотя в анонимных пасквилях, полученных Пушкиным, имя Дантеса не было названо и хотя эти пасквили намекали на императора Николая I как оскорбителя семейной чести Пушкина, развязные ухаживания Дантеса за Н.Н.Пушкиной сами по себе давали Пушкину повод требовать удовлетворения.

*

Из перечисленных двадцати случаев только в четырех (с Кюхельбекером, Зубовым, Старовым и неизвестным) дело дошло до поединка. Вероятно, поединком кончилось бы и столкновение с Инглези, если бы Инзов, начальник Пушкина, не посадил своего беспокойного подчиненного под арест, а Инглези не отправил бы экстренно за границу. Примечательно, что во всех этих случаях, за единственным исключением (дуэль с неизвестным), вызов исходил не от Пушкина, а от его противников. Это доказывает, что, будучи вызван, Пушкин не искал примирения: из всех, кто его вызвал, он помирился до поединка только с Соломирским. Обратное: к собственным своим вызовам относился он менее серьезно и, как только первый пыл ссоры в нем остывал, охотно шел на мировую. Лишь в одном случае (из пятнадцати!) он довел свой вызов до встречи у барьера — мы имеем в виду поединок с неизвестным. Может быть, довел бы еще раз в истории с Дегильи. Это можно предположить на основании неслыханно оскорбительного письма,

которое он написал Дегильи после того, как француз струсил и расстроил дуэль. Однако возможно и то, что и на сей раз Пушкин был взбешен не тем, что дуэль не состоялась, а только тем способом, при помощи которого Дегильи постарался спасти свою школу.

В тех случаях, когда дуэли не состоялись, противников мирили общие друзья, после чего дело нередко кончалось пирушкой. Кажется, только примирение с Соллогубом состоялось без посредников и свидетелей. Прямо уклонился от поединка, кроме вышеупомянутого Дегильи, еще и бар. Корф, довольно язвительно написавший Пушкину: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что Вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Что касается поведения Пушкина во время поединков, то замечательную характеристику его оставил Липранди. «Я знал,— говорит он,— Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до испуга; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед». Упоминание о «виновности» сделано здесь неспроста. Липранди, прекрасно знавший характер Пушкина, угадал важную психологическую черту его дуэльных историй. В своих поступках он далеко не всегда был прав, но его совесть была необыкновенно чутка. Становясь к барьеру по вызову противников, он всякий раз сознавал свою виновность в происшедшем столкновении. Вот почему из трех раз, когда он выходил на поединок с тем, кто вызвал его, он два раза мужественно выстоял под выстрелами противников, но сам не стрелял. На дуэли с Кюхельбекером он, по одним свидетельствам, бросил пистолет, по другим — стрелял в воздух; на поединке с Зубовым он отказался стрелять в него. (Надо заметить, впрочем, что так же поступил неизвестный, вызванный Пушкиным: после пушкинского промаха он отказался стрелять.)

Возможно, что в Кюхельбекера и в Зубова, кроме сознания своей вины, Пушкин не стрелял еще потому, что, считая себя хорошим стрелком, низко расценивал их боевые способности. А.Ф. Вельтман, присутствовавший на какой-то дуэли Пушкина, нам, может быть, неизвестной, говорит: «Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время, как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял

злую эпиграмму на стрельца и на промах». П.И.Бартенев, ссылаясь на рассказы В.П.Горчакова и многих других лиц, живших тогда в Кишиневе, сообщил, что «на поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял». (Этот мотив был им позднее использован в повести «Выстрел».)

Стрелялся он только со Старовым, который слыл заправским дуэлянтом и храбрецом. «Погода была ужасная: метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета... Первый барьер был на шестнадцать шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже и просил зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: „И гораздо лучше, а то холодно“. Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто... Барьер был определен на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сблизив барьер; но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было примирить их, то поединок отложен до прекращения метели». В перерыве между первой и второй встречей противников удалось примирить, причем Старов сказал Пушкину: «Вы так же хорошо стоите под пулями, как хорошо пишете».

К возможным поединкам Пушкин готовился постоянно. Кишиневский слуга-молдаванин Бади-Тодоре рассказывал, что по утрам, лежа в постели, Пушкин стрелял из пистолета в потолок хлебным мякишем, стараясь выводить на потолке всевозможные узоры. Вельтман подтверждает этот рассказ, с маленьким вариантом: «Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену». В стрельбе упражнялся Пушкин и в Одессе, и в Михайловском, где, случалось, выпускал до ста пуль в одно утро. Еще в кишиневскую пору завел он себе тяжелую железную палку, с которой не расставался ни в Одессе, ни в Михайловском, ни впоследствии: П.И.Миллер встретил его с ней в 1831 г. в царскосельском парке. По определению Липранди, в ней было восемнадцать фунтов весу, что вряд ли соответствует истине. Михайловский кучер Петр называл ее девятифунтовой. На прогулках Пушкин имел обыкновение подбрасывать ее вверх и ловить на лету. Иногда поступал он иначе: бросив палку вперед, он доходил до нее, поднимал и бросал сызнова. По сообщению Н.М.Лонгина, дядя Пушкина однажды спросил у него, зачем носит он эту палицу. Пушкин ответил: «Для того, чтобы рука была тверже; если придется стреляться, чтоб не дрогнула».

По-видимому, он и в самом деле был отличным стрелком. Не следует забывать, что на последней своей дуэли, уже тяжко ра-

ненный, лежа на снегу, он слегка приподнялся, выстрелил и ранил Дантеса в руку.

*

Как все дуэлянты и игроки, он был суеверен. Из какой-то гадательной книги, календаря, письмовника или чего-то в этом роде выписал он перечень несчастливых дней, в которые не должно ничего важного предпринимать. В этом списке значилось 26 мая — день его рождения. Было и 18 февраля — день его свадьбы, и он жалел, что перед свадьбою забыл справиться в списке. К несчастью, 27 января — дня последней, роковой дуэли с Дантесом — в этом перечне не было.

1937

ЮБИЛЕЙНЫЕ КНИГИ

Пушкинский юбилей несколько всколыхнул даже наш сонный рынок. Появился некоторый спрос на сочинения Пушкина. Спрос родил предложение. О никуда не годном издании «Иллюстрированной России» мы уже писали несколько времени тому назад — оно принадлежит к скандальной стороне юбилея. К счастью, им дело не кончилось. Перед нами лежит двухтомное *Полное собрание сочинений*, недавно выпущенное рижским издательством «Жизнь и культура». Разумеется, на самостоятельную научную ценность оно не претендует, как вообще не может претендовать ни одно зарубежное издание, редакторы которого силою обстоятельств отрезаны не только от рукописного пушкинского фонда, но и от многих печатных источников. Однако рижское издание по справедливости может быть названо полным и современным. В него включен длинный ряд законченных и незаконченных произведений, не вошедших в прежние зарубежные издания Пушкина. Укажем для сравнения, что оно содержит 1058 страниц основного текста, тогда как, при одинаковом формате, издание «Иллюстрированной России» дает всего лишь 827 страниц. По составу и тексту издание «Жизни и культуры» опирается на шеститомное полное собрание сочинений, выпущенное в 1934 году Государствен-

ным издательством под редакцией П.Н.Сакулина, В.И.Соловьева, М.А.Цявловского и П.Е.Щеголева. Уже эти имена могут служить гарантией известной научной добротности издания, отдельные частности которого, как всегда в этих случаях, могут вызывать некоторые возражения. Но возражения эти могли бы иметь значение для специалистов, а не для широкой публики, которой мы можем смело рекомендовать это издание предпочтительно перед всеми, до сих пор выпущенными в эмиграции.

*

А.Л.Бем, автор только что вышедшей книги статей *О Пушкине* (Ужгород, 1937), в предисловии к ней говорит, что хотя он и не писал популярно-научного пособия, но все же имел в виду прийти на помощь *широким* кругам читающей публики, деятелям народного просвещения, вообще «каждому, кто хотел бы получить самые необходимые сведения о Пушкине или кто пожелал бы воскресить в памяти черты его личности». В связи с такою задачей книга открывается «биографической справкой», в которой всего на восьми страницах дано краткое жизнеописание Пушкина. Однако нам кажется, что в оценке своей работы автор проявил излишнюю скромность. Нам кажется, что только в первой статье («Пушкин и его место в литературе») А.Л.Бем ограничился сообщением «необходимых» и в силу этого более или менее бесспорных сведений о Пушкине, «воскрешением» тех черт его личности, которые можно считать общеизвестными. Что касается дальнейших статей, то они, несомненно, выходят за пределы вышеуказанной задачи. В таких статьях, как «Человек и поэт», «Болдинская осень», дан образ Пушкина, если и не неожиданный для тех, кто знаком с новейшей критической литературой о Пушкине, то все же весьма далеко отступающий от канона и трафарета, которые неизбежно в нем проявились бы, если бы автор на самом деле придерживался тех узких рамок, которые очертил в предисловии. В этом смысле характерен уже самый тот факт, что А.Л.Бем с особым вниманием останавливается именно на болдинской осени 1830 года, то есть на самом таинственном и сложном моменте в личной и творческой биографии Пушкина, когда в нем обнаружались такие стороны, которые уже не дают возможности повторять общепринятые соображения и разрушают школьные представления о пресловутой пушкинской «ясности». Необходимая краткость этой заметки лишает меня удовольствия подробно остано-

виться на существо высказанных А.Л.Бемом мыслей, которые иногда кажутся вполне убедительными, иногда вызывают желание возражать. Ограничусь тем, что отмечу влияние, оказанное на автора работами М.О.Гершензона, на которого, впрочем, он сам неоднократно ссылается. Должен, однако, сделать существенную оговорку. Несколько уступая Гершензону в остроте и смелости суждений, А.Л.Бем имеет перед покойным исследователем одно несомненное и важное преимущество. Гершензон, конечно, открыл в Пушкине много такого, что и не снилось предшествовавшей критике, но не приходится отрицать, что в своей работе он слишком полагался на интуицию, и порой его замечательный ум, «на крыльях вымысла носимый», воистину увлекал его «за край» действительности, естественно ограниченной данными пушкинского текста. С ним случались настоящие катастрофы, вроде истории с пресловутой «скрижалю Пушкина», — катастрофы, по поводу которых злорадствовали и торжествовали над Гершензоном люди, умом и пониманием Пушкина стоявшие неизмеримо ниже его. А.Л.Бем осторожнее Гершензона и методологически лучше вооружен. То и другое дает основание надеяться, что его небольшая, но содержательная книжка будет содействовать распространению о Пушкине более глубоких и сложных понятий, нежели те, которыми до сих пор располагает широкая публика и которые преподносятся молодежи со школьных кафедр. В этом смысле работа А.Л.Бема может сыграть благую популяризаторскую роль, чего мы ей и желаем.

*

Сто лет смерти Пушкина. Парижские отклики в 1837 году — так озаглавлена книжечка Лоллия Львова, изданная Комитетом по устройству Дня Русской Культуры во Франции. Собранный в ней материал распадается на две части. Первая из них представляет собою сводку данных о том, как откликнулись на известие о смерти Пушкина те русские, которые находились тогда в Париже. Их круг делился опять же надвое: с одной стороны — друзья Пушкина, как А.О.Смирнова с мужем, Гоголь, Николай Тургенев, Андрей Карамзин, С.А.Соболевский, с другой — чиновники русского посольства, по большей части происходившие из немцев. Первые, разумеется, были охвачены глубочайшею скорбью, вторые проявили постыдное равнодушие к жертве и род затаенного сочувствия по отношению к убийце. Все это очень ясно выражается в

данных, собранных составителем книги, но, к сожалению, не содержащих ничего нового, так как они уже были в разное время опубликованы.

Более интереса представляет вторая часть книги, содержащая данные об откликах на смерть Пушкина, появившихся в парижской печати. В 1900 г. в *Русской старине* было напечатано обозрение немецких статей 1837 г. о Пушкине, составленное М.А.Веневитиновым. П.Е.Щеголев, в известной своей работе *Дуэль и смерть Пушкина*, высказывал сожаление, что такая же работа не проделана по отношению к французской печати. Ныне она выполнена Л.И.Львовым, за что и следует его поблагодарить. Однако самый труд его оказался неблагодарным. За исключением общеизвестной статьи Мицкевича и статьи Леве-Веймара, полностью приведенной у Щеголева, составителю не удалось найти ничего сколь-нибудь значительного или хотя бы интересного: газеты и журналы, как и следовало ожидать, сообщали о Пушкине элементарные биографические сведения, нередко к тому же ошибочные и вовсе нелепые, а также давали обзоры его творчества, в лучшем случае страдающие крайней неполнотой, в худшем — вздорные. В общем, приходится констатировать, что тщательно отнесшийся к своей задаче Л.И.Львов напрасно потерял «время, благие мысли и труды».

*

Польский ученый Вацлав Ледницкий, о специальных работах которого по Пушкину мне уже приходилось с большим сочувствием отзываться на этих страницах, выпустил новую книгу: *Puszkín. 1837–1937* (Kraków, 1937). В связи с юбилейной целью издания новый труд В.Ледницкого носит более синтетический и популярный характер. Он состоит из трех частей. В первой дана общая характеристика пушкинского творчества, написанная с большим подъемом и с тем истинным, неофициальным благоговением перед Пушкиным, которое так отрадно видеть у ученого-иностранца. Вторая часть содержит историю последней дуэли Пушкина. Написана она с отличной осведомленностью, и если некоторые положения ее представляются отчасти спорными, то лишь потому, что в этом вопросе все еще остается слишком много неясностей, способных вызывать самые разнообразные толкования и объяснения. Третья часть книги, озаглавленная «Пушкин и мы», посвящена вопросу об отношении Пушкина к Польше и

Польши к Пушкину. Отчасти суммируя свои прежние высказывания на ту же тему, автор пользуется пушкинским юбилеем для высокой цели, одушевляющей ряд его трудов,— для пропаганды духовного сближения двух братских народов.

В 1932 году вышел перевод «Медного всадника», сделанный Юлианом Тувимом, одним из самых выдающихся поэтов современной Польши. Об этой книге, которая была снабжена обширной работой В.Ледницкого о «Медном всаднике», мы в свое время писали. Если не ошибаемся, она положила начало большому труду Тувима, намеревавшегося полностью или почти полностью перевести на польский язык всю поэзию Пушкина. Вслед за тем в разных польских изданиях появился ряд лирических стихотворений Пушкина в переводе Тувима. Однако, если не ошибаемся, года полтора тому назад в еженедельнике *Вядомосци литерацке* Тувим напечатал статью, представляющую собою подробный рассказ о том, как он пытался перевести первое четверостишие из пролога к «Руслану и Людмиле» и как и почему принужден был от этой задачи отказаться. С замечательным блеском показал Тувим все последовательные стадии своих «борений с трудностью», все страдания, порой трагикомические, которые испытывает переводчик, исключительно одаренный и находчивый, но в то же время требовательный и строгий к себе. В истории со вступительным четверостишием «Руслана и Людмилы» был представлен, разумеется, лишь один из тяжелых моментов, случившихся в переводческой практике Тувима. Моментов таких, к несчастью, оказалось больше, чем ожидал Тувим, и в конце концов они заставили его отступить от первоначального намерения дать польский перевод всей пушкинской поэзии. Только что вышедшая в Варшаве книга его *Lutnia Puszkina* (Лира Пушкина) представляет собою лишь антологию, в которой выбор материала по необходимости оказался ограничен чисто переводческими обстоятельствами. В предисловии Тувим высказывает сожаление о том, что ему не удалось перевести такие чудесные и лично ему дорогие пьесы, как «Певец», «Редет облаков летучая гряда», «К фонтану Бахчисарайского дворца», «Кинжал», «Под небом голубым», «Буря», и многое другое. Однако и в таком виде, как она вышла, *Лира Пушкина* содержит более восьмидесяти законченных пьес и отрывков, дающих широкое и всестороннее представление о поэзии и личности Пушкина (в книгу вошел даже целый ряд пушкинских эпиграмм). Подробный разбор переводов завел бы нас слишком далеко и заставил бы повторить то, что не раз случалось писать о стихотворных перево-

дах — в частности на польский язык. В общем, если скинуть со счета Тувима те непреодолимые трудности, которые создаются различием русского и польского языков и о которых он сам говорит в предисловии, то придется признать, что его переводы прекрасны, великолепны. Самое в них драгоценное — то, что, будучи очень точными (порою — до изумительности), они сделаны не ремесленно, а творчески. В них достигнуто самое трудное — они и по-польски не звучат отголосками чужой поэзии, а имеют самостоятельную поэтическую ценность. С чисто формальной стороны, Тувиму пришлось порой отступать от пушкинского просодического канона; как общее правило, Пушкин не употреблял ассонансов и придерживался строгой последовательности в чередовании мужских и женских рифм. Но все-таки, читая тувимские переводы, очень часто кажется, что если бы Пушкин писал по-польски, то написал бы он слово в слово то самое, что мы видим у Тувима. Полагаю, что большей похвалы переводчик заслужить не может.

Переводам предпослана краткая, но отлично написанная самим переводчиком биография Пушкина.

Издана книга превосходно, с большой любовью, на прекрасной бумаге, отпечатана красивым шрифтом и украшена очень милыми концовками. Вообще, держа ее в руках, невольно испытываешь чувство грусти и зависти...

1937

ПАМЯТИ П.В. АННЕНКОВА

Если бы пушкинский юбилей не сопровождался столь пошлой шумихой, если бы он не превратился в повод <для> рекламы и саморекламы, если бы, словом, он был означен тою серьезностью, тем благоговением, которые ему подобали, то, несомненно, в эти дни была бы отмечена еще одна дата, гораздо более скромная, но дорогая для тех, кому самая память о Пушкине действительно драгоценна. 8 (20) марта исполнилось пятьдесят лет со дня кончины Павла Васильевича Анненкова, человека, которого главный жизненный труд был посвящен Пушкину и которому все, кому дорог Пушкин, обязаны вечною благодарностью.

Один из зачинателей и основоположников пушкиноведения, далеко превзошедший на этом поприще своих сверстников (Бар-

тенева, Грота), Анненков с юных лет был истовым почитателем Пушкина и имел склонность к литературным занятиям. Однако к работам по изучению жизни и творчества великого поэта обратился он благодаря лишь случайности.

Первое, так называемое «посмертное», издание сочинений Пушкина к концу сороковых годов было распродано. Перед наследниками (точнее — перед опекою, учрежденною по их делам) стал вопрос о новом издании. Однако предложения, сделанные на сей счет книгопродавцами, показали Н.Н.Ланской (по первому мужу Пушкиной) невыгодны, и по совету некоторых лиц она решила сама выступить в качестве издательницы. В то время ее муж, П.П.Ланской, командовал лейб-гвардии Конным полком, в котором служил полковник Иван Васильевич Анненков, человек, не лишенный литературных способностей, исключительно порядочный, добрый, друг семьи Ланских. К этому-то Ивану Васильевичу Анненкову Ланские и обратились зимою 1849—1850 гг. за советом и помощью по части издания. Они даже прислали ему на дом два сундука пушкинских бумаг, в которых надлежало разобраться, чтобы выяснить, как и чем они могут быть полезны для исправления многочисленных недостатков первого издания. К разбору бумаг Анненков привлек и тридцатисемилетнего брата своего Павла Васильевича, незадолго до того приехавшего в Петербург из-за границы. «При первом взгляде на бумаги я увидел, какие сокровища еще в них таятся», — рассказывал впоследствии Павел Васильевич. «Но мысль о принятии на себя издания мне тогда и в голову не приходила, — прибавлял он. — Я только сообщил Ланской план, по которому, казалось мне, должно быть предпринято издание».

По-видимому, этот план был принят Ланскими; они собрались уже приступить к изданию, на которое было ими испрошено высочайшее соизволение, как вдруг обстоятельства изменились. Иван Васильевич Анненков, вместе со старшим братом Федором Васильевичем, подробно ознакомившись с оставшимся рукописным наследством Пушкина, вознамерился взять издание на себя. Утвердившись в этом намерении, он заключил с Ланскими договор, который и был подписан обеими сторонами незадолго до отъезда Н.Н.Ланской за границу, т.е. в первой половине мая 1851 г. Таким образом Иван Васильевич сделался издателем Пушкина. Осенью он поехал в Москву, где тогда жил Павел Васильевич, и поставил его перед совершившимся фактом. Под давлением братьев Павлу Васильевичу ничего не осталось, как взять на себя труд по редак-

тированию издания. Он немедленно приступил к предварительной работе, однако «страх и сомнение в удаче обширного предприятия» мучили его и тогда, и во все время, пока издание не было закончено.

Анненков проявил в работе своей исключительное рвение, не покидавшее его вплоть до начала 1855 года, когда, один за другим, появились все шесть томов *Сочинений Пушкина*. В три года с небольшим Анненков произвел колоссальную работу. Почти без всякой посторонней помощи он проредактировал все издание, то есть выработал его состав и порядок, а также установил текст и дал первый из существующих комментариев к сочинениям Пушкина. В это же время он написал обширную биографию Пушкина, занявшую весь первый том издания. Нельзя забывать, что на его же плечах лежала вся корректорская работа и ему пришлось вести изнурительную борьбу с цензурой.

Издание Анненкова было встречено единодушным восторгом и в публике, и в литературных кругах. 17 февраля 1855 года друзья издателя чествовали его торжественным обедом, а затем поднесли ему экземпляр первого тома в шагреновом переплете. На первом листе книги была сделана надпись: «Автору образцовой биографии Пушкина и добросовестному издателю сочинений великого нашего поэта — Павлу Васильевичу Анненкову — от его литературных друзей и знакомых в память обеда 17 февраля 1855 года». Следовали подписи: «Иван Тургенев, Иван Панаев, Василий Боткин, Ник. Некрасов, Александр Дружинин, Мих. Михайлов, Михаил Авдеев, Алексей Писемский, А. Майков, Г. Геннади, В. Гаевский, Е. Корш, М. Языков, А. Жемчужников, гр. Алексей Толстой, Арапетов, Н. Гербель, Я. Полонский». Чествование Анненкова, как видим, состоялось как раз накануне смерти Императора Николая I. Наступившая вслед за тем эпоха дала возможность Анненкову два года спустя выпустить седьмой, дополнительный, том сочинений Пушкина, в который вошли произведения, ранее не изданные по цензурным причинам.

Уже в приведенной надписи на подаренной книге довольно ясно проступает неодинаковая оценка дарителей по отношению к биографической и редакторской частям анненковской работы: в то время как биография названа *образцовой*, издательская, то есть в данном случае редакторская, часть получила гораздо более сдержанную аттестацию *добросовестной*. Причины такого различия прежде всего, конечно, заключались в неодинаковом отношении современников к самим этим частям. Составление биографии ка-

залось им делом более значительным и трудным, нежели работа редакторская, всю важность и сложность которой они в большинстве своем, вероятно, по-настоящему сознать не умели. Однако, с другой стороны, можно предположить, что уже и тогда предугадывалась позднейшая, более хладнокровная и научная оценка анненковской работы — оценка, заставляющая Анненкова-биографа в значительной степени предпочесть Анненкову-редактору.

В редакторской работе Анненкова немало изъянов. Значительная часть их объясняется погрешностями методологического характера, чего и следовало ожидать, принимая во внимание как общее состояние тогдашнего нашего литературоведения, так и личную неопытность, неподготовленность исследователя. Главной методологической ошибкой Анненкова было то, что в основу своей работы он положил посмертное издание, которое следовало отвергнуть целиком, а не исправлять. Именно это обстоятельство поставило Анненкова под удар позднейших пушкинистов, которые, начиная с Якушкина, справедливо упрекали его в том, что богатейшее рукописное наследие Пушкина, бывшее у него в руках, оказалось так мало использовано. Другой слабой стороной анненковской работы обычно считается ее небрежность, которую, впрочем, надо бы назвать как-нибудь иначе, ибо она не носила злостного, как теперь выражаются — халтурного характера, а объяснялась поспешностью, с которой Анненкову пришлось работать (воля наследников Пушкина на него давила). Некоторую небрежность, действительно, проявил он лишь в отношении самих автографов и других бумаг Пушкина. Многие из них через Анненкова разлетелись по свету и ведут беспризорную жизнь до сих пор. (Между прочим, некоторые документы, фигурировавшие на недавно закрывшейся выставке, устроенной г. Лифарем, принадлежат как раз к числу тех, которые не были своевременно возвращены Анненковым наследникам Пушкина.) Известная часть рукописей, которые были в руках у Анненкова, затерялась вовсе. Однако все частные дефекты анненковской работы покрываются тем неотъемлемым достоинством, что ею положено прочное начало критическому изданию сочинений Пушкина и тем самым — всему научному пушкиноведению.

Еще больше заслуга Анненкова в области изучения пушкинской биографии. Краткие биографические очерки, появившиеся до Анненкова (Плетнева, Бантыша-Каменского и др.), представляют собою лишь голые перечни важнейших фактов из жизни и деятельности Пушкина, да и в этом отношении поражают неполно-

той, неточностью, недомолвками. Анненков первый попытался дать связную, обстоятельную и внутренне целостную биографию поэта. В этой области он оказался талантливей и проницательней, нежели в области редактуры. Его работа была подлинно исследовательской. Для изучения литературной обстановки, в которой протекала деятельность Пушкина, Анненков первый обратился к обследованию («перечитке», как он выразился) журналов, современных Пушкину. Это уже был шаг истинно научный, которого смысл и важность по-настоящему были оценены лишь в недавнее сравнительно время. Для установления и внутреннего уяснения личной биографии Пушкина Анненков, помимо документов, тотчас занялся собиранием живых преданий о Пушкине. С первых дней работы поспешил он завязать сношения с пушкинскими современниками, добывая сведения, не закрепленные ни в каких документах.

Уже в конце 1850 г.— в начале 1851 г. для Анненкова были записаны (вероятно, Н.В.Бергом) рассказы о Пушкине Шевырева. Затем Анненков через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Бартевым, который в ту пору самостоятельно занимался той же работой. В дальнейшем были им опрошены П.В. Нащокин, П.А.Плетнев, Я.И.Сабуров, К.К.Данзас, Н.Н.Пушкина-Ланская. Письменные сведения о поэте были получены от его брата, от сестры, от мужа ее Н.И.Павлищева, от П.А.Катенина, В.И.Даля, гр. В.А. Соллогуба, А.А.Кононова, от некоторых лицейских товарищей Пушкина, изложивших свои воспоминания в одной общей записке. Нужно думать, что этим перечнем список живых источников Анненкова далеко не ограничивался.

Совершенно естественно, что всего, ныне известного о Пушкине, Анненков узнать не мог, часть сведений от него ускользнула. Так же естественно, что в его работу вкрались неточности, даже ошибки, уясненные лишь позднейшими исследователями и позже открытыми документами. Наконец, нельзя забывать, что в своей работе Анненков был чрезвычайно связан цензурой и тем обстоятельством, что не мог касаться целого ряда пушкинских современников, которые были еще живы. Анненков, конечно, знал о Пушкине больше, чем мог написать,— об этом свидетельствуют и некоторые его записи, опубликованные лишь в 1929 г. Однако и тех сведений, которые нашли себе место в его труде, оказалось поистине колоссальное количество.

Свой труд Анненков назвал *Материалами для биографии А.С. Пушкина*. В этом заглавии с самого начала принято было видеть

знак авторской скромности. Мы бы, пожалуй, решились усмотреть здесь и некоторую затаенную, но вполне оправданную гордость. Действительно, несмотря на очень живое изложение, несмотря на некоторые собственные мысли, выраженные Анненковым в его труде, книга все-таки прежде всего представляет собою колоссальную сводку фактов. Но именно то, что эти факты были Анненковым вовремя добыты и закреплены на бумаге, составляет главную ценность его работы. Для позднейших биографов Пушкина, уже не располагавших теми источниками, которыми располагал Анненков, его труд во многих случаях сам стал первоисточником, к которому приходится обращаться до сих пор. Можно думать, что Анненков сам предвидел такое значение своей работы.

Материалы Анненкова были переизданы отдельной книгой в 1873 г. под несколько измененным заглавием. К тому же времени изменившиеся цензурные условия позволили ему переработать и расширить первую часть *Материалов*, результатом чего было появление книги *А. С. Пушкин в александровскую эпоху*. Этою книгой был завершен более чем двадцатилетний труд, ставший краеугольным камнем пушкиноведения.

1937

СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

Сочинениям Александра Пушкина, выпущенным парижским Пушкинским комитетом, предпослано введение редакционной комиссии, излагающей основные принципы издания, «которое должно быть настольною книгой каждого русского». Из этого введения мы узнаем, что данный однотомник «не является ни „полным собранием сочинений“ Пушкина, ни собранием его „избранных“ произведений». В нем представлены только художественные произведения, в число которых, сверх того, не включены случайные экспромты, стихотворные отрывки из писем, незаконченные и неотделанные стихотворения, шалости пера, первоначальные опыты и т.д. Однако «Пушкинский комитет отказался от мысли об издании избранных сочинений Пушкина, так как считал недопустимым принять на себя роль судьи, решающего, какое художественное произведение является более достойным и какое менее достойным

включения в такое издание. Пушкинский комитет полагает, что единственным компетентным судьей в этих вопросах может быть только сам Поэт, взыскательный художник, „сам свой высший суд“, вследствие чего и принял в основу издания *художественную волю Пушкина* — принцип издания сочинений Пушкина, предложенный редактором настоящего собрания. Принцип этот таков: включаются в издание только те произведения, которые сам поэт считал достойными включения в издания, появившиеся при его жизни (издания 1826, 1829, 1832 и 1835 годов); к этим произведениям редактор считал необходимым прибавить те произведения, которые Пушкин не мог печатать вследствие ли цензурных условий, или вследствие их слишком интимного характера, а также и вполне законченные произведения, которые поэт мог не успеть включить в свои издания (иначе говоря, все вполне отделанные произведения, начиная с 1830 года). Пушкинский комитет, приняв этот принцип, постановил печатать все, что Пушкин опубликовывал в периодических изданиях (благодаря этому, значительно возросло количество лицейских стихотворений, к которым зрелый поэт относился очень строго), кроме тех стихотворений, которые были напечатаны при жизни Пушкина без его ведома, а иногда и против его воли...».

Принципы эти небесспорны. Небесспорно уже основное положение — о том, будто «настолюю книгой каждого русского» можно сделать собрание *только художественных* произведений Пушкина. «Самый умный человек в России» оставил ряд произведений иного рода, по ценности и по значению в истории русской культуры не уступающих многим его художественным созданиям.

Небесспорно и то, будто «художественная воля» Пушкина может быть реконструирована вышеуказанным способом. Во-первых, мы знаем, что Пушкин печатал и чего не печатал, но так как нередко печатал он стихи гораздо позже их написания, то нам неизвестно, как он *мог* впоследствии поступить со стихами, написанными и до 1830 г., но не напечатанными при его жизни: у нас нет гарантий, что он никогда ничего из них не включил бы в свои издания; как бы строго ни относился он к лицейским стихам — можно ли все-таки поручиться, что он никогда не издал бы своих ювенилий?

Далее, небесспорно, что исключенные комитетом и редактором (М.Л.Гофманом) «незаконченные и неотделанные» произведения и даже «шалости пера» важны только «для изучения, а не для простого чтения поэта», — ибо спорны самые границы между «изу-

чением» и «простым чтением». Тем не менее следует признать, что, не имея возможности издать полное собрание сочинений Пушкина, редактор и комитет установили принципы издания в основных чертах приемлемые,— может быть, даже лучшие из всех, какие в данных обстоятельствах можно было выработать.

Однако одно дело — принципы, другое — практика. На практике принципы оказались неоднократно нарушены, и в этих нарушениях заключается главная причина того, что издание оказалось далеко не безупречным.

Прежде всего, редактор включил в издание не все произведения, которых Пушкин не мог напечатать по цензурным обстоятельствам. Отсутствуют, например: «Noël», «Воспитанный под барабаном», «Холоп венчанного солдата», «К бюсту завоевателя», «Гавриилиада». Правда, из всех этих стихотворений только одно («К бюсту завоевателя») сохранилось в автографе — и отсюда возникают известные текстологические опасения. Однако оправданием для невключения это обстоятельство служить не может, потому что ведь точно так же не существует автографов и других пьес, которые редактор тем не менее включил в книгу (таковы, например, «Мой первый друг», «Во глубине сибирских руд»). Правда, относительно «Гавриилиады» известно, что Пушкин в поздние годы не любил даже упоминаний о ней. Но этим вопрос о его «воле» не решается, потому что он мог невзлюбить поэму за ее содержание, но мог и просто бояться своего авторства, от которого однажды был вынужден отречься под честным словом. Но если он даже и в самом деле осудил «Гавриилиаду», то это произошло лишь впоследствии, а в 1821 или в 1822 г., тотчас по ее написании, он, разумеется, с наслаждением напечатал бы ее, если бы мог. Обратное: «Вольность» и «Кинжал» включены в книгу; несомненно, в молодости Пушкин был бы рад их напечатать; но весьма позволительно сомневаться, что он захотел бы их напечатать и после, скажем, 1831 года. Отношение Пушкина к его «нецензурным» произведениям в разные годы должно было меняться. Следовательно, приходится либо печатать их все, либо не печатать из них ничего. Выбор, произведенный М.Л.Гофманом, принципиально необоснован, и это придает изданию тот характер «избранных сочинений», которого, действительно, необходимо было избежать.

Постановив не включать в издание те стихи, которые были написаны до 1830 г., но не были напечатаны при жизни Пушкина, г. Гофман для некоторых пьес делает исключение. Так, он печата-

ет элегию «Любовь одна — веселье жизни холодной», говоря в примечании: «Эта элегия, никогда не печатавшаяся при жизни Пушкина, вызвана, как и целый ряд других однородных с нею элегий 1816 года, его „утаенной“ лицейской любовью к сестре его товарища по Лицею, фрейлине Е.П.Бакуниной. Пушкин мог не печатать элегии в силу ее интимности,— по этим соображениям (и еще более по другим — для того, чтобы не пропускать вовсе обширного и характерного для лицейской поэзии Пушкина цикла элегий) мы сочли необходимым отступить от принципа нашего издания и включить эту элегию в текст признанных Пушкиным его произведений». Сам г. Гофман признает, что эта элегия — лишь одно звено в «обширном и характерном» цикле элегий 1816 г. Почему же только она включена в издание, а другие стихи, не менее характерные и не менее интимные, написанные тогда же и по тому же поводу, этой чести не удостоились? Ясно, что тут действовал личный вкус г. Гофмана. Далее находим мы стихотворение «Три ключа», сопровождаемое кратким примечанием: «По каким соображениям Пушкин не печатал этого стихотворения — неизвестно». Еще менее известно, по каким соображениям г. Гофман его печатает. Вероятно, им руководит высокая оценка пьесы. Вполне разделяем эту оценку, да и кто ее не разделит? — но к чему тогда все высокие слова предисловия о «художественной воле» Пушкина, которому, очевидно, эти стихи все-таки не нравились? И куда девалось похвальное намерение не выпускать «избранных сочинений»?

Далее. В предисловии указано, что в издание введены «вполне законченные произведения, которые поэт мог не успеть включить в свои издания (иначе говоря, все вполне отделанные произведения, начиная с 1830 года)». «Вполне отделанными» г. Гофман считает все стихи, сохранившиеся в беловом автографе. Но Пушкин часто переписывал стихи набело именно перед тем, как приступить к окончательной их обработке. Такие рукописи, предназначенные для дальнейших исправлений или с начатыми, но не конченными исправлениями, г. Гофман без оговорок именует беловыми, а соответствующие стихотворения отделанными. Таким образом создает он себе возможность включить в книгу ряд стихотворений, явно неоконченных или неотделанных. Таковы, например, «Для берегов отчизны дальней», «Пора, мой друг, пора...», «С Гомером долго ты...», «Когда за городом...». Конечно, приходится вполне понять, что у г. Гофмана рука не поднялась исключить эти пьесы. Но в таком случае приходится пожалеть, что она у него

поднялась на стихи, находящиеся в такой же стадии обработки (например — «Паж...») или в почти такой же, как, например, — «В начале жизни школу помню я», «Когда в объятия мои», «И дале мы пошли...». Наконец, совсем уже непонятно, чем руководствовался г. Гофман, не включив действительно отделанных стихотворений, как, например, — «Румяный критик мой...», «Долго сих листов заветных», «Кн. Абамелек», «Гонимый рока самовластьем», «Напрасно я бегу...». Из числа более крупных произведений включена неконченная «Русалка», включен «Дубровский». Правда, попал он в книгу «по желанию подписчиков», но раз уже было допущено и это отступление от принципов издания, то приходится пожалеть, что «подписчики» вовремя не напомнили редактору хотя бы об «Истории села Горюхина», о «Сценах из рыцарских времен», о «Египетских ночах».

Мы могли бы высказать еще несколько аналогичных недоумений, но ограничимся вышесказанным. В конце концов приходится признать, что на деле издание Пушкинского комитета все-таки превратилось в собрание *избранных* произведений.

Не имея возможности остановиться на вопросах текста, слишком громоздких для газетной рецензии, отметим все-таки один промах г. Гофмана, проистекший от его упрямого желания считать беловиками такие рукописи, которые в действительности не суть беловые. Переписав «Для берегов отчизны дальней», Пушкин подверг стихотворение дальнейшей обработке. В частности, начал он исправлять заключительное четверостишие, имевшее такой вид:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Но сладкий поцелуй свиданья...
Его я жду: он за тобой...

Исправления не были Пушкиным dokonчены, вследствие чего предпоследний стих получил бессмысленный вид:

А с ним и поцелуй свиданья...

С кем «с ним» — неизвестно, потому что, повторяю, исправление Пушкиным не закончено, но г. Гофман так и печатает, вместо того чтобы сохранить первоначальное чтение: «Но сладкий поцелуй свиданья».

Примечания, выделенные в особый, дополнительный том, неравноценны и не выдержаны по характеру. Относящиеся к боль-

шим произведениям обстоятельны и подробны (это в особенности надо сказать о ценных примечаниях к *Евгению Онегину* и к «Дому в Коломне»). Зато примечания к мелким стихотворениям получили досадный оттенок поспешности. Отсюда — ряд ошибок, из которых некоторые представляют собою простые ляпсусы. Так, например, сказано, что последние две строфы «Воспоминаний в Царском Селе» обращены непосредственно к Державину. На самом деле первая из них обращена к Александру I, вторая — к Жуковскому, о котором *говорится* и в первой строфе («Как наших дней певец, Славянской Бард дружины»). Любовь Пушкина к Е.П.Бакуниной вовсе не была «утаенной», как сказано на стр. 15. О ней знали лицейские, сам Пушкин о ней упомянул в одной из отброшенных строф «19 октября 1825 г.», обращаясь к Пушкину и Малиновскому: «Как мы одну все трое полюбили — Наперсники, товарищи проказ!» В примечании к «Погасло дневное светило» сказано, будто Пушкин переехал с Кавказа в Крым по Черному морю; в действительности морем он переехал только из Феодосии в Гурзуф. О стихотворении «Близ мест, где царствует Венеция златая» сказано, что в нем Пушкин перевел «собственно, только первый стих» из элегии Шенье,— в действительности *вся* пьеса представляет собой перевод, местами даже чрезвычайно точный. О стихотворении «Что в имени тебе моем?» сообщено, что оно было записано Пушкиным в альбом А.А.Олениной, но не сказано ничего о весьма любопытном обстоятельстве — о находке того же стихотворения, вписанного Пушкиным в альбом гр. Каролины Собаньской. Наконец, в качестве курьеза невозможно не привести начало примечания к стихотворению «Наполеон». Здесь, черным по белому, напечатано (стр. 28 дополнительного тома): «Наполеон Бонапарт умер в изгнании на острове Эльбе». Г. Гофман, конечно, хорошо знает, на каком острове умер Наполеон Бонапарт. Конечно, ничего нового не найдет он и в наших поправках к его комментариям. Но именно чем примитивнее допущенные им погрешности, тем они досаднее, ибо свидетельствуют, как уже мы сказали, о небрежности работы, решительно неприятной в книге, которую Пушкинский комитет собирался сделать «настойной книгой каждого русского».

В задачу редактора и комментатора отнюдь не входит высказывание его личных суждений об общем значении издаваемого автора. Поэтому самая наличность статьи М.Л.Гофмана «Пушкин и Россия» в начале дополнительного тома кажется нам необоснованной. Однако мы с удовольствием отмечаем дельность и содер-

жительность этой работы. С нею бесполезно ознакомиться и не только тому широкому читательскому кругу, для которого предназначено издание Пушкинского комитета.

1937

«ЖРЕБИЙ ПУШКИНА», СТАТЬЯ о. С.Н.БУЛГАКОВА

По случаю пушкинского юбилея произведена была некая мобилизация наших сил: о Пушкине высказывались, печатно и устно, не только специалисты-пушкиноведы и историки литературы, но и многие представители других областей словесности: беллетристы, философы, публицисты — порою прославленные. Нельзя сказать, чтобы эти высказывания очень удались. Дело кончилось тем, что одни, вместо того чтобы говорить о Пушкине, с забавной и жалкой важностью говорили о себе; другие разразились напыщенной, но бессодержательной декламацией; третьи сбились на повторение старых, общеизвестных мыслей, верных и неверных. Печальной особенностью этих маститых, но неопытных высказываний было то, что суждения нередко основывались на исключительно плохой осведомленности о жизни и творчестве Пушкина. Делались многозначительные ссылки на стихи, Пушкину не принадлежащие, стихи подлинно пушкинские приводились в испорченных редакциях, выражающих не то, что в действительности писал Пушкин; авторам статей оказывались неизвестны вполне установленные факты, опровергающие их мнения; обратно — сообщалось о событиях, в действительности не бывших, сведения о которых черпались из давно опороченных источников (в частности, многое было основано на самых фантастических сообщениях из так называемых «Записок А.О.Смирновой», подложность которых установлена лет уже тридцать тому назад.¹

¹ Пользуюсь этим случаем, чтобы, согласно его просьбе, оправдать в глазах грамотных русских читателей моего друга, проф. Краковского университета В.А.Ледницкого. В однодневной газете *Пушкин*, изданной комитетом «Дня русской культуры», появилась его статья, в которой говорится о пушкинской повести «Замок». Такой повести у Пушкина нет, и ссылка на нее весьма компрометирует В.А.Ледницкого. Дело, однако, в том, что его статья была безграмотно переведена с польского. В ней говорилось о повести «Zamieś», то есть о «Метели».

Вообще говоря, эти писания, словно написанные по системе «что верно, то не ново, что ново, то не верно», никаких лавров в наш венок не вплели. Вспомнились они мне только к слову, потому что на днях мне довелось ознакомиться еще с одной статьей, также вышедшей из-под пера не специалиста, но глубоко отличной от всего, что до сих пор было опубликовано. Я имею в виду статью о С.Н.Булгакова «Жребий Пушкина», напечатанную в только что вышедшей двенадцатой книжке *Нового Града*. Моя пушкинистская совесть была бы неспокойна, если бы я скрыл, что и в этой работе найдется некоторое количество неточностей, задевающих пушкинистский слух. Так, 18-й стих «Пророка» читается не «И жало мудрое змеи», а «И жало мудрыя змеи»: эпитет относится не к жалу, а к змее и дан не в винительном падеже среднего рода, а в архаической форме родительного падежа женского рода; Н.Н.Гончарова не была фрейлиною в девичестве и, конечно, не могла стать, когда сделалась Н.Н.Пушкиной: стихотворение «Красавица» (В альбом ***) отнюдь к ней не относится... Но эти неточности касаются лишь частных, несущественных для решения поднятых вопросов. Во всем же существенном о. Булгаков, напротив, выказывает серьезное и углубленное знание Пушкина. Вот почему приходится отнестись с большим и почтительным вниманием к его статье, выдающейся как по важности самой темы, так и по значительности многих высказанных мыслей. Однако такое внимание, мне кажется, не только не препятствует, но и обязывает высказать возражения, возникающие при чтении.

Говоря о причинах пушкинской гибели, о. Булгаков прежде всего выдвигает мысль чрезвычайно существенную и верную. Не отрицая важности жизненных обстоятельств (литературных, семейных, общественных), сыгравших огромную роль в истории последних лет жизни Пушкина, о. Булгаков тем не менее отказывается объяснить все только ими, все свалить на злую волю других, представить Пушкина безответной жертвой. Пушкин,— говорит он,— «не нуждается в такой защите. Он достоин того, чтобы самому ответствовать перед Богом и людьми за свои дела». И в другом месте: «<...> судьба Пушкина есть прежде всего его собственное дело. Отвергнуть это — значит совершенно лишиться его самого ответственного дара — свободы, превратив его судьбу в игральное внешнее событие. Над свободой Пушкина до конца не властны были одинаково ни бенкендорфовская полиция, ни мнение света, ни двор».

Чтобы установить степень и содержание вины Пушкина перед

самим собой, о. Булгаков обращается к истории религиозных воззрений и переживаний Пушкина. «Только бесстыдство и тупоумие способны утверждать безбожие Пушкина перед лицом неопровержимых свидетельств его жизни, как и его поэзии. Переворот или естественный переход Пушкина от неверия (в котором, впрочем, и раньше было больше легкомыслия и снобизма, нежели серьезного умонастроения) совершается в середине 20-х годов, когда в Пушкине мы наблюдаем определенно начавшуюся религиозную жизнь». Кое-что в этой формулировке, мне кажется, не совсем точно. О юношеском безверии Пушкина (в эпоху Лицея и «Зеленой лампы») можно говорить, не страдая ни тупоумием, ни бесстыдством. Пушкинское эпикурейство той поры не было следствием только легкомыслия и снобизма. Оно было следствием глубокого душевного процесса, который сам Пушкин замечательно определил словами: «Ум ищет Божества, а сердце не находит». В знаменитом письме, за которое он был сослан из Одессы в Михайловское, он называет атеизм «системой не столь утешительной, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобной». Тут же, однако, он называет знакомого англичанина, у которого «брал уроки чистого афеизма», *единственным* умным афеем, которого ему довелось встретить. Тем не менее во второй половине двадцатых годов, действительно, в нем обозначился перелом. По-видимому, сердце его научилось «находить Божество», и о. Булгаков вполне точен в окончательном своем выводе: Пушкин «знал Бога».

Естественно возникает, однако, вопрос о мере этого знания, и тут о. Булгаков дает ответ в высшей степени точный и пронизательный. Отметив многие факты, свидетельствующие о культурном и бытовом тяготении Пушкина к религии, о. Булгаков делает существенную оговорку: «личная его церковность не была достаточно серьезна и ответственна, вернее, она все-таки оставалась барски-поверхностной, с непреодоленным язычеством сословия и эпохи. <...> Очевидно, не на путях исторического, бытового и даже мистического православия пролегла основная магистраль его жизни, судьбы его. Ему был свойствен свой личный путь и особый удел — предстояние пред Богом в служении поэта».

Вот отсюда и начинается то, в чем трудно с о. Булгаковым согласиться. Я беру на себя смелость сказать, что о. Булгаков сам не до конца учитывает все значение этой последней мысли, выраженной им так прекрасно. «Предстояние пред Богом» есть в служении поэта: это чувствовал Пушкин, но имел на сей счет не те

понятия, которые приписывает ему о. Булгаков. На этом пункте надо остановиться, потому что из него-то и проистекает все, с чем не хочется согласиться в статье о. Булгакова.

«Пророк», одно из гениальнейших созданий Пушкина, с незапамятных времен сделалось источником великого соблазна. В «Пророке» видели и видят воображение поэта, для чего, в сущности, нет никаких данных. Пушкин всегда конкретен и реален. Он никогда не прибегает к аллегориям. Его пророк есть именно пророк, каких видим в Библии. Белинский, сказавший о Пушкине много наивного, но и много верного, весьма проникательно ставит «Пророка» в один цикл с подражаниями «Песни Песней». Пророк — лишь один из пушкинских героев, гениально постигнутый, но Пушкину не адекватный. Конечно, для такого постижения надо было как бы носить пророка в себе. Пушкин его и носил, но лишь в том смысле, как носил в себе Онегина и Татьяну, Моцарта и Сальери, Петра и Мазепу, капитана Миронова и Емельяна Пугачева. «Пророк» — отнюдь не автопортрет и не портрет вообще поэта. О поэте у Пушкина были иные, гораздо более скромные представления, соответствующие разнице между пророческим и поэтическим предстоянием Богу. Поэта Пушкин изобразил в «Поэте», а не в «Пророке». Очень зная, что поэт порою бывает ничтожней ничтожнейших детей мира, Пушкин сознавал себя великим поэтом, но нимало не претендовал на «важный чин» пророка. В этом было его глубокое смирение — отголосок смирения, которое сама поэзия имеет перед религией.

Традиционное, но ошибочное отождествление поэта с пророком обычно тонет в пустых словоизвержениях на тему о высшем призвании поэта «по Пушкину» и потому не имеет серьезных последствий. Другое дело — о. Булгаков: из той же ошибки он сделал неизвестный и существенный вывод: поставив знаки равенства между пророком и Пушкиным, он предъявил к Пушкину такие духовные требования, которые самого Пушкина ужаснули бы.

Внутреннюю историю последних лет пушкинской жизни о. Булгаков рассматривает как отклонение с того духовного пути, на который пророк-Пушкин будто бы однажды вступил. По мнению о. Булгакова, у Пушкина тридцатых годов мастерство преобладает над духовною напряженностью, искусство над пророчесственностью, потому что женитьба, семейная жизнь, отношения с двором и т.д. не только житейски завели Пушкина в тупик, но и повлекли за собой глубокий духовный упадок: с этих пор, говорит о. Булгаков, «пророк ищет себе убежища в поэте», и творчество, духовный

источник которого иссяк, «продолжает свою жизнь преимущественно как писательство».

Такая концепция чрезвычайно отяготительна для Пушкина, на которого тут возлагается ответственность за страшное падение: от пророка до озлобленного камер-юнкера, которому ничего не осталось, кроме выбора: «убить или быть убитым».

На ту же тему о гибели Пушкина есть статья у Владимира Соловьева. В последний раз я читал ее лет двадцать тому назад и не могу перечислить, потому что нахожусь вне Парижа. Но если мне память не изменяет, Соловьев в своей чрезвычайно суровой и неприятно резкой статье осудил Пушкина за недостойную погруженность «в заботах суетного света» и за озлобленность, не подобающую христианину. О. Булгаков говорит о Пушкине с большою любовью, но суд его выходит еще строже, потому что самая ответственность Пушкина у него повышена во много раз: у Соловьева речь идет о слабом человеке, у о. Булгакова — о падшем пророке.

Кажется, о. Булгаков сам был смущен приговором, который ему предстояло вынести. В последнюю минуту его рука дрогнула, и он приписал Пушкину катарсис, который обрисовал нам в виде глубоко христианского просветления на смертном одре: «В умирающем Пушкине отступает все то, что было присуще ему накануне дуэли. Происходит явное преобразование его духовного лика — духовное чудо. Из-под почерневшего внешнего слоя просветляется „обновленный“ лик, светоносный образ Пушкина, всепрощающий, незлобивый, с мужественной покорностью смотрящий в лицо смерти, достигающий того духовного мира, который был им утрачен в страсти».

Схема духовной жизни Пушкина, начертанная о. Булгаковым, не представляется мне исторически верной. Несомненно, в последние годы жизни и в самой истории с Дантесом Пушкин выказал известное «малодушие» — в том смысле, как это слово употреблено в «Поэте»:

В заботах суетного света
Он малодушно погружен.

Но это было, так сказать, нормальное падение поэта, которому падения свойственны и прощительны по самому его «чину». Падения же пророческого не было по той причине, что пророком Пушкин не был и себя таковым не мнил. Зато не было и катарсиса в том смысле, как о нем говорит о. Булгаков.

Последние дни и часы пушкинской жизни как нельзя более свидетельствуют о его прекрасной душе. Мужество, с которым он старался переносить физические страдания, заботы о жене, прощание с близкими, даже прощание с книгами — все это невыразимо трогательно. Сюда же относится и принятое им напутствие церкви, и обращенная к Е.А.Карамзиной просьба перекрестить его. Однако смысла этих двух последних поступков не должно преувеличивать. Нет никаких оснований видеть в них как бы скачок в религиозном сознании Пушкина — то «духовное чудо», о котором говорит о. Булгаков. Как вся религиозная жизнь Пушкина была лишь исканием веры, так и здесь проявилось лишь искание христианской кончины. Не фантазируя, нельзя сказать, будто «в умирающем Пушкине отступает все то, что было присуще ему накануне дуэли». Если бы это было так, он обнаружил бы намерение, в случае выздоровления, не возвращаться ко всему, «что было присуще ему накануне дуэли». В действительности последние слова Пушкина свидетельствуют об ином: «Нет, мне не жить, и не житье здесь. Я не доживу до вечера — и не хочу жить. Мне остается только умереть». Слова эти означают, что Пушкин ни на мгновение не отказывался от самого себя — такого, каким был перед дуэлью, что если бы ему вновь суждена была жизнь — все жизненные конфликты воскресли бы вместе с ним, и он намеревался в будущем переживать их так же точно, как в прошлом. «Духовного мира», о котором говорит о. Булгаков, Пушкин не хотел. Именно потому, что сознавал это нежелание, он и не хотел, чтобы жизнь продолжалась. За пять минут до смерти он спросил: «Что, конечно?» Его переспросили: «Что конечно?» — «Жизнь». — «Нет еще». — «О, пожалуйста, поскорее», — ответил он.

О. Булгаков говорит о «всепрощающем, незлобивом» Пушкине, а Лермонтов, который не присутствовал при кончине, но был не только проникновенный поэт, а еще и современник Пушкина, конечно, многое знавший о нем (хотя бы от Карамзиных, к которым близко стоял в ту пору), — прямо и дважды свидетельствует:

Пал, оклеветанный толпой,
С свинцом в груди — и жаждой мести...

И далее:

И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Не пророком, падшим и вновь просветлевшим, а всего лишь поэтом жил, хотел жить и умер Пушкин. Довольно и с нас, если мы будем его любить не за проблематическое духовное преображение, а за реально данную нам его поэзию — страстную, слабую, греховную, человеческую. Велик и прекрасен свет, сияющий нам сквозь эту греховную оболочку. Велик и прекрасен Пушкин такой, каким был. И если кто из нас хоть в малейшей доле приблизится к его смиренной, не пророческой, а всего только поэтической высоте — как уже много это!

1937

ДМИТРИЕВ

Иван Иванович Дмитриев родился в Симбирске 10 сентября 1760 года — за два года без малого до восшествия на престол Екатерины Второй. Четырнадцатилетним мальчиком в Москве, он упросил мать отпустить его со старшим братом на Болотную площадь, где должны были казнить Пугачева; мать взяла с него обещание не смотреть на самую казнь — и он почти сдержал слово: зажмурился в то мгновение, когда палач взмахнул топором. Семнадцати лет, будучи офицером Семеновского полка, он начал писать стихи, а в 1790 году явился представиться Державину и тотчас стал своим человеком в его доме. Спустя несколько месяцев он привел к Державину своего друга и земляка Николая Михайловича Карамзина, только что приехавшего из чужих краев. Прослужив в гвардии всю вторую половину царствования Екатерины, он вышел в отставку в год ее смерти. При Павле I он был заподозрен в умысле на жизнь императора, затем оправдан и приближен ко двору. В конце 1799 г., побывав товарищем министра, а затем обер-прокурором Сената, он вышел в отставку. В 1810 году, в эпоху Сперанского, Александр I оторвал его от московских литературных досугов. Он был министром юстиции в эпоху Отечественной войны и вышел в отставку в 1814 г., очутившись в некоторой оппозиции аракчеевскому направлению. С этих пор он навсегда поселился в Москве, ухаживая за своим садом, почивая на служебных и литературных лаврах. К этому времени он был

уже признан одним из сладкозвучнейших поэтов, значился сподвижником Карамзина, преобразователем русской поэзии, одним из основоположников сентиментализма и чуть ли не зачинателем романтизма. Жуковский, Батюшков, Вяземский видели в нем учителя, Арзамасцы его почитали почти наравне с Карамзиным. Не без отеческой строгости, но все же одним из первых он приветствовал первые шаги юного Пушкина, которого вся жизнь прошла у него на глазах. 3/15 октября 1837 года он умер, пережив Пушкина на восемь месяцев. На днях исполнилось тому сто лет.

Его личная биография в общем была небогата событиями, но он жил сознательной жизнью при четырех императорах, в самую блистательную и драматическую эпоху русской истории, не издали наблюдая людей и события, а находясь в их центре. То же самое надо сказать о литературной стороне его жизни: он пережил золотой век русской поэзии и занял место в самом блестящем его созвездии. С большим правом, чем Пушкин, он мог сказать: «Чему, чему свидетели мы были!»

Вяземский рассказывает, что Баратынский «как-то не ценил» ума Дмитриева, и прибавляет тут же: «Трудно разгадать эту странность». В самом деле, все современники, включая Пушкина, отмечали в Дмитриеве именно острый ум. Об уме свидетельствуют его письма и в особенности составленная им автобиография *Взгляд на мою жизнь*.

Итак, казалось бы, что даже вне вопроса о размерах его поэтического дарования налицо, имеются все условия для того, чтобы по крайней мере значителен был внутренний вес его поэзии, чтобы в ней были серьезно трактованы серьезные темы. Но вот раскрываем его стихотворные притчи — и что же?

Ошибка чижа

Чиж, в птичник залетя, прельстился им, как раем.
Раздолье! Пьет и ест одно он с попугаем;
Но долго ль? Нет! Скворец там заклевал его. —
Опасно выходить из круга своего.

Репейник и фиалка

Между репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала;
Безвестною была, но горести не знала.
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

Преступления

Тигр, ужас всех зверей, подняв кровавы взоры,
Морфея умолял, чтоб сон к нему послал.—
«Для извергов, тебе подобных,— бог сказал,—
Готовлю я не мак, но совести укоры».

Бесспорно, в эпоху Дмитриева, идиллическую по сравнению с нашей, люди были простодушнее нынешних. Однако же эти «аполлоги», отнюдь не составляющие исключение, взяты наудачу из множества им подобных, сочиненных Дмитриевым, дышат такою невинностью, которой, конечно, в действительности не обладали ни его современники, ни он сам. Вполне очевидно, что, облакая прописные истины в форму, которой притворная наивность прямо соприкасалась с глупостью, Дмитриев вовсе не выражал подлинных житейских понятий и чувств — ни своих, ни читательских. Замечательно, что Пушкин, помогавший Языкову сочинять презлые пародии на эти аполлоги, обвинял Дмитриева не в недостатке ума, а совсем в другом: еще за три года до того он писал в черновом письме к Вяземскому: «Ты покровительствуешь старому врагу». В беловике этой фразы нет. Вероятно, Пушкин почувствовал, что она звучит не только литературным, но и нравственным обвинением, которого Дмитриев как человек не заслуживал. Но литературный смысл этих слов как нельзя более пронизателен. Довольно едкий сатирик (автор «Модной жень» и «Путешествия N.N. в Париж и Лондон»), приступая к элегиям, песням и аполлогам, вообще к чистой лирике, которую полагал своим главным делом, Дмитриев считал нужным притворяться стократ более чувствительным, чем был на самом деле. Притворное чувство требовало притворной формы, форма давила на содержание, и в результате воображаемый поэт, от имени которого выступал наш министр юстиции, оказывался во столько же раз глупее его самого.

Нет никакой надобности думать, что почитатели Дмитриева (в том числе литературные соратники: Карамзин, В.Л.Пушкин и другие — вплоть до юного Вяземского) не замечали его слишком очевидного притворства. Но как Дмитриев писал от имени воображаемого поэта, поглупевшего от чувствительности, так они читали его и восхищались им от имени такого же воображаемого читателя. Пушкин не первый почувствовал ложь Дмитриева — он только первый сказал или хотел сказать вслух об этом, и не столько по своему художественному правдолюбию, сколько потому, что ему уже не было надобности эту ложь поддерживать. Но Ка-

рамзин и карамзинисты (к которым непременно хотел до конца жизни принадлежать Вяземский — по причинам особым, индивидуальным) ее поддерживали: опять же не потому, что были притворщики по природе (как не был и Дмитриев), а потому, что ложь Дмитриева ими переживалась как некая условность, неотделимая от ими созданного и взлелеянного русского сентиментализма. Самое же явление этого сентиментализма было расплатой за их действительный грех, несознанный не только ими, но и всеми позднейшими поколениями. Заключался он в том, что проглядели Державина.

На долю русского классицизма выпала задача чисто формальная, почти организационная: привить европейские литературные формы к русскому стволу. Основоположники классицизма не столько творили свои оды, поэмы, трагедии, сколько на деле доказывали возможность их писания на русском языке (отчасти поэтому они и не очень сознавали разницу между оригинальным трудом и переводом). Если им иногда удавалось выразить важную мысль или передать истинное чувство, то, в сущности, это были счастливые случайности, как бы *приятные* добавления к *полезному* основному делу. К последней четверти XVIII столетия это основное дело было выполнено, и, как всегда бывает в подобных случаях, пороки литературной школы, исполнившей свое предназначение, стали очевидны. Поняли, что классицизм педантичен, книжен, лишен живого идейного и эмоционального содержания.

Державин еще почти не осмелился посягнуть на формальный канон классицизма. Нередко он отдавал дань и его условностям — особенно в своих плохих трагедиях, которые писал в старости, когда творческая энергия в нем иссякла. Но он первый дерзнул видеть мир по-своему и изображать его таким, каким видел, и первый если не понял, то почувствовал, что поэзия должна отвечать реальным запросам человеческого духа. Не только в «Фелице» и «Жизни Званской», но и в оде на смерть Мещерского, и в «Боге», и в «Водопаде», и даже в своем русифицированном анакреонтизме он объявился родоначальником русского реализма. С этим было связано и его обращение от книжного языка к народному.

Сознательным новатором он не был. Его слабые и немногочисленные теоретические суждения не соответствовали тому великому делу, которое он совершал по инстинкту художника. Карамзин и Дмитриев, преклоняясь перед его личным поэтическим даром, считали его всего лишь блистательным завершителем классициз-

ма. Новаторами они чувствовали себя. Конечно, они таковыми и были, но если бы они проникли в сущность Державина, их новаторство приняло бы иное направление, они пошли бы по пути, начатому Державиным, — и русская словесность была бы избавлена от школы, которая отличалась от классицизма только новизной условностей.

Верно сказано, что Дмитриев сделал для поэзии то, что Карамзин сделал для прозы. Но что же он сделал, даже если не считаться с разницей в личных способностях, которых у Карамзина было не в пример больше? Он хотел ввести в поэзию непосредственное чувство, которого ей отчасти и в самом деле недоставало. Но чувство реальное он подменил выдуманной чувствительностью, столь же (если не более) поддельной, как «поэтическое парение» классиков. Как классики «бряцали» за несуществующих бардов, так Дмитриев «стонал» за «сизых голубочков», от настоящих голубей отличавшихся несомненным знанием французской литературы. Ему удалось снизить тематику и слог классицизма, но к реализму и народности он приблизил их разве только на волосок. Его добродетельные пейзажи и чувствительные буржуа были не правдоподобнее классических героев и героинь. «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую, — писал Пушкин Гнедичу в 1822 г. — Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. Тогда и некоторые люди упадут, и посмотрим, где очутится Ив.Ив.Дмитриев — со своими *чувствами и мыслями*, взятыми у Флориана и Легуве». Его песни не лишены стилизаторских ужимок под народность, но от народных так же далеки, как Херасков от Гомера. Его басни настолько же ниже крыловских, насколько их выдуманные персонажи отличаются от своих живых первообразов. В одах, где на чувствительности не выедешь, он оказывался слабым подражателем тех же классиков и хотя позволял себе некоторые просодические вольности, но в то же время пускался в такой «высокий штиль», что сам Петров ему позавидовал бы. Лучшую из этих од, «Ермака», Пушкин назвал «такой дрянью, что мочи нет» — и, к несчастью, был почти совсем прав.

Точно так же, как Карамзин и Дмитриев, Пушкин недооценивал общее значение Державина. В поэзии автора «Фелицы» порой он видел даже еще меньше достоинств, чем видели они. В ранней юности он горел желанием участвовать в полемике, которую карамзинисты вели с «беседчиками» и косвенно — с самим Державиным. Однако гениальное предсказание Державина сбылось в таком

глубоком смысле, какого не предполагал и сам предсказатель: Пушкин стал «новым Державиным» не только потому, что занял первое место на российском Парнасе, но и потому, что в своем творчестве оказался продолжателем не карамзинско-дмитриевской, барской, сентиментальной традиции, а державинской, народной, реалистической.

Настоящее, образующее влияние карамзинизм оказал только на язык Пушкина, как и на весь русский литературный язык. Однако еще вопрос, все ли в этом влиянии было безусловно благотельно и не был ли кое в чем прав старик Шишков, видевший в карамзинской реформе не развитие, а лишь офранцуживание русского языка. Упорядочив синтаксис и расширив словарь, Карамзин и Дмитриев, несомненно, придали русскому языку стройность, изящество, гибкость, каких в нем ранее не было. Но они же и оторвали его от народных корней, с которыми еще был так прочно связан косматый язык Державина. Самые неправильности державинского языка были народнее, почвеннее слишком отделанного, теплично-го языка карамзинистов. Замечательно, что Пушкин, смеявшийся над «киргиз-кайсацким» слогом Державина, в то же время отчетливо сознавал пороки языка реформированного. Может быть, неслучайно, что всего через десять дней после того письма, в котором бранил Дмитриева, он писал тому же Вяземскому: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота ему более пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе».

Эту «привычку» он получил, конечно, от карамзинско-дмитриевской школы. Доведя язык, завещанный ею, до небывалого совершенства, он невольно содействовал углублению рва, вырытого карамзинистами между языком народа и языком дворянства, а затем и всего образованного русского общества.

1937

1938-1939

ПУШКИН И НИКОЛАЙ I

Сегодня кончается пушкинский юбилейный год. Конец его ознаменовался публикацией документа, хотя и не рукописного, но в течение шестидесяти четырех лет пролежавшего под спудом и до сих пор неизвестного даже специалистам-пушкиноведам. Истинная ценность этого документа может быть установлена только путем сложного и обширного анализа, который ни по размеру, ни по характеру неосуществим в пределах газетной статьи. Дело идет, однако же, о столь важном и в то же время столь мало исследованном моменте политической и творческой биографии Пушкина, что я считаю полезным теперь же, несмотря на значительный объем документа, подробно ознакомить с ним русских читателей, огромному большинству которых он недоступен в подлиннике, потому что написан по-польски. Мой перевод я позволю себе сопроводить несколькими общими замечаниями, по необходимости краткими, но предварительно сообщу необходимые сведения о происхождении документа и об его авторе.

Граф Юлий Струтыньский, родившийся в 1810 г., был последним отпрыском рода, принадлежавшего к высшей польской аристократии. В 1829 г. поступил он в Митавский гусарский полк, а в тридцатых годах, молодым офицером, неоднократно бывал в Москве, где его двоюродная сестра была замужем за кн. П.С.Голицыным. В один из этих наездов он познакомился с Пушкиным и имел с ним длительный разговор, который впоследствии изложил в одном из томов своих обширных мемуаров, изданных в Кракове в 1873 г. под псевдонимом Юлия Саса. Пять лет спустя он скончался, оставив после себя, кроме мемуаров, более десятка томов поэзии и прозы, свидетельствующих о слабом художественном даровании, но о высокой образованности автора. После смерти он был основательно забыт, и лишь недавно, в еженедельнике *Вядомосци литерацке*, г. Топоровский перепечатал его запись о разговоре с Пушкиным. Когда именно происходил этот разговор, сам автор в точности не указывает. Г. Топоровский, на основании побочных признаков, относит событие к 1830 г. Вот полный текст записи, сделанной Сасом-Струтыньским.

На одном из упомянутых вечеров я познакомился с Пушкиным. Начало знакомства нашего было положено поэтессой Каролиной Яниш, которой Мицкевич давал уроки польского языка и которая перевела на немецкий несколько его произведений. Она представила меня Пушкину и несколькими лестными замечаниями снискала его внимание ко мне; а так как в природе этого замечательного человека предупредительная сердечность равнялась силе таланта и холодная расчетливость высокомерия (свойственная гордецам и глупцам) не стесняла искренности, то вскоре мы сблизились. Я видел, как он старался снизить до моего уровня, свой гений приспособить для моего понимания и придать нашим отношениям характер приятной короткости, свойственной равному с равным, славянину со славянином, человеку с человеком. — Я был еще молокососом, он вступал в пору зрелого мужа. Я был ничто, он уже был гордостью своей родины и снискал себе славное место на страницах исторического бессмертия. Однако, несмотря на все мое ничтожество, я стал так близко к его душе и пробудил в ней такое доверие, что она вся открылась передо мной, развернулась свободно, без фальши, длиною нитью доверчивых признаний, как перед другом детства, как перед братом сердца. Его природная доверчивость, возбужденная симпатией, которую он ко мне питал, не требовала долгих колебаний, чтобы раскрыться настежь. Не прошло еще двух недель с нашей первой встречи, как я уже знал его насквозь и читал в нем, как в раскрытой книге. Приведу некоторые его признания, имеющие связь с предметом моего повествования.

— Молодость, — говорил Пушкин, — это горячка, безумие, напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине. Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говорено, что я считался либералом, революционером, конспиратором — словом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности. История Греции и Рима создала в моем сознании величественный образ республиканской формы правления, украшенный ореолом великих мудрецов, философов, законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления — наилучшая. Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею силою отрицания прежних социальных и политических законов, всею силою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось из поколения в поколение, — эта философия энциклопедистов, принеся миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало повредила и мне. Крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни на земле, ни в небе; индивидуализм, не считающийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь

души, всяких религиозных обрядов и догматов — все это наполнило мою голову каким-то сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения. Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть — насилие, каждый монарх — угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я поступал неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, навлекающей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чертиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне! Но всему своя пора и свой срок. Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое отлетело прочь. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательней, глубже вникнул в видимое, — я понял, что казавшееся доньше правдой было ложью, чтимое — заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и красноречиво толкуются или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темноты народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, — в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктаторiallyй или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем как у нас до сих пор неперемное условие существования всякой власти — чтобы пред ней смирились, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога. Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного человека, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; самодержавию суждено подвергнуться постепенному изменению и некогда поделиться половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро наступить не может и не должно.

— Почему не должно? — спросил я с удивлением.

— Все внезапное вредно, — ответил Пушкин. — Глаз, привыкший к

темноте, надо постепенно приучать к свету. Природного раба надо постепенно обучать разумному пользованию свободой. Понимаете? Наш народ еще темен, почти дик; дай ему послабление — он взбесится. И дворянство наше — не лучше. За его внешним лоском кроется глубокая внутренняя тьма. У народа по крайности можно доискаться сердца, а у дворянства и сердца нет! Ибо кто есть истинный угнетатель народа? Оно! Кто задерживает развитие его понятий, культуры, ума? Оно! Кто сводит на нет все усилия правительства к улучшению народной жизни? Оно! У нас каждый помещик — деспотический властелин своих подданных. Он питается их потом, пьет их кровь! Ценой их труда он оплачивает ненужные поездки за границу, откуда возвращается с пустым карманом и с головой, полной философических, филантропических и передовых идей, которые у себя дома он насаждает, деря с несчастного мужика две шкуры и зверски над ним измываясь.

— А что же правительство? — спросил я.

— Высшее правительство об этом не знает, потому что низшее подкуплено! — отвечал Пушкин, вскакивая с места.

— Но ведь есть губернаторы, предводители дворянства, начальники жандармских управлений, через которых правда должна дойти до высших сфер правительства, до самого императора?

— А разве сами эти губернаторы — не помещики? — перебил Пушкин. — Разве у этих предводителей нет своих подданных? Ворон ворону глаз не выклюет, друг мой! С волками жить — по-волчьи выть! Это — вечная истина, неопровержимая.

— И тем более печальная! — воскликнул я.

— Верно, — продолжал Пушкин. — Невесело, друг мой, смотреть на то, что у нас творится, но было бы несправедливо сваливать всю тяжесть вины на императора Николая. Я знаю его лучше, чем другие, потому что у меня был к тому случай. Не купил он меня ни золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродан и придворных милостей не ищущ; не ослепил он меня и блеском царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо, кроме совести и Бога, я не боюсь никого, не задрожу ни пред кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отчества, чтю правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил; однако я должен признать (ибо отчего же не признать?), что императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и, может быть, тщетно, ибо смотрел на мир не непосредственно, а сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим истинам, смотрел не как человек, умеющий разбираться в реальных потребностях общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо все, что его манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили приказание государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась — не тревогою, нет! — но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг ошетинился эпитафией, на губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, призывал меня к роли стоического республиканца, Катона, а то и Брута. Я бы никогда не кончил, если бы вздумал в точности передать все оттенки чувств, которые испытал на вынужденном пути в царский дворец. И что же? Они разлетелись, как мыльные пузыри, исчезли в небытии, как сонные видения, когда он мне явился и со мною заговорил. Вместо надменного деспота, кнудо-державного тирана я увидел монарха рыцарски прекрасного, величественно спокойного, благородного лицом. Вместо грубых, язвительных диких слов угрозы и обиды я услышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно.

— Как? — сказал мне император.— И ты враг своего государя? Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин! Это нехорошо! Так быть не должно!

Я онемел от удивления и волнения. Слово замерло на губах. Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, располагая к доверию, призывая опомниться. Мгновения бежали, а я не отвечал.

— Что ж ты не говоришь? Ведь я жду?! — сказал государь и взглянул на меня пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше этим взглядом, я наконец опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно:

— Виноват — и жду наказания.

— Я не привык спешить с наказанием! — сурово ответил император.— Если могу избежать этой крайности — бываю рад. Но я требую сердечного, полного подчинения моей воле. Я требую от тебя, чтобы ты не вынуждал меня быть строгим, чтобы ты мне помог быть снисходительным и милостивым. Ты не возразил на упрек во вражде к своему государю — скажи же, почему ты враг ему?..

— Простите, ваше величество, что, не ответив сразу на ваш вопрос, я дал вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом своего государя, но был врагом абсолютной монархии.

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня по плечу:

— Мечтания итальянского карбонарства и немецких Тугендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоверенных мыслителей из университетских аудиторий? С виду они величавы и красивы — в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущее к диктатуре, а чрез нее — к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудные минуты обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала

бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Сила страны — в сосредоточении власти; ибо где все правят — никто не правит; где всякий — законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!

Государь умолк, раза два прошелся по кабинету, вдруг остановился перед мной и спросил:

— Что ж ты на это скажешь, поэт?

— Ваше величество, — отвечал я, — кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма: *конституционная монархия*...

— Она годится для государств, окончательно установившихся, — перебил государь тоном глубокого убеждения, — а не для таких, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование. Она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не достигла своего политического предназначения. Она еще не оперлась на границы, необходимые для ее величия. Она еще не есть тело вполне установившееся, монолитное, ибо элементы, из которых она состоит, до сих пор друг с другом не согласованы. Их сближает и спаивает только самодержавие — неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. (Помолчав.) Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученной мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться против меня! не посмела! потому что самодержавный царь был для нее живым представителем божеского могущества и заместителем Бога на земле; потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и воли, которого гнут бури и устрашают громы!

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества, казалось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали. Но это не были признаки гнева, нет! Он в ту минуту не гневался, но испытывал свою силу, измерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица смягчилось, глаза погасли, он снова прошелся по кабинету, снова остановился передо мной и сказал:

— Ты еще не все высказал. Ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений. Может быть, у тебя на сердце лежит

что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело. Я хочу тебя выслушать и выслушаю.

— Ваше величество, — отвечал я с чувством, — вы сокрушили главу революционной гидре. Вы совершили великое дело — кто станет сплотивать? Однако... есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с которым вы должны бороться, которое должны уничтожить, потому что иначе оно вас уничтожит!

— Выражайся ясней! — перебил государь, готовясь ловить каждое мое слово.

— Эта гидра, это чудовище, — продолжал я, — самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не дотянуло! Нет сословия, которого оно не коснулось бы! Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена! Справедливость — в руках самоуправцев! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи! Никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни! Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона! Что ж удивительного, ваше величество, если нашлись люди, решившиеся свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех! Вы, ваше величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного! Вы могли и имели право покарать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что, даже карая их, в глубине души вы не отказывали им ни в сочувствии, ни в уважении! Я уверен, что если государь карал, то человек прощал!

— Смелы твои слова! — сказал государь сурово, но без гнева. — Значит, ты одобряешь мятеж? Оправдываешь заговор против государства? Покушение на жизнь монарха?

— О, нет, ваше величество, — вскричал я с волнением. — Я оправдывал только цель замысла, а не средства! Ваше величество умеете проникать в души — соблаговолите проникнуть в мою, и вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно! В такой душе злой порыв не гнездится, преступление не скрывается!

— Хочу верить, что так, и верю! — сказал государь более мягко. — У тебя нет недостатка ни в благородных убеждениях, ни в чувствах, но

тебе недостает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу же уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. *Sachez que la critique est facile et que l'art est difficile*: для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой, передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самоуважения в народе и чувства чести — в обществе. Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их,— и гидра будет побеждена! гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! ибо только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец — спасение! Что же до тебя, Пушкин... ты свободен! Я забываю прошлое — даже уже забыл! Не вижу перед собой государственного преступника — вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов! Теперь... можешь идти! Где бы ты ни поселился (ибо выбор зависит от тебя), помни, что я сказал и как с тобой поступил. Служи родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим — буду я!

Такова была сущность пушкинского рассказа. Наиболее значительные места, глубоко запечатлевшиеся в моей памяти, я привел почти дословно. Действительно ли его позднейшие сочинения получали царское разрешение, или обычным путем подвергались критике цензурного комитета, с уверенностью сказать не могу. Мне как-то не пришло в голову спросить об этом Пушкина, и читатель легко поймет это, если сообразовалит припомнить, что я тогда был еще очень молод и что мое любопытство привлекали предметы более важные.

*

Как видим, главная и наиболее интересная часть записи касается разговора, происходившего 8 сентября 1826 г. между Пушкиным и Николаем I в Москве, в Чудовом дворце, куда поэт был доставлен с фельдъегерем прямо из Михайловского. Общий смысл этого разговора давно известен. Другое дело — его конкретное содержание. До нас сохранилось лишь несколько реплик, более или менее точно переданных современниками со слов царя и поэта. Таковы рассказы бар. М.А.Корфа, кн. В.Ф.Вяземской, А.Г.Хомутовой, А.О.Россет (по записи Грота). Но если мы сложим эти реплики, то получим словесного материала не более как на две-

три минуты разговора. Меж тем, по свидетельству бар. А.А.Дельвига, аудиенция продолжалась «более часу», а по донесению, посланному в III Отделение секретным агентом Локателли,— даже «более двух часов». Таким образом, если бы мы могли быть уверены в достоверности и точности записи, сделанной Струтыньским, то этот документ заполнил бы огромный пробел в наших познаниях и ценность его, разумеется, была бы весьма велика. К сожалению, такой уверенности у нас нет.

Смущает не содержание записи и не стиль ее. Как сказано в начале этой статьи, только весьма подробный и пространный анализ мог бы открыть в рассказе Струтыньского какие-либо подробности, носящие явно апокрифический характер,— да если бы таковые и обнаружались, то они все-таки не компрометировали бы всего документа в целом, потому что отдельные ошибки и неточности почти неизбежны в записи, сделанной приблизительно сорок лет спустя после беседы Пушкина со Струтыньским. Больше того: по общему впечатлению пишущего эти строки, у Струтыньского нет ничего такого, чего не могли бы высказать ни Пушкин, ни Николай I. С этой точки зрения запись Струтыньского кажется правдоподобной и не противоречащей тому, что известно об исторической беседе 8 сентября. Несклько странно, что у Струтыньского нет упоминания о вопросе государя: что сделал бы Пушкин, если бы 14 декабря был в Петербурге? — и нет пушкинского ответа о том, что он стал бы в ряды мятежников. Этот пункт беседы бесспорно устанавливается показаниями обоих участников: Пушкина — в разговоре с Хомутовой, государя — в разговоре с Корфом. Однако такой пропуск может быть различно объяснен и сам по себе недостаточен для того, чтобы подорвать доверие к записи. С другой стороны, мы находим у Струтыньского некоторые детали, говорящие в пользу того, что его рассказ действительно восходит к рассказу самого Пушкина. Таково, например, любопытнейшее упоминание о настроениях, в которых Пушкин готовился предстать перед царем: оно имеет прямое касательство к уничтоженному стихотворению, которое кончалось стихами: «Восстань, восстань, пророк России!» и т.д.

Не в пользу мемуариста говорит самая форма записи. Невозможно предположить, чтобы разговор, происходивший без Струтыньского и воспроизведенный со слов Пушкина много лет спустя, мог быть без участия фантазии представлен в виде стройного диалога. Несомненно, что Струтыньский придавал записи более стройную форму, чем та, которая могла запечатлеться в его памя-

ти. Однако с такими обработками мы встречаемся в огромном большинстве мемуаров. Было бы рискованно вполне полагаться на дословный текст Струтынского, но из этого отнюдь не следует, что мы имеем дело с вымыслом или что общий смысл и общий ход беседы переданы неверно. Отметим, что на буквальную точность записи не претендует и сам автор, подчеркивающий, однако, что наиболее значительные места приведены им почти буквально. Вполне возможно, что они даже были записаны Струтынским вскоре после беседы с Пушкиным: биограф и друг Струтынского, в свое время небезызвестный славист А. Киркор, рассказывает, что у Струтынского была необычайная память и что, кроме того незадолго до смерти он сжег несколько томов своих дневников и заметок. Может быть, среди них находились и более точно воспроизведенные, сделанные по свежим воспоминаниям отрывки из беседы с Пушкиным, впоследствии послужившие материалом для данной записи, в которой излишняя стройность и законченность составляют, конечно, не достоинство, а недостаток.

Желание придать своему рассказу известную законченность придало записи Струтынского еще один несомненный недостаток: само собой разумеется, Пушкин не мог говорить ни вообще, ни в частности о самом себе так напыщенно и «красиво», как он говорит у Струтынского. Однако и эта «отделка» ничего еще не говорит против его правдивости. Больше того: несомненная «стилизация» пушкинской речи, по-видимому, была вызвана самими лучшими побуждениями Струтынского: благоговей перед Пушкиным, он захотел представить и речь его как можно более возвышенной и красноречивой. Эта попытка, разумеется, не удалась, но она свидетельствует только о слабых литературных дарованиях и о недостатке вкуса у автора — ни о чем больше. Само же по себе восторженное отношение к Пушкину не может не располагать нас к Струтынскому; оно в особенности почтенно в поляке, пережившем 1831 г. и, нужно думать, знакомом с такими стихами Пушкина, как «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России».

Остается еще один пункт, способный, быть может, всего сильнее подорвать наше доверие к документу. Подозрение возбуждает уверение Струтынского касательно доверчивости и дружбы, внезапно проявленных уже зрелым Пушкиным по отношению к молодому офицеру, ему почти неведомому. Вряд ли можно сомневаться, что на этот счет Струтынский отчасти прихвастнул, отчасти же, может быть, был введен в заблуждение самим Пушкиным. Конечно, нельзя без улыбки читать слова Струтынского о том,

что после двухнедельного знакомства с Пушкиным он уже «знал его наизусть и читал в нем, как в раскрытой книге». Однако мы знаем за Пушкиным эту черту: не раз случалось ему дарить случайного знакомого если не подлинной дружбой, то вполне дружеской порывистой откровенностью. Переходы от подозрительности и скрытности к доверчивости были у него часты и не всегда обоснованны. Не было бы ничего удивительного, если бы в один из таких порывов не высказал он и Струтыньскому все то, что составило предмет вышеприведенной записи.

Повторяю еще раз: запись нуждается в детальном изучении, которое одно позволит установить истинную степень ее достоверности. Но во всяком случае просто отбросить ее как апокриф нет никаких оснований. В заключение отмечу еще одно обстоятельство, говорящее в пользу автора. Пушкин умер в 1837 г. Смерть его произвела много шума не только в России, но и за границей. Казалось бы, если бы Струтыньский был только хвастуном и выдумщиком, пишущим на основании слухов и чужих слов,— он поспешил бы при первой возможности выступить со своим рассказом, если не в русской печати, то в заграничной. Он этого не сделал и своему повествованию о знакомстве с Пушкиным отвел место лишь в общих своих мемуарах, публикация которых состоялась лишь много лет спустя.

1938

ГР. Д.Ф.ФИКЕЛЬМОН

Имя графини Дарьи Федоровны Фикельмон почти незнакомо широкой публике. Между тем в жизни, а может быть, и в трагической гибели Пушкина эта женщина сыграла роль очень заметную, хотя далеко не выясненную, отчасти даже таинственную. На днях исполняется семьдесят пять лет со дня ее смерти, и мне бы хотелось о ней рассказать читателям (отнюдь не специалистам-пушкиноведам, которым я не могу сообщить о ней ничего нового). Однако же предварительно следует уделить несколько строк ее матери.

Елизавета Михайловна Хитрово была любимой из пяти дочерей М.И.Голенищева-Кутузова, впоследствии фельдмаршала, светлей-

шего князя Смоленского. Первым браком была она за гр. Ф.И. Тизенгаузенем, который погиб под Аустерлицем. (Л.Толстой, по-видимому, воспользовался рассказом о его подвиге в знаменитом рассказе о ранении Андрея Болконского.) Овдовев, она вышла замуж вторично, за генерал-майора Н.Ф.Хитрово, который после окончания наполеоновских войн был назначен русским поверенным в делах во Флоренции, где и умер в 1819 году. Овдовев вторично, Елизавета Михайловна осталась жить за границей. В 1821 году ее младшая дочь от первого брака Дарья Федоровна, или, по светскому прозвищу, Долли (род. в 1804 г.), вышла замуж (кажется, не по любви) за австрийца, генерала графа Карла-Людвига Фикельмона, который был вскоре назначен австрийским посланником при неаполитанском дворе. Это обстоятельство на долгие годы удержало Хитрово за границей, преимущественно в Италии. Постепенно у нее сложились многочисленные знакомства и прочные дружеские связи с самыми видными представителями тогдашнего общества, отчасти даже с владетельными и коронованными особами. Герцог Леопольд Саксен-Кобургский (впоследствии бельгийский король) поддерживал с нею самую дружескую переписку. Прусский король Фридрих-Вильгельм III, а потом граф Август Брауншвейгский сватались к ее старшей дочери Екатерине Федоровне.

В 1827 г. Елизавета Михайловна со старшей дочерью вернулась в Россию и поселилась в Петербурге. Вскоре она познакомилась с Пушкиным, которого поллюбила пылкой и самоотверженной любовью. Она была очень умная, очень образованная женщина, отличалась исключительной добротой. Она завела литературно-великосветский салон, едва ли не самый блестящий в тогдашнем Петербурге. Ее высоко ценили такие требовательные люди, как Александр Тургенев и Вяземский. Наконец, она была весьма недурна собой. Но она была на шестнадцать лет старше Пушкина, она слишком обнажала свои слишком великолепные плечи, ее экзальтация нередко доходила до наивности: довольно сказать, что в 1832 г., когда врачи нашли, что для излечения сумасшедшего поэта Батюшкова ему необходимо физическое общение с женщиной, Елизавета Михайловна тотчас предложила себя в качестве лекарства. В конце концов, все ее любили, все уважали, но все над нею подсмеивались. Пушкин, вообще очень боявшийся быть смешным, в разговорах и переписке с приятелями не отставал от других. Есть основания полагать, что им написана на Хитрово знаменитая эпиграмма «Лиза в городе жила». В то же время он, что

называется, позволял ей себя любить, не отталкивал ее, пользовался ее литературными и житейскими услугами, писал ей очень дружеские и очень серьезные письма, которые доказывают его уважение к ее уму и познаниям. Вряд ли их отношения когда-либо перешли за известную черту, хотя некоторые интонации его писем к ней можно истолковывать различно. Она писала ему о своей любви открыто. В 1830 г., став женихом Н.Н.Гончаровой, он нанес ей тяжелую рану. Однако и женитьбу его она приняла с элегическим сочувствием, навсегда сохранив к нему дружбу, граничившую с обожанием. Она восхищалась красотой его жены, она содействовала сближению Пушкина с двором и светом, желая ему только добра — и тем, бессознательно, приближая его к гибели.

В 1829 году Фикельмон был назначен австрийским послом в Петербург. Елизавета Михайловна переехала к дочери, на Английскую набережную, и ее салон засиял еще более пышным блеском, приобретя не только литературное и светское, но и политическое значение, которое сумел удержать на долгие годы. Дом Фикельмонов сделался одним из самых влиятельных и изящных средоточий великосветского и дипломатического Петербурга. Сам Фикельмон, человек уже немолодой, пользовался общим уважением и даже симпатиями. Его жена очаровывала умом и в особенности красотой. До появления Н.Н.Пушкиной на петербургском великосветском горизонте она там считалась первой красавицей.

Пушкин с ней познакомился, вероятно, вскоре после ее приезда в Петербург, т.е. в 1829 г. До недавних сравнительно пор <не> было известно, что и тогда, и впоследствии, в годы женатой жизни, он посещал салон Долли и ее матери, водил политические беседы с Фикельмоном, который порой снабжал его французскими книгами. Несколько загадочный оттенок имели краткие замечания одного из основоположников пушкинизма, П.И.Бартенева, который в одной из заметок писал, что Пушкин «бывал очень близок с графиней Д.Ф.Фикельмон» и что она, «по примеру матери своей, высоко ценила и горячо любила гениального поэта и, как сообщал мне Нащокин, не в силах бывала устоять против чарующего влияния его (брат Пушкина говорил, что беседа его с женщинами едва ли не пленительнее его стихов)». Однако лишь в 1925 г. М.А.Цявловский опубликовал запись бартеневской беседы с Нащокиным (одним из ближайших друзей Пушкина) — и эта запись представила отношения Пушкина с Дарьей Федоровной в совершенно новом свете. Вот ее полный текст:

Следующий рассказ относится уже к совершенно другой эпохе жизни Пушкина. Пушкин сообщал его за тайну Нащокину и даже не хотел на первый раз сказать имени действующего лица, обещал открыть его после.— Уже в нынешнее царствование, в Петербурге, при дворе была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее молодые лета не были опозорены молвою (не было человека, к которому бы она питала);¹ она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени. Эта блистательная, безукоризненная дама наконец поддалась обаяниям поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец; по условию, он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад — опасно. Наконец после долгих ожиданий он слышит <—> подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины: они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. „Etes-vous là?“ и Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню. Дверь была заперта; густые, роскошные гардины задернуты. Начались восторги сладострастия. Они играли, веселились. Пред камином была разостлана пышная полость из медвежьего меха. Они разделись донага, вылили на себя все духи, какие были в комнате, ложились на мех... Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем рассвело, уже белый день. Как быть? Он наскоро, кое-как оделся, поспешая выбраться. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода, но люди уже встали. У самых дверей они встречают дворецкого, итальянца (печки уже топят). Эта встреча до того поразила хозяйку, что ей сделалось дурно; она готова была лишиться чувств, но Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его, как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя. В своем критическом положении они решились прибегнуть к посредству третьего. Хозяйка позвала свою служанку, старую, чопорную француженку, уже давно одетую и ловкую в подобных случаях. К ней-то обратились с просьбою провести из дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за ширм он спросил: „Кто здесь?“ — „Это я“, — отвечала ловкая наперс-

¹ В скобки заключена фраза, в подлиннике зачеркнутая.

ница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел: если б кто его здесь и встретил, то здесь его появление уже не могло быть предсудительным. На другой же день Пушкин предложил итальянцу-дворецкому золотом 1000 руб., чтобы он молчал, и хотя он отказывался от платы, но Пушкин принудил его взять.— Таким образом, все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжение четырех месяцев не могла без дурноты вспомнить об этом происшествии.

После этой записи, безвкусный стиль которой нас не должен смущать, становятся понятны его намеки. О том, что речь идет именно о Д.Ф.Фикельмон, не может быть сомнений, так как ее имя раскрыто самим Бартеневым на полях тетради. Тем не менее некоторые исследователи (В.Ф.Саводник, Л.П.Гроссман) усомнились в действительности всего происшествия, видя в нем не более как «устную новеллу» Пушкина. Однако за достоверность рассказа говорят важные факты: его происхождение от такого добросовестного и осведомленного лица, каков был Нащокин; то, что бартеневская тетрадь некогда была в руках другого пушкинского приятеля, С.А.Соболевского, который сделал в ней ряд поправок и замечаний на полях, но не возражал против данного рассказа; то, что совсем недавно, в подготовительных материалах, собранных П.В.Анненковым для биографии Пушкина, была обнаружена Б.Л.Модзалевским фраза: «Жаркая история с женой Австр. Посланника». Мне кажется, наконец, что в пользу достоверности можно привести еще одно соображение. Назвав Нащокину имя дамы, Пушкин, разумеется, совершил нескромность. Однако если бы история была вымышленной, этот поступок пришлось бы квалифицировать несравненно более резко: пришлось бы сказать, что Пушкин Д.Ф.Фикельмон оклеветал, а это, разумеется, не вяжется ни с его общим нравственным обликом, ни с его отношением к данной женщине.

Запись Бартенева освещает, однако, лишь один момент любовной истории, в которой многое остается неизвестно. Долго ли продолжались ухаживания Пушкина, прежде чем Долли «поддалась его обаяниям»? Происходили ли между ними другие любовные свидания, или описанное было единственным? В точности мы не знаем даже, когда оно происходило. Подчеркивая сходство проникновения Пушкина в дом Фикельмонов с проникновением Германна в дом старой графини, Цявловский приурочивает свидание к эпохе, непосредственно предшествующей написанию «Пиковой дамы», то есть к зиме 1831—1832 или 1832—1833 г. Однако вполне возможно, что прав Н.В.Измайлов, относящий эпизод к более ран-

ней поре — к 1829 году. Конечно, существо дела не меняется с переменной эпохи, но меняется психологическая обстановка событий и, быть может, роль, которую связь Пушкина с Фикельмон сыграла в истории его последней дуэли.

Вскоре после того, как Пушкин с молодой женой появился в Петербурге летом 1831 года, Фикельмон писала Вяземскому: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья... Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены — вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз». Спустя несколько месяцев та же корреспондентка в письме к тому же Вяземскому повторила: «Жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».

Если любовный эпизод, рассказанный Нащокиным, имел место в 1829 г., до женитьбы Пушкина, то в этих словах Фикельмон, во всяком случае пророческих, приходится расслышать отголосок ревности, не имевшей, однако, влияния на дальнейшую судьбу Пушкина. Другое дело — если любовная история разыгралась позже, между Фикельмон и уже женатым Пушкиным. В этом случае ревновать должна была жена поэта, которая могла узнать или догадаться о происшедшем. Связь Пушкина с женой австрийского дипломата должна была в глазах Натальи Николаевны сильно отяготить список любовных провинностей мужа, действительных или подозреваемых. При таких условиях Наталья Николаевна со своей точки зрения получала все основания для того, чтобы поддерживать ухаживания Дантеса, видя в таком попустительстве способ отомстить Пушкину или хотя бы его запугать. Иными словами, вполне допустимо предположить, что история с Фикельмон отяготила и осложнила семейную ситуацию Пушкина, и без того тяжелую и запутанную.

Через три года после смерти Пушкина граф Фикельмон получил новое назначение и вместе с семьей покинул Петербург навсегда. В 1857 г. он скончался, восьмидесяти лет от роду, а 7 (19) апреля 1863 г. умерла и сама Дарья Федоровна. В том же году умерла Н.Н.Пушкина-Ланская.

КУРЬЕЗЫ ПСИХОАНАЛИЗА

Однажды, в начале революции, в Москве, ко мне пришел мой знакомый психиатр И.Д.Ермаков и предложил мне прослушать его исследование о Гоголе, написанное на основе психоаналитической теории Фрейда и всего Гоголя объясняющее как сплошную символизацию эротического комплекса. Я был погружен в бурный поток хитроумнейших, но совершенно фантастических натяжек и произвольных умозаключений, стремительно уносивших исследователя в черный омут нелепицы. Таким образом, мне нечаянно довелось быть если не умиленным, то все же первым свидетелем «младенческих забав» русского литературного фрейдизма. В начале двадцатых годов труд Ермакова появился в печати — и весь литературоведческий мир, можно сказать, только ахнул и обомлел, после чего разразился на редкость дружным и заслуженным смехом.

Можно было надеяться, что опыты, подобные ермаковским, не будут повторены. И в самом деле, до недавнего времени русская литература от них была избавлена. Но вот — передо мною лежат два оттиска из журнала *Русский врач в Чехословацкой Республике*, и по ним приходится с грустью убедиться, что радость была преждевременна.

Первый оттиск (из № 5 за 1937 г.) содержит статью д-ра Ф.Н. Досужкова — «Психологические замечания по поводу сновидения Адриана Прохорова из повести А.С.Пушкина „Гробовщик“». Вторая статья, «Страшные сны в произведениях А.С.Пушкина», принадлежит тому же автору и была напечатана в № 2 за 1938 г. Необходимо отметить, что д-р Досужков значительно осторожнее и серьезнее Ермакова. Однако и его рассуждения о сновидениях пушкинских персонажей отнюдь не представляются нам удачными, а в некоторых частях, как увидим ниже, они способны вызвать улыбку — снисходительную или досадливую, смотря по темпераменту читателя.

Д-р Досужков исходит из фрейдовского тезиса, гласящего, что сновидение есть продукт душевной жизни сновидца. Не беру на себя смелости обсуждать этот тезис по существу. Допускаю, что он вполне правилен. И все-таки исходить из него при анализе сновидений, являющихся литературным персонажам, есть несомненная методологическая ошибка. Литературный персонаж — не жи-

вой человек. Самостоятельной, реально существующей душевной сферой он не обладает, и сны, которые ему снятся, диктуются, а еще вернее сказать — приписываются ему автором. Создавая сон своего героя, автор исходит из данных собственного опыта и из рассказов других лиц, как он это делает и в других областях творчества. Однако именно в данной области, как наименее контролируемой законами логики и природы, авторский произвол наименее ограничен. Автор волен заставить героя видеть во сне все что угодно, причем, конечно, он руководствуется не психологией сновидения, а надобностями сюжета и фабулы. Отсюда ясно, что пользоваться литературными данными для научной психоаналитической работы нельзя, хотя это и делается всеми психоаналитиками, начиная с самого Фрейда. Исследователь тут оказывается в том же положении, в каком очутился бы психиатр, производящий свои наблюдения в клинике, сплошь наполненной заведомыми симулянтами.

Так же отрицательно, хотя более сложно, решается обратный вопрос — о том, в какой степени может быть полезен психоанализ при изучении литературных явлений.

Всякое высококачественное литературное произведение (а ведь о таких произведениях и идет речь, потому что именно из них психоаналитики черпают материал) подчинено известным законам художественной экономии. Сон литературного героя никогда не есть бесцельная или случайная «вставка». Он всегда не только связан с общей идеей и художественной структурой произведения, но и непосредственно им подчинен. Наряду со всеми другими отдельными частями романа, повести, рассказа или поэмы он всегда выполняет служебную роль по отношению к общему замыслу. Поскольку события, совершающиеся во сне, не входят в общую цепь реальных фактов, составляющих фабулу, мы вряд ли ошибемся, если скажем, что эта роль есть служебная, даже по преимуществу. Заставляя героя увидеть тот или иной сон, автор всегда преследует известную цель, недостижимую или трудно достижимую иным способом. Основным образом, с некоторыми осложнениями и отклонениями, сны литературных героев можно бы разделить на два разряда — соответственно тем авторским задачам, разрешению которых эти сны служат.

Литературный персонаж, как и живой человек, нередко имеет свои тайны, которые преимущественно состоят из сокровенных желаний, чувств и угрызений совести. Каким способом, не нарушая правдоподобия, заставить его высказать эти тайны, в которых

он часто не решается признаться и самому себе, которые иногда гнездятся в самых глубоких пластах его сознания или даже в его подсознании? Каким способом эти тайны довести до сведения читателя, а в случаях подсознательности и до сведения самого персонажа? Вот тут-то автор и прибегает к сну, который в литературном отношении имеет целый ряд добавочных свойств, выгодных автору: делает истину вполоткрытой, лишь намекая на нее, но не окончательно раскрывая, стимулирует любопытство и воображение читателя, создает эффектные параллелизмы с событиями, происходящими наяву, и т.д., и т.д. Эти сны можно бы назвать разоблачительными. Иногда, не довольствуясь пересказом сна, автор заставляет персонажа еще и бредить, что бывает необходимо в тех случаях, когда намек на тайные мысли и чувства героя должен быть сообщен не только читателям, но и другим действующим лицам. В некоторых случаях бред дается в отдельности, без пересказа сна или даже помимо сонных видений, будучи мотивирован болезнью. Этих разоблачительных бредов в литературе — великое множество. В жизни они случаются несравненно реже: лишнее подтверждение того, как опасно пользоваться литературным материалом для психических исследований.

Сон гробовщика Адриана Прохорова принадлежит к категории этих разоблачительных видений. Исходя из фрейдовского положения, гласящего, что сон есть исполнение желания сновидца, д-р Досужков приходит к выводу, что в этом сне галлюцинаторно осуществлены желания Прохорова: участвовать в погребении купчихи Трюхиной и искупить вину перед обманутым мертвецом. Анализ д-ра Досужкова на сей раз точен и обстоятелен: беда заключается только в том, что все, добытое этим анализом, явствует из самой пушкинской повести, составляет одну из важнейших частей в ее замысле. Если бы и без д-ра Досужкова читатель всего этого не сообразил, то это значило бы одно из двух: либо — что Пушкин не сумел довести свой замысел до сознания читателя, либо — что читатель так непонятлив, что и писать для него не стоит. Столь же обстоятельно д-р Досужков разбирает сон Германна из «Пиковой дамы» — и снова вскрывает в нем то, что хорошо известно всякому читателю, умеющему понимать прочитанное. Правильно усмотрена исследователем и разоблачительная часть гриневского сна из *Капитанской дочки*: страх перед бурным. Но и об этом страхе читатель непременно знает без психоанализа. Таким образом, научная работа д-ра Досужкова оказывается в этой части произведенной впустую. Правда, из нее как буд-

то можно извлечь лестный для Пушкина вывод о том, что он за семьдесят лет предвосхитил Фрейда. Д-р Досужков это и делает. Но его комплимент повисает в воздухе, потому что сон Прохорова, как сон Германна и как разоблачительная часть гриневского сна, построен не на дофрейдовском психоанализе, а на литературной традиции разоблачительных снов, существовавшей задолго до Пушкина. Этой традиции писатели следовали, следуют и будут следовать не потому, что она находит себе подтверждение в науке, а потому, что она составляет выгодный и удобный литературный прием. Конечно, самое возникновение этой традиции, по-видимому, объясняется житейскими наблюдениями. Поговорка о том, что «голодному снится каша», существует испокон веков. Удивляться приходится не тому, что Пушкину подобные вещи были известны «за семьдесят лет до Фрейда», а тому, что психиатрия открыла их так поздно.

Кроме разоблачительных снов, в литературе с незапамятных времен существуют сны вещие (в состав которых порою, как в сне Гринева, входят и элементы разоблачительные). Может быть, их даже больше, чем снов разоблачительных. У Пушкина их во всяком случае больше: таковы сны Григория Отрепьева в «Борисе Годунове», Татьяны в *Евгении Онегине*, Марьи Гавриловны в «Метели» и не замеченный д-ром Досужковым сон Руслана. Литературная цель этого приема двояка: авторы прибегают к нему либо когда хотят подчеркнуть роковой характер изображаемых событий, либо для того, чтобы вызвать в читателе своеобразную игру ума, заставив его по элементам сновидения стараться предугадать дальнейшее развитие фабулы. (В последнем случае сон может быть причислен к так называемым торможениям сюжета.)

Несомненно, что вещие сны в литературе происходят из народных поверий и в этом смысле их условно можно признать основанными на житейских наблюдениях. Вопрос о том, насколько тот или иной автор верит в возможность вещих снов, несуществен. В частности, Пушкин был суеверен и мог придавать снам пророческое значение. Но если бы он и не верил в вещие сны, он мог ими пользоваться как литературным приемом и как фантастическим материалом: в Черномора, шапку-невидимку и тому подобные вещи он, несомненно, не верил, однако их далеко не гнушался.

Совершенно ясно, что психоанализ в пророческий смысл вещих снов верить не может. Поэтому ему следовало бы просто пройти мимо них, как мимо фантастики, не подлежащей его изучению. Но такова самоуверенная наивность современной науки, что она не

допускает возможности существования даже чисто литературных вымыслов, выходящих за пределы ее компетенции. Поэтому и д-р Досужков пускается в исследование вещей снов у Пушкина. И вот, не зная, что делать с их подлинным, сверхъестественным смыслом и содержанием, он их толкует с точки зрения главного фрейдистского «конька»: с точки зрения сексуальных переживаний, испытываемых сновидцами. И уж тут воистину начинается бред, только принадлежит он не сновидцам, а самому исследователю.

Из уважения к образу Татьяны мы воздержимся от пересказа того, что пишет о ее сне д-р Досужков. Довольно сказать, что ее сновидение кажется ему «насквозь сексуальным»: оно будто бы выражает не что иное, как страх перед дефлорацией и желание ее. По мнению доктора, приснившиеся Татьяне чудовища неспроста обладают «признаками мужского пола», а длинный нож в руке Евгения Онегина символизирует предмет, русское название которого ученый муж вынужден заменить латинским. В том же духе трактовано сновидение Марии Гавриловны из «Метели».

Но и Татьяна, и Марья Гавриловна — влюблены. Их сны с их любовью связаны, и какая-то смутная тень эротической темы здесь логически допустима. Зато вне всякой логики и вне всякого понимания Пушкина находятся домыслы д-ра Досужкова о снах Гринева и Григория Отрепьева. «Сновидение Григория в сексуальном истолковании является эксгибиционистическим», пишет исследователь, — потому что «всякое показывание себя кому-нибудь с выгодной или красивой стороны имеет сексуальный корень». Поэтому когда Григорий показывается народу, стоя на башне, — это выражает его мечту об эксгибиции, а падение с башни — страх перед наказанием за эксгибицию. «В сновидении Гринева замену отца именно Пугачевым, — пишет д-р Досужков, — легко объяснить симпатией, которую почувствовал Гринев к этому последнему». Далее следуют классические фрейдистские рассуждения на тему об «эдиповом комплексе» — и наконец — нечто замечательное: «При желании здесь можно видеть и гомосексуальный элемент».

Договорившись до гомосексуального влечения Гринева к Пугачеву, наш исследователь по отношению к Ленскому и Онегину оказывается более милостив: «Для гомосексуальных отношений между Онегиным и Ленским во всей поэме нет никаких данных», — говорит он. Как видит читатель, дело доходит уже до вполне комических размышлений, и мы позволим себе закончить

эту статью двумя шутками. Во-первых — почему д-р Досужков уверен, что в отношении Онегина к Ленскому нет гомосексуального элемента? А не потому ли Онегин затевает ссору с Ленским и убивает его, что ревнует его к Ольге? Во-вторых — пушкинистские рассуждения д-ра Досужкова в конце концов нам начинают казаться его собственным бредовым сновидением, в котором мы с удовольствием констатируем полное отсутствие эксгибиционного момента, так как д-р Досужков отнюдь не показал себя с выгодной стороны.

1938

ЖЕНА ПУШКИНА

8 декабря (26 ноября по старому стилю) исполнилось семьдесят пять лет со дня смерти Натальи Николаевны Пушкиной, женщины, сыгравшей роковую роль в судьбе величайшего русского поэта и одного из величайших русских людей вообще.

Жизнь Пушкина среди современного ему общества и в условиях его эпохи была в основе своей трагична (что, разумеется, вовсе не значит, будто в иных обстоятельствах она сложилась бы счастливо). Вопрос о том, удастся ли ему сносить голову, не раз возникал перед ним еще до встречи с Натальей Николаевной. Однако же, не случись этой встречи, события, может быть, не приняли бы столь быстрого и страшного оборота. Поэтому вполне естественно, что на протяжении ста двух лет, протекших со дня смерти Пушкина, русское общество, начиная с историков литературы и кончая рядовыми читателями, стремилось выяснить, в какой мере Наталья Николаевна была повинна в гибели своего мужа. Было вложено в это дело немало вдумчивого и тщательного труда, и все-таки никаких окончательных выводов не добыто. Вопрос остается открытым, и, может быть, всего более нас тревожит именно своей действительной или кажущейся неразрешимостью.

Для того, чтобы коснуться его во всем объеме (при чем понадобилось бы пересмотреть многие предлагавшиеся решения и доводы), пришлось бы, конечно, написать целую книгу о жене Пушкина. В пределах газетной статьи мы можем коснуться темы лишь кратко и схематически.

Прежде всего эту тему вообще следует значительно сузить, исключив из нее вопрос, который многим кажется кардинальным: вопрос о том, изменила ли Пушкину его жена. Пушкин был очень ревнив, но его последняя драма отнюдь не была драмой ревности. Ярость, с которой он обрушился на Дантеса, вовсе не была яростью обманутого мужа. Напротив, целью всех его действий было доказать, что измены не было, что жена его оклеветана. В его глазах Дантес был не любовником Натальи Николаевны, а лишь возбудителем клеветы и пособником клеветников. Именно эту, а не какую-либо другую версию он и отстаивал всеми способами. Именно за нее он и умер, и на смертном одре, в невыносимых страданиях, не забывал внушать окружающим уверенность в том, что Наталья Николаевна неповинна в измене.

Это еще не значит, что он вовсе не ревновал ее к Дантесу. Ревновал несомненно, и эта ревность проскользнула даже в его письмо к Геккерену: упоминая о презрении, возбужденном в Наталье Николаевне трусливой женитьбой Дантеса на ее сестре, Пушкин пишет, что в этом презрении «угасло то чувство, которое она, быть может, испытывала перед пылкими домогательствами Дантеса». Пушкин, следовательно, допускал, что было такое время, когда Наталья Николаевна могла отнестись небезразлично к любви Дантеса. Будучи достаточно сведущ в «науке страсти нежной», он не мог не знать, как часто такое небезразличие переходит в любовь. Может быть, он подозревал, что этот переход даже уже наметился или начал совершаться, но в супружеской верности Натальи Николаевны он не сомневался.

Таким образом, допуская возможность измены с ее стороны, мы не только кощунственно нарушаем последнюю волю Пушкина, но и делаем логическую ошибку: ведь даже если Наталья Николаевна была повинна в измене (чему, кстати сказать, нет решительно никаких веских доказательств), то ведь Пушкин-то во всех своих действиях исходил из противоположной уверенности. Следовательно, если бы даже была измена со стороны Натальи Николаевны,— эта измена осталась бы ее личною тайной и не повлияла на ход событий. Самое трагическое в гибели Пушкина — не то, что он погиб вследствие измены жены, а то, что измены не было, а погиб он все-таки от жены. Только исходя из этого положения мы и можем сколько-нибудь справедливо выяснить содержание и степень ее виновности.

Тотчас по возвращении из ссылки Пушкин решил жениться, потому что хотел упорядочить свою жизнь, потому что «в трид-

цать лет люди обыкновенно женятся», потому что хотел поискать счастья на избитых путях. Несколько раз он сватался неудачно. Наконец встретил Наталью Николаевну Гончарову и выбрал ее по страстному увлечению, которое, впрочем, значительно поостыло за два года, протекших со дня первой встречи до свадьбы. Он знал, что невеста никаких любовных чувств к нему не питает, и страшился будущего. Много раз готов был, по выражению Вяземского, «заключить отступной контракт». Перед свадьбою он провел несколько месяцев в деревне, в творческом подъеме исключительном, но едва ли не все, что он написал в это время, было полно самых мрачных предчувствий. Но, кажется, сама опасность, которую он сознавал, имела для него странную притягательную силу. 18 февраля 1831 г. он пошел под венец, накануне этого дня поразив мрачностью друзей, собравшихся к нему на мальчишник. Подобно Ибрагиму в «Арапе Петра Великого», он готов был не требовать от жены любви и довольствоваться ее верностью. Надо признать, что на семейную жизнь он смотрел вполне «феодално», без «романтических затей».

Наталье Николаевне было всего шестнадцать лет, когда Пушкин впервые сделал ей предложение. Замуж вышла она восемнадцати. Сперва ее не хотели выдавать за Пушкина, потом согласились. Причины отказа, как и согласия, нам в точности неизвестны; вероятно, мать, деспотически управлявшая дочерьми, мечтала о более выгодной партии, но не нашла. Выходя замуж без любви, как и без отвращения, Наталья Николаевна, вероятно, думала, что со временем сможет к Пушкину привязаться (на что только рассчитывал и он сам). Вполне несомненно, что она собиралась быть добродетельной женой: сестры Гончаровы были воспитаны матерью в строгих правилах, хотя сама мать таковых не придерживалась. Словом, Наталья Николаевна готова была составить счастье своего мужа. Но что этот муж был Пушкин, а не кто-либо иной, и что счастье такого человека составляется не так просто, как счастье обыкновенных людей,— этого она не понимала, как по младости лет, так и по характеру своего воспитания, так и по складу и объему ума своего. Ничего этого не научилась она понимать и за те шесть лет без малого, которые прожила с Пушкиным.

За исключением Туманского, которому она не очень понравилась, кажется, не было человека, который не восхищался бы ее красотой. Зато и не было человека, который нашел в ней что-нибудь, кроме красоты. Соболевский назвал ее просто глупой,— но, может быть, он и преувеличивал. Судя по всеобщему молча-

нию об ее умственных и нравственных качествах, она была не умная и не вовсе глупая, не добрая и не злая. Она была никакая, и все ее бытие как-то сосредоточивалось на физическом плане. Из семидесяти одного месяца, прожитого с Пушкиным, около сорока месяцев она была беременна (четверо детей и один выкидыш; ее способность к деторождению удивляла и, кажется, слегка раздражала Пушкина). В прочее время — сияла, блистала, выезжала, наряжалась. По-видимому, она была не лишена известной практической сметливости, ей можно было даже поручить несложные деловые переговоры. Но вся идейная и поэтическая жизнь Пушкина была ей недоступна. Правда, ей случалось писать стихи. Однако Пушкин, вообще старавшийся приподнять, приукрасить ее в своих собственных глазах и в глазах друзей, избегал даже читать эти произведения. Она же не понимала, до какой степени это безвкусно: жена Пушкина, пишушая плохие стихи!

Друзья Пушкина, один за другим, при первой встрече как бы спешили отдать дань восхищения ее красоте, — чтобы уж потом как бы не замечать ее. Кажется, и она отличила среди них одного Нащокина — самого доброго, самого, может быть, верного, но зато и самого нетароватого. Среди светских женщин были умные и образованные, более или менее подходящие ей по возрасту: А.О. Смирнова, А.К.Шернваль-Демидова, гр. Э.К.Мусина-Пушкина, Д.Ф. Фикельмон, бар. Е.Н.Вревская (в девичестве — Зизи Вульф). Ни с кем из них у Натальи Николаевны не возникло никакой близости. Ее подругой была Идалия Полетика, пошлая сплетница, интриганка, женщина очень сомнительной репутации.

Она не имела понятия о том месте, которое занимал Пушкин в России. Как раз в ту пору, когда ему всего необходимее было сохранить независимость в собственных глазах и в глазах общества, своими тратами она вынуждала его принимать закабаляющую помощь со стороны правительства. Она нравилась государю Николаю Павловичу, — это было ей лестно. Чтобы она могла появляться на балах в Аничковом дворце, Пушкина нарядили в камерюнкерский мундир, что в его возрасте и при его положении было совершенно скандально: кажется, одна Наталья Николаевна так и не поняла, почему при известии об этой милости у Пушкина глаза налились кровью и его пришлось буквально поливать холодной водой. Несмотря на советы и просьбы Пушкина, она выписала из деревни двух сестер своих: от этого не только возросли домашние расходы, уже ранее бывшие непосильными, но и помножились на три все светские пересуды, интриги, сплетни. Пушкину пришлось

не только выезжать с тремя дамами, но и хлопотать о том, чтобы его своячениц не забывали приглашать на балы и рауты. При его натянутых отношениях с большим светом, такие хлопоты подчас были унижительны. Наконец, Наталья Николаевна вздумала пристраивать сестер фрейлинами и пристроила: при симпатиях, которые к ней питал государь, это ставило ее под удар завистливых толков и сплетен. Когда же Пушкин, вконец измученный, замыслил побег из «свинского Петербурга» в деревню, Наталья Николаевна старалась удержать его в Петербурге, совершенно так же, как его злейший враг — Бенкендорф.

В основе всего этого лежала ее неодолимая страсть к светской жизни. Но и эта страсть была движима другою, лежащею еще глубже, в самой основе ее существа: кокетством. Пушкин не выносил кокетства и порою в очень грубых выражениях определял его сущность. И надо же было судьбе устроить так, чтобы в жены ему досталась женщина, для которой кокетство было почти физической, непреодолимою потребностью! Пушкин понимал, что от кокетства ее удержать немислимо. Считая кокетство стремлением к безответственному, бесцельному возбуждению надежд и желаний в мужчинах, он, может быть, считал его как бы громоотводом против возможной измены. Но он также знал и то, что в условиях светской жизни кокетство рождает слухи об изменах, на самом деле даже не бывших. Эти ложные слухи были для него так же ужасны, как если бы они были не ложными. При мысли, что его могут зачислить в разряд обманутых мужей, в нем не только вскипало неистовство семьянина и собственника: не менее, а может быть еще более страшило его то, что рогносцем может быть объявлен не только «шестисотлетний дворянин» или камер-юнкер, но и поэт Александр Пушкин. Его ужасало сочетание рогов не с камер-юнкерским мундиром, а с лавровым венком. Он сознавал себя великим явлением русской жизни и не лично, но вполне патристически страшился, как бы смешное и пошлое не сплелось с его именем.

Он не столько умолял Наталью Николаевну не кокетничать, сколько стремился ввести ее кокетство в известные границы, вытравить из него «все, что не *comme il faut*». Вероятно, она читала восьмую главу *Евгения Онегина*, но из светского портрета Татьяны не извлекла для себя ничего. Атмосфера, которую она вокруг себя создавала, была дешевая, пошловатая. Соллогуб рассказывает, что в нее была повально влюблена вся петербургская молодежь. Из всей этой молодежи она выбрала и отличила самого ни-

чтожного пошляка — Дантеса. Напрасно Пушкин себя обольщал мечтой о том, будто она научилась презирать Дантеса. В том-то и горе, что не научилась и все еще заслушивалась его остротами, когда весь Петербург понимал уже, что трагедия неминуема и близка.

Преддвуэльный конфликт Пушкина с Дантесом и Геккереном тянулся больше двух с половиною месяцев. В события было втянуто много людей, сыгравших в них ту или иную роль. Одна Наталья Николаевна оставалась почти в бездействии, словно бы «выше мира и страстей», тогда как один ее жест (хотя бы отъезд в деревню) мог пасти все. Наконец она вышла из неподвижности — и одним, единственным свиданием с Дантесом у Полетики сразу сгубила Пушкина.

Когда Пушкин со своим секундантом ехал к месту дуэли, им встретилась Наталья Николаевна, возвращавшаяся с катка. Еще в этот миг она могла бы предотвратить несчастье — но она их не видела: была близорука. Сцена эта, конечно, вполне символическая. Нельзя обвинять ее за близорукость — но и близорукость сыграла свою роковую роль. Точно так же она была неповинна в своей близорукости умственной и душевной. Просто — она была слишком не по плечу Пушкину, духовно была для него мала ростом (как физически была велика). Вероятно, и Пушкин был не прав перед нею, возложив на плечи хорошенькой барышни непомерную честь и непосильное бремя — стать женой Пушкина. Через четыре года после его смерти, так и не разобравшись, кажется, в происшедшем, она вышла замуж за Ланского, которому исправно рожала детей и была вполне подходящей женою, потому что Ланской был не Пушкин.

1938

НОВЫЕ КНИГИ О ПУШКИНЕ

В феврале 1937 года харбинский Пушкинский комитет устроил пушкинскую выставку. Состояла она преимущественно из репродукций с картин, гравюр, портретов, рисунков, рукописей и т.п. Экспонаты были снабжены пояснительным текстом. Цель организаторов заключалась в том, чтобы дать зрительное представление о

важнейших этапах жизни Пушкина, о людях и местностях, с которыми был он связан. Успех выставки породил мысль, как бы закрепить ее в виде альбома, иллюстрирующего ту же тему. Такой альбом и был издан недавно в Харбине под названием *Пушкин и его время*. В процессе работы над ним выяснилась необходимость увеличить число рисунков и расширить комментарий к ним. Рисунки были сопровождаемы небольшими очерками, а также обильными цитатами из художественных, эпистолярных и мемуарных произведений самого Пушкина и его современников.

Эта работа была выполнена любовно и тщательно П.А.Казаковым, П.И.Савостьяновым и профессором К.И.Зайцевым, которому принадлежит и общая редакция издания. Материал, как иллюстрационный, так и цитатный, подобран довольно полно и разносторонне. Книга, содержащая 207 хорошо исполненных репродукций и 214 больших страниц убористо набранного текста, дает действительно очень много сведений, в особенности молодому поколению, для которого не только пушкинская, но и позднейшая Россия содержит так много неведомого и неясного. Люди старшего поколения, конечно, найдут в альбоме не столь много нового, но и им будет приятно и небесполезно «оживить воспоминанье», перелистывая альбом. Наконец, даже специалистам — историкам литературы и пушкиноведам, оторванным от российских музеев и книгохранилищ, книга будет бесполезна в качестве одного из справочников, в котором могут они найти необходимую дату или нужный отрывок из книги, раздобыть которую в данный момент нет возможности.

В общем издание харбинского Пушкинского комитета вызывает сочувствие. Однако возникают и возражения, которые приходится сделать составителям альбома. Прежде всего, нам кажется, что напрасно они включили в книгу, основанную на документах пушкинской эпохи, иллюстрации позднейшего происхождения. Таковы — воображаемый портрет няни Арины Родионовны работы Максимова, его же — Пушкин у Михайловских сосен, четыре картины Айвазовского, изображающие Пушкина в Крыму, Пушкин на бахчисарайском кладбище — Суренянца, Пушкин в деревне — Серова, его же — Пушкин на петербургской набережной, его же — Пушкин в царскосельском парке, Пушкин за работой — Н.Кузьмина, Пушкин у Гоголя — бар. Клодта, Александр I во время наводнения 1824 г. — А.Н.Бенуа. Пусть некоторые из этих иллюстраций имеют художественные достоинства (рисунки Максимова их решительно не имеют) — все же они нарушают стили-

стическое единство материала и в этом смысле дезориентируют неосведомленного читателя. Еще хуже, что в числе этих иллюстраций позднейшего происхождения имеются такие, которые, опять-таки вне зависимости от художественных достоинств или недостатков, содержат в себе прямые погрешности против исторической правды. «Пушкин и Пущин» Ге и «Пушкин на лицейском экзамене» Репина, быть может, представляют собою известную ценность в истории живописи. Но из книг, посвященных истории Пушкина, как иллюстрации к этой истории следует их раз навсегда исключить. Такому же исключению подлежат и «Пушкин и няня», картина Геллера, и «Конец дуэли» Чичагова, который, помимо мелких погрешностей в костюмах и пейзаже, присочинил целого пятого участника дуэли, в которой на самом деле участвовали лишь четверо: Пушкин, Дантес и два секунданта. Из старинного иконографического материала следовало исключить портрет Пушкина в лицейском мундире: апокрифичность этой акварели может считаться вполне установленной.

К числу «апокрифов» должны быть отнесены и воспроизведенные в альбоме экспонаты парижской пушкинской выставки: пресловутые пистолеты и миниатюрный портрет, о котором слишком еще не доказано: а) что он сделан Тропининым, б) что Пушкин его подарил своей невесте, в) что Пушкин или его невеста этот портрет когда-нибудь видели, г) что вообще он изображает Пушкина, а не кого-нибудь другого.

Излишнюю доверчивость проявили составители альбома и в отношении текста. Не будем их упрекать за то, что они пользовались неправдивыми воспоминаниями Льва Павлищева: цитат из этой книги взято немного, а те, которые взяты, трактуют о вещах если не вполне достоверных, то все же достаточно правдоподобных. Гораздо хуже, что последняя часть книги, посвященная николаевской эпохе, изобилует ссылками на ту часть записок А.О.Смирновой, которая, как неопровержимо установлено более тридцати лет тому назад, была фальсифицирована. Было бы полбеды, если бы дело шло о каких-либо отдельных частностях, эпизодах, не имеющих существенного значения. Но записки Смирновой (на которые, кстати сказать, очень любят ссылаться многие зарубежные авторы книг и статей о Пушкине) оказали на составителей альбома заметное и глубокое влияние, внушив им неверные, специфически «смирновские» (или, лучше сказать, лжесмирновские) воззрения на некоторые весьма важные стороны пушкинской биографии. Апокрифические записки Смирновой в высшей

степени тенденциозны. В них дано совершенно лубочное изображение политических и религиозных воззрений и переживаний Пушкина в последнюю эпоху его жизни, так же как неправдивое, прикрашенное и слащавое изображение отношений Пушкина к императору Николаю I и отношений императора к Пушкину. Не хочу сказать, что составители альбома безоговорочно следовали за лже-Смирновой. Не раз они сочли нужным смягчить или ограничить ее слишком резкие и широкие утверждения,— и хорошо сделали. Но все-таки они слишком часто ссылаются на ее записки, слишком доверчиво прислушиваются к ее голосу. Отчасти вследствие именно этой ориентации на Смирнову вся история пушкинской жизни, как она должна представиться читателю альбома, приобретает тот официально-благообразный, слишком благополучный, чуть ли не идиллический оттенок, который так свойствен был всем русским биографиям прошлого века и на уничтожение которого столько труда положил пушкинизм. Как-то выходит, что, за исключением нескольких неприятностей, в которых он сам был повинен и которые в конечном счете пошли ему же на пользу, жизнь Пушкина протекала гладко, среди всеобщего восхищения, что, за двумя-тремя исключениями, он был окружен преданными друзьями, что он сам всех любил и его все любили. При такой «концепции» появление Дантеса имеет вид досадной, но ничем не подготовленной случайности, и самая гибель Пушкина кажется чем-то вроде несчастного случая — вроде того, как если бы его искусила бешеная собака. В действительности, конечно, было не так. Причины будущей катастрофы были заложены и в окружении Пушкина, и во всей тогдашней русской жизни, и, разумеется, в нем самом. Этот внутренний трагизм пушкинской жизни в харбинском альбоме не только не выявлен, но, кажется, несколько даже и затушеван, о чем нельзя не пожалеть, потому что прикрашивание пушкинской биографии, сглаживание ее острых углов отнюдь не служат ничему, в том числе и патриотизму, который, как всякое благое дело, должен быть прежде всего основан на полной, неустрашимой правде.— Со всем тем должен я повторить то, с чего начал: *Пушкин и его время* — в общем хорошая, полезная книга, ознакомиться с которой советую всем, молодежи в особенности.

К сожалению, не могу того же сказать о другом зарубежном издании, также имеющем характер маленького свода сведений о Пушкине. Имею в виду *Календарь дней Пушкина*, изданный г. Евстафием Неговским в Кишиневе. Несомненно, г. Неговский очень

любит Пушкина и преисполнен самых благих намерений. Его книга (том, содержащий почти шестьсот страниц) потребовала, конечно, огромных усилий — литературных и материальных. Увы, эти усилия не только пропали даром, но и внесли в зарубежную пушкиниану прискорбно-комическую страницу.

В основу книги своей г. Неговский положил странную идею: он вознамерился расположить события пушкинской жизни по календарным датам. Замысел этот не имеет ничего общего с тем, что называется хронологической канвой. События у г. Неговского не идут день за днем от рождения Пушкина к его смерти, а распределены по календарю: на первой табличке изображено, что делал Пушкин в разные годы 1 января, потом — второго января, потом — третьего — и т.д., вплоть до 31 декабря (29 февраля отсутствует, хотя в жизни Пушкина оно случилось десять раз). Кому и для чего может понадобиться такой указатель — угадать отказываемся. Разве только, быть может, для астрологов. Надо заметить, впрочем, что и эта странная задача исполнена с бесчисленным множеством пропусков: у г. Неговского отмечено гораздо меньше событий, нежели даже в *Трудах и днях* Лернера, которые в свою очередь далеко не полны. Зато, наряду с событиями пушкинской биографии, отмечены события, не имеющие к ней никакого отношения: напр. — под 3 января 1785 г. — выход новиковского детского журнала, под 4 января — день рождения писателя Вересаева (которого, кстати сказать, зовут Викентий Викентьевич, а не Викентий Николаевич). Отмечен также день рождения И.А.Бунина, — не потому ли, что некогда ему была присуждена Пушкинская премия Академии наук за перевод «Песни о Гайавате»?

Сократить число отмеченных событий г. Неговскому пришлось, видимо, потому, что ему хотелось включить в книгу побольше отрывков из разных прочитанных книг и статей о Пушкине. Он это и сделал, иногда приурочивая цитату к подходящему дню, иногда — без всякого повода. Кроме цитат, данных без всякой критической проверки, тут же вклеены собственные размышления г. Неговского, а также размышления его супруги и некоторых его знакомых по Кишиневу. Получается невообразимый, сперва смешной, а потом досадный кавардак, в котором имена, даты, стихи, пушкинские и не пушкинские, *верные и неверные* сведения, спотыкаясь о бесчисленные опечатки, закружились, можно сказать, «будто листья в ноябре». До чего доходит хлопотливость и разносторонность г. Неговского, можно судить по тому, что в книгу вставлено даже стихотворение Игоря Северянина на смерть Лер-

монтова. Тут же сообщается, что «труд многолетний» г. Неговско-го закончен в пятницу, 18 сентября 1936 года, в десять часов тридцать минут утра. На 251 странице сообщено о кончине профессора А.Д.Коцовского, с которым г. Неговский много говорил о Пушкине. Далее следуют отрывки из мыслей покойного профессора... Requiescat in pace...

Должно отметить, однако, что одна страница в книге г. Неговского далеко не бесполезна. Это — факсимиле хранящегося в Кишиневе подлинного письма Пушкина к А.О.Ишимовой от 25 января 1837 г. До сих пор это письмо печаталось с несовершенных копий. Факсимиле дает возможность восстановить орфографию подлинника и сообщает текст подписи и адреса.

За недостатком места откладываем суждение о книге Александра Шика *Одесский Пушкин*. Эта книга недавно вышла в Париже. К сожалению, она далеко не оставляет такого же благоприятного впечатления, как вышедшая два года тому назад книга того же автора *Женатый Пушкин*.

1938

ОДЕССКИЙ ПУШКИН

Летом 1936 года, за несколько месяцев до пушкинского юбилея, вышла в Париже книжка Александра Шика *Женатый Пушкин*. Она содержала в себе популярное изложение обстоятельств, преимущественно семейных, приведших Пушкина к преждевременной смерти. Творческая личность поэта осталась в книжке почти незатронутой, с чем, однако же, можно было мириться, потому что история пушкинской гибели глубоко содержательна и трагична сама по себе, да и самая связь между жизнью и творчеством, обычно у Пушкина столь неразрывная, в его предсмертную пору была в значительной мере ослаблена. Имелись в книжке отдельные промахи, по большей части проистекавшие из недостаточно критического отношения к мемуарным и эпистолярным источникам, но в общем она была составлена тщательно и с несомненной любовью к Пушкину. Помнится, я отнесся к ней сочувственно.

К сожалению, такого сочувствия не вызывает вторая книжка того же автора, вышедшая сравнительно недавно, — *Одесский Пушкин*. Как показывает само заглавие, речь в ней идет о годе,

проведенном Пушкиным в Одессе. Как и в первой своей работе, г. Шик дает нам биографический отрывок, в котором, однако, нет или почти нет речи о пушкинском творчестве данного периода. Но на этот раз примириться с таким подходом уже нельзя. Теперь, когда перед нами не умирающий, а живой Пушкин, переживающий очень важный и напряженный период творческого созревания, представить читателю его «дни», не касаясь его «трудов», — значит обойти самое в нем существенное, значит рассказать не о поэте, о котором нам важно и любопытно знать все, а лишь о довольно безалаберном и неуживчивом молодом человеке, о нерадивом чиновнике, о котором мы, в сущности, очень спокойно можем не знать ничего. В низовой части общества и литературы существует известное предубеждение против пушкинизма и пушкинистов, которые будто бы заняты «ковырянием в личной жизни Пушкина». Предубеждение такое основано на незнании дела. Пушкинизм порой отдаст много сил на выяснение деталей пушкинской биографии. Но он делает это в порядке работы подготовительной, добывающей материал для суждений о самом пушкинском творчестве, тесно связанном с его жизнью. Работы же, подобные работе г. Шика, то есть такие, в которых рассказ о жизни составляет самоцель и не связан с рассказом о творчестве, не нужны, потому что не дают читателю самого важного о Пушкине, и даже вредны, потому что льют воду на мельницу противников пушкинизма.

По-видимому, г. Шик и сам отчасти сознает этот основной недостаток своего очерка. В предисловии он говорит, что касается поэтического творчества Пушкина «лишь попутно», так как это творчество «не укладывается в условные рамки» одесского периода. Такая оговорка не служит, однако же, ничему. Ведь и жизнь Пушкина не укладывается в рамки одесского периода. Если г. Шик справедливо счел возможным рассказать о жизни Пушкина в Одессе, вынеся за скобки все то, что было раньше и позже, то точно так же он мог поступить и с творчеством. Нет, скажу прямо: г. Шик обошел всю творческую сторону пушкинской биографии не потому, что она «не уложилась в рамки», а потому, что к этой стороне дела он подойти не умеет. Ему кажется, будто «попутно» он все же коснулся творчества, ибо привел несколько одесских эпиграмм и экспромт о саранче, а также процитировал стихотворение «Иностранке» и несколько отрывков из *Евгения Онегина*, касающихся Одессы. Но, во-первых, уж если на то пошло, то ни «Иностранке», ни *Евгения Онегина* цитировать как раз и не следовало:

«Иностранке» — потому что это стихотворение не относится к Ризнич (набросок его встречается в записной книжке 1820–1822 гг., когда Пушкин и не подозревает о существовании Ризнич), а отрывков из *Онегина* — потому что они писаны много позже и к одесскому периоду творчества не имеют никакого отношения. Вторых же (и это главное), говорить о творчестве какого-либо периода — вовсе не значит перечислять произведения, в данный период написанные, или цитировать из них те места, которые имеют автобиографическое содержание. Если бы г. Шик в самом деле отдавал себе отчет в том, что значит «коснуться творчества», то перед ним тотчас же возникли бы темы гораздо более сложные и глубокие. Укажу из них хотя бы одну — для примера. *Евгений Онегин* был задуман и начат еще в Кишиневе, под непосредственным влиянием Байрона. В Кишиневе начата первая глава. В ней Пушкин «захлебывался желчью» и «забалтывался донельзя», но «даль» романа, его предстоящее развитие были ему еще очень неясны. Именно в Одессе «даль» начала проясняться. Пушкин закончил первую главу, написал вторую и довел третью до письма Татьяны. Сатирический тон романа смягчился и отступил на задний план, зазвучала тема «ларинской» России, обозначился «милый идеал» Татьяны — и в процессе этой работы совершилось в Пушкине то самое преодоление Байрона, которое прежде всего было необходимо для того, чтобы со временем он мог стать истинно национальным поэтом. Показать, как совершался в Пушкине этот процесс, и попытаться угадать его причины — вот что значило бы коснуться творчества. Но мимо подобных заданий г. Шик прошел, на них не оглядываясь и, быть может, не подозревая, что только они могли бы оправдать существование его книги.

Допустим, однако, что я не прав, что биографию Пушкина (или отдельные главы этой биографии, как *Одесский Пушкин*) можно писать, не касаясь творческой деятельности поэта. Можно ли в этом случае найти достоинства в работе г. Шика? Полагаю, что и в этом случае придется признать ее неудачной. Одесский период в жизни Пушкина, несмотря на свою краткость, изобилует темными местами. Это один из самых неясных и нерешенных периодов. Что сделал г. Шик для его уяснения? Решительно ничего. Его работа произведена словно бы только клеем и ножницами. Г. Шик пересказал самые общеизвестные и самые поверхностные данные, как раз там, где эти данные требуют углубления и осмысления. Роман с Ризнич протекал совсем не так просто, как его изображает г. Шик. Помимо «близости» и «ревности» тут действовали очень

сложные и странные обстоятельства, без учета которых в этой истории ничего по-настоящему понять нельзя. Тут нужно многое выяснить, нужно распутать сложную и самим Пушкиным в его произведениях запутанную сеть взаимоотношений между Амалией, ее мужем, Пушкиным и Собаньским (а может быть, и не Собаньским, а каким-то еще из ее поклонников). Еще сложнее, еще таинственней — все то, что произошло между Пушкиным, четой Воронцовых и Александром Раевским. Вся жизнь Пушкина в Одессе и самая его ссылка в Михайловское, так же как длинный ряд одесских и позднейших писаний Пушкина, приобретут тот или иной оттенок и смысл лишь в том случае, если биограф распутает или хоть попытается распутать и этот узел,— и в зависимости от того, как он это сделает. Меж тем г. Шик и тут ограничился передачей внешних данных, не вскрывая их внутренней связи и не только не разрешая вопроса, но уклоняясь даже от его постановки. Этого мало. Живя в Одессе, Пушкин все время принимал хотя и «эпистолярное», но деятельное участие в текущих литературных событиях, развертывавшихся в столицах. Не рассказать ничего об этой стороне его жизни, как сделал г. Шик, значит лишить эту жизнь одного из ее самых существенных стимулов. Точно так же — не коснуться политических переживаний и мыслей «одесского» Пушкина — значит сделать еще очень много для того, чтобы образ его представить пустым и бездушным.

Книгу г. Шика можно было бы назвать «Опустошенный Пушкин», потому что в ней мы не видим Пушкина ни поэта, ни литератора, ни политического мыслителя, ни даже любовника. Перед нами — очень проворный, юркий молодой человек, острослов, балагур, театрал, проказник, картежник, выпивало, вообще «пострел», который «везде поспел» (хотя и до такой острой характеристики г. Шик не доходит, влача свой рассказ очень вяло). Об этом молодом человеке можно собрать некоторое количество более или менее достоверных анекдотов, но в сущности он того не стоит, потому что всего, что таилось и так трагически жило в Пушкине под этими масками, г. Шик как будто и не заметил — и уж во всяком случае не поведал читателям. В конце концов этот молодой человек в глазах читателя оказывается не только не поэтом (ибо о его поэтической работе ничего не рассказано), но даже и не поэтической личностью, потому что автор решительно ничего не сделал для того, чтобы в глазах читателя поднять его над толпой, которая его окружает. Для того, чтобы читатель отнесся к такому Пушкину с должным вниманием и сочувствием, необхо-

димо, чтоб этот читатель заранее знал о нем как раз все то, о чем г. Шик умалчивает. Так ли пишутся книги о замечательных людях?

Впрочем, по совести говоря, книга г. Шика кажется написанной не о Пушкине. Пушкин не занимает в ней главного места, даже по количеству строк, ему посвященных. Больше всего внимания уделил г. Шик тем людям, с которыми Пушкин в Одессе «был знаком», «встречался», к которым он «приходил», «приезжал», у которых он «показывался». Галерея этих одесских знакомцев Пушкина очень велика. Но и тут внутреннее всецело вытеснено внешним. Как и для чего был «знаком», ради чего «приходил», «приезжал», «посещал» — все это едва обозначено, а чаще всего и не обозначено вовсе. То место, которое занимали все эти встречные и поперечные в жизни Пушкина, в его сознании, в его творческом восприятии, — по большей части едва намечено, а то и не намечено вовсе. Люди, с которыми он был связан более или менее коротко, порою не более выдвинуты, чем те, которых он только «видел» и которым в его биографии не стоило отводить место. Да и самые характеристики этих людей поверхностны, анекдотичны, сведены к изображению их привычек, пристрастий, чудачеств, странностей. Конечно, в этом последнем обстоятельстве главным образом виноваты мемуаристы, у которых г. Шик почерпнул свои сведения. Но в таком случае следовало этот материал подвергнуть просеиванию, а не гнаться за его количеством в ущерб качеству. В том виде, как он показан читателям, круг людей, окружавших «одесского» Пушкина, превращается чуть ли не в хоровод каких-то уродов и маньяков. На самом же деле, при всех своих недостатках, он все-таки был не таков — хотя бы просто потому, что такие гротескные скопища встречаются только в книгах, а не в жизни. Досаднее всего, что и сам Пушкин, поскольку он показан г. Шиком почти только со стороны внешней своей оригинальности, не выделяется из этой толпы, а с нею сливается, становится одним из персонажей в адрес-календаре одесских оригиналов и чудачков начала прошлого века. Конечно, и этого не случилось бы, если бы г. Шик, прежде чем приступить к работе, должным образом взвесил, чем должна быть биография поэта вообще и биография Пушкина в частности.

1939

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

В последние четыре года жизни большая часть пушкинистики Ходасевича была связана с отмечавшимся в 1937 году столетием смерти Пушкина. К сожалению для него это было временем ухудшения здоровья, бедности и общей разочарованности в эмигрантской культуре. Тем не менее за два года до и два после января 1937 г. он принимал участие в разнообразной деятельности, возникнувшей вокруг этого события, невзирая на решение, в конце концов, в них не участвовать. Его отчеты о мероприятиях, а также рецензии и публикации, связанные с юбилеем и в советской России, и в русской эмиграции остаются незаменимой документацией для любого исторического описания исследований и общественных начинаний, имеющих отношение к этой дате. (А кроме того Ходасевич почти каждую неделю писал на другие литературные темы для газеты *Возрождение* вплоть до своей последней болезни в начале 1939 г.)

Его исследовательские работы этого времени весьма значительны. Так, получив доступ к частным архивам семьи де Габриак в Париже, в которых находились ранее неизвестные документы, Ходасевич составил содержательные «жизнь и труды» Адель Давыдовой, с чьей семьей Пушкин провел беззаботное время в Каменке (в начале 1820-х гг. бывшей центром декабристского заговора); она окончила жизнь во Франции, будучи исключенной из католического монашеского ордена («Аглая Давыдова и ее дочери», 1935). В эту категорию следует включить публикацию в юбилейном сборнике, посвященном Пушкину в Белграде (1937), немного переделанной работы 1934 года «Аврора Шернваль». Он дал также законченный портрет другого увлечения Пушкина, А.А.Олениной, основанный на ее дневнике, вышедшем по-французски в 1936 г. в Париже. В феврале 1938 г. он опубликовал перевод с польского мемуаров некоего Юлия Струтынського (с подробными комментариями к ним), содержащих неожиданные сведения об известном разговоре Пушкина с царем в сентябре 1826 г. («Пушкин и Николай I»).

Как можно было ожидать, в советской России эти публикации, открывавшие прежде неизвестные факты и намечавшие новые пути исследования, не были замечены, и содержащаяся в них информация вошла в научный оборот только несколько десятилетий спустя.

Особый интерес представляет психологически тонкий портрет жены Пушкина (и деталей его последней дуэли), вырисовывающийся в ряде статей 1936-1938 гг. В статье «Черная годовщина» (1936), Ходасевич впервые опубликовал оригиналы — обнаруженные им в парижском архиве кн. И.С.Гагарина — и свой перевод переписки между Гагариным и кн. П.В.Долгоруковым, касающейся пресловутого «диплома». Его трехчастный обзор (1935) пушкинского тома *Литературного наследства*, кн. 16–18 (1934), сохраняет ценность до сего дня. Он снова обратил внимание на пушкинистику польского ученого Вацлава Ледницкого (1935); и еще в одной юбилейной статье отдал должное первому редактору и биографу Пушкина П.В.Анненкову (1937). Поставив под вопрос уместность и точность разных публикаций Сергея Лифаря и М.Л. Гофмана, Ходасевич вступил с ними в ожесточенную полемику. Он почтительно не согласился и убедительно спорил с прочтением «Пророка» о Сергеем Булгаковым, и проследил роль этого стихотворения в жизни Пушкина и, шире, в образовании русского поэтического сознания (1937).

Помимо работ такого рода, Ходасевич регулярно вел «Литературную летопись» для *Возрождения*, подписывая свои отчеты и рецензии псевдонимом «Гулливер». Хотя с января 1928 года это был псевдоним общий с Ниной Берберовой, по всей вероятности статьи о Пушкине были написаны исключительно Ходасевичем-пушкиноведом. Они включают немало ценных комментариев к событиям и оценок публикаций в советской России. Мы их перепечатываем в Приложении I.

К юбилею он отредактировал для рядового, но образованного читателя текст *Евгения Онегина*, вышедший изящным изданием (с обложкой и многочисленными иллюстрациями М.В.Добужинского) в Брюсселе в издательстве «Петрополис». Следует обратить внимание на его издательские установки:

В основу нашего текста положено последнее издание *Евгения Онегина*, вышедшее при жизни Пушкина, в 1837 г. Нами, однако, устранены весьма многочисленные опечатки этого издания и восстановлен рукописный текст в тех случаях, когда он подвергся изменениям по цензурным причинам. Сверх того нами полностью напечатаны те фамилии, которые Пушкин в печати заменял начальными буквами и звездочками.

Поскольку наше издание не преследует научных задач и предназначено для широкой публики, мы не сочли нужным сохранить орфографию 1837 г., во многом неправильную, неустойчивую и к тому же при-

надлежащую не самому Пушкину, а лицам, под наблюдением которых роман печатался. Особенности старинной орфографии сохранены лишь там, где они связаны с особенностями пушкинского произношения (например, в некоторых рифмах) или пушкинской этимологии (напр., «в постеле», а не «в постели», потому что Пушкин говорил «постеля», а не «постель»). Нами также по возможности исправлена и унифицирована неправильная и неустойчивая пунктуация 1837 г., за исключением тех случаев, когда исправления могли отразиться на смысле или на интонации фразы.

Основной юбилейной затеей Ходасевича оказалось собрание ранее опубликованных статей о творческом процессе у Пушкина, его общей эстетике, и результатов медленного чтения критика. Вышел этот сборник под названием *О Пушкине*. Отчасти это сокращенный и переработанный вариант его сборника 1924 г., *Поэтическое хозяйство Пушкина*, вышедшего в Ленинграде без его непосредственного контроля и в искаженном виде. В 1936–37 гг. эта книга была заново отредактирована и опубликована вместо давно обещанной читателям биографии Пушкина.

Невозможность закончить к юбилею предполагавшуюся биографию было большим разочарованием для Ходасевича, можно сказать даже личной трагедией. Следует напомнить, что его более ранняя попытка до эмиграции в 1922 году также осталась неоконченной (см. Приложение II, том первый настоящего издания, сс. 467–486). Десять лет спустя — после успеха, и у критиков и у читателей, его биографии Державина (вышедшей в 1931 г. в парижском издательстве «Современные записки») — он снова взялся за биографию Пушкина для того же издателя. Он напечатал три главы «Из книги Пушкин» в *Возрождении*: «Начало жизни» (1932); «Литература» (1932); «Молодость» (1933). Эти главы были перепечатаны во втором томе настоящего издания. На основании этого — и благодаря уважению к его пронизательной критике и многолетнему изучению Пушкина — ему была фактически заказана официальная эмигрантская биография поэта.

В самом начале 1935 года (за три года до юбилея) появилось объявление о подписке на это издание, подписанное ведущими деятелями эмиграции (И.А.Бунин, М.А.Алданов, проф. Н.К.Кульман, и др.):

Пушкин В.Ф.Ходасевича

29 января (ст. ст.) 1937 года исполняется сто лет со дня смерти Пушкина. Между тем, несмотря на огромную литературу, посвященную поэту, на русском языке до сего времени не существует полной его био-

графии, написанной в соответствии с обширными новыми данными, добытыми наукой за последние три десятилетия и в частности — после революции, когда к различным хранилищам были открыты многочисленные архивные материалы. В связи с предстоящим юбилеем, в советской России усиленно готовится выход большого количества трудов по пушкиноведению. Однако, несмотря на близость к первоисточникам, значительно облегчающую работу, обязательность «марксистского подхода» тяжелым камнем ложится на все там выходящие книги, как бы ни была далека их тема от политики и современности. Биография Пушкина, построенная по канонам диалектического материализма, как бы тщательно ни была разработана ее фактическая сторона, никогда не сможет стать желанной книгой для русского читателя, давно и тщетно ожидающего, чтобы была, наконец, описана жизнь великого поэта, которого Тютчев назвал первой любовью России. В настоящих условиях такая книга может появиться только в эмиграции.

Над подобною биографией уже давно работает В.Ф.Ходасевич, много лет изучающий Пушкина, как поэта и человека. Работы В.Ф.Ходасевича по Пушкину и его собственное поэтическое творчество наглядно доказывают, что он не только специалист и знаток в данной области, но и автор, от которого читатели наиболее в праве ожидать проникновенного и художественного раскрытия пушкинского образа. Прекрасная биография Державина, написанная В.Ф.Ходасевичем и встретившая горячий прием в зарубежной прессе, при строгой научности обладает основным достоинством всякой биографии — художественностью изложения. Подобно ей, и начатый В.Ф.Ходасевичем труд о Пушкине имеет целью жизнеописание великого поэта, внутренне связанное с историей его творчества.

Однако, тяжелые условия зарубежной литературной жизни в настоящее время таковы, что начатая В.Ф.Ходасевичем работа может быть завершена только в том случае, если заранее будет обеспечена хотя бы некоторая часть ее издания. С этой целью уже теперь должна быть объявлена предварительная подписка на книгу, которая появится в свет в течение 1936 г., в издательстве «Петрополис»—«Дом Книги», чье имя и издательский опыт вполне обеспечивают ее с внешней стороны. Подписная цена экземпляра на веленовой бумаге и в переплете — сто франков. Все эти экземпляры будут именные, нумерованные в порядке поступления подписных сумм и надписанные автором.

(*Возрождение*. 1935/3515 (17 января).¹)

¹ «Прокламация» (выражение Ходасевича) распространялась с конца 1934 г.—начала 1935 г. См. его письмо И.Н.Голенищеву—Кутузову (Белград) от 2 января, опубликованное и откомментированное Джоном Малмстадом, в ж. *Новое литературное обозрение*, 1997/№ 23, сс. 220–222.

Доказательств, что его работа продвинулась дальше редактирования уже опубликованных трех глав, нет. (По любопытному совпадению, Ю.Н.Тынянов — работавший над более обширной и беллетризованной биографией Пушкина — не пошел дальше того же периода. См. рецензии Ходасевича на эти начальные главы в Приложении I настоящего тома.) Публикация в начале 1937 г. в рижской газете *Сегодня* слегка переработанных двух из трех этих текстов 1932-33 гг. оказалась единственной попыткой выполнения этого обязательства.

И в конце концов, вместо обещанной биографии, ему пришлось составить сборник *О Пушкине* (1937), не содержащий ничего ранее не опубликованного. Тем не менее, мы решили включить эту книгу в настоящий том, т. к. она является упорядоченной версией значительного количества материала, представляющего его ранний энтузиазм в изучении «модуса операнди» Пушкина и его творческой психологии.

Частично причиной его неспособности и нежелания закончить этот проект были споры и разногласия в эмиграции в связи с планами празднования столетнего юбилея. Ходасевич был приглашен и недолгое время принимал участие в работе парижского Пушкинского комитета, учрежденного в 1935 году. Очень скоро он отошел от участия в работе, в конце концов выйдя из комитета, разочарованный отсутствием вкуса, чувства меры и общим низким культурным уровнем эмигрантского общества. Другой причиной было заметное ухудшение его здоровья. В течение года болезнь и недоступность материалов необходимых для биографии, достойной ее предмета, и его отвращение к банальности в планах празднования, заставило его оставить работу над биографией. (См. его начатую библиографию к ней в Приложении II). Ходасевич встретил в эмиграции ту же самую глухоту к Пушкину, которую он увидел после революции и предсказал для советской эры в «Колблемом треножнике», его пророческой речи в феврале 1921 г. Его взгляды в большой степени открываются в переписке с А.Л. Бемом (Прага), пожалуй единственным современным ему пушкинистом, к кому он относился с уважением².

² См. письма Ходасевича, опубликованные в работах: Рашит Янгиров, «Пушкин и пушкинисты. По материалам из чешских архивов» в ж. *Новое литературное обозрение*, № 37 (1999), сс. 181–228; Леонид Ливак, «Поэтическое хозяйство Ходасевича» в сб. *Диаспора: Новые материалы*, вып. 4 (Париж–СПб., 2002), сс. 391–456. См. также: Иван Толстой, «Ненужный Пушкин. История одного письма Владислава Ходасевича», *Русская жизнь*, 21 декабря 2007. (Письмо, смешное и стилизован-

Два незаконченных пушкинских проекта Ходасевича, слегка очерченных и оставшихся в форме конспекта, также относятся к 1937 г.: первый, озаглавленный «Тутанкамон» (о безвременных кончинах ведущих пушкинистов); второй о бесконечных ошибках в писаниях и выступлениях о юбилее. Оба наброска прекрасно реконструированы и откомментированы Н.А.Богомоловым³. Мы включили в Приложение II три добавочных текста: неполную «Библиографию общую» к ненаписанной биографии⁴; незаконченную машинопись обзора основных юбилейных публикаций, заказанного журналом *Современные записки* в 1938 году⁵; и рукописный черновой набросок о перекличке пушкинской биографии с его творчеством, в данном случае с «Каменным гостем»⁶. Это последняя попытка Ходасевича сформулировать свой взгляд на преломление фактов жизни поэта в его творчестве.

Выражаю благодарность сотрудникам библиотек и архивов, способствовавшим моей работе. Также К.Ф.Безак, Т.Костеру, Х.Маклейну, Дж. Малмстаду, Дж.Стону, А.Б.Устинову, Л.С.Флейшману. За техническую помощь благодарю А.Вальского и его коллег, Г.Перкинса и Казуко. Особую признательность — Полине Барсковой, составившей первый вариант указателей к первому и второму томам. И прежде всего — О.П.Раевской—Хьюз за многообразную помощь.

ное под XVIII век, от 22 августа 1935 г., было адресовано Г.Л. Лозинскому.) Ср.: Ирина Сураг, «Пушкинист Владислав Ходасевич», *Вчерашнее солнце* (Москва, 2009), особенно главу 8, сс. 495–505.

³ Николай Богомолов, «Два пушкинских замысла В.Ф. Ходасевича», *Vademecum. К 65-летию Лазаря Флейшмана* (Москва, 2010), сс. 403–417.

⁴ Впервые опубликованная Рашитом Янгировым (указ. соч.), рукопись сохранилась в архиве Р.Н. Гринберга: Washington, D.C., Library of Congress. Manuscript Division, *Vozdushnye Puti collection*, box 5. Сверена с оригиналом. Там же находятся черновые наброски Ходасевича к биографии Пушкина (с многочисленными, отвергнутыми вариантами и со сносками, отсылающими к «Библиографии общей») и машинопись фрагмента первой главы, представляющей собой слегка измененную версию текстов, опубликованных в 1932–33 гг. и перепечатанных в газ. *Сегодня* (1937).

⁵ Соранилась в фонде М.М. Карповича, Бахметевский архив при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

⁶ Там же. Впервые опубликована в статье: Роберт Хьюз, «Заметки Ходасевича о „Каменном госте“», *Параболы. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad* (Frankfurt/Main, 2011), сс. 287–297.

Условные сокращения

- Вересаев* — В.Вересаев. *Пушкин в жизни*. Издание шестое, дополненное. Москва: «Советский писатель», 1936.
- Письма к МАЦ* — В.Ф.Ходасевич. Письма к М.А.Цявловскому/ Публ. Р. Хьюза. *Русская литература*, 1999, № 2, сс. 214–230.
- ПхП* — Владислав Ходасевич. *Поэтическое хозяйство Пушкина* (1924; см. в первом томе настоящего издания).
- СС, 96–97* — Владислав Ходасевич. *Собрание сочинений в четырех томах*. Москва: «Согласие», 1996–1997.
- СС, 2009* — Владислав Ходасевич. *Собрание сочинений в восьми томах*. Т. 2: Критика и публицистика. 1905–1927. Под ред. Дж. Малмстада и Р. Хьюза. Москва: «Русский путь», 2010.
- Черейский* — Л.А.Черейский. *Пушкин и его окружение*. Ленинград: Издательство «Наука», 1988.

ПРИМЕЧАНИЯ

1935

Следующие заметки за этот год здесь не воспроизводятся:

1) Лондонская рукопись, *Возрождение*, 1935/3683 (4 июля) — «<...> о том, что представляет собою рукопись пушкинской оды „Вольность“, появившаяся недавно на выставке русского искусства в Лондоне...». Несколько лет назад, уже в эмиграции, такую же рукопись Ходасевич определил «не автографом, а старинною копией». Теперь он думает (заочно), что лондонская рукопись, вероятно, та самая.

2) Переводы Владимира Слободника, *Возрождение*, 1935/3732 (22 августа, под рубрикой «Книги и люди») — о польском переводе двух произведений Пушкина, «Домик в Коломне» и «Моцарт и Сальери».

Пушкин — Дон-Жуан.

Впервые — *Возрождение*, 1935/3616 (25 апреля), под рубрикой «Книги и люди». Рец. на: Проф. М.Л.Гофман, *Пушкин — Дон-Жуан* (Париж, Издание Сергея Лифаря, 1935).

«<...> некоторые ранее появившиеся труды о любовной жизни Пушкина...» — избегая библио. данных, Гофман откликается на известные работы: М.О.Гершензон, «Северная любовь А.С.Пушкина», впервые опубликовано в *Вестнике Европы*, 1908, №1; П.Е.Щеголев, «Утаенная любовь Пушкина», впервые опубликовано в сб. *Пушкин и его современники*, вып. XIV, СПб., 1911; П.К.Губер, *Донжуанский список Пушкина*, Петербург, 1923; и др.

Любопытно прочесть газетную заметку двадцатипятилетней давности, под названием «Сердечные увлечения А.С.Пушкина» (подпись: W.), на ту же тему, автором которой, вероятно, был молодой пушкиновед Ходасевич: «Памятником подчета сердечных увлечений Пушкина остался перечень женских имен, его рукою вписанный в альбом Е.Н.Ушаковой. Сын последней, Н.С.Киселев, назвал этот любопытный документ „донжуанским списком“.

Н.Лернер в томе IV сочинений Пушкина, издания Брокгауз–Ефрон, еще не вышедшем в свет, дает разъяснения к именам, помещенным в списке. Имена эти следующие: Наталья I, Катерина I, Катерина II, NN, кн. Авдотья, Настасья, Катерина III, Аглая, Калипсо, Пульхерия, Амалия, Элиза, Евпраксия, Катерина IV, Анна, Наталья.

Вторая часть списка помещена на другой странице. В ней следующие имена: Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена.

Не все имена поддаются объяснению, особенно во втором списке. Но многие установлены Н.Лернером.

Так „Катерина I“ относится к Е.П.Бакуниной. О ней Пушкин говорил: „Я был счастлив пять минут... Я не видел ее 18 часов — ах! Какое положение, какая мука!“

„Катерина II“, по данным Лернера, — знаменитая трагическая актриса Е.С.Семенова. Пушкин писал о ней: „Одаренная талантом, красотой, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Она украсила несовершенные творения...“ Статья Пушкина о Семеновой дошла до нас с припиской Гнедича что статья написана Пушкиным, „когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой“.

Таинственные буквы „NN“, говорит автор статьи, „стоят в тесной связи с целым рядом столь же таинственных мест в поэзии Пушкина... Эта любовь, самая святая и самая мучительная из всех, пронесшихся над сердцем Пушкина, была пережита им «там, где тень, где лист чудесный, где льются вечные струи», т.е. в Крыму.

„Признаюсь, — писал о ней Пушкин, — одной мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики“.

„Бахчисарайский фонтан“ Пушкин некоторое время не хотел даже печатать потому, что „многие места относятся к одной женщине, в которую был очень долго и очень глупо влюблен“.

„Кн. Авдотья” — княгиня Евдокия Ивановна Голицына, известная *Princesse Nocturne*. Пушкин не только был поражен ее „немертвой красотой, но огненной, пленительной, живой”, но ценил ее „разговор непринужденный, пленительный, веселый, просвещенный”. Это была недоужинная, оригинальная личность, и Пушкин, едва выйдя из лица, влюбился в нее, по выражению Карамзина, „смертельно”. Увлечение юноши княгиней, которой было уже под сорок, довольно скоро остыло.

„Анна”, — вероятно, А.П.Керн, предмет самого серьезного увлечения Пушкина в Михайловском, породившего один из лучших перлов пушкинской любовной лирики...

„Наталья” — Н.Н.Гончарова, во время составления списка владевшая душой поэта и вкоре ставшая его женою.

Н. Лернер находит объяснение еще для ряда имен „дон-жуанского списка”, но за недостатком места отсылаем читателей к его статье».

(*Утро России*, 1910/165 (6 июня))

По этому же вопросу см. новейшие итоговые работы Р.В. Иезуитовой, «„Утаенная любовь” в жизни и творчестве Пушкина», и Я.Л. Левкович, «„Донжуанский список” Пушкина», вводные статьи в кн.: «*Утаенная любовь*» Пушкина (СПб., 1997). Там же перепечатаны труды их предшественников. Книжка Гофмана не учтена. См. также антологию: *Любовный быт пушкинской эпохи*, состав. С.Т. Овчинниковой (Москва, 1994; в двух томах).

«<...> М.Л. Гофманом была издана книга, в которой он <...> показал неудовлетворительность существующих изданий Пушкина...» — имеется в виду кн. *Пушкин. Первая глава науки о Пушкине* (Петербург, 1922).

«Следы автобиографии обнаруживаются даже в таких вещах, как „Скупой рыцарь”...» — см. работы в наст. изд., т. I: «<Заметки к Маленьким трагедиям>» (с. 45–47); заметка <49> («„Русалка”. Предположения и факты») (с. 295–300). Ср. «Ссора с отцом» (*О Пушкине*) в наст. томе.

«<...> свои мысли обо всем этом я формулировал в трех словах: Пушкин автобиографичен насквозь» — см., в частности, «О чтении Пушкина» (1924) в наст. изд., т. I.

«Случалось нам с <Гофманом> на эту тему резко полемизировать» — см. заметки «В спорах о Пушкине» (1928) и «Конец одной полемики» (1929) и примечания к ним в наст. изд., т. II.

«Для наглядности приведу их оба» — следует заметить, что Ходасевич заимствует нижеследующий пример из примечания в издании пушкинского текста, подготовленного самым Гофманом (с. 67); см. рец. Ходасевича на него в наст. изд., т. II: «Путешествие в Арзрум» (1934).

«<...> я пришел к выводу, что две женщины <Давыдова и Ризнич>, которых <...> считали близкими Пушкина, в действительности близки с ним не были» — см. исследование «Аглая Давыдова и ее дочери» (1935) в наст. томе.

«В мои руки <книга> попала на днях совершенно случайно» — вероятно, имеется в виду кн.: В.А.Яковлев, *Отзывы о Пушкине с юга России. В воспоминание пятидесятилетия со дня смерти поэта. 29 янв. 1887* (Одесса, 1887). Рассказ о Людмиле Инглези — с информацией об источниках — кстати сказать, также приводится у В. Вересаева, *Пушкин в жизни*, том I, сс. 178–179 (изд. 1936). См. рецензию (1927) Ходасевича на первое издание вересаевского монтажа (1926) в наст. изд., том II.

Спустя несколько недель в своей «Литературной летописи» Гулливер перепечатал из парижской газеты репортаж о «дон-жуанстве» Пушкина — и прибавил к нему свою фантазию о корифее французской литературы: «В газете *Журнал* помещена нижеследующая заметка, которую мы воспроизводим в оригинале, потому что перевод убил бы нежные краски этого прелестного мотылька.

Entre tous les écrivains de l'époque tsariste, les Soviets ont réservé une place à part au grand poète Puskin, auquel seront rendus prochainement, à Moscou, de grands honneurs.

C'est précisément à l'occasion de ces fêtes que les journaux de l'U.R.S.S. rappellent que Puskin fut un des plus terribles Don Juans de son temps. Lorsqu'il épousa, le 18 février 1831, Nathalie Gontcharowa, il possédait une sorte de registre parfaitement à jour, dans lequel chaque amour occupait une feuille.

Sa femme prit place à la page 113...

Est-ce la fatalité de se chiffrer?.. Tous les jours est-il que Puskin continua à subir la séduction de nombreuses femmes, y compris celle de sa belle-soeur, et qu'à sa mort le fameux livre dépassé la page 203...

Глубоко ценя интеллектуальное сотрудничество между нациями, мы со своей стороны считаем долгом сообщить нашим элегантным читательницам несколько сведений о знаменитом поэте Виктор Хуго, которого юбилей был недавно отпразднован. К сожалению, Виктор Хуго обладал тяжелым характером. На первом представлении своей оперы <sic> „Эрнани” он устроил скандал столь исключительный, что несколько лет тому назад литературные круги праздновали столетний юбилей этого скандала. По сведениям, полученным нами прямо от одного гида, у Виктора Хуго было необыкновенное множество детей мужского пола. Не имея возможности всех их усыновить и дать им свою фамилию, счастливый отец их всех называл при крещения Гаврошами. Гавроши были симпатичнейшими мальчиками с врожденным благородством характеров. Рассеянные по всей стране, они воспитывались и росли на улицах, которые с тех пор носят имя их отца. Когда Виктор Хуго приезжал в какой-нибудь город, стоило ему только разыскать такую улицу и крикнуть: „Гаврош!” — как мальчики тотчас к нему сбегались со всех сторон. Он гладил их по головкам, читал им несколько своих поэм — и уезжал...»

(*Возрождение*, 1935/ 3711 (1 августа))

Литературное наследство, кн. 16–18.

Впервые — *Возрождение*, 1935/3662 и 3669 (13 и 20 июня), под рубрикой «Книги и люди». Рец. на: *Литературное наследство*, 16–18 (Москва, 1934), под ред. И.С.Зильберштейна и И.В.Сергиевского. (Репринтное издание — Москва, 1999.) Продолжение отзыва Ходасевича на этот том см. ниже: Клевета (1935).

«<...четверостишие> ошибочно приписал Пушкину Огарев семьдесят пять лет тому назад...» — в сб. *Русская потаенная литература XIX столетия* (Лондон, 1861).

«Одна из статей <...> посвящена обзору той рукописи, которая года полтора тому назад была найдена в Белграде...» — об этой находке и толкования Ходасевича о ней см. «Белградская рукопись» (1933) и примечания к ней в наст. изд., том II.

«На этом основании М.Л.Гофман <...> решительно требовал изъятия из собраний сочинений Пушкина этого стихотворения <„Романс“>» — см. в кн.: М.Л.Гофман, *Пушкин: Первая глава науки о Пушкине* (Пб., 2-ое изд., 1922), сс. 118–120.

«Обзор, ныне произведенный Б.Томашевским...» — см. сообщение «Материалы по истории первого собрания стихотворений Пушкина (1826)», сс. 825–868.

«В статье о десятой главе *Евгения Онегина*...» — см., в частности, с. 412.

«Кстати — об этих письмах» — соображения Ходасевича-эмигранта о местонахождении писем жены Пушкина к мужу не учтены, разумеется, в «авторитетной» статье С.В.Житомирской, «К истории писем Н.Н.Пушкиной», *Прометей*, кн. 8 (М., 1971), сс. 148–165. Ср. с статьей Я.Л.Левкович, «Письма Пушкина к жене» в изд. *А.С.Пушкин. Письма к жене* (Ленинград, 1986), сс. 105–106.

«<...> с просьбой разрешить мне ознакомиться с архивом поэтессы Ростопчиной» — см. статью «Ростопчина» (1933–1934; впервые — 1908, опубл. 1916; 1922) и примечания к ней в наст. изд., том II.

«С.М.Лифарь как раз подготавливает фототипическое издание всех автографов...» — см. рец. на это издание, *Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой* (1936), в наст. томе.

Аглая Давыдова и ее дочери.

Впервые — *Современные записки*, LVIII (1935), сс. 226–257, с двумя неизданными портретами (вероятно, из семейного архива маркизов де Габриак): Маркиза Екатерина Александровна де Габриак; Адель Александровна Давыдова.

«<...> по прибытии туда он писал брату...» — в письме от 24 сентября 1820 г.

«Сын Дениса Давыдова рассказывает, что в двенадцатом году „от главнокомандующего до корнетов все жило и ликовало в Каменке, но

главное — умирало у ног прелестной Аглаи» — здесь, вероятно, цит. по статье С.Я.Гессена «Пушкин в Каменке», *Литературный современник*, 1935, 1 (январь), с. 192 (впервые: *Русская старина*, 1872, т. V, с. 632); также цит. в кн. Гофмана, *Пушкин — Дон-Жуан*, с. 39. Та же цитата приводится в статье: А.М.Лобода, «Пушкин и Раевские», *Пушкин*, под ред. С.А. Венгерова, том II (С.-Петербург, 1908), с. 114. О статье Гессена см. в Приложении I, заметку 2, в наст. томе.

«Он был толст, ленив, заботился всего более о еде...» — ср. отзывы Пушкина о нем в стих. «Давыдову» («Нельзя, мой толстый Аристип», 1824) и заметке в «Table talk» XVIII (1830-е гг.), где он изображен как «второй Фальстаф...»

«<...> Александр Львович величаво носил рога...» — фраза отсылает к главе первой *Евгения Онегина* (XII, 12–14):

И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

«И.П. Липранди, посетивший Давыдовых в 1822 г. в Петербурге, рассказывает...» — см. замечания Липранди на статью П. Бартенева «Пушкин в южной России», *Русский архив*, 1866 (стб. 1231–1283): «Обедали мы вчетвером, и я заметил, что жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей видимо было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал. Я слышал уже неоднократно прежде о ласках Пушкину, оказанных в Каменке и слышал от него восторженные похвалы о находившемся там семейном обществe, упоминалось и об Аглае. Потом уже узнал я, что между ней и Пушкиным вышла какая-то размолвка, и последний наградил ее стишками!» («Из дневника и воспоминаний И.П.Липранди», там же, стб. 1485).

«Однако два из них <...> должны быть решительно отброшены...» — вопреки утверждению Ходасевича стих. «Оставя честь судьбе на произвол» (1821) в академическое собрание входит как эпиграмма на А.А.Давыдову, а стих. «A son amant Eglé sans résistance» печатается без упоминания А.А.Давыдовой.

«Эту эпиграмму Пушкин <...> сообщил своему брату, а потом Вяземскому...» — в письме к Л.С.Пушкину от 24 января 1822 г. из Кишинева и в письме к П.А. Вяземскому от конца декабря 1822 г. — начала января 1823 г. из Кишинева.

«Вот пушкинское послание к Аглае...» — в академическом издании печатается, с многими разночтениями, под названием «Кокетке» (1821).

«<...> он прятал замечательный болдинский цикл, состоящий из „Раставания“...» — вероятно, имеется в виду «Прощание» («В последний раз твой образ милый»), законченное осенью 1830 г. в Болдине, как и «Закливание» и «Для берегов отчизны дальней».

«<...> стихи, написанные в альбом „Иностранке“» — стих., датированное 1822 г., напечатано Пушкиным впервые в 1826 г.

«<...> Якушкин в записках своих рассказывает...» — по изд. якушкинских *Записок* 1908 г., цит. у Вересаева, раздел «В Кишиневе».

«А.О.Россети <...> отметила в дневнике своем <...> „все восхищались голосами Давыдовых-Грамон”» — также цит. в статье Б.Модзалевского, «Страница из жизни декабриста М.П.Бестужева-Рюмина», с. 213 (см. ниже сноску 2 в тексте Ходасевича).

«<...> рассказывает А.М.Лобода, автор известной статьи „А.С.Пушкин в Каменке”» — статья в измененном и гораздо расширенном варианте, под названием «Пушкин и Раевские», перепечатана в изд.: *Пушкин*, под ред. С.А.Венгерова, т. II (С.П., 1908), сс. 106–118 (см. ниже сноску 3).

«С кн. П.А.Вяземским <Пушкин> держал пари на бутылку шампанского...» — см. письмо Пушкина к Вяземскому от 2 января 1831 г.

«В книге <...> (*Quelques conversions au catholicisme racontées par Mme Adèle Davidoff*, Paris, 1876)...» — информацию об этой публикации установить не удалось.

«<...> Славянская библиотека, находящаяся и ныне в том же доме...» — основанная кн. Иваном Сергеевичем Гагариным (одним из первых русских иезуитов) в 1856 г., сперва как Славянский музей (на основе личной библиотеки Гагарина), впоследствии переименованный в Славянскую библиотеку (*Bibliothèque slave*), находилась в пригороде Парижа Медон с 1982 г., а в 2002 г. была перевезена на хранение в Лион.

Клевета

Впервые — *Возрождение*, 1935/3753 (12 сентября), под рубрикой «Книги и люди».

«Политические воззрения Пушкина...» — см. также статью «Классовое самосознание Пушкина» (1927) и примеч. к ней в наст. изд., том II.

«Такие стихотворения <...> и даже „Послание в Сибирь”...» — вероятно, имеется в виду «Во глубине сибирских руд» (1827).

«<...> стараясь сделать себя большевиком, <Брюсов> вздумал и Пушкина перекрасить чуть ли не в большевика» — см., в частности, первый (и единственный) том (1919) *Полного собрания сочинений* Пушкина под ред. Брюсова. Далее у Ходасевича об этом см. заметку «Пушкин и демократия» (подпись: Гулливер), цитированную в примеч. к рец. на книгу *Классовое самосознание Пушкина* (1927) Д.Благого в наст. изд., том II.

«Уже со дня появления стансов к Николаю I ...» — имеются в виду стихотворения «Стансы» («В надежде славы и добра», 1826) и «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю», 1828). О них см. в статье Б. Томашевского, «Из пушкинских рукописей» в рецензируемом томе *Литературного наследия*, 16–18, сс. 273–320, особенно сс. 303–306.

«<...> только революционное подполье, в своих брошюрках (об одной из таких брошюр мы недавно рассказывали)» — см. рец. на *Литературное наследство*, кн. 16–18 (1935) в наст. томе.

«<...> Абрам Эфрос <...> несколько лет тому назад выпустил книгу о рисунках Пушкина» ... — имеется в виду: Абрам Эфрос, *Рисунки поэта*

(Academia, 1933). Об отношениях Ходасевича с Эфросом в 1922 г. см. примеч. к статье «Окно на Невский» (1922) в наст. изд., том I.

«В своей статье Соболевский <...> рассказывает...» — статья, как будто, цитируется по оригинальной публикации: С.А.Соболевский, «Таинственные приметы в жизни Пушкина», *Русский архив*, 1870, стб. 1377–1388. Позднее статья цитируется М.П.Погодиным в кн.: *Простая речь о мудреных вещах*, изд. третье (Москва, 1875), отд. II, с. 24; оттуда приводится у Вересаева, раздел «В Михайловском», где, однако, Соболевский не упоминается и упоминание о Вейсгаупте опущено. «Вейсгаупт» (Вейскопф) отсылает к известному предсказанию петербургской гадалки Кирхгоф о том, что Пушкин умрет от белой головы (Weisskopf/Weisshaupt). Ср. примечание М.А.Цявловского в кн.: *Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым...* (Москва, 1925), сс. 106–107. См. также неоконченную работу Ходасевича о «Каменном госте» в Приложении II настоящего тома. Своего рода импровизацию на тему пушкинских зайцев содержит недавнее издание: Андрей Битов, *Вычитание зайца. 1925* (Москва, 2001), с комментариями Ирины Сурат; см. ее же примечание о «Вейсгаупте», с. 325.

«Об этом со слов Пушкина рассказывали, кроме Соболевского, еще и В.И.Даль, и П.А.Вяземский, и Адам Мицкевич» — см. «Воспоминания о Пушкине» Даля в *Русском вестнике*, 1890, № 9; и «Заметки» Вяземского в *Старине и новизне.*, XIX, 1915, с. 5–7 (датируется 1874 г.) Мицкевич упоминается у Соболевского в вышеупомянутой статье (стб. 1387): «Об этом же обстоятельстве передает Мицкевич в своих лекциях о славянской литературе и, вероятно, со слов Пушкина, с которым он часто видался (*Pisma Adama Mickiewicza*, изд. 1860, IX, 293)».

«Сохранилась заметка Пушкина о том, как писал он „Графа Нулина”» — датируется 1830 (предположительно).

«Как видно из Онегинской рукописи...» — см. публикацию: А.Ф.Онегин, «Варианты и новые стихи в тексте „Графа Нулина”», *Вестник Европы*, 1887, февраль, с. 1887; опубл. П.О.Морозовым в IV-м томе большого Академического издания сочинений Пушкина; ср. публикацию М.Л.Гофмана «„Новый Тарквиний” („Граф Нулин”)», *Неизданный Пушкин. Собрание А.Ф.Онегина* (Москва/Петроград, 1923), сс. 42–62.

«В свое время на эту заметку обратил внимание М.О.Гершензон...» — см. статью «Граф Нулин» в посмертном сб. *Статьи о Пушкине* (Ленинград, 1926), сс. 42–49.

«<...> он оставил еще одну заметку, в которой говорит: „Бывают странные сближения”» (У Ходасевича: «... совпадения») — на самом деле, заключительная фраза той же заметки.

«<...> на недавно опубликованном отрывке из воспоминаний декабриста Лорера...» — вероятно, речь идет о статье: М.Нечкина, «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. (По неисследованным архивным материалам)» в ж. *Каторга и ссылка*, книга 4 (65) (Москва, 1930), сс. 7–40,

особенно сс. 20–24. Ср. изд.: Н.И.Лорер, *Записки декабриста* (М., 1931), под ред. М. Нечкиной; см. издание второе (Иркутск, 1984), с. 204.

«Недаром Лев Пушкин говорит...» — там же.

«10-го же числа приехал из Петербурга повар П.А.Осиповой...» — цит. по известной статье М.И.Семевского, «Прогулка в Тригорское»; см. также у Вересаева, раздел «В Михайловском».

«В своих записках о Пушкине Пушин...» — отрывки из пушинских «Записок о Пушкине» приводятся Вересаевым, раздел «В Михайловском».

«<...> та из дочерей П.А.Осиповой, которая впоследствии делилась своими воспоминаниями с Семевским...» — см. у Вересаева, раздел «В Михайловском».

«<...> надежда на то, что „семействам возвратит Сибирь“, жила в самом Пушкине» — см. главу десятую *Евгения Онегина*, <7>, 4.

«<...> Пушкин <...> недолюбливал <брата> по разным причинам...» — об этом, в частности, см.: П. Вяземский, *Старая записная книжка* (Ленинград, 1929), сс. 161–163.

«Друзья-Москали».

Впервые — *Возрождение*, 1935/3802 (31 октября), под рубрикой «Книги и люди». Отклик на кн.: Waclaw Lednicki, *Przyjaciele Moskale* (Kraków, Polskie towarzystwo dla badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, № 12, 1935).

«А.Р.Ледницкий вплоть до недавней своей трагической кончины...» — в 68-летнем возрасте, покончил с собой самоубийством 11 августа 1934 г. См. об этом: *Возрождение*, 1934/3359 (14 августа), подпись: W. (вероятно, псевдоним Ходасевича).

«В.А.Ледницкий принадлежит к числу наилучших знатоков русской литературы...» — далее о нем см. статью «„Медный всадник“ у поляков» (1932) и примеч. к ней в наст. изд., том II. См. также его мемуары о Ходасевиче: Вацлав Ледницкий, «Воспоминания и литературные заметки», *Опыты*, II (1953), сс. 152–174; судя по ним и по дневнику Ходасевича с осени 1935 г. они время от времени встречались в Париже: Владислав Ходасевич, *Камер-фурьерский журнал* (Москва, 2002; по указателю).

О пушкинистике Ледницкого см. в частности, обстоятельную работу: Д.П.Ивинский, *Пушкин и Мицкевич. История литературных отношений* (Москва, 2003), по указателю.

«<...> его книги о Лье Толстом, изданная минувшим летом...» — Ven-ceslas Lednicki, *Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoi (Les variations tolstoïennes à l'égard de la Pologne)* (Cracovie, 1935).

«<...> пушкинскими словами „он между нами жил“» — отсылка к пушкинскому стихотворению «Он между нами жил/Средь племени ему чужого...» (1833).

«В 1926 вышла его книга *Александр Пушкин*» — Waclaw Lednicki, *Aleksander Puszkina. Studja* (Kraków, 1926). В ней, в частности, см. вторую гла-

ву: «Dookoła przeciwpolskiej trylogji lirycznej Puszkina», сс. 36–161. См. там же отзыв Ледницкого на работу Ходасевича, *Поэтическое хозяйство Пушкина* (сс. 361–394), в котором он полемизирует с тезисом об «автореминисценции» у Пушкина и предлагает термин «реминисценция литературная». Спустя несколько месяцев, в своей статье «О формализме и формалистах», имея в виду книгу Ледницкого, Ходасевич писал: «<...> молодой польский ученый В.А.Ледницкий правильно говорит, что формальный метод „избавляет критика от заглядывания в опасную при советских условиях область религиозных, общественных и политических идей... Он идейно и психологически менее обязывает исследователя, ибо оставляет в стороне его внутренние убеждения... Исследователь превращается в машину для подсчета и записи”» (*Возрождение*, 1927/646 (10 марта)). Далее о взаимоотношениях Ходасевича с Ледницким по вашингтонскому архиву Р. Гринберга см.: Рашит Янгиров, «Пушкин и пушкинисты. По материалам из чешских архивов», *Новое русское обозрение*, № 37 (1999), сс. 181–228 (особенно комментарий, сс. 213–216).

«<... стихотворение Баратынского>, конечно, не обращено к А.Н.Муравьеву, как в одной из своих работ заявил М.Л.Гофман...» — здесь у Ходасевича недоразумение; см., в частности, статью Гофмана, «Баратынский о Пушкине», *Пушкин и его современники*, XVI (С.-Петербург, 1913), с. 150. Почти во всех новейших изданиях сочинений Баратынского адресатом стихотворения указан именно Муравьев. См.: Е.А.Боратынский, *Полное собрание сочинений и писем*, том 2, часть 1 (Москва, 2002), с. 170–172; *Летопись жизни и творчества Е.А.Боратынского*, составитель А.М. Песков (Москва, 1998), с. 191. (В обоих изданиях даны библиографии работ об адресации стихотворения).

«<...> исследование <...> „Легенда и правда о смерти Грибоедова” — подтверждение о работе Ледницкого на эту тему нами не найдено.

1936

Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой.

Впервые — *Возрождение*, 1936/3956 (2 апреля), под рубрикой «Книги и люди». Рец. на: М.Л.Гофман и Сергей Лифарь, *Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой*. Юбилейное издание. 1837–1937 (Париж, 1936).

«<...> том, изданный с исключительной роскошью» — к концу 1935 г. объявления о подписке на «юбилейное издание de grande luxe» публиковались в эмигрантской периодике, а издание вышло в январе 1936 года «в количестве 210 нумер. экз., из коих 10 экз. на japon impérial nasré и 200 экз. на бумаге по особ. заказу Импер. Ака. живописи, скульп. и арх.». В марте того же года второе издание на бумаге более дешевой было отпечатано в количестве 1500 экземпляров.

«<...> Тургенев их напечатал в *Вестнике Европы* за 1878 г....» — см.: *Вестник Европы*, 1878, № 1, сс. 7–46; № 3, сс. 5–38. После смерти Лифаря

в 1986 г., эти письма были проданы на аукционе. Их купило советское правительствo, и теперь они хранятся в ИРЛИ.

«Реальный комментарий, данный М.Л.Гофманом <...> не полнее и не лучше комментариев покойного Модзалевского...» — речь идет об изд.: Пушкин, *Письма*, том II, 1826–1830. Под редакцией и с примечаниями Б.Л.Модзалевского (Ленинград, 1928), с. 446 и след.

«<...> М.Л.Гофман опубликовал письмо Соболевского Плетневу» — имеется в виду письмо от 25/13 февраля, из Парижа, адресованное сперва Жуковскому, а потом Плетневу, опубли. впервые в работе: М.Гофман, «Еще о смерти Пушкина», *На чужой стороне* (1925/XI), сс. 5–48.

«<...> „потомок негров безобразный” был слишком нелестного мнения о своей наружности...» — см. стих. «Юрьеву» (1820), с. 23.

«Что бы сказал „шестисотлетний дворянин” Пушкин...» — см. его письмо к А.А.Бестужеву от конца мая–начала июня 1825 г.

*

На рец. Ходасевича Лифарь откликнулся следующим письмом в редакцию:

Милостивый государь г. редактор,

Позвольте выразить мое удивление по поводу статьи В.Ходасевича, от 2-го апреля с. г., посвященной «критическому разбору» вышедшей два месяца тому назад книги «Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой».

Не касаясь фактических ошибок, суждений о хорошем вкусе и критики г. Ходасевича по существу, я оставляю в стороне навязывание им мне плана книги, точно также, как и его непонятого для меня желанья подорвать значение издания, я считаю, тем не менее, себя в праве, указать автору рецензии на то обстоятельство, что расходы мои касаются одного меня — а никак не литературного критика. Не надо забывать, что в данном случае — речь идет об издании неизвестного материала, касающегося Пушкина.

Еще менее понимаю я свою бестактность в том, что к воспроизведению пушкинского автографа я приложил оттиск Пушкинской гербовой печати, между тем, как он В. Ходасевич отнюдь не протестует против публикации интимных писем Пушкина.

Не погрешает ли сам арбитр хорошего вкуса и такта — когда в статье о научном, по его же мнению, труде — пишет о «поклонниках и поклонниках восхитительного артиста»?

Примите и проч.

Сергей Лифарь.

Париж, 3 апреля 1936 г.

(*Возрождение*, 1936/3962, 8 апреля.)

Ответ Ходасевича напечатан там же:

Относительно «фактических ошибок» в моей статье — ничего не отвечу г. Лифарю, потому что его заявление голословно.

Никакого плана издания я г-ну Лифарю не «навязывал», хотя бы по той простой причине, что книга уже отпечатана. Я лишь отметил недостатки плана, уже осуществленного — и, разумеется, в праве был это сделать, как всякий критик. Точно так же я отнюдь не намеревался «подорвать» значение книги, а лишь указал на то, что в ней ново и что не ново, что ценно и что ценности не представляет. Подобные указания опять-таки составляют неотъемлемое право критики, которую не должно смешивать с рекламой.

Вопроса о расходах г. Лифаря я вовсе не касался. Я хотел указать лишь на то, что книга перегружена лишним материалом, непомерно удорожившим ее издание и сделавшим ее недоступною по цене как раз для тех специалистов, которым она нужна.

В вопросе о печати поясню г-ну Лифарю то, чего он не понимает. Интимные письма Пушкина суть достояние истории. Он сам к этому был готов, когда писал: «Всякая строка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной книги или записки к портному об отсрочке платежа» (см. статью о неизданной переписке Вольтера). Другое дело — гербовая печать Пушкина, которой в праве пользоваться лишь люди, принадлежащие к роду Пушкиных, а не г. Лифарь, который запечатывает ею обертки своего издания.

Что касается упоминания о поклонниках и поклонницах г-на Лифаря, как танцовщика, то оно в самом деле было бы безтактно, если бы речь шла о научном труде. Но в том то и дело, что никакого научного труда статья г-на Лифаря собою не представляет (именно по этой причине я и указывал на то, что она — лишний балласт в издании, которое по существу могло бы иметь научное значение). Весь ее интерес в том, что мысли, в ней высказанные, принадлежат не кому-нибудь, а артисту, которым мы все привыкли восхищаться. Было бы слишком строго с моей стороны, если бы я этого не отметил. Впрочем, если г-ну Лифарю мое замечание показалось обидно, я приношу ему свои извинения.

Владислав Ходасевич.

(*Возрождение*, 1936/3962, 8 апреля.)

Продолжение спора об издании см. в следующей заметке и примеч. к ней.

О письме г. Гофмана.

Впервые — *Возрождение*, 1936/3998 (14 мая). Ответ на письмо в редакцию, опубликованное в газ. *Последние новости* М.Л.Гофманом; приводим текст полностью:

Милостивый государь,
г. редактор,

Не откажите в любезности поместить в вашей газете ответ на статью Владислава Ходасевича, напечатанную в газете *Возрождение* 2-го апреля и посвященную критике недавно вышедшей книги Сергея Лифаря и моей *Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой*.

«Критика» г. Ходасевича начинается со следующей странной фразы: «В настоящее время, в связи с приближающимся пушкинским юбилеем, С.М.Лифарь посвящал принадлежащим ему документам особый том, изданный с исключительной роскошью. К сожалению, нам кажется, что благие намерения щедрого издателя были использованы не так, как бы следовало». Так как «благие намерения издателя» могли быть «использованы» только авторами и так как одним из авторов был сам же издатель, то, очевидно, выпад г. Ходасевича направлен против другого автора — меня, злоупотребившего доверием «щедрого издателя». Этот выпад и побуждает меня отвечать.

Авторы книги, опубликовав впервые *двенадцать новых текстов* Пушкина, преследовали двоякую цель: издать их с предельным приближением к оригиналу и снабдить их наиболее полным, исчерывающим, поскольку это возможно в наших ненормальных условиях, комментарием. Для осуществления первой задачи мы дали фототипии, исполненные до такой степени тщательно, и на бумаге настолько приближающейся к бумаге, на которой Пушкин писал своей невесте, что они дают полную иллюзию пушкинских писем. Для осуществления второй задачи мы решили, помимо общего руководящего очерка о Пушкине, написанного С.Лифарем, и обширной моей статьи — исследования, посвященного адресату Пушкина — его невесте, собрать весь материал, касающийся печатаемых нами новых текстов Пушкина — одиннадцати его писем к Н.Н.Гончаровой и одного письма к ее матери, с тем, чтобы читателю не приходилось разыскивать в отдельных изданиях объяснений к тому или иному письму, или к той или другой фразе письма Пушкина. Наша книга обращается ко всем русским читателям, но эта полнота должна быть особенно ценна для читателя-эмигранта, для которого остаются недоступны книги, изданные за европейским рубежом. Такова была задача, поставленная обоими авторами, и казалось бы, дело критика должно было заключаться в спокойном определении того, насколько удовлетворительно или неудовлетворительно выполнили авторы поставленную ими себе задачу: можно находить недостатки в том, как изобразил художник дерево, но нельзя нападать на него за то, что он изобразил дерево, а не девушку у колодца, как может быть хотел бы того критик.

Так приблизительно г. Ходасевич и поступает. Он признает, что первая задача выполнена нами удовлетворительно («основную, несомненную ее ценность составляют те факсимильные воспроизведения писем, которые к ней приложены. Исполнены они превосходно»), а вместо критики испол-

нения второй задачи с каким-то непонятным озлоблением, в явно-пристрастном, недоброжелательном тоне нападает на... полноту издания, то есть, на то, что может быть только достоинством книги (при условии добросовестного исполнения — о недобросовестности авторов сам г. Ходасевич ничего не говорит). Это раздражение особенно непонятно после того, как Ходасевич же приветствовал полноту комментария при опубликовании гораздо менее значительного документа в *Путешествии в Арзрум*.

Желание дискретировать большое культурное русское дело (я бы сказал, культурный подвиг Сергея Лифаря) приводит критика к заведомым ошибкам, таким заведомым, что некоторые из них кажутся вольными, и таким утверждениям, которые являются по меньшей мере наивными.

Так, критик говорит о старом переводе якобы Тургенева, как об «исполненном *им самим* или под его наблюдением» (а ниже он просто называется «тургеневским переводом»): Вл. Ходасевич мог никогда не видеть *Вестника Европы*, но он должен был узнать по крайней мере из нашей книги, что перевод *Вестника Европы* был только «просмотрен», а никак не исполнен И.С.Тургеневым. Далее, против всякой очевидности, имея перед глазами два перевода (на что он нападает и что ему уже должно было облегчить задачу разбора), он утверждает, «что я исправляю только 6 смысловых ошибок, допущенных Тургеневым», между тем как ошибок в переводе *Вестника Европы* гораздо больше. Но самое курьезное в этом отношении, это указания на ошибки перевода, допущенные мною. Так, пушкинскую фразу «il faudra proceder au partage», которую я точно и буквально перевел: «придется произвести раздел», г. Ходасевич исправляет: «придется приступить к разделу». После отзывов действительно больших, настоящих знатоков и авторитетов в области искусства ничего, кроме улыбки, не может вызвать его упрек в том, что по внешности издание более помпезно, чем хотелось бы и чем то предписывает «хороший вкус».

Но настоящие перлы большого знатока и авторитета мы находим в его младенческих рассуждениях о миниатюре: «воспроизведенная на фронтисписе миниатюра, изображающая Пушкина, вряд ли принадлежит кисти Тропинина, вероятнее, что она — позднейшего происхождения и лишь иконографически восходит к тропининскому портрету». Всякое сомнение законно; было (и есть) сомнение в том, что, эта миниатюра принадлежит Тропинину и у меня, но я не решился его даже высказывать, прекрасно отдавая себе отчет в том, что мое мнение должно показаться крайне наивным после экспертизы таких настоящих авторитетов, как Александр Бенуа, Браз и кн. Аргутинский, единогласно признавших миниатюру работой Тропинина. Вл. Ходасевич считает себя большим авторитетом, чем они; это его личное дело, ни для кого не интересное, коего предположение о том, что миниатюра «позднейшего происхождения и лишь иконографически восходит к тропининскому портрету» поистине забавно для «знатока»: миниатюра написана между 1825 и 1830 г.г....

Смею также уверить знатока пушкинской иконграфии, что есть портрет Натальи Николаевны работы Гау (постоянно воспроизводимый) и есть малоизвестный портрет, работы К.П.Брюллова (воспроизведенный в нашем издании)...

Своеобразный художественный арбитр, г. Ходасевич оказался своеобразным арбитром в области морали: не понимаю почему «жест» подношения своего портрета (если бы г. Ходасевич был знаком с бытом пушкинской эпохи и в частности с писательским бытом эпохи, он знал бы, что этот «жест» был очень распространен) слишком плохо вяжется с представлением о «благовоспитанности» и даже дендизме Пушкина. Почему этот жест противоречит «благовоспитанности», я решительно не понимаю, но утверждаю, что Пушкин не был «благовоспитан» (в понимании г. Ходасевича), и об этой «неблаговоспитанности» г. Ходасевич может узнать, если внимательно прочтет переписку Пушкина.

В своей оригинальной морали г. Ходасевич доходит до того, что считает нетактичным, что в книге дается отпечаток пушкинской печати! Согласен, что С.М.Лифарь проявил бы крайнюю бестактность, если бы стал запечатывать свою корреспонденцию пушкинской печатью, но какая речь может идти о бестактности в том, что к подобию пушкинского конверта с воспроизведением *пушкинского автографа* приложен оттиск пушкинской печати и почему не бестактно опубликование интимных писем Пушкина и частые суждения (в чем повинен г. Ходасевич) об интимных сторонах жизни Пушкина, и бестактно воспроизведение пушкинской гербовой печати? Скорее не слишком тактичны те слова, которыми ограничился критик в разборе вступительной статьи С.М.Лифаря: «Допускаю, что многим поклонникам и поклонницам восхитительного артиста весьма интересно узнать, что он думает о Пушкине». Замечу, что Сергей Лифарь, делающий в настоящее время громадное культурное русское дело тем, что знакомит французскую публику с Пушкиным, заслуживает более уважительного внимания, по существу же статья С.М.Лифаря гораздо интереснее и содержательнее, чем то, о чем повествует Вл. Ходасевич читателям и читательницам *Возрождения* — то, что он «думает о Пушкине» (к этому высказыванию своих мыслей и сводится весь пушкинизм Ходасевича).

Есть одно не совсем ясное место в статье г. Ходасевича, которое можно истолковать, как скрытый намек на плагиат. Должен напомнить Вл. Ходасевичу, что он уж раньше — в открытой и клеветнической форме — обвинил меня в плагиате, и тогда это дело пришлось разбирать третейскому суду, с которого ушел г. Ходасевич (после четырех заседаний), несмотря на то, что принял на себя обязательство подчиниться решению третейского суда и опубликовать его.

Совершенно неожиданно в прошлом году выступил новый судья, точно установивший мой «плагиат» у Морозова. Этот судья не был приглашен ни мной, ни Ходасевичем, но его компетентность в вопросах пушкиноведения вряд и будет оспариваться г. Ходасевичем. Я имею в виду обширную статью Б.В.Томашевского «Десятая глава *Евгения Онегина*. Ис-

тория загадки», напечатанную в *Литературном наследстве*. Достаточно привести из этой статьи один абзац: «Далеко не все, что появилось в печати после статьи Морозова, действительно ценно. Кое-что замечалось, но многое было совершенно фантастично. Итогом положительных достижений этой длительной дискуссии является публикация Гофмана в „Пропущенных строфах Евгения Онегина“». И далее Б.В.Томашевский говорит о двух периодах разрешения загадки — до 1922 года, т.е. до появления *моей работы*, и после 1922 года. Если бы Ходасевич был серьезным знающим пушкинистом, положение вопроса о X главе должно было быть известно ему и до статьи Томашевского, и в таком случае его выпад был сознательной клеветой, вызванной личными причинами, а никак не служением пушкинизму. Если же он добросовестно заблуждался по неведению пушкинской литературы, то по меньшей мере было опрометчиво бросать и поддерживать обвинение в плагиате и продолжать считать себя серьезным пушкинистом.

М.Гофман.

(*Последние новости*, 1936/5516, 30 апреля, с. 4.)

«Полетели письма в редакцию» — письмо С.Лифаря и ответ Ходасевича на него см. в примеч. к рец. на кн. *Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой* (1936) в наст. кн.

«<...> противно и скучно вникать <...>, и сплетней разбирать игривую затею» — см. стих. «Чедаеву» (В стране, где я забыл тревоги прежних лет...; 1821), стих 63.

«Обо всех этих изданиях я писал в *Возрождении...*» — см. в наст. изд. рецензии на издания Лифаря и Гофмана: *Путешествие в Арзрум* (1934), *Египетские ночи* (1934) и *Пушкин – Дон-Жуан* (1935).

«<...> Н.К.Кульман в *Современных записках...*» — см. рец. на *Путешествие в Арзрум* в изд.: *Современные записки*, 1935/LVII, сс. 466–467; на *Египетские ночи* в изд.: *Современные записки*, 1935/LVIII, сс. 479–480.

«<...> и Г.В.Адамович в *Последних новостях*» — см. рецензию: Георгий Адамович, «Египетские ночи», *Последние новости*, 1935/5033 (3 января).

«Г.Гофман считал полезным беседовать со мной о своих текущих работах...» — об этом см., в частности, публикацию Л.Шура, «Письма В.Ф.Ходасевича М.Л.Гофману (Из истории пушкинистики в русском Париже)», в изд.: *Russian Literature and History* (Jerusalem, 1989), сс. 154–162. После ожесточенной полемики Ходасевича с Гофманом к концу 20-ых годов (см. заметки «О спорах о Пушкине» (1928) и «Конец одной полемики» (1929) и примечания к ним в наст. изд., т. II), отношения между ними были восстановлены в 1933–1935 гг. В эти годы оба они входили в парижский Пушкинский комитет и участвовали в подготовке пушкинского юбилея 1937 года.

«Собираясь предложить французскому издателю сборник статей о Пушкине, г. Гофман...» — о каком именно сборнике идет речь нам не

известно; возможно, что имеется в виду послевоенное изд.: M. et R. Hofmann, *Pouchkine et la Russie* (Paris, 1947), опубли. совместно с его сыном лет десять спустя.

«Таково, между прочим, было мнение М.О.Гершензона, который Тургеновым занимался побольше...» — см., в частности, его очерк о Тургене в кн.: *Образы прошлого* (Москва, 1912); и кн.: *Мечта и мысль И.С. Тургенева* (Москва, 1919).

«<...> мотив статьи Гофмана, касающийся инцидента, происшедшего между нами в начале 1929 г.» — см статью «Конец одной полемики» (1929) и примеч к ней в т. II наст. изд.

«В 1924 г. г. Гофман дал г. Милюкову свою статью об отрывках т.н. X главы *Евгения Онегина*» — далее об этом см. нашу публикацию письма Ходасевича М.А.Цявловскому от 29 июня 1925 г. и примеч. к нему: *Письма к МАЦ*.

*

Тем не менее, года два спустя Ходасевич отдал Гофману должное. См., в частности, заметку Гулливера, «Письма Пушкина», о первом издании французских оригиналов этих писем в советской России:

Юбилейное полное собрание сочинений Пушкина, начатое упраздненным издательством «Академия», закончено Гослитиздатом. Недавно вышел последний, шестой том, содержащий письма Пушкина с 1815 по 1837 г. Это — полный свод всех до сих пор известных писем поэта. Их количество равно восьмистам. Как известно, о культурной работе эмиграции в Советском союзе сообщать воспрещается. То, что делается эмигрантами, кто-нибудь из советских ученых вынужден приписывать себе. Так случилось и с письмами Пушкина к невесте, французский текст которых был впервые опубликован М.Л.Гофманом, с оригиналов, принадлежащих С.М.Лифарю. В сообщении об издании Гослитиздата сказано, что этот французский текст *печатается впервые* и что он *подготовлен к печати* Т.Г.Зенгер, которая, разумеется, могла только целиком заимствовать его у М.Л.Гофмана.

(«Литературная летопись», *Возрождение*, 1938/4141, 22 июля.)

Автор, герой, поэт.

Впервые — *Круг. Альманах* (Париж, 1936), <Книга первая>, сс. 167–171. Этот же первый (из трех) выпуск альманаха — основанного И.И. Бунаковым—Фондаминским для сближения между молодыми писателями и религиозными мыслителями, группировавшимися около журнала *Новый град* — рецензируется Ходасевичем в газ. *Возрождение*, 1936/4035 (18 июля).

«Этот набросок Пушкина...» — датируется февралем 1823 г. Впервые 15 января этого же года в Петербурге Шарль Луи Дидло поставил балет

(хореографическую пантомиму) «Кавказский пленник, или Тень невесты» (музыка К. Кавоса) по мотивам пушкинской поэмы.

«<...> в частном письме Пушкин писал...» — к В.П. Горчакову, из Кишинева, дат. октябрь–ноябрь 1822 г.

«<...> „В четвертой главе *Онегина* я изобразил свою жизнь”, — говорит Пушкин» — в письме к П.А. Вяземскому от 27 мая 1826 г. из Пскова.

«<...> А. Бестужев писал Пушкину о его герое...» — в единственно сохранившем письме, дат. 9 марта 1825 г., из Петербурга.

«<...> по его собственному выражению, „равнодушием к жизни” и „преждевременною старостию души”...» — см. то же письмо Пушкина к В.П. Горчакову от октября–ноября 1822 г.

«<...> не мог „отличить ямба от хорей”» — см. строфу VII первой главы *Евгения Онегина*.

«<...> то, что сказано о нем в ином смысле и по иному поводу...» — цитируется «Домик в Коломне», строфа V,

Пушкин в издании «Иллюстрированной России».

Впервые — *Возрождение*, 1936/4036 (25 июня), под рубрикой «Книги и люди». Рец. на: *Сочинения А.С. Пушкина в двух томах*. Издание журнала «Иллюстрированная Россия» (Париж, 1936). Согласно объявлению в журнале, издание вышло в апреле, а уже вторая перепечатка была распродана в мае и готовилось новое издание.

«Русский Национальный комитет обратился...» — по сведению С. Лифаря, 21 ноября 1934 г., комитет, под председательством А.В. Карташева, принял решение «в котором призывал к организации чествования пушкинской годовщины, к объединению русской эмиграции вокруг имени Пушкина, как символа русской культуры».

Об этом и подробнее о том, как в Париже образовался Пушкинский комитет см. кн.: Сергей Лифарь, *Моя зарубежная пушкиниана* (Париж, 1966), сс. 32–39, и след.; ср. предисловие Вадима Перельмутера, «Нам целый мир чужбина...», к антологии: *Пушкин в эмиграции. 1937* (Москва, 1999), сс. 7–41. См. также: Рашит Янгиров, «Пушкин и пушкинисты. По материалам из чешских архивов», в ж. *Новое литературное обозрение*. 1999. № 37. Сс. 181–228.

Женатый Пушкин.

Впервые — *Возрождение*, 1936/4036 (25 июля), под рубрикой «Книги и люди». Рец. на: Александр Шик, *Женатый Пушкин* (Берлин, «Парабола», 1936). К 200-летию со дня рождения Пушкина книжки Александра Адольфовича Шика о поэте были переизданы М.Д. Филиным: Александр Шик, *Одесский и женатый Пушкин*; Всеволод Иванов, *Александр Пушкин и его время* (Москва, «Вече», 1999). Там же, сс. 5–16, см. краткие биографии этих малоизвестных авторов.

Недоразумение.

Впервые — *Возрождение*, 1936/4044 (19 сентября), под рубрикой «Книги и люди».

«Иридион».

Впервые — *Возрождение*, 1936/4050 (31 октября), под рубрикой «Книги и люди».

«Поэма, которую польский историк Мохнацкий назвал „руководством для заговорщиков“...» — см. в изд.: Маугусу Mochnecki, *Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831*. Warszawa, 1981, tom I, s. 255.

«Трагедия Красиньского была издана по-русски дважды...» — имеется в виду: С.Красинский, *Иридион* (СПб., 1904), перевод В.Уманского; и изд.: С.Красинский. *Иридион*. Перевод Владислава Ходасевича. Книгоиздательство «Польза» (В. Антик и Ко.), 1910, в серии «Универсальная библиотека», №№ 234–235. Предисловие переводчика Ходасевича к этому изданию перепечатано в изд.: *СС*, 83–90, т. II, сс. 74–75.

Сегодняшнее русское правописание имени автора: Зыгмунт Красиньский. Долголетний и глубокий интерес Ходасевича к Красиньскому подтверждают планы (в 1912 г.) издать в собственном переводе собрание сочинений Красиньского в трех томах у ярославского издателя К.Ф. Некрасова. См. письма к Некрасову и перевод повести «Агай-хан» в публикации: Вячеслав Козляков, «Владислав Ходасевич и Зыгмунт Красиньский» в сб. *Начало века. Из истории международных связей русской литературы* (СПб., 2000), сс. 319–396.

«„Иди на север, во имя Христа...”» — абзац является слегка измененным вариантом части «Заключения» к пьесе в переводе Ходасевича (1910); ср. с. 171.

«<...> в ном. 905 *Возрождения*, я писал о поэме Мицкевича» — см. статью «Конрад Валленрод» (1927), и примеч. к ней в наст. изд., т. II.

Черная годовщина.

Впервые — *Возрождение*, 1936/4052 (14 ноября).

«Первое издание книги вышло в 1916 г.» — речь идет о кн.: П.Е.Щеголев, *Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы* (СПб., 1916). При жизни исследователя вышли в том же 1916 г. — второе, и третье (просмотренное и дополненное) издания в 1928 г. Ср. новые издания с ценными дополнениями и примечаниями Я.Л.Левкович, вышедшие в Москве в 1987 г. и в Санкт-Петербурге в 1999 г. См. также заметку Ходасевича по поводу смерти Щеголева в примеч. к статье «В спорах о Пушкине» (1928) в наст. изд.

«<...> а уже 21 ноября Пушкин сказал гр. В.А.Соллогубу...» — см. *Воспоминания* Соллогуба (отд. изд. 1887; 1931). Здесь, и, далее, барон Корф и кн. Вяземская, вероятно, цитируются по изложению Щеголева.

«<...> тем же Щеголевым было установлено <...>, что <...> „Его Величество принимал Генерал-Адъютанта Графа Бенкендорфа и Камер-Юнкера Пушкина”» — см. статью; П.Е.Щеголев, «Царь, жандарм и Поэт» в ж. *Огонек*, 1928, № 24. Ср.: *Летопись жизни и творчества Александра Пушкина* (Москва, 1999), т. 4, с. 539 и с. 650.

«<...> Долгоруков, который нашел убежденного прокурора также в лице Б.Л.Модзалевского» — в кн. *Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина* Б.Л.Модзалевского, Ю.Г.Оксмана и М.А.Цявловского (Петроград, 1924). См. рецензию Ходасевича (1924) на эту книгу в наст. изд., т. I.

«<...> судебный эксперт петербургского суда Сальков произвел графологическую экспертизу...» — новейшие исследователи, М.И.Яшин (см. ниже) и др., привлекли новых экспертов, которые отвергли выводы почерковеда А.А.Салькова. Ср. комментарий Левкович в кн. Щеголева (изд. 1987), сс. 548–549. См. также: С.Л.Абрамович, *Предыстория последней дуэли Пушкина* (С.-Петербург, 1994).

«<...> в брошюре Аммосова...» — речь идет об изд.: А.Н.Аммосов, *Последние дни жизни и кончина Александра Сереевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса* (СПб., 1863). См. отрывки из нее и примеч. к ним в кн.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников (Москва, 1974), т. 2, сс. 318–334, сс. 495–499; здесь текст слегка отличается от цитаты у Ходасевича.

«Благодаря любезному содействию о. И.Н.Кологривова...» — русский католик и член ордена иезуитов; см. его труд, опубликованный посмертно: О. Иоанн Кологривов, *Очерки по истории русской святости* (Брюссель, 1961). Речь идет об архиве Гагарина, хранившемся в: *Bibliothèque Slave, Section des manuscrits. Archives Gagarine*. (О парижской Славянской библиотеке см. примечание к работе «Аглая Давыдова и ее дочери» (1935) в наст. томе.)

После дипломатической карьеры, в 1842 г. Гагарин принял католичество, стал священником в Ордене иезуитов, и в дальнейшем, в Париже и Лондоне, занимался миссионерской и издательской деятельностью.

Подробнее о возможной роле Гагарина в составлении анонимного пасквиля на Пушкина см.: Михаил Яшин, «К портрету духовного лица», *Нева*, 1966, №№ 2, 3. Исследователь приводит гагаринское письмо от 29 июля 1863 г. — в русском переводе — без упоминания публикации Ходасевича.

«Ответ Гагарина Долгорукову <...> в *Биржевых ведомостях* ...» — речь идет о заметке: «Опровержения иезуита Ивана Гагарина по поводу смерти Пушкина», *Биржевые ведомости*, 16 июля 1865 г. Приводится полностью у Яшина (*Нева*, 1966, № 2, сс. 172–174).

Дневник А.А. Олениной.

Впервые — *Возрождение*, 1936/4056 (2 декабря), под рубрикой «Книги и люди».

«Эта версия шла от художника Ф.Г. Солнцева...» — см.: «Моя жизнь и художественно-археологические труды, рассказ академика Ф.Г. Солнцева», *Русская старина*, 1876, т. 15, № 3, сс. 617–644 (цитату на с. 633).

«<...> отрывок из воспоминаний некоего Железнова...» — см. публикацию записей Н.Д.Быкова: Н.К.Козмин, «Пушкин и Оленина (По новым данным)», *Сборник Пушкинского Дома на 1923 год*. (Петроград, 1922), сс. 33–34. Сведения и Солнцева, и Железнова приводятся В.В. Вересаевым в кн.: *Пушкин в жизни*, раздел «От переезда в Петербург до путешествия в Арзрум (май 1827–май 1828)».

«<...> какое отношение к ней имеют некоторые его стихотворения...» — у Черейского не эти, а другие стихотворения связаны с Олениной. О возможных датах и адресатах стих. «Что в имени тебе моем?» см. публикацию В. Базилевича в *Литературном наследстве*, 16–18, сс. 876–879. (Этот же том *Литературного наследства* был отрецензирован Ходасевичем; см. в наст. томе под 1935 г.)

«<...> дневник, относящийся как раз к 1828–1829 гг. и неожиданно опубликованный в Париже ее внучкой О.Н.Оом» — отрывки из дневника, из этого же малотиражного издания (двести пронумерованных экземпляров), вскоре были воспроизведены в советской России: В.Д.Бонч-Бруевич, «Пушкин в воспоминаниях А.А. Олениной», *Известия ЦИК СССР и ВЦИК*, 1937, № 35, 9 февраля.

Исчерпывающее прочтение пушкинских упоминаний в дневнике см.: Т.Г.Цявловская, «Дневник А.А.Олениной», *Пушкин. Исследования и материалы*, 1958, т. II, сс. 247–292. Ср.: Ф.Я.Прийма, «Пушкин и кружок А.Н.Оленина», там же, сс. 229–246.

Парижский том — в котором тексты на французском языке были опубликованы только в русском переводе — был перепечатан в России спустя почти шестьдесят лет: *Дневник «Annette»* (Москва: Фонд. им. И.Д.Сытина, 1994), под ред. В.И. Десятерика.

«<...> интереснейший рассказ Олениной о первой встрече с поэтом...» — ср. слегка измененный вариант этого же рассказа (с переводом на русский язык) в новейшем — пересмотренном и исправленном — издании: А.А.Оленина, *Дневник. Воспоминания* (Санкт-Петербург, 1999), ред. В.М.Файбисович, сс. 66–70. Цитаты у Ходасевича из дневника исправлены нами по этому изданию.

«<...> прав был Вяземский, писавший жене 7 мая 1828 г....» — впервые: М.С.Боровкова-Майкова, «Письма Вяземского», *Литературно-художественный сборник «Красной панорамы»* (Ленинград, ноябрь, 1929), с. 49. Вероятно, цит. по вересаевскому *Пушкину в жизни* (новое издание, 1936).

«<...> резкие отзывы Пушкина об Олениной, записанные в воспоминаниях А.П.Керн...» — следующий отрывок из ее *Воспоминаний* (Ленинград, 1929) относится к А.А.Олениной: «В это время <1828 г.> он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: „Город пышный, город бедный“ и „Пред ней, задумавшись, стою“. Несмотря,

однако же, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об *ней* с нежностью и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: „Вот, например, у *ней* вот какие маленькие ножки, да черт ли в них”. В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: „Сегодня Крылов просил, чтобы я написал *что-нибудь* в ее альбом”. — „А вы что сказали?” — спросила я. „А я сказал: „*Ого!*” В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий».

«Пушкин отправился в Малинники, „собирать недоимки” с тамошних барышень...» — фраза из письма к Н.Н.Карадыкину от декабря 1836 г. — января 1837 г.

«<...> написал А.Н.Вульф известные стихи...» — стих. предположительно датируется концом октября – ноябрем 1828 г.

О Пушкине

Сборник статей *О Пушкине* вышел в ознаменование столетия кончины А.С.Пушкина в феврале 1937 г. в берлинском издательстве «Петрополис». Книга была издана в количестве пятисот экземпляров, из которых 50 экземпляров с подписью автора в продажу не поступили.

Эти 50, видимо, были предназначены для подписчиков, ответивших на анонс о подписке на пушкинскую биографию, которую Ходасевич якобы подготавливал к юбилею. (Объявления о подписке на биографию публиковались в газетах с начала 1935 г.) Сборник был составлен взамен обещанной биографии.

Книга *О Пушкине* в значительной мере содержит статьи, очерки и заметки, уже известные по книге *Поэтическое хозяйство Пушкина* (Ленинград, 1924), а остальные, впервые собранные в новый сборник, были уже напечатаны в журналах и газетах. В действительности, книга 1937 г. — измененное и дополненное издание более раннего его пушкинского сборника. Следует упомянуть, что 7 статей (из 23), предназначенных автором для издания 1924 г., в него не вошло. Реконструкция *Поэтического хозяйства Пушкина* по первоначальному плану автора опубликована нами в первом томе настоящего издания (1999). Все статьи и заметки — по желанию автора — были там опубликованы без названий, а обозначены цифрами. Для нового сборника Ходасевич восстановил или дал новые заглавия каждой статье.

Почти в один голос рецензенты жалели о том, что Ходасевич не выполнил намерение дать к юбилею «синтетический труд о Пушкине» (А.Л. Бем), «творческую биографию Пушкина» (Ю.В.Мандельштам). Восторженный, преувеличенный отклик Мандельштама, младшего коллеги Ходасевича по *Возрождении*, появился сразу: «Нет сомнения, что небольшая книга Ходасевича (в ней нет и двухсот страниц) одна перевешивает всю пушкинскую литературу юбилейного года — по обе стороны рубежа.

Мало того, она и безотносительно столь значительна — несмотря на несколько разрозненный характер, составивших ее очерков — что ей обеспечено почетное место в пушкинизме вообще» (*Возрождение*, 1937/ 4077 (8 мая)). Затем следовала очередная, мелочная «беседа» от старого оппонента Г.В. Адамовича: «Все <статьи> отмечены пристально-внимательным изучением пушкинских текстов и несомненно ценным в историко-литературном отношении. Однако, Ходасевич воздерживается от каких либо выводов и крайне редко говорит о Пушкине „вообще“. Поэтому, подлинный разбор его работы может быть дан лишь в специальной печати, и лишь у специалиста вызовет живой интерес» (*Последние новости*, 1937/5941 (1 июля)).

«Подлинный» специалист—пушкинист Бем дал более продуманную оценку: «<...> у каждого внимательного читателя, а на такого только и рассчитана книга В. Ходасевича, по мере ознакомления с очерками автора возникают как раз те „выводы и обобщения“, от которых он сам отказывается; возникают в процессе самостоятельного освоения материала и его своеобразного освещения автором. И этот процесс сотворчества с автором доставляет истинное наслаждение». О самоповторениях у Пушкина (главная тема Ходасевича), Бем — совершенно разделяя мнение Ходасевича — заметил: «<...> у Пушкина мы имеем дело с варьированием устойчивого словесного сочетания с очень тонким художественным приемом закрепления постоянства поэтического „я“ художника» (*Меч* (Варшава), 1937/30 (8 августа)).

Наконец, В.В.Вейдле: «Такую книгу, где жизнь и творчество были бы поняты совместно, где Пушкин был бы *весь* (чем еще не отрицается, конечно, неисчерпаемость гения, и даже всякой личности), только Ходасевич и мог бы нам дать, потому что у него одного в должной мере сочетается знание предмета с проникновением в его внутреннюю жизнь, в его смысл. Если он этой книги не напишет, неизвестно кто и когда сумеет ее написать: знающие найдутся, но понимающих мало и сейчас...» (*Современные записки*, 1937/64)

*

В большинстве случаев, текст цитат приводится не по новейшим изданиям Пушкина, а оставлен в варианте Ходасевича. Более подробные примечания см.: том первый настоящего издания, сс. 415–443, и — в томе втором настоящего издания — в комментариях к первым публикациям статей, не включенных в нашей реконструкции *Поэтического хозяйства Пушкина*. Перепечатку сборника *О Пушкине*, в редакции и с комментариями И.З.Сурат см. в изд.: *СС*, 96–97, том третий, сс. 395–511, 560–590.

Предисловие.

«... моя книга <...>, изданная без моего участия...» — историю публикации *ПхП* см. в первом томе наст. изд., сс. 415–426.

«„Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная”» — цитируется повесть «Арап Петра Великого», глава III.

Явления Музы.

Впервые — ж. *Беседа*, 1925/№ 6–7, сс. 272–299. Перепечатано по плану автора — *ПхП* (1999), № 47, сс. 258–281.

Статья не входила в ленинградское *ПхП* (1924) и, вопреки стараниям автора и московского пушкиниста М.А. Цявловского, не была опубликована отдельно в советской России. Об этом см. письмо от 29 июня 1925 г.: *Письма к М.А.Ц.*, с. 222–227. Ср.: том первый наст. изд., сс. 434–435. Текст незначительно переделан.

Бережливость.

Впервые — ж. *Беседа*, 1923/2, сс. 170–171, 177–179.

Составлено частично из фрагментов №№ 6 и 2, *ПхП* (1924), сс. 16–17, 9–10; *ПхП* (1999), сс. 119–121, 111–115.

«Гаврилиада».

Впервые — ж. *Беседа*, 1923/3, сс. 194–205. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 33, сс. 60–70; *ПхП* (1999), № 33, сс. 168–179.

Переделка текста *ПхП*.

Пора!

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 182–184. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 11, сс. 20–21; *ПхП* (1999), № 11, сс. 123–127.

Текст тот же как в *ПхП* (1924, 1999), но убрано 13 из 33 примеров, приведенных в *ПхП* (1924) и 25 из 48 примеров, приведенных в *ПхП* (1999).

Перечисления.

Впервые — *Беседа*, 1924/5, сс. 218–236. Не входило в *ПхП* (1924); *ПхП* (1999), № 42, сс. 218–233.

Текст слегка переделан.

Отъезды , отлеты, исчезновения.

Впервые — *Беседа*, 1924/5, сс. 239–244. Перепечатано — частично — *ПхП* (1924), сс. 21–22; полностью — *ПхП* (1999), № 44 сс. 236–240.

Текст слегка переделан.

Прямой. Важный. Пожалуй.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 193–194 («Прямой»); *Беседа*, 1924/5, сс. 236–239 («Важный»); г. *Возрождение*/2963, 13 июля 1933 («Пожалуй» в составе заметок «Мелочи»). Перепечатано — *ПхП* (1924), № 19, сс. 19–20; *ПхП* (1999), № 19, сс. 135–136 («Прямой»).

Переделка.

История рифм.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 172–173, 194–198. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 20, сс. 30–34; *ПхП* (1999), № 20, сс. 136–141.

Добавлена преамбула; переделано окончание.

Излюбленные звуки.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, с. 180. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 8, с. 18; *ПхП* (1999), № 8, сс. 121–122.

Художник.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 185–186. По недосмотру пропущено в *ПхП* (1924). Перепечатано — *ПхП* (1999), № 14, сс. 127–128.

Наполеон.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 186–190. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 15, сс. 23–26; *ПхП* (1999), № 15, сс. 128–132.

Переделка.

Вольности.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 176–177. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 5, сс. 14–15; *ПхП* (1999), № 5, сс. 118–119.

Евгений Онегин, V, 36.

Впервые — *Беседа*, 1923/2, сс. 210–213. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 25, сс. 45–47; *ПхП* (1999), № 25, 151–154.

Кошунства.

Впервые — *Современные записки*, 1924/Кн. XIX, сс. 405–413; под названием: Кошунства Пушкина (из книги «Поэтическое хозяйство Пушкина»). Пропущено в *ПхП* (1924). Перепечатано — *ПхП* (1999), № 48, сс. 282–293.

Ссора с отцом

Впервые — *Современные записки*, 1924/Кн. XX, сс. 302–308; как первая часть исследования о «Русалке». Перепечатано — *ПхП* (1924), № 42, сс. 106–113; *ПхП* (1999), как первая часть № 49, сс. 293–300.

Двор — снег — колокольчик.

Впервые — *Дни*, 1924/481 (8 июня); под названием: Приезд Пущина в поэзии Пушкина (глава из книги «Поэтическое хозяйство Пушкина»). Повторно — *Возрождение*, 1930/1731 (27 февраля). Заметка пропущена в *ПхП* (1924). Перепечатано — *ПхП* (1999), № 51, сс. 361–367.

Стихи и письма

Заметка составлена частично из материалов из: *Беседа*, 1923/2, с. 178; 1923/3, сс. 215–228; *ПхП* (1924), сс. 16, 79–91.

Ср.: *ПхП* (1999), № 38, сс. 188–201.

Вдохновение и рукопись

Впервые — *Беседа*, 1923/3, сс. 229–237. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 39, сс. 91–98; повторно — газ. *Возрождение*, 1932 /2711 (3 ноября); *ПхП* (1999), № 39, сс. 201–208.

Сокращенный вариант.

Бури

Впервые — *Беседа*, 1923/3, сс. 183–193. Перепечатано — *ПхП* (1924), № 30, сс. 51–59; повторно — газ. *Возрождение*, 1930/1941 (25 сентября); под названием: *Дурная погода*; *ПхП* (1999), № 30, сс. 157–166.

О двух отрывках

Впервые — *Звено*, 7 ноября 1926, сс. 2–3; под названием: *О двух отрывках Пушкина*. Ср.: *ПхП* (1924), № 41, сс. 101–106; *ПхП* (1999), № 41, сс. 212–218.

Прадед и правнук

Впервые — *Последние новости*, 1925/1265 (8 июня); под названием: *Пушкин и Ганнибал*. Повторно: *Возрождение*, 1930/1717 (13 февраля); под названием: *Женитьба Пушкина*. Статья не включена в *ПхП* (1924). Перепечатано — *ПхП* (1999), № 52, сс. 367–374.

Амур и Гименей

Впервые — *Воля России* (Прага), 1924/№ 1/2, сс. 103–114. Статья не включена в *ПхП* (1924). Перепечатано — *ПхП* (1999), № 45, сс. 241–251.

1937

Здесь не воспроизводятся следующие работы за этот год:

1) Черные предки (из готовящейся к печати книги *Пушкин*) — *Сегодня*, 1937/26 (26 или 27 января). Перепечатка с небольшими разночтениями первой части главы, впервые опубликованной под названием «Начало жизни» в: *Возрождение*, 1932/2524 (30 апреля); см. в наст. изд.

2) Дядюшка-литератор (из готовящейся к печати книги *Пушкин*) — *Сегодня*, 1937/32 (1 февраля). Перепечатка с небольшими разночтениями главы, впервые опубликованной под названием «Литература» в: *Возрождение*, 1932/2564 (9 июня); см. в наст. изд. К варианту 1937 г. прибавлен финал:

Его собирались послать в Петербург, в иезуитский коллегиум, но все вдруг изменилось: в начале 1811 г. было опубликовано о предстоящем открытии в Царском Селе нового рассадника просвещения, возникшего по мысли самого императора и под особым его покровительством. То был Лицей (или Ликей, или даже Лицея, как выражались некоторые). Курс наук предположен был самый обширный, а воспитание образцовое: в Лицее должны были обучаться младшие братья государя. Перед воспитанниками открывалась, конечно, блистательная карьера в будущем. Если прибавить, что правительство брало их на полное иждивение, то станет понятно, с каким рвением Пушкины пустились в хлопоты. При помощи Малиновского, будущего директора, который коротко был знаком с Сергеем Львовичем, и при содействии Тургенева, успевшего занять видное положение в Петербурге, Александр Пушкин был допущен к вступительному экзамену.

Незадолго перед тем Василий Львович сочинил первую и последнюю свою поэму, в которой (в первый и последний раз в жизни) изобразил то, в чем знал толк: жизнь веселого дома, его обитательниц и гостей. Сойдя с поддельных высот и оставив жеманство, впервые заговорил он голосом правды. От этого поэма, которую он писал шутя, стала его единственным серьезным произведением. Напечатать «Опасного соседа» нечего было и думать — цензура его не пропустила бы. Но он разошелся в списках, стал знаменит. Автор был в упоении. Но одной московской славы было ему мало: он жаждал вкусить Петербург. К тому же недавно он вступил в масонскую ложу «Соединенных Друзей». Теперь хотелось ему поболтать в петербургской «Ложе Елисаветы». Словом, он был уверен, что в столице есть у него важные дела. Он вызвался отвезти племянника.

Тронулись в путь в июне месяце. Александр покинул родительский дом без малейшего сожаления. Однако две старые девы, две тетушки, Анна Львовна и Варвара Васильевна (Чичерина, сестра бабушки), считали, что надо его утешить. Сложившись, дали они ему сто рублей на орехи. До Петербурга он этих ста рублей не довез: Василий Львович взял у него их взаймы — да и позабыл отдать.

3) Аврора Шернваль — *Белградский Пушкинский сборник* (Белград, 1937), под ред. Е.В. Аничкова. Перепечатка статьи 1934 г. под тем же названием; см. в наст. изд. Вариант 1937 г. отличается мелкими стилистическими поправками, отсутствием первого абзаца и дополненным объяснением о дате рождения Авроры Шернваль:

В печатных источниках до сих пор указывалось, что Аврора Шернваль родилась 28 июля 1813 года. Из этого приходилось заключить, что в стихах Баратынского речь шла о девочке одиннадцати-двенадцати лет и что любовные чувства Муханова были обращены почти к ребенку. На основании сообщения, которым мы обязаны одному из родственников семьи Шернвалей, мы можем исправить ошибку: в действительности Аврора Карловна родилась не в 1813, а в 1808 году и была не младшей, а старшей из двух сестер. Когда и по какой причине ошибка произошла установить мы не можем, но несомненно, что после того, как она исправлена, чувства Муханова и вызванные ими стихи Баратынского приобретают естественность, которой им не доставало.

Дуэльные истории.

Впервые — Приложение («Пушкин. 1837–1937») к *Возрождению*, 1937/4064 (6 февраля). Под названием «Дуэльные истории Пушкина» перепеч. в: *Сегодня*, 1937/38 (7 февраля). О публикациях его пушкинских штудий в рижской газете *Сегодня* в 1937 г. см. переписку Ходасевича с редакцией в кн.: Ю.Абызов, Л.Флейшман, Б.Равдин, *Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Книга V. Близость катастрофы*, Stanford Slavic Studies, Stanford, 1997, vol. 17, сс. 195–202. Вскоре статья была переведена и опубликована на сербохорватском: *Puskinovi dvoboji, Ruski arhiv* (Београд, 1937), № 40–42, сс. 71–78.

«<...> Пушкин писал в 1825 году Бестужеву...» — в письме от 30 ноября.

«<...> Павел Исаакович <...> отбил у него перезрелую девицу Лошакову» — см. *Воспоминания* Л.Н.Павлищева, цитируемые у Вересаева, раздел «IV. Петербург».

«23 марта 1820 года Е.А.Карамзина, жена историка, писала своему брату, кн. П.А. Вяземскому...» — цитируется по Вересаеву, раздел «IV. Петербург».

«<...> Н.И.Греч писал в записках своих...» — см. в кн.: Н.И.Греч, *Записки о моей жизни* (под ред. Иванова–Разумника и Д.М. Пинеса; М.; Л., 1930), с. 463.

«<...> декабрист Басаргин, говоря о встречах с Пушкиным в Тульчине и в Одессе, рассказывает...» — см. в кн.: Н.В.Басаргин, *Записки* (ред. и вступ. ст. П.Е.Щеголева; Пг., 1917), с. 80.

«Впоследствии, в письме к кн. Вяземскому, Пушкин вспоминал...» — вероятно, имеется в виду письмо к П.А.Катенину, дат. первой половиной сентября 1825 г.: «<...> впрочем, на все мои стихи я гляжу довольно равнодушно, как на старые проказы с К...., с театральным майором <Денисевичем> и проч.: больше не буду!». Об этом см. далее «Знакомство мое с Пушкиным» (цитируется у Вересаева, раздел «IV. Петербург») И.И.Лажечникова — в декабре 1819 г. предотвратившего дуэль Пушкина с майором Денисевичем — и его же письмо к Пушкину от 19 декабря 1831.

«<...> Пушкин <...> говорил своему секунданту: „скверно, гадко: да как же кончить?“» — см. мемуары секунданта, И.П.Липранди; цитируется по Вересаеву, раздел «VI. В Кишиневе».

«<...> суждение о Толстом Пушкин впоследствии, в письме к брату...» — речь идет о письме из Кишинева, дат. октябрь 1822 г.

«<...> рассказывает по этому поводу В.П.Горчаков в своем дневнике...» — см. горчаковские «Выдержки из дневника» (впервые в: *Москвитянин*, 1850, № 2); здесь цитируются по Вересаеву, раздел «VI. В Кишиневе».

«Это можно предположить на основании неслыханно оскорбительного письма...» — имеется в виду письмо к Дегильи от 6 июня 1821 г.

«<...> бар. Корф, довольно язвительно написавший Пушкину...» — письмо <июль 1819 г.?) приводится в *Воспоминаниях* Павлищева и цитируется у Вересаева, раздел «IV. Петербург».

«<...> замечательную характеристику <Пушкина> оставил Липранди...» — см. у Вересаева, раздел «VI. В Кишиневе».

«А.Ф.Вельтман, присутствовавший на какой-то дуэли Пушкин <...> говорит...» — в своих «Воспоминаниях о Бессарабии» (впервые — Л.Майков, *Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки* (СПб., 1899)); цитируется по Вересаеву, раздел «VI. В Кишиневе».

«П.И. Бартенев, ссылаясь на рассказы В.П.Горчакова <...> сообщил...» — в работе *Пушкин в южной России. Материалы для его биографии, собираемые Петром Бартевым* (М., 1862); здесь цитируется по Вересаеву, раздел «VI. В Кишиневе».

«„Погода была ужасная: метель до того сильна...“» — цитируются мемуары И.П.Липранди; см. у Вересаева, раздел «VI. В Кишиневе».

«Кишиневский слуга-молдаванин Бади-Тодоре рассказывал...» — см. у Вересаева, раздел «VI. В Кишиневе». Имя слуги, обучавшего Пушкина молдавскому языку, также пишется: Тодор–Бадя.

«Вельтман подтверждает этот рассказ...» — см. вышеуказанные его воспоминания у Вересаева, раздел «VI. В Кишиневе».

«<...> П.И.Миллер встретил его с ней <с палкой> в 1831...» — см. у Вересаева, раздел «XIII. Первые годы женатой жизни».

«По сообщению Н.М.Лонгинова...» — см. у Вересаева, раздел «VII. В Одессе».

«<...> выписал он перечень несчастливых дней...» — эти сведения восходят к не всегда достоверным воспоминаниям племянника Пушкина: «Оных дней в иануарии семь: 1, 2, 4, 6, 11, 12, 20; в февруарии три: 11, 17, 18; в березозоле четыре: 1, 14, 24, 25; в травене три: 1, 17, 18; в мае три: 1, 6, 26; в июние один: 17; в июлие два: 17, 21; в серпене два: 20, 21; в септемврие два: 10, 18; в октобрии три: 2, 6, 8; в ноемврии два: 6, 8; в декемврии три: 6, 11, 18» (Л.Н.Павлищев, *Из семейной хроники. Воспоминания об А.С.Пушкине* (Москва, 1890), с. 117). Текст — якобы продиктован Пушкиным сестре; вероятно, полуславянское, полунемецкое написание

месяцев свидетельствует о том, что это был давнишний список с какого-то астрологического календаря.

Юбилейные книги.

Впервые — *Возрождение*, 1937/4069 (13 марта), под рубрикой «Книги и люди».

«О никуда не годном издании „Иллюстрированной России” мы уже писали...» — см. рецензию на это издание (1936) в наст. томе.

«<...> двухтомное *Полное собрание сочинений...*» — речь идет об изд.: А.С.Пушкин, *Полное собрание сочинений в двух томах* (Рига: «Жизнь и Культура», <1936>). См. переписку Ходасевича с редакторами газ. *Сегодня* Б.О.Харитоном (бывшим также и редактором рижского издания сочинений Пушкина) и М.С.Милрудом в изд.: *Русская печать в Риге: Из истории газеты Сегодня 1930-х годов*, Книга V (Stanford, 1997), сс. 195–202.

«<...> шеститомное полное собрание сочинений, выпущенное в 1934 году...» — издание, выпущенное Гослитиздтом, является перепечаткой гихловского издания 1931–1934 гг. под ред. Демьяна Бедного, А.В.Луначарского, П.Н.Сакулина, В.И.Соловьева, М.А.Цявловского и П.Е.Щеголева.

«А.Л.Бем, автор только что вышедший книги...» — речь идет об изд.: А.Л.Бем, *О Пушкине. Статьи* (Ужгород: Издательство «Письмена», 1937). О пушкинистике Бема см.: Сергей Давыдов, «Бем–пушкинист», в сб. *А.Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья*, Москва, 2008, сс. 38–53; статья включает библиографию работ Бема о Пушкине. См. также переписку Ходасевича с Бемом в работах: Рашит Янгиров, «Пушкин и пушкинисты. По материалам из чешских архивов», в ж. *Новое литературное обозрение*, № 37 (1999), сс. 181–228; Леонид Ливак, «Поэтическое хозяйство Ходасевича», в сб. *Диаспора: Новые материалы*, вып. 4 (Париж, СПб., 2002), сс. 391–456.

«<...> порой его замечательный ум „на крыльях вымысла носимый”...» — цитируется эпилог поэмы «Руслан и Людмила».

«<...> настоящие катастрофы, в роде истории с пресловутой „скрижалю Пушкина”...» — об этой драматической истории Ходасевич рассказывает подробно в воспоминаниях «Книжная палата» (1932): под впечатлением, что заметка Жуковского принадлежала Пушкину, Гершензон включил этот «ключ» к философии искусства поэта в свою *Мудрость Пушкина* (1919). Вскоре узнав, что он ошибся, реакция Гершензона была радикальна: он обошел издательство и тех, как Ходасевича, получивших авторские экземпляры, и собственноручно вырезал страницы с этим текстом из книг. См. также, среди прочего: рец. П.Е. Щеголева на *Мудрость Пушкина (Книга и революция, 1920, № 2)*; М.А. Осоргин, *Заметки старого книгоеда* (М., 1989), сс. 25–28 — впервые: *Последние новости*, 1930, № 3305 (10 апреля).

«<...> книжечка Лоллия Львова...» — речь идет о кн.: *Сто лет смерти Пушкина. Парижские отклики в 1937 году*, собрал Лоллий Львов (Париж: Комитет по устройству Дня Русской Культуры во Франции, 1937).

«<...> Л.И. Львов напрасно потерял „время, благие мысли и труды“...» — цитируется стихотворение Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» (1823).

«Польский ученый Вацлав Ледницкий...» — о нем Ходасевич писал неоднократно; см., в частности, статьи «„Медный всадник“ у поляков» (1932) и «Друзья–Москали» (1935) и премечания к ним в наст. изд. Далее речь идет о кн.: W. Lednicki, *Puszkini (1837–1937)* (Kraków, Prace Polskiego Towarzystwa dla badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, XIV, 1937). О пушкинистике Ледницкого см. также: Д.П.Ивинский, *Пушкин и Мицкевич. История литературных отношений* (Москва, 2003), по указ.

«<...> года полтора тому назад в еженедельнике *Видомосци литерацке* Тувим напечатал статью...» — подразумевается статья: Julian Tuwim, «Czterogwiersz na warsztacie», *Wiadomości literackie*, 1934, No. 47 (574), s. 1.

«Только что вышедшая в Варшаве книга <...> представляет собою лишь антологию...» — речь идет о кн.: Julian Tuwim, *Lutnia Puszkina* (Warszawa, Wydawn. J. Przeworski, 1937).

Памяти П.В. Анненкова.

Впервые — *Возрождение*, 1937/4076 (1 мая), под рубрикой «Книги и люди».

«„При первой встрече <...>” рассказывал впоследствии Павел Васильевич...» — цитируются воспоминания Анненкова «Две зимы в провинции и деревне. С января 1849 по август 1851 года»; впервые: *Анненков и его друзья*, ред. Л.Н.Майков (СПб., 1892); *Былое*. 1922, № 18, сс. 4–18. См.: П.В.Анненков, *Литературные воспоминания* (Москва, 1960), с. 537.

«<...> однако „страх и сомнение в удаче обширного предприятия” мучили его...» — там же, с. 544.

«<...> некоторые документы, фигурировавшие на недавно закрывшейся выставке, устроенной г. Лифарем...» — о закрытии выставки «Пушкин и его эпоха» см.: *Возрождение*, 1937/4075 (24 апреля) и 1937/4076 (1 мая); об открытии выставки 16 марта см. репортаж Ю.Мандельштама, *Возрождение*, 1937/4070 (20 марта).

«<...> некоторые его записи, опубликованные лишь в 1929 г.» — вероятно, имеются в виду материалы, включенные в статью «Работы П.В. Анненкова о Пушкине»: Б.Л.Модзалевский, *Пушкин* (Л., 1929), сс. 275–396.

«„Материалы” Анненкова были переизданы отдельной книгой в 1873 г...» — под названием *А.С.Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений* (СПб., 1873).

«<...> появления книги *А.С.Пушкина в александровскую эпоху*» — на страницах журнала *Вестник Европы*, 1873, № 11–12; 1874, № 1–2; отдельное издание — СПб., 1874.

Продолжение дискуссии о деятельности Анненкова см. в заметке: Гулливер, «Рукописи Пушкина» (*Возрождение*, 1937/4089 (30 июля) в Приложении I к настоящему тому).

Сочинения Александра Пушкина.

Впервые – *Возрождение*, 1937/4084 (25 июня), под рубрикой «Книги и люди». Через неделю на страницах этой же газеты Ходасевич исправляет ошибку, допущенную в рецензии:

Pro domo mea

В прошлом номере *Возрождения*, указывая несколько ляпсусов, сделанных М.Л.Гофманом в примечаниях к *Сочинениям Александра Пушкина*, изданным Пушкинским комитетом, я сам сделал ляпсус, который считаю долгом исправить.

В комментариях к элегии «Погасло дневное светило», М.Л.Гофман пишет, что она была вызвана впечатлениями от переезда по морю с Кавказа в Крым (точнее – от Тамани до Керчи). Желая сказать, что в элегии выражены впечатления, взволновавшие Пушкина не тогда, а дней десять спустя, при ночном переезде из Феодосии в Гурзуф (от Керчи до Феодосии Пушкин ехал в экипаже), я обмолвился, вместо этого заявив, будто только переезд из Феодосии в Гурзуф был совершен по морю. (*Возрождение*, 1937/4085, 2 июля.)

«Пушкинский комитет...» — см. в преамбуле к примечаниям к настоящему тому.

«... художник „сам свой высший суд“...» — цитируется пушкинский сонет «Поэту» (1830).

«<...> непонятно, чем руководствовался г. Гофман, не включив <...> „Кн. Абамелек“...» — подразумевается стих. «Когда-то (помню с умиленьем)» (1832).

«С кем „с ним“ — неизвестно...» — в новейших изданиях два последних стиха печатаются (с конъектурой): «А с <ними> поцалуй свиданья... / Но жду его; он за тобой...».

«Жребий Пушкина», статья о. С.Н. Булгакова.

Впервые – *Возрождение*, 1937/4094 (3 сентября), под рубрикой «Книги и люди». Отклик на: Прот. С.Булгаков, Жребий Пушкина (Читано на заседании Богословского Института памяти Пушкина 28 февраля 1937 года), *Новый Град*, 12 (Париж, 1937), сс. 19–47.

«<...> многое было основано на самых фантастических сообщениях из так называемых „Записок А.О. Смирновой“...» — о них см. примечание к заметке «Парижский альбом, V» (1926) во втором томе настоящего издания.

«<...> Пушкин замечательно определил словами: „Ум ищет Божества, а сердце не находит” — цитируется стих 24 из стихотворения «Безверие» (1817).

«В знаменитом письме, за которое он был сослан из Одессы...» — имеется в виду отрывок из письма (перлюстрированного), адресованного или П.А.Вяземскому, или В.К.Кюхельбекеру из Одессы от апреля—первой половины мая (?) 1824 г.

«Белинский <...> ставит „Пророка” в один цикл с подражаниями „Песни Песней”» — здесь, вероятно, подразумевается следующее из «статьи пятой» «Сочинений Александра Пушкина»: «Превосходнейшие пьесы в антологическом роде, запечатленные духом древнеэллинской музыки, подражания Корану, вполне передающие дух исламизма и красоты арабской поэзии, — блестящий алмаз в поэтическом венце Пушкина! „В крови горит огонь желанья”, „Вертоград моей сестры”, „Пророк” и большое стихотворение, род поэмы, исполненной глубокого смысла и названной „Отрывком” (т. IX, стр. 183), представляют красоты восточной поэзии другого характера и высшего рода и принадлежат к величайшим произведениям пушкинского гения-протeya».

«<...> о гибели Пушкина есть статья у Владимира Соловьева» — подразумевается «Судьба Пушкина», впервые — *Вестник Европы*, 1897, N 9; отд. изд. — СПб.

«<...> последние слова Пушкина свидетельствуют об ином...» — ср. заметку Гулливера «Последние слова Пушкина» от 22 мая 1937 г., приведенную в Приложении к наст. тому.

«<...> Лермонтов <...> прямо и дважды свидетельствует...» — неточно цитируется «Смерть поэта» (1837):

Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жандой мести <...>

*

См. далее комментарий к этому тексту С.Г.Бочарова в кн.: *СС, 96–97*, сс. 561–562. Статья В.Соловьева «Судьба Пушкина», статья о С.Н.Булгакова и отклик Ходасевича перепечатаны в изд.: *Пушкин в русской философской критике* (Москва, 1990), под ред. Р.А.Гальцевой.

Дмитриев.

Впервые — *Возрождение*, 1937/4103 (29 октября).

«С большим правом, чем Пушкин, он мог сказать: „Чему, чему свидетели мы были!”» — цитируется «Была пора: наш праздник молодой...» (1836).

«Вяземский рассказывает, что Баратынский „как-то не ценил” ума Дмитриева...» — видимо, цитируется из *Старой записной книжки* (Ленинград, 1929; ред. Л.Я.Гинзбург): «Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя, после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно раз-

гадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумною и лобезною речью его» (с. 251). Впервые — *Полное собрание сочинений князя П.А.Вяземского*, том VIII (СПб., 1883), с. 427.

«<...> автобиография *Взгляд на мою жизнь*» — писалась в 1823–1825 гг.; записки под этим заглавием были впервые напечатаны в IX т. собрания сочинений Дмитриева, 1823 г.; под ред. племянника поэта, М.А. Дмитриева, вышла отдельной книгой в 1866 г.; перепечатана в изд.: *Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева* (С.-Петербург, 1895), под ред. А.А. Флоридова.

«<...> Пушкин, помогавший Языкову сочинить презлые пародии на эти апологи ...» — утверждение Ходасевича восходит к соображениям М.И.Семевского и Н.О.Лернера, а участие Пушкина в сочинении так называемых «Нравоучительных четверостиший» (1826 или 1827) под сомнением: см. комментарий М.К.Азадовского в изд.: Н.М.Языков, *Полное собрание стихотворений* (М.-Л., 1934), сс. 762–763.

«Замечательно, что Пушкин <...> писал в черновом письме к Вяземскому...» — по-видимому, речь идет о письме от 8 марта 1824 г.

«Верно сказано, что Дмитриев сделал для поэзии то, что Карамзин сделал для прозы» — см., в частности, статью Вяземского «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», впервые в изд.: И.И.Дмитриев, *Стихотворения*, ч. I (СПб., 1823), сс. I–LI.

«<...> Дмитриев „стонал“ за „сизых голубочек“...» — отсылка к его популярному романсу «Стонет сизый голубочек...» (1792), исполняемой на музыку Ф.М.Дубянского.

«„Английская словесность начинает иметь влияние на русскую, — писал Пушкин Гнедичу...”» — цитируется письмо от 27 июня 1822 г.

«Лучшую из этих од, „Ермака”, Пушкин назвал „такой дрянью, что мочи нет“...» — в письме к Вяземскому от 4 ноября 1823 г.

«<...> через десять дней после того письма, в котором бранил Дмитриева, он писал тому же Вяземскому...» — речь идет о письме, датированном 1–8 декабря 1823 г.

1938–1939

Пушкин и Николай I.

Впервые — *Возрождение*, 1938/4118 и 4119 (11 и 18 февраля).

«<...> недавно, в еженедельнике „Ведомости литератке”, г. Топоровский перепечатал его <Струтыньского> запись о разговоре с Пушкиным» — речь идет о публикации: М.Ж.Топоровски, «Puszkina rozmawia z carem na Kremlu», *Wiadomości literackie*, 1937, № 52/53 (738–739), s.9; в ней приведен фрагмент из кн.: Berlicz Sas, *Moskwa* (Kraków, 1873).

«До нас сохранилось лишь несколько реплик...» — см. сводку материалов в комментариях М.А.Цявловского в кн.: *Рассказы о Пушкине, запи-*

санные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851–1860 годы (М., 1925), особенно сс. 90–94; в комментариях Б.Л.Модзалевского в кн.: Пушкин, *Письма*, т. II (М.-Л., 1928), сс. 180–184; а также в кн. *Пушкин в жизни* В.В.Вересаева.

«<...> стихотворени<е>, которое кончалось <начиналось?> стихами „Восстань, восстань, пророк России!“ и т.д.» — вопрос о том, какое отношение (продолжение ли?) имеет четверостишие (1826) к стих. «Пророк» (1826) остается открытым. Об этих строчках см. у Вересаева, раздел «В Москве».

«<...> биограф и друг Струтынского, в свое время небезызвестный славист А.Киркор...» — по вышеуказанной публикации Топоровского, в 1874 г. в Кракове вышла книга А.Н.Киркора *O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich*, а в 1878 г. он опубликовал биографический некролог по смерти Струтынского.

Подробнее о секретной аудиенции см.: Н.Эйдельман, *Пушкин. Из биографии и творчества. 1826–1837* (Москва, 1987), сс. 9–64.

Гр. Д.Ф. Фикельмон.

Впервые — *Возрождение*, 1938/4127 (15 апреля). Ср. более ранние заметки Ходасевича: «Тайные любви Пушкина» (1925) и «Пушкин и Хитрово» (1928), перепечатанные в наст. изд.

«(Л.Толстой, по-видимому, воспользовался рассказом о его подвиге в знаменитом рассказе о ранении Андрея Болконского.)» — см., в частности, изд.: *Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово* (Ленинград, 1927), с. 149; см. также кн.: Б.М.Эйхенбаум, *Лев Толстой. Книга вторая. 60-ые годы* (Ленинград-Москва, 1931), сс. 414–415 (сн. 79).

«<...> замечания одного из основоположников пушкинизма, П.И.Бартенева...» — цитируется здесь и ниже изд.: *Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым* (Москва, 1925), сс. 98–99 (примечания М. Цявловского); 36–37. Если иначе не указано, все цитаты, ниже приведенные Ходасевичем изчернуты из этого издания.

«<...> некоторые исследователи (В.Ф.Саводник, Л.П. Гроссман) усомнились в действительности всего происшествия...» — см. в указ. примечаниях к бартеневским «рассказам» М.Цявловского, с. 101–102.

«<...> совсем недавно <...> была обнаружена Б.Л.Модзалевским фраза: „Жаркая история с женой Австр. Посланника“» — см. примечание Модзалевского к письму Пушкина П.А. Вяземскому от 2-го мая 1830 г. в изд.: Пушкин. *Письма* (Москва–Ленинград, 1928), т. II, с. 420.

«<...> Цявловский приурочивает свидание к эпохе, непосредственно предшествующей написанию „Пиковой дамы“...» — см. в его указ. примечаниях, с. 100.

«Однако вполне возможно, что прав Н.В.Измайлов...» — см. заметку Измайлова «Пушкин и Е.М.Хитрова [так]» в изд.: *Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово* (Ленинград, 1927), сс. 143–204.

«<...> Фикельмон писала Вяземскому...» — см. примечание Модзалевского в изд.: Пушкин. *Письма*, т. II, с. 420.

Курьезы психоанализа.

Впервые — *Возрождение*, 1938/4140 (15 июля), под рубрикой «Книги и люди».

«В начале двадцатых годов труд Ермакова появился в печати...» — подразумевается изд.: Проф. Ив. Дм. Ермаков, *Очерки по анализу творчества Н.В.Гоголя* (Москва-Петроград, 1924). См. «обомлевшие» отклики современников на книгу Ермакова: Л.Я.Гинзбург, рец. в *Русском современнике* (1924, кн. 4, сс. 259–260); В.Ф.Переверзев, *Печать и революция*, 1924, № 3, сс. 236–237; В.В. Виноградов, *Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский* (Ленинград, 1929), сс. 43–44. Ср. мнение Андрея Белого, что «<...> у Ермакова же кривая тенденция формализма использована для еще более кривой тенденции: для фрейдизма»: *Мастерство Гоголя* (Москва-Ленинград, 1934), с. 41. См. также переиздание с комментариями в кн.: И.Д.Ермаков, *Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский* (Москва, 1999).

Любопытно, что в данном отклике Ходасевич не упоминает более раннюю работу Ермакова: *Этюды по психологии творчества А.С. Пушкина* (Москва-Петроград, 1923).

Журнал *Русский врач в Чехословакии. Ежемесячный орган русских врачей-граждан Ч.С.Р.* выходил в Праге с 1934 г.

Жена Пушкина.

Впервые — *Возрождение*, 1938/4161 (9 декабря). Сокращенный вариант, с подзаголовком «Ее роковая роль в судьбе величайшего поэта», вскоре был напечатан в рижской газете *Сегодня*.

«<...> упоминая о презрении, возбужденном в Наталье Николаевне трусливой женитьбой Дантеса на ее сестре, Пушкин пишет...» — в не посланном письме Л.Геккерену от 17–21 ноября 1836 г. (цитата — перевод восстановленного текста).

«Будучи достаточно сведущ в „науке страсти нежной“...» — цитируется *Евгений Онегин*, гл. первая, VIII.

«<...> Пушкин решил жениться <...> потому что в „тридцать лет люди обыкновенно женятся“...» — цитируется письмо Н.И.Кривцову от 10 февраля 1831 г.

«<...> по выражению Вяземского, „заключить отступной контракт“» — вероятно, неточно цитируется письмо С.Д.Киселева Н.С.Алексееву от 26 декабря 1830 г.: «Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат <так!>»; см.: В.В.Вересаев, *Пушкин в жизни*, раздел «Перед женитьбой».

«<...> он смотрел „феодално“, „без романтических затей“» — см. «Граф Нулин», стих 59.

«За исключением Туманского, которому она не очень понравилась...» — см. у Вересаева, «Перед женитьбой», отрывок из письма В.И.Туманского С.Г.Туманской от 16 марта 1831 г.

«Соболевский назвал ее просто глупой...» — имеется в виду, вероятно, известное письмо Соболевского П.А.Плетневу от 13 февраля 1837 г.: <...> она добра, но ветрена, а такие люди в добре ненадежны, во зле непредвиденны. <...> Пушкин, умирая, был к ней добр и благороден; большим охотником я до нее никогда не был, но крепко-крепко верую с ним вместе, что она виновата только по ветрености и глупости...». См. примечание к рец. на *Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой* (1936) в настоящем томе.

«<...> побег из „свинского Петербурга“...» — выражение в письме Пушкина жене от 26 мая 1834 г.

«<...> рогиносцем может быть объявлен не только „шестисотлетний дворянин“...» — из письма Пушкина к А.А.Бестужеву от конца мая-начала июня 1825 г.

«Соллогуб рассказывает, что в нее была повально влюблена вся петербургская молодежь» — см. «Воспоминания о Пушкине» В.А.Соллогуба в кн. *Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников* под ред. С.Я. Гессена (Ленинград, 1936), сс. 521–540, в частности с. 523.

«Одна Наталья Николаевна оставалась почти в бездействии, словно бы „выше мира и страстей“...» — цитируется пушкинское стихотворение «Красавица» (1832).

Новые книги о Пушкине.

Впервые — *Возрождение*, 1938/4164 (30 декабря), под рубрикой «Книги и люди».

«Такой альбом <...> под названием *Пушкин и его время* — имеется в виду изд.: *Пушкин и его время. Альбом автоотипий с сопроводительным текстом* (Харбин, Центральный Пушкинский комитет при Бюро по делам российских эмигрантов в Манчжурской империи, 1938). Составлен проф. К.И.Зайцевым, П.А.Казаковым и П.И.Савостьяновым.

«<...> экспонаты парижской пушкинской выставки...» — имеется в виду Пушкинская Выставка/L'Exposition Pouchkine в фойе Зала Плейеля в Париже, от 16 марта до 15 апреля 1837 г.

«<...> *Календарь дней Пушкина*, изданный г. Евстафием Неговским в Кишиневе» — в 1937 г. в издательстве М.Э.Бланка в Кишиневе это издание вышло в шести выпусков.

«<...> суждение о книге Александра Шика...» — см. следующую рецензию.

Одесский Пушкин.

Впервые — *Возрождение*, 1939/4172 (24 февраля), под рубрикой «Книги и люди». Рец. на: Александр Шик, *Одесский Пушкин* (Париж, «Дом книги», 1938).

«<...> я отнесся к ней сочувственно» — см. рец. на кн. *Женатый Пушкин* (1936) в настоящем томе.

В <первой главе *Евгения Онегина*> Пушкин „захлебывался желчью” и „забалтывался донельзя”, но „даль” начала проясняться» — см.: письмо к А.И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г.; письмо к А.А. Дельвигу от 16 ноября 1823 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛЕТОПИСИ» ГУЛЛИВЕРА

1) *Пушкин-критик*.

«Достаточно бегло просмотреть сочинения Пушкина, — писал некогда Брюсов, — чтобы отметить, что в его стихах, повестях, драмах отразились едва ли не все страны и эпохи, по крайней мере связанные с современной культурой». Действительно, то или иное отражение в его творчестве нашла не только русская история чуть ли не от истоков ее вплоть до современных ему событий, но и античный мир, и древний и новый Восток, и мир Ислама, и европейское средневековье, и почти все страны новой Европы: Англия, Шотландия, Германия, Италия, Франция, Португалия, Испания, Литва, Польша, Финляндия. Ни Америка, ни даже дикие страны не ускользнули от его любопытства. Тот же Брюсов заметил по этому поводу: «Вспоминается, конечно, Гете, но судьба дала ему свыше восьмидесяти лет жизни и почти семьдесят лет творчества, тогда как вся деятельность Пушкина втиснута меньше чем в двадцать лет, включая и школьные опыты». Помимо истории, в круг пушкинских занятий входили и языковедение, и география, и математика, и политика, вплоть до специально экономических вопросов. Однако, наибольший интерес, разумеется, проявлял он к литературе, и в этой области справедливо может быть назван исключительным знатоком. Суждениями по общим и частным вопросам различных литератур полны не только его статьи, заметки в записных книжках и дневниках, не только письма его, но и стихи, и художественная проза. Не приходится удивляться, что тому же Брюсову, более двадцати лет тому назад, пришла мысль составить свод теоретических, исторических и критических суждений Пушкина о всемирной и русской художественной литературе. Такая работа и была им начата. «Суждения Пушкина о всемирной литературе» под редакцией Брюсова и с его вступительною статьей значатся в каталогах издательства «Альциона» в числе книг, готовящихся к печати. Книге этой все же не суждено было появиться, — по-видимому, она осталась незаконченной.

Составленный Н.В.Богословским и недавно изданный «Академией» том *Пушкин-критик* представляет собою осуществление брюсовского замысла, с некоторым, по-видимому, отличием. Есть основания предполагать, что Брюсов немерен был систематизировать свод пушкинских высказываний, расположив их по отдельным литературам и в порядке хронологическом по отношению к ходу событий. Такая система представляла большие трудности и опасности. Н.В.Богословский поступил проще и целесообразней, расположив литературные суждения Пушкина в порядке их высказывания и приложив к книге ряд указателей, с помощью которых читатель может проследить все последовательные суждения Пушкина по тому или иному поводу. Имеется предметно-тематический

указатель, указатель имен и указатель произведений, книг и журналов, упоминаемых Пушкиным.

Работа Богословского не есть, разумеется, книга для чтения рядовых читателей. Она рассчитана на людей, более или менее специально интересующихся литературоведением вообще и Пушкиным в частности. Поэтому, будь у нас действительно полное и текстологически удовлетворительное издание Пушкина, включающее все его произведения и всю переписку, — составителю книги не пришлось бы перепечатывать полностью все тексты Пушкина, в данном случае привлекаемые. Достаточно было бы ряда указателей со ссылками на соответствующие тома и страницы. Но действительно полного и действительно отвечающего научным требованиям собрания сочинений Пушкина до сих пор не существует. Если бы составитель свода захотел ограничиться только библиографическими ссылками, ему бы пришлось по разным поводам ссылаться не только на разные собрания сочинений Пушкина, но и на периодические издания, в том числе на довольно редкие, как *Литературная газета* Дельвига и *Современник* самого Пушкина, — потому, что ряд статей, помещенных в этих изданиях и несомненно принадлежащих Пушкину до сих пор не включался ни в одно собрание его сочинений. Богословский был вынужден перепечатывать тексты, и у него получился том в 679 страниц. Если бы тексты были заменены только указаниями на них, книга могла бы быть в два, а то и в два с половиною раза меньше. Мы остаемся в этом потому, что иначе, как причинами издательской экономии трудно объяснить тот факт, что весьма многочисленные литературные оценки, встречающиеся в художественных произведениях Пушкина, не вошли в основной свод, составленный Богословским. Указатель таких оценок дан составителем в виде лишь приложения, причем самые тексты на сей раз не приводятся, а только соответствующие названия произведений. Здесь плохо не то, что нет текстов — их не трудно найти, потому что художественные произведения Пушкина в общем все же изданы лучше, чем его статьи, заметки и письма. Но плохо, во-первых, то, что литературные суждения, рассеянные в художественных писаниях Пушкина оказались выключены из общего хронологического порядка его высказываний; во-вторых — то, что поскольку эти оценки вынесены в «Приложения», читателю как бы подсказывается, будто они не так существенны или не так серьезны, как оценки, выраженные в статьях или письмах, меж тем, это, разумеется, не так: нередко в нескольких строках стихотворения, в эпиграмме, в одном эпитете, в беглом упоминании Пушкин дает замечательную и глубокую характеристику писателя или произведения или исчерпывающе определяет свое к нему отношение; достаточно вспомнить «вдохновенного» Мицкевича, или «переимчивого» Княжнина, или хотя бы одно местоимение «мой», приложенное к Дельвигу. Нам кажется даже, что решительно все упоминания о писателях и их произведениях, встречающиеся в поэзии Пушкина, должны занять место в своде его критических суждений, ибо в той или иной степени всякое упоминание уже

содержит в себе оценку. Меж тем, Богословским вся эта часть работы произведена недостаточно полно и недостаточно вдумчиво. У него есть пропуски, объяснимые то нетщательностью работы, то недостаточным углублением в смысл и характер пушкинских высказываний. Вот несколько примеров. В числе упоминаний об Овидии пропущено заключающееся в послании к Языкову («Издравле сладостный союз»). Намек на *Жана Сбогара* есть в «Барышне-крестьянке», что Богословским не указано. Пропущена любопытнейшая характеристика Расина в «Домике в Коломне»: «Бессмертный подражатель, певец влюбленных женщин и царей». Не отмечено упоминание дмитриевского стихотворения «Стонет сизый голубочек» в том же «Домике в Коломне».

Со всем тем, однако, надо признать, что книга Богословского — весьма своевременное и полезное подспорье для всех, изучающих Пушкина или желающих с ним ознакомиться.

(*Возрождение*, 1935/3543 (14 февраля))

2) Перед пушкинским юбилеем.

Как мы уже недавно писали, в этом году ожидается выход большого количества книг, посвященных Пушкину и его эпохе. В частности, под редакцией М.А.Цявловского, Л.Б.Модзалевского и молодой пушкинистки Т. Зенгер, выходит сборник *Рукою Пушкина*. В книгу войдут копии литературных произведений, выписки из книг, документы, счета и т.п. материал, написанный рукою Пушкина, но не составляющий части его творческого наследия, а потому не включаемый в собрания сочинений поэта. В январской книжке *Литературного современника* дано из этой книги несколько отрывков, публикуемых впервые. Таковы — запись Пушкина о 18 Брюмера, заметка, начинающаяся словами «Освобождение Европы придет из России» и несколько стихотворений из одного лицейского сборника, в котором Пушкин, по-видимому, участвовал и творчески. Записи о 18 Брюмера и об освобождении Европы сделаны на французском языке. Вторая из них найдена в принадлежавшем Пушкину экземпляре второго тома сочинений Гейне. В ней всего несколько строк. Лицейская тетрадь более интересна. Она относится к 1814 году и вся написана рукою Пушкина. Содержание ее — эпиграммы, преимущественно на Кюхельбекера. Нужно думать, что Пушкин участвовал и в авторстве этих стихотворений, если не всех, то некоторых.

В той же книжке журнала помещена статья С.Гессена, посвященная вопросу о том, почему Пушкин не был принят в число членов Тайного общества. Автор усматривает единственную причину в том, что Пушкин находился под надзором полиции, и его принятие было бы ошибкой против правил конспирации: следя за Пушкиным, полиция могла легко добраться и до всей организации. Соображение Гессена было бы очень убедительно, если бы вопрос о принятии или непринятии Пушкина ставился только во время его пребывания на юге России, в частности — в давидов-

ской Каменке: именно к этой эпохе относятся анализируемые автором отношения Пушкина с будущими декабристами и их друзьями. Но ведь известно, что попытки проникнуть в нарождающиеся тайные общества Пушкин делал и гораздо раньше, в петербургский период своей жизни, между выходом из Лицея и ссылкой. В ту эпоху полиция обращала на него внимания не больше, чем на других, — и, однако, уже тогда Пушкин, Вольховский, Николай Тургенев любезно, но твердо эти попытки отклонили. Неубедителен и сделанный Гессеном анализ событий, происшедших в ноябре 1820 года в Каменке. Гессен, вопреки существующему мнению и вопреки прямому свидетельству Якушкина, утверждает, что в это время Пушкин был в полной мере осведомлен о делах Тайного общества, хотя формально и не входил в его состав.

Как курьез, отметим маленькую, но характерную ошибку, сделанную Гессеном. Рассказывая о Каменке, он говорит, что М.Ф.Орлов, Охотников и Якушкин приехали туда к 24 ноября и что в этот день праздновались именины жены Василия Львовича Давыдова, которую звали *Анной*. Именины то были, но праздновала их мать Давыдовых, *Екатерина* Николаевна. Проверить себя по святцам советский исследователь не мог или не догадался.

Гораздо более убедительна и интересна статья Д. Якубовича о генезисе «Пиковой дамы». Как известно, об истории ее создания не сохранилось почти никаких свидетельств. Нащокин, друг Пушкина, уверял, что анекдот о трех картах и о Сен-Жермене Пушкин слышал от «усатой княгини Голицыной». Однако, карточная тема, быть может — не без влияния Гофмана, носилась в то время в воздухе.

В 1828 году на петербургской сцене произвела настоящий фурор пьеса Дюканжа «Тридцать лет или жизнь игрока». В пьесе играл Каратыгин, и она семь лет не сходила с репертуара. В журналах о ней велась бурная полемика, в которой участвовали Крылов и Гнедич. Игорные сюжеты должны были занимать Пушкина еще и потому, что он сам был игроком. В его библиотеке оказалась целая литература этого рода. Наконец, есть данные предполагать, что Пушкин знал и ценил одно произведение немецкого писателя Фан дер Фельде, ученика Вальтера Скотта, — *Арвед Гилленштиерн*. В *Арведе Гилленштиерне* встречаются текстуальные совпадения с «Пиковой дамой». Данные, приводимые Якубовичем, звучат убедительно. Таким образом, «Пиковая дама» становится в длинный ряд тех пушкинских произведений, в которых заметны следы заимствования у других авторов. Однако, и здесь, как всегда, чужой сюжет Пушкиным значительно углублен и несравненно совершеннее разработан.

(*Возрождение*, 1935/3620 (2 мая))

3) *Пушкин Ю. Тынянова.*

В четвертой книжке *Литературного современника* закончена первая часть обширнейшего романа *Пушкин*. Автор, Ю.Тынянов, начал свою литературную деятельность в качестве историка литературы и критика; на

первых порах примыкал он к группе так называемых «формалистов», во главе которых стоял Виктор Шкловский. Ему принадлежит несколько сумбурная, но в общем полезная работа «Архаисты и новаторы». Им же некогда издана книжка стихотворных переводов Гейне — эта книжка лишена каких бы то ни было поэтических достоинств, а вследствие неуклюжести и тяжеловесности языка совершенно неудобочитаема. После того, как школа формалистов, отчасти под давлением марксистских литературоведов, прекратила существование, Тынянов обратился к писанию романизированных биографий. Его книга о Кюхельбекере (*Кюхля*) имела успех, довольно заслуженный. Вымышленные диалоги лишь отчасти портили эту работу, основанную на серьезном знании предмета и на неизданных, но весьма интересных материалах. Тынянов и до сих пор остается лучшим знатоком жизни и творчества Кюхельбекера. (В недавно вышедшем томе *Литературного наследия* напечатана его обширная статья «Пушкин и Кюхельбекер», содержащая ряд новых и ценных сведений). За книгой о Кюхельбекере последовала *Смерть Вазир-Мухтара* — кусок биографии Грибоедова, написанный с чрезвычайными вычурными и сознательными отступлениями от исторической правды. *Смерть Вазир-Мухтара* оказала вредное влияние на советскую биографическую литературу: после нее от биографов стали требовать не истинного изображения лиц и событий, а их «понимания с точки зрения современности», ради чего и фактическая сторона истории была объявлена подлежащей изменениям и добавлениям. Путем фантазирования Тынянов пришел к писанию вымышленных повестей на исторической основе: «Восковая персона» (смерть Петра Великого и начало царствования Екатерины I) и «Подпоручик Киже» — анекдот из времен Павла I, впоследствии показанный на экране.

Пушкин, который ныне печатается в *Литературном современнике*, представляет собою отнюдь не биографию, а роман, о чем имеется указание в подзаголовке и чего нельзя упускать из виду ни при чтении, ни при оценке нового произведения Тынянова. Однако, и это определение не вполне подходит к нему, так как, судя по всему, автор поставил себе задачей не написать роман *из жизни* Пушкина, а представить всю биографию поэта в виде беллетристического произведения. Точнее всего было бы определить его, как романизованную биографию с исключительно развитым элементом вымысла. Пользуясь действительными событиями пушкинской жизни, как конспектом или канвой, Тынянов на ней расширяет бытовые и психологические узоры, подсказанные фантазией. Можно думать, что на этот путь толкнула его, помимо некоторых других причин, невозможность дать в советской литературе настоящую биографию иначе, как на основе «марксистского подхода» к которому Тынянов не чувствует никакой склонности. Отсутствие такого подхода несравненно легче скрыть в беллетристике, чем в исторической работе.

Тем не менее, оглядка на официальное мировоззрение в произведении Тынянова ощущается явственно. Нельзя отрицать, что родители Пушкина

и многие другие лица, которыми он был окружен в детстве, имеют в себе мало хорошего. Но этим вовсе не оправдывается тот надсад, с которым Тынянов мажет и мажет густою краской все, что попадает ему на глаза — с явною целью как можно более очернить весь «феодальный» уклад эпохи, всех ее деятелей — без исключения. Тех, кого нельзя сделать совершенными извергами или пошляками, старается он все же представить смешными или до крайности несимпатичными. Так, вопреки исторической справедливости, он снижает и опошляет Карамзина, Дмитриева, Александра Тургенева. С явною целью — показать приниженность женщины в «феодальном» обществе, делает он забитою и ничтожною — Марию Алексеевну Пушкину, бабушку поэта, меж тем, как это была умная, деятельная женщина, сумевшая свою тяжкую жизнь прожить с мужеством и достоинством. Точно так же он поступает и с няней Ариной Родионовной — дабы показать, до какой степени уродовало людей крепостное право.

Тут Тынянов не только допускает отступление от истины, но и обнаруживает слабость своего исторического мышления. Какой бы выдающейся личностью ни предстояло стать Пушкину, которого в напечатанных главах мы видим только еще ребенком, как бы ни было ему суждено возвыситься над средою, из которой он вышел и с которою никогда не порывал глубочайшей связи, — исторически мысля, нельзя допустить, чтобы все в этой среде было до такой степени подло и грязно, как изображает Тынянов. Помимо того, тут создает Тынянов для себя затруднение и художественное. Если так низок мир пушкинского детства, то немногим лучше, а порою и хуже, окажется и тот мир, которому предстоит окружать Пушкина, когда он вырастет. В этом темном царстве тыняновский Пушкин рискует оказаться фигурою столь ослепительной и сияющей, что художественное равновесие неизбежно окажется нарушенным, и Пушкин превратится в лубочного героя из добродетельной мелодрамы. Безвкусица, которой уже и сейчас не мало в *Пушкине*, разовьется и усугубится.

Работа Тынянова основана на большой осведомленности в предмете. Однако, имеются в ней погрешности и ошибки. Так, например, сказано, что после разъезда с мужем Мария Алексеевна Ганнибал поселилась в соседстве с Михайловским — в Кобрине. Меж тем, Кобринно входило в состав иного ганнибаловского гнезда — в состав поместий, находившихся под Петербургом, возле Гатчины. Из этого Кобринна была родом и Арина Родионовна.

Тынянов изображает Карамзина частым посетителем пушкинского салона. Тут он основывается на биографической заметке, которую отец поэта написал после смерти Пушкина. Но Сергей Львович был человек неправдивый, и представить маленького Пушкина в постоянном соседстве Карамзина, а себя самого — приятелем покойного историографа казалось ему весьма лестным. Меж тем, имеется письмо кн. П.А.Вяземского к Гроту. В этом письме прямо говорится, что Карамзин Сергея Львовича «вероятно, знал», «но у него не бывал».

Начало связи Василия Львовича Пушкина с Анной Николаевной Тынянов произвольно относит к эпохе его развода с женой. Это неверно. В то время при Василии Львовиче состояла «вольнотпущенная девка Аграфена Иванова», которую он взял с собой и в знаменитое свое заграничное путешествие. Анна Николаевна, очевидно, появилась позже. Об этой мелочи упоминаем мы потому, что Анна Николаевна совсем не была простой крепостной распутницей, как ее хочет изобразить Тынянов. Ей суждено было на долгие годы, вплоть до кончины Василия Львовича, стать верной подругой его жизни и матерью его детей, которых он не удосужился узаконить. И.И.Пушкин, декабрист и друг Пушкина, называет ее доброю девушкой. Он же рассказывает о любовной заботе, которую она окружила маленького Пушкина в пору его петербургской жизни у дяди, перед поступлением в Лицей. История была несправедлива к этой женщине, не сохранив даже ее фамилии. Напрасно Тынянов ее чернит — ей Пушкин обязан ласкою при вступлении в жизнь.

(*Возрождение*, 1935/3690 (11 июля))

4) *Пушкин Тынянова.*

Наименее освещенная исследованиями эпоха пушкинской жизни — детство. Как складывалась жизнь маленького Пушкина и его родителей, нам известно лишь в общих чертах. Вся эпоха с 1799 по 1811 год, год поступления в Лицей, представляет собою как бы мало исследованную пустыню из тех, что на географических картах изображаются белою краской. Отдельные, достоверно установленные факты суть как бы оазисы в этой пустыне. Все это не помешало Тынянову в его романе-биографии отвести детству Пушкина очень много страниц, наполненных беллетристическими фантазированием, в которых изображаются старшие современники Пушкина, его родители, родственники, воспитатели, но в которых сам Пушкин едва обозначен и редко появляется на сцене. Если и в дальнейшем, когда Тынянов встретится с колоссальными материалами, добытыми пушкиноведением, Тынянов будет вести повествование в том же темпе и в тех же масштабах, которые приняты им теперь, то его роман разрастется в нечто чрезвычайно обширное, многотомное. В восьмой и десятой книжках *Литературного современника* даны Тыняновым две первые главы второй части, посвященной лицейскому периоду. Они занимают сорок четыре страницы чрезвычайно убористой печати, а между тем в них рассказано только о перепетиях, связанных с основанием Лицея, о приезде Пушкина с дядей Василием Львовичем в Петербург и о поступлении в Лицей — однако до открытия Лицея и приезда Пушкина в Царское Село, Тынянов еще не дошел. Впрочем, размашистость своего письма он, по-видимому, сам чувствует и потому вынужден себя несколько даже обуздывать. Приходится только пожалеть, что это обуздывание производится не за счет чисто беллетристических фантазирования самого Тынянова, а путем исключения некоторых фактов и обстоятельств, исторически установленных. Так, например, Тынянов опускает любопытные и

характерные подробности: о том, что поступление Пушкина в Лицей было облегчено не только хлопотами Александра Тургенева и рекомендацией Дмитриева, но и давнишним знакомством родителей Пушкина с Малиновским, будущим директором Лицея; о том, что рьяные хлопоты Тургенева отчасти, видимо, мотивировались его бывшею влюбленностью в мать Пушкина; слишком кратко и как бы пунктирно рассказано о представлении будущих лицеистов министру народного просвещения Разумовскому и о приемном экзамене, а между тем, мы располагаем точными сведениями о научных познаниях, которые при сей okazji были обнаружены Пушкиным; рассказав о начале знакомства Пушкина с маленьким Пущиным, Тынянов не упоминает о встречах Пушкина с другими будущими лицеистами — Малиновским, Ломоносовым, Гурьевым, а между тем, легкие характеристики этих мальчиков пришлось бы тут как раз к месту и до некоторой степени разгрузили бы те дальнейшие страницы романа, на которых Тынянову предстоит знакомить читателя с лицейскими товарищами Пушкина; наконец нельзя не отметить, что, повествуя о событиях, происходящих весной, летом и осенью 1811 года, Тынянов совсем не касается международно-политического фона этих событий — надвигающейся войны, которая сыграла столь важную роль в самой структуре ново-открываемого Лицея, а впоследствии в значительной степени определила характер его внутреннего уклада. Приходится пожалеть, что все это (и еще кое-что, о чем мы не будем распространяться) принесено Тыняновым в жертву не существенным бытовым подробностям и его излюбленным насмешкам над старшими современниками Пушкина, начиная со смешного дяди Василия Львовича и кончая совсем не смешными Александром I, Дмитриевым, Сперанским.

Об этих насмешках мы уже писали. Приходится к ним вернуться. Конечно, в государственных и литературных деятелях александровской эпохи было, как во всех людях, и смешное, и достойное более сурового осуждения. Историк (или исторический романист) не в праве закрывать глаза на их слабые и дурные стороны. Но еще менее в праве он, закрывать глаза на положительные стороны их характеров и их деятельности, потому что искажение их образов ведет к искажению всей исторической перспективы. Вполне понятно, почему Тынянов мажет сплошной черной краской всю александровскую Россию: он боится быть обвиненным в сочувствии «феодално-крепостническому строю». Но вот тут-то и приходится пожалеть, что он не марксист. Будь он *хотя* бы марксистом, это избавило бы его от печальной и довольно противной необходимости изображать сплошными глупцами и ничтожествами людей, которые даже и с марксистской точки зрения не подлежат издевательствам, ибо ведь своему феодальному укладу и своему классу они хотели и умели служить деятельно и умело. Если бы маленький Пушкин действительно был окружен такими жалкими ничтожествами, каких изображает Тынянов, если бы культура, в которой он вырос была так ничтожна, то самое его появление

было бы ничем не объяснимым чудом, что не соответствует не только марксистскому, но и никакому вообще здравому пониманию истории.

(*Возрождение*, 1935/3837 (5 декабря))

5) *Жизнь Пушкина Г. Чулкова.*

В пятой книжке *Нового мира* напечатаны первые главы *Жизни Пушкина Г. Чулкова*. В предисловии автор говорит: «Моя книга не будет соперничать с теми обширными критико-биографическими исследованиями, которых мы вправе ждать от наших пушкинистов, но мой простой и — смею думать — точный рассказ о жизни, трудах, борьбе и смерти Пушкина не будет, надеюсь, лишним... В основу моей книги я положил воспоминания и признания самого поэта... Мне хотелось написать книгу так, чтобы в ней слышался голос самого поэта».

Ни о какой биографии Пушкина нельзя судить по ее начальным главам. О детских годах поэта известно в сущности очень мало, источники немногочисленны. Поэтому всякий новый биограф Пушкина вынужден повторять своих предшественников, писать то, что давно известно и бесспорно. Такое положение дел не может не отражаться на характере самой работы. Почти то же самое приходится сказать и о ранних лицейских годах — примерно до возвращения Александра I из Парижа. Поэтому не приходится удивляться, что ныне опубликованные Чулковым главы носят некоторый оттенок поспешности. Автору, видимо, хочется поскорее перейти к истории взрослого Пушкина. Таким образом, оценка чулковской работы была бы сейчас преждевременна: существенная часть книги вся еще впереди. С несомненностью можно сейчас констатировать только два обстоятельства: труд Чулкова отнюдь не будет носить беллетристического характера; это именно биография, — что и явится неотъемлемым достоинством книги. Однако, приходится пожалеть, что Чулков, видимо, не знаком с теми новейшими течениями в области жизнеописательства, которые, не допуская в биографиях элемента вымысла, в то же время требуют соблюдения художественных гарантий. Чаще всего это сказывается в нарушении внутренней хронологической последовательности, в забегах вперед. Так, например, рассказывая о каком-нибудь событии или лице, Чулков не останавливается перед цитированием стихов Пушкина, относящихся к тому же предмету, но написанных гораздо позже. Вследствие этого, из-за плеча ребенка или лицеиста Пушкина у Чулкова уже выглядывает будущий Пушкин, о котором в данную минуту читатель еще знать не должен. Точно так же, в рассказе о лицейских годах и упоминая о товарищах Пушкина, Чулков характеризует их не такими, каковы они были в лицейскую пору, а такими, каковы они стали впоследствии. Можно бы указать у него еще целый ряд приемов такого же рода — они все повторяют избитые и ныне уже сданные в архив приемы официальных биографий. Заметим, однако, что свое обещание быть точным он пока что выполняет. Что будет далее — сказать не решаемся. Можно опасаться,

что необходимость «соответствовать» официальному мировоззрению приведет Чулкова к уклонениям от внутренней правдивости рассказа: уже и сейчас, пока еще только в мелочах, проскальзывает у него явное стремление выказать себя человеком вполне советским.

(*Возрождение*, 1936/4040 (22 августа))

б) Пушкинская комиссия.

Отдельными лицами, входившими в состав некогда учрежденной при Академии Наук комиссии по изданию полного собрания сочинений Пушкина, в разные годы было опубликовано не мало ценных работ. Огромную ценность для изучения жизни и творчества Пушкина представляет и неперIODический сборник, издававшийся под общим руководством комиссии, — *Пушкин и его современники*. Но главная, основная цель комиссии, академическое издание сочинений Пушкина, в конечном счете оказалась недостигнутой. Отчасти тут действовал злой рок. Лица, которым комиссия поручала непосредственную редакционную работу, один за другим умирали. Очередные тома появлялись после долгих перерывов. В общем было издано пять томов — около одной трети всего задуманного издания. Переписка Пушкина, редакционная работа над которой была поручена В.И.Саитову, значительно опередила прочий материал издания и появилась полностью, но комментарии к ней не появились вовсе. К этому надо добавить, что работа редакторов во многих отношениях отставала от общего развития пушкинизма, и выходившие в свет тома оказывались устарелыми очень скоро, если уже не в момент своего появления. Наконец, самый состав комиссии в последние годы поредел еще больше. Вслед за скончавшимися ранее Л.Н.Майковым, Якушкиным, Шляпкиным, Морозовым, скончались Н.А.Котляревский, П.Е.Щеголев, Н.О.Лернер.

Существовавший при Академии Наук Пушкинский Дом ставил себе задачи преимущественно музейного характера: собирание рукописей, книг, портретов, рисунков и других реликвий, связанных с жизнью и творчеством как самого Пушкина, так и людей его эпохи. Разработка материалов, скопившихся в Пушкинском Доме, шла параллельно работам Пушкинской комиссии. Работы, напечатанные в двух выпусках *Временника Пушкинского Дома*, вышедших в военные годы, а также в многочисленных *Трудах* этого же учреждения, появившихся после 1917 года, как по характеру своему, так и по составу авторов, могли бы с успехом войти в очередные выпуски *Пушкина и его современников*. По-видимому, этот параллелизм и был причиной того, что сборники Пушкинской комиссии со времени революции стали выходить все реже, а затем это издание прекратилось вовсе.

Существующее положение дел, само собой требовавшее пересмотра, осложнялось еще одним важным обстоятельством. Еще до революции в Пушкинском Доме скопилось значительное собрание рукописей и коллекций, не имеющих непосредственной связи с Пушкиным и его эпохой.

После 1917 года, это собрание чрезвычайно разрослось, постепенно приобретая характер музея русской литературы вообще. В него, например, влились архивы новейшие, подчас содержащие материалы по истории новейшей, нам современной словесности. Работа по изучению и публикации всех этих материалов переросла те специальные задания, которыми был ограничен круг деятельности, некогда оставленный себе Пушкинским Домом. С расширением Пушкинского Дома, самое название его перестало отвечать его содержанию и деятельности. Поэтому Академия Наук поступила вполне целесообразно несколько лет тому назад, превратив Пушкинский Дом в общий «Институт Русской Литературы» Академии Наук СССР (ИРЛИ) и заменив бывшую Пушкинскую комиссию Академии такую же комиссией при новообразованном Институте. Благодаря этой реформе, работы Института в целом освобождаются от тяготения к работам по изучению Пушкина, а вся чисто пушкинская работа Академии централизуется. Комиссия ныне состоит из 24 лиц, из которых многие составили себе заслуженную известность своими трудами о Пушкине. Таковы: зам. председателя Ю.Г.Оксман, Д.Д.Благой, С.М.Бонди, Г.О.Винокур, Н.К.Козмин, Б.В.Томашевский, М.А.Цявловский.

Комиссия прежде всего поставила своей задачей выпуск академического издания сочинений Пушкина. Прежнее академическое издание закончено не будет. Вся работа начата сызнова, что, разумеется, вполне правильно. В состав главной редакции вошли Оксман, Томашевский и Цявловский. До сих пор вышел том 7-й (Драматические произведения), заканчивается печатанием том 1-й (Лицейские стихотворения). Печатаются: т. 4-й (Южные поэмы) и 14-й (Переписка 1815–1825 гг.). Заканчиваются подготовкой к печати тома: 5-й (поэмы 1825–1833 гг.), и 15-й (Переписка 1826–1830 гг.). В работе — т. 6-й (*Евгений Онегин*), 3-й (Лирика 1827–1836 гг. и Сказки) и 11-й (Критические и исторические статьи и заметки 1819–1831 гг.).

В порядке создания научной базы для академического издания комиссией была предпринята работа по составлению описания рукописей Пушкина. Описание издается в двух томах: один охватывает рукописи, хранящиеся в ИРЛИ и в других учреждениях Академии Наук, другой — рукописи, входящие в собрание Централхива и Государственной Публичной библиотеки им. Ленина (б. Румянцевский музей). Одновременно приступлено к планомерному факсимильному изданию рукописей. Предполагается дать фототипические воспроизведения всего рукописного наследия Пушкина. Заканчивается печатанием первый выпуск, воспроизводящий известный пушкинский альбом, принадлежащий Румянцевскому музею (так называемая тетрадь № 2374). К фотографиям будут приложены новые транскрипции, сделанные С.М.Бонди и Т.Г.Зенгер.

Помимо этих изданий комиссия предпринимает большой ряд других, из которых отметим важнейшие. Помимо уже вышедшего в свет тома материалов, озаглавленного *Рукою Пушкина*, готовится к печати собрание неизвестных автографов Пушкина и многочисленных докумен-

тов из его личного архива: собрание это (принадлежащее Академии Наук?) долгие годы находилось в распоряжении покойного Щеголева и предназначалось им для книги «Будни Пушкина».

Вместо *Временника Пушкинского Дома* и *Пушкина и его современников*, комиссия приступила к изданию собственного *Временника*, первый выпуск которого уже вышел (в него, между прочим, вошла неизданная юношеская поэма Пушкина «Тень Фон-Визина»).

Наконец, Пушкинская Комиссия взяла на себя окончание комментированного издания *Писем Пушкина*, начатого Б.Л. Модзалевским. В конце 1935 г. был выпущен 3-й том этого издания. В настоящее время заканчивается работа над последним, 4-м томом.

Помимо закрытых заседаний, комиссия организовала ряд публичных научных собраний, посвященных чтению и обсуждению новейших исследований о Пушкине и его современниках. Собрания происходили в Москве и в Петербурге. В 1934 и 1935 гг. состоялось 21 заседание в Москве и 42 заседания в Петербурге.

Это краткий обзор в высшей степени многосторонней и энергичной деятельности, которую проявила комиссия. Закончим указанием на то, что ею ведется большая и сложная работа по составлению полной библиографии работ о Пушкине — взамен неполных и устаревших библиографических указателей Межова, Сиповского и др.

(*Возрождение*, 1936/4046 (3 октября))

7) Трагедия Андрея Глобы.

Всякая трагедия имеет культовое происхождение — историческая трагедия также. Жизненное событие, становясь предметом исторической трагедии, осмысливается с новой, возвышенной точки зрения. Очищаясь от мелких бытовых черт, оно принимает более строгие формы. Ее центральный герой перерастает свой жизненный первообраз, но это лишь потому, что трагический автор как бы изымает его из жизни и возносит его на высоты трагедии. На этих высотах автор становится Роком своего героя и высшим судьей его поступков. Автор «жития» смотрит на своего героя снизу вверх. Автор исторической трагедии занимает по отношению к своему герою обратное положение.

Для того, чтобы написать историческую трагедию, недостаточно пересказать плачевную судьбу героя и уморить его в конце пятого действия. Надобно пережить его жизнь полнее, сильнее, глубже, чем он сам ее пережил. Надобно, выражаясь словами Лермонтова, превзойти своего героя в добре и зле. Наконец, надобно представить такое понимание его жизни, которое от него самого было скрыто. Для того, чтобы написать трагедию о Ричарде III или о Борисе Годунове, достаточно было быть *всею только* Шекспиром или Пушкиным. Но для сочинения трагедии о самом Пушкине, надо быть больше и Пушкина.

Попытки написать такую трагедию имеют свою историю. Еще в начале девятисотых годов сперва один прозаический автор, которого фамилия изгладилась из моей памяти, а затем — С.Мамонтов, облекший свое произведение в стихотворную форму, пробовали представить жизненную катастрофу Пушкина в виде трагедии. Ныне Андрей Глоба, автор талантливых стихов и драматических набросков, впервые выступивший в печати незадолго до войны, а в советскую эпоху почти не печатавшийся, произвел тот же опыт. Его трагедия напечатана в восьмой (августовской) книжке *Красной нови*.

Глоба несравненно талантливее, искусенней своих предшественников. У него не в пример больше вкуса. Но попытка его представляет собою точно такой же провал, и основной недостаток его трагедии — тот же самый, каким отмечены произведения этих предшественников. Ни вкус, ни ум, ни изобретательность не спасли трагедию Глобы от неловкости и досады, которые испытывает читатель.

Подлинные слова и поступки Пушкина вкраплены в трагедию — и сверкают в ней, как драгоценные камни среди стекляшек. Чтобы заполнить пробелы между исторически достоверными (или почти достоверными) действиями и словами, Глобе пришлось, разумеется, мыслить и страдать — за Пушкина. Сколько ни прочел он книг, чтобы реконструировать образ поэта, все же ему пришлось в значительной степени действовать по способу всех создателей — творить Пушкина по своему образу. Но Глоба не Пушкин, и под его пером Пушкин не вырос, как полагалось бы ему, вырасти в трагедии, и даже не сохранил своего исторически данного роста, но напротив того — уменьшился до размеров Глобы. Пусть Глобе даже удалось (или почти удалось) не придать Пушкину черт, его недостойных. Все равно — мы вправе досадовать, потому что все, сочиненное о чувствах и мыслях Пушкина, должно быть столь же замечательно, как он сам был замечателен. Если этого нет — вместо трагедии о Пушкине получается вульгаризация подлинной жизненной драмы, пережитой Пушкиным. В примечании к пьесе сказано, что она будет поставлена московским Театром Революции. Значит — некто наденет курчавый парик, приклеит бачки, постарается надуть губы — и «поплотнить» глобовский образ Пушкина, то есть конкретизирует и усугубит вульгаризацию до предела.

Попытка Глобы была заранее осложнена и затруднена еще одним важным обстоятельством. Пушкин — непревзойденный мастер стиха и слова. Глоба отважился за него говорить — да еще стихами. И вышло, что самый язык того Пушкина, который является нам в трагедии, досаднейшим образом не соответствует тому языку, который мы, можно сказать, привыкли слышать из его уст, да еще вдобавок фатальным образом схож с тем языком, которым изъясняются все прочие персонажи — вплоть до Булгарина. И стихи, которыми Пушкин вынужден говорить в трагедии, крепко не понравились бы самому Пушкину, потому что в них есть — увы, мы не ждали этого даже от Глобы! — метрические погрешности и

плохие рифмы. И это — опять-таки рядом с подлинными пушкинскими стихами, вставленными в трагедию! И, кстати сказать, вставленными безвкусно, нецеломудренно, ибо никогда, ни при каких обстоятельствах Пушкин не стал бы «иллюстрировать» свои переживания своими стихами: чем больше в этих стихах было связи с действительностью, тем менее они предназначались для цитирования в разговорах.

Со стороны исторической также далеко не все обстоит в трагедии благополучно. В истории пушкинской гибели, несмотря на многочисленные и тщательные исследования, многое остается неясным и неразгаданным. С одной стороны остаются неизвестны многие факты, с другой — относительно некоторых фактов установленных мы не можем судить, какое влияние и значение они имели в цепи событий. Точно так же нам еще неизвестна истинная роль многих лиц, имеющих даже весьма существенное касательство к роковой дуэли. К числу таких лиц относятся — император Николай I, чета Нессельроде и даже сама чета Геккеренов. Разумеется, автор исторической трагедии волен по-своему толковать внутренний смысл событий и обрисовывать характеры. Но добавлять от себя факты, имеющие решительное влияние на ход событий; но факты недоказанные трактовать, как несомненно бывшие, и в свою очередь основывать на них развитие действия; но навязывать действующим лицам намерения и цели, которых в действительности они могли отнюдь не преследовать, — все это значит сочинять не только трагедию, но и историю, чего драматический автор делать не вправе. Глоба же повинен именно во всем этом. Глоба все знает: и намерения Николая I, и цели Идалии Полетики, устроившей роковое свидание Пушкиной с Дантесом, и происки Бенкендорфа, и многое другое, о чем можно только гадать. Еще печальнее, что все его познания клонятся к вульгарной, лубочной, рассчитанной на сочувствие райка трактовке пушкинской драмы. Читателя, как ни странно, коробит не столько даже от упрощенного образа Пушкина (ибо этот образ Глобой упрощен, но по крайней мере не оклеветан), сколько от тех затасканных театральных злодеев, которые действуют под масками государя, Бенкендорфа, Булгарина. Каждый из них только и делает, что старается выказать себя с самой черной стороны.

О слабых стихах, которыми написана трагедия о великом стихотворце, я уже упоминал. Добавлю к этому, что с точки зрения историко-литературной в высшей степени безвкусны такие приемы, как переложение стихами — извещенных документов, в роде анонимного пасквиля. Еще безвкуснее — письмо Пушкина к Геккерену, не только изложенное стихами, но и переведенное предварительно с французского. Есть, наконец, бесчисленное множество мелких безвкусиц, которых не перечислишь. Чего стоит хотя бы то место, когда Пушкин обращается к Наталье Николаевне: «Присядь, Мадонна!».

(Возрождение, 1936/4051 (7 ноября))

8) «Пушкинский словарь».

К новому изданию однотомного собрания сочинений Пушкина приложен «Пушкинский словарь», составленный редактором издания, известным пушкинистом Б.В. Томашевским. Работа выполнена в порядке халтуры. Указывают, что в словаре дано совершенно исчерпывающее объяснение карточных терминов, встречающихся в сочинениях Пушкина, за то литературные термины и имена объяснены не в пример слабее. Редактор то и дело повторяет: «член Арзамаса», «член Беседы», «член Зеленой лампы» — но о том, что это были за учреждения, нигде не рассказано. Названия литературных произведений, упоминаемых Пушкиным, пояснены до крайности скупо. Так, сообщается, что «Энеида» — поэма Вергилия, «Душенька» — поэма Богдановича, но что это за поэмы, читателю предоставлено догадываться самому. Из исторических лиц, упоминаемых Пушкиным, подробно рассказано о таких, как например, табачный торговец Жуков, но вовсе нет ни в словаре, ни в редакторских примечаниях рассказа о том, кто были А.Н. Голицын, митрополит Фотий, Аракчеев. О Дельвиге, Баратынском, Кюхельбекере кратко сообщено, что они были поэты — и ничего больше. Барков охарактеризован, как автор непристойных стихов, тогда как он кроме того был выдающимся переводчиком античных поэтов. О Коцебу сказано лишь то, что он был «писателем-реакционером», но нет ни слова о его политической деятельности, так что читатель принужден думать, будто Занд убил его вследствие эстетических разногласий. Курьезнее всего в словаре разъяснения, касающиеся мифологии. Томашевский сообщает, что «Киприда — Венера», «Аониды — Музы», «Хариты — Грации».

Негодование советской критики по адресу Томашевского довольно справедливо. Однако, нужно сказать прямо, что для низового читателя, нуждающегося в пояснениях столь элементарных вещей, никакого комментария все равно не хватит. Лучше всего — избавить его от чтения таких сочинений Пушкина, которые недоступны его пониманию по причине его общей культурной неподготовленности. Гулливер некогда видел издание *Евгения Онегина*, в котором при XXXII например строфе первой главы было пояснено: «Диана — богиня луны, охоты и девственности; ланиты — щеки (арх.); Флора — богиня растительного царства; Терпсихора — Муза (богиня) танцев». Вот и представьте себе вдумчивого колхозника, который, натаскав навозу и принеся Пушкина с базара, садится под портрет Ленина («под лавку ножки, ручки в рукава») и получает следующую пищу для ума: «Грудь богини луны, охоты и девственности, щеки (арх.) богини растительного царства — прелестны, милые друзья! Однако нога Музы (богини) танцев прелестней чем-то для меня...». Представьте себе того же труженика, когда добрался он до XXXV строфы восьмой главы:

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,

Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля...

Допустим, ко всем этим именам предложен ему исчерпывающий комментарий. Легче ли от того бедной голове, которой надобно было дать сказки, да «Станционного зрителя», да «Гробовщика», да может быть еще кое-что, если и требующее комментария, то такого, который сам по себе понятен, а не требует нового комментария — к комментарию. Советское правительство сейчас «двинуло Пушкина в широкие массы» — и прекрасно сделало. Но при этом не следует лицемерить, будто тот, кому надо объяснять, что такое Венера, вообще что-нибудь живое может извлечь из чтения, например, лицейских стихов, да и большей части позднейшей лирики. Пушкин — поэт народный, но не «массовый». Если есть у него кое-что, доступное пониманию «массы», то и слава Богу, — но это не значит, что можно и должно его творениями пичкать «массы» без всякого выбора.

(*Возрождение*, 1937/4063 (30 января))

9) Пушкинский *Временник*.

Второй выпуск *Временника Пушкинской комиссии* открывается четырьмя новыми текстами. Здесь находим перебеленный черновик того письма к издателю *Сына Отечества*, которое до сих пор было известно только по печатному тексту, далее идут поправки Пушкина к тексту *Евгения Онегина*, сделанные на печатном экземпляре первых шести глав романа, некогда принадлежавшем в. к. Константину Константиновичу; эти поправки отчасти были внесены Пушкиным в позднейшие издания *Евгения Онегина*, отчасти остались неиспользованными. Среди них имеются весьма любопытные. Так, против 36 строфы четвертой главы Пушкиным написаны два стиха:

Кто эпиграммами, как я,
Стреляет в куликов журнальных.

Эти два стиха должны были стать на место обычно печатаемых:

Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопущкой мух нахальных.

Комментатор записей Б.Томашевский справедливо замечает, что было бы ошибочно все поправки данного экземпляра (их имеется 25) вводить в текст окончательной редакции романа; однако, поддержанные показаниями других источников, эти исправления должны оказать влияние на выбор окончательных чтений.

Далее идет экспромт «На трагедию графа Хвостова, изданную с портретом актрисы Колосовой»:

Подобный жребий для поэта
И для красавицы готов:
Стихи отводят от портрета,
Портрет отводит от стихов.

Публикатор эпиграммы Д.Благой довольно убедительно доказывает, что, спрашивая кн. Вяземского в письме от 28 января 1825 г., напечатан ли Хвостов в *Московском Телеграфе*, Пушкин имеет в виду именно эту эпиграмму. Однако соображения, высказанные Благой в пользу пушкинского авторства, кажутся нам весьма шаткими. Вероятно, как показал Благой, эпиграмма была привезена Вяземскому в сентябре 1824 г. его женой из Одессы. Действительно, во время пребывания В.Ф.Вяземской в Одессе там жили два поэта — Пушкин и Туманский. Действительно, следов знакомства кн. Вяземской с Туманским нет. Но можно ли на основании этих данных приписывать стихи именно Пушкину? В.Ф.Вяземская все-таки могла встречаться с Туманским, точно так же как Пушкин мог ей вручить для передачи мужу не только свои стихи, но и стихи Туманского. Нам кажется, что эта довольно тяжеловесная, натянутая и лексически слабая эпиграмма скорее принадлежит именно последнему.

Коллективная записка Пушкина, Мальцова, Соболевского и Доливо-Добровольского к К.П.Брюллову бессодержательна и имеет лишь ценность автографа.

Среди статей исследовательского и критического характера следует отметить работу В.В.Виноградова о стиле «Пиковой дамы». Автором произведен очень тщательный стилистический анализ повести. Многое вскрыто с большой проницательностью, но многое — признаемся — поражает наивностью. По-видимому, сам Виноградов совершенно лишен личного художественного опыта. Поэтому он подробно и тщательно изучает такие стилистические навыки, в которых нет следа ни пушкинской индивидуальности, ни пушкинского гения и которыми постоянно пользуются все не то что талантливые, но просто грамотные беллетристы.

М.И.Аронсон в статье о «Полтаве» и «Конраде Валленроде» Мицкевича сказал очень немного на основную тему своей работы, но весьма интересно вскрыл радикальные настроения, господствовавшие в 1826—1828 гг. среди московских любомудров и имевшие ту своеобразную окраску, которая впоследствии получила название «валленродизма». Жаль, однако, что автор недостаточный выяснил вопрос о том, кто на кого повлиял, т.е. родился ли московский валленродизм под влиянием общения любомудров с Мицкевичем — или наоборот: сам Мицкевич ему научился от московских своих друзей?

Г.П.Сербский подробно исследует вопрос о пресловутой командировке Пушкина из Одессы на борьбу с саранчой и приходит к выводу, что зна-

менитые стихи («Саранча летела, летела...») представляют собою один из многочисленных апокрифов, связанных с именем Пушкина.

Е.Б.Чернова путем сличения почерков доказывает, что письмо, обращенное к Пушкину в 1833 г. и подписанное «Е.Вибельман» (в академическом издании без подписи, № 766), было написано гр. Е.К.Воронцовой. Само по себе письмо незначительно — Воронцова просит у Пушкина стихов для предпринятого ею благотворительного альманаха. Но в чрезвычайно неясную картину отношений Пушкина с женой его бывшего начальника открытие Е.Б.Черновой вносит несколько интересных черт. Становится несомненно, что Пушкин должен был хорошо знать почерк писавшей, чтобы под псевдонимом угадать настоящего автора; устанавливается невозможность для Воронцовой даже в 1833 г. и даже по невинному литературному делу обратиться к Пушкину иначе как под вымышленной фамилией. Отметим, наконец, что исследовательница недостаточно остановилась на содержании приписки к письму. Эта приписка содержит ответ на просьбу Пушкина достать рукопись И.О.Потоцкого и, быть может, свидетельствует о том, что Пушкину в свою очередь случалось писать Воронцовой.

С.Гессен в обстоятельной статье «Пушкин накануне декабрьских событий 1825 г.» разрушает возникшую несколько лет тому назад легенду о том, что будто бы Пушкин в ноябре 1825 г. собирался отправиться в Петербург с подорожной, выданной на имя одного из крестьян П.А.Осиповой. Параллельно автор опровергает инсинуации А.Эфроса, напечатавшего в *Литературном наследстве* статью о том, что Пушкин будто бы вызвал Пушкина в Петербург к декабрьскому бунту, но Пушкин струсил и не поехал. В свое время В.Ф.Ходасевич на страницах *Возрождения* указывал на вздорность обоих этих домыслов. Аргументация С.Гессена отчасти совпадает с аргументацией В.Ф.Ходасевича, но дает также и много нового.

Отделы рецензии и хроники содержат немало материала, интересного для специалистов, но, к сожалению, в них чувствуется не беспристрастное отношение к тем или иным деятелям пушкиноведения. Так, авторы рецензии на книгу М.А.Цявловского, Л.Б.Модзалевского и Т.Г.Зенгер *Рукою Пушкина* с исключительной тщательностью отмечают все действительные и воображаемые недочеты издания, в то время как авторы рецензии на пушкинский однотомник, составленный Б.В.Томашевским (повидимому, близко стоящим к редакции *Временника*), с такою же тщательностью расхваливают достоинства однотомника (тоже действительные и воображаемые).

(*Возрождение*, 1937/4064 (6 февраля, приложение «Пушкин 1837–1937»))

10) *Звезда* и *Литературный современник*.

Уже давно носились слухи, что *Звезда* с начала 1937 года подтянется, улучшит качество печатаемого материала и увеличит формат. По первому номеру, недавно полученному в Париже, пожалуй, было бы несколько опрометчиво судить, оправдались ли слухи, но объем журнала, действительно увеличен и в его содержании как будто намечается некоторое улучшение. Правда, материал для этого первого номера, несомненно, готовился давно и с особой тщательностью, потому что вся книжка — юбилейная, посвященная Пушкину. Но она, в самом деле, кажется нам более удачной, чем, например, такая же юбилейная книжка *Литературного современника*. По совести говоря, в ней уже то хорошо, что нет тыняновского *Пушкина*, до такой степени пришедшегося по душе и советской, и эмигрантской улице.

Лучшая вещь в *Звезде* — отрывок из биографии Пушкина, принадлежащий перу Святополк-Мирского. Отрывок изображает период с 1817 по 1820 г., как указано в подзаголовке, а в действительности несколько больший период, так как захватывает уже некоторые события последующих годов, до 1823 включительно. Святополк-Мирский — писатель несомненно даровитый, но на редкость неровный и переменчивый. Нам же более кажется, что эта переменчивость у него похожа на каприз или, быть может, истерию. Самое советофильство его, несомненно, носит характер барской причуды и, может быть, проистекает из того психофизического упадка, который нередко поражает поздних отпрысков аристократии. Года три тому назад, в ту пору, когда он еще только старался акклиматизироваться в советской печати, Святополк-Мирский неверно оценил положение дел (точнее сказать — не предусмотрел, какой оборот вскоре примут дела) и разразился в *Литературном наследстве* довольно гнусной статьей, в которой трактовал Пушкина лакеем и подхалимом. Это не прошло ему даром. Ему объяснили вполне отчетливо, что теперь на Пушкина надо смотреть, как на великого национального поэта и стойкого борца с самодержавием. Святополк-Мирский тотчас извинился, с грациозным простодушием объяснил свой поступок именно тем, что он не знал, в какую сторону дует ветер. И вот, теперь пишет он биографию Пушкина, несколько перегруженную политической тенденцией, но в высшей степени почтительную. Главным его обличителем некогда был Георгий Чулков, тоже принявшийся было за пушкинскую биографию (она печаталась в *Новом мире*). Но Чулков бездарен, а Святополк-Мирский талантлив. Он разом заткнул за пояс своего обличителя, далеко превзойдя его в методологической выдержанности, осведомленности, чувстве истории, а главное — в простоте и деловитости, которые суть неотъемлемые достоинства его биографии (мы, разумеется, можем судить только о напечатанном в *Звезде* отрывке, снимая с себя ответственность за курбет, которых от Святополк-Мирского всегда можно ожидать).

В порядке некоей повинности пришлось высказаться о Пушкине не только историкам и литературоведам, но и беллетристам, — в СССР так

же, как у нас. Беллетристы мыслят образами, но рассуждения общего характера редко им удаются. Получаются у них общие места, тенденциозно окрашенные соответственно обстановке, — род мелодекламации. Опять-таки, мелодекламация Константина Федина в *Звезде* кажется нам удачнее той, которую произнес Н.Тихонов в *Литературном современнике*, — хотя бы потому, что Федин больше «подчитал» ради этого случая.

Кроме общих высказываний публицистического, философического и литературного свойства, советские беллетристы пустились в упражнения, от которых наши (за что честь им и слава) воздержались: советские беллетристы вздумали «запечатлеть» образ Пушкина (а иногда — образы почитателей Пушкина) в созданиях своей творческой фантазии. И опять: если нельзя читать соответствующих рассказов Ген. Гора и В.Тоболякова в *Литературном современнике* без щемящего стыда за бездарность авторов и за нестерпимо слащавую лживость их «патриотических» писаний, то в *Звезде* эти чувства возбуждает только рассказ Бориса Лавренева, а рассказ Марвича «Прогулка в крепость» можно прочесть почти с удовольствием. Конечно, и Марвич тенденциозен до крайности, но какая-то граница у него не перейдена, в рассказе есть чувство меры. В основе его лежит тот факт, что в числе пушкинских реликвий, сбереженных кн. П.А. Вяземским в Остафьево, имеется таинственный ящичек с пятью щепками. Марвич рассказывает о том, как Пушкин, в 1828 г., посетил с Вяземским Кронверкский вал Петропавловской крепости и от бревен, некогда послуживших подножием эшафота, отрезал пять щепок в память пяти казненных декабристов.

Особняком стоит напечатанный в *Звезде* рассказ М.Зоценки «Талисман» — «шестая повесть И.П.Белкина», то есть попытка подражать стилю пушкинских повестей. Против такой попытки принципиально возразить нечего — она может быть даже интересна, как опыт «практического изучения». Зоценко свою работу сравнивает с работой живописца, делающего копию с картины великого мастера. К сожалению, предисловие к повести удалось ему гораздо более, чем самая повесть, некоторыми деталями всего более приближающаяся к «Выстрелу». Сюжет построен, действительно, в пушкинском духе — именно в духе «Выстрела». Однако, повесть перегружена событиями, замельчана деталями, в ней нет и следа той экономии, которая в Пушкине так поразительна и которая придает его повестям их несравненную гармонию. Подражать стилю и языку Пушкина вообще слишком трудно — у Зоценки из этого ничего не вышло, — даже до такой степени, что в «шестой повести И.П.Белкина» встречаем мы интонации, прямо восходящие к юмористическим рассказам Зоценки. Есть, наконец, «неувязка», так сказать, исторического характера. В подлинном пушкинском рассказе никак не могло быть упоминания о «традициях покойного государя», то-есть Павла I, и в числе действующих лиц не мог появиться великий князь Константин Павлович. Точно так же, герой рассказа, георгиевский кавалер, не мог называть свою жену кав-

лерственной дамой — по-видимому, Зощенко просто не знает, что значит «кавалерственная дама».

Так же, как в *Литературном современнике*, есть в *Звезде* стихи о Пушкине. Тут, пожалуй, *Современник* имеет над *Звездой* некоторый перевес, сообщаемый стихами покойного Эдуарда Багрицкого. Прочие авторы (в *Литературном современнике* — И.Оксенов, Е.Полонская, В.Азаров, Т.Касмичева, Л.Гофштейн, и Б.Корнилов, а в *Звезде* — В.Саянов и тот же Корнилов) в общем стоят друг друга. У Корнилова нет в *Звезде* тех не-суразиц, которыми, как мы уже писали, блеснул он в *Литературном современнике*, зато Саянов делает такие просодические ошибки, за которые Пушкин, если бы воскрес, пожаловал бы ему «русский титул».

Без кино-сценариев теперь не обходится, кажется, ни одна книжка советских журналов. Сценарий «Путешествия в Арзрум», составленный г.г. Блейманом и Зильберштейном (в *Звезде*) «просовечен», можно сказать, до отказа, но сделан более тщательно и грамотно, нежели растрепанный сценарий Виктора Шкловского <«По следам Пушкина» — *ред.*>, напечатанный в *Литературном современнике*.

Что касается специальных статей о Пушкине, то здесь преимущество на стороне *Литературного современника*, в котором нет ничего особенно выдающегося, но есть кое-что любопытное. Такова работа Б. Эйхенбаума «Пушкин и Толстой», статьи Д. Якубовича о Михайловском и Тригорском и А. Дьяконова — о Болдине. *Звезда* может им противопоставить только благонамеренную болтовню Мейлаха и Свирина, да бледную статью В. Гофмана о языке пушкинской поэзии. Но материал этого качества имеется и в *Литературном современнике*. В последнем хотелось бы еще отметить дельную статью Д. Тальникова о Пушкине в Художественном театре, но она обезображена цитатой, которой место в «Паноптикуме» *Литературного Ленинграда*:

Вода и камень, лед и пламень
Не так различны меж собой.

пишет Тальников. Это напоминает Пушкина, но таких стихов у Пушкина нет.

(*Возрождение*, 1937/4070 (20 марта))

11) Паноптикум.

Пушкинисты, упорно трудящиеся над выяснением самых даже на первый взгляд мелочных вопросов, касающихся жизни Пушкина, текста и датировки его произведений, делают в высшей степени полезное и необходимое дело: без этих предварительных трудов настоящее изучение Пушкина невозможно. Нужно быть круглым невеждою в литературоведении, чтобы отрицать значение и пользу пушкинизма. Нужно быть просто глупцом, чтобы над «пушкинистским гробокопательством» хихикать. Все же, как выше сказано, работа пушкинистов — лишь предварительная.

Изучение биографии, текстов, рукописей — суть дисциплины вспомогательные. Прекрасный, в высшей степени полезный и почтенный пушкинист может очень поверхностно и неудачно судить о смысле и качестве того или иного пушкинского произведения, так же, как о творчестве Пушкина в целом, — ценность его биографических или текстологических работ от того не уменьшается. Нельзя отрицать, что до сих пор большинство пушкинистов, за исключением Гершензона, Брюсова и некоторых других, влеклось к Пушкину скорее инстинктом, нежели умом. Как раз наилучшие пушкинисты, как Лернер, высказывали о его творчестве самые неудачные мысли. Другие, как Модзалевский или Цявловский, от высказываний критического характера воздерживались и воздерживаются.

Есть, однако же, одна область, в которой непонимание и неосведомленность большинства пушкинистов вредит самой работе их. Это — область чистой просодии, стихотворного ремесла. Ошибочные, порой нелепые суждения, высказывания здесь пушкинистами, сплошь и рядом, истине поразительны. Чтобы не приводить примеров «раздражающих», упомяну о том, что Леонид Майков, сделавший для пушкиноведения очень много, в примечаниях к первому тому Академического издания, который он редактировал, дал совершенно фантастическое определение размера, которым написано стихотворение «Роза». По этому поводу Брюсов вполне справедливо указал на странность редактирования Пушкина человеком, о котором можно повторять пушкинские стихи:

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.

Другой пример еще более выразителен. В бумагах С.Д.Комовского, товарища Пушкина по Лицею, Я.К.Грот нашел восьмистишие, в котором увидел пропущенную строфу из «19 октября 1825 г.» Поднялся спор, длившийся лет сорок, потому что в рукописях «19 октября» нет ни намека на эту строфу, лестную для Комовского. Комовского упрекали чуть ли не в подлоге. Наконец, выяснилось, что стихи представляют собою отброшенный вариант «Гавриилиады». В споре участвовали — Грот, Ефремов, Гастфрейнд, Морозов, но характерно, что за сорок лет никому в голову не пришло самое простое соображение: все «19 октября» написано строфами определенной структуры, с которыми восьмистишие Комовского не имеет ничего общего, и следовательно оно не могло входить в состав этого стихотворения. Даже Брюсов в примечаниях к этой пьесе ограничивается указанием на то, что в рукописях «19 октября 1825 г.» строфы о Комовском нет. О том, что она и не могла там быть, он не догадался.

Недавно случился новый курьез в той же области. В своем *Пушкине* (ч. 2, глава 9) Юрий Тынянов рассказывает о впечатлении, произведенном на лицейского профессора Кошанского пушкинским стихотворением «Измены». Слушая «Измены», Кошанский сперва хотел было дать своему ученику несколько советов, сделать замечания, но невольно был покорен прелестью и новизною стихов. «Он хотел было сказать, — говорит Тыня-

нов, — что трехстопный ямб не следовало избирать мерою, потому что он дребезжит, как бубенцы на шее лошадей, загнанных ямщиком, — он давно уже приготовил это сравнение, и вдруг не сказал...» Тынянов очень великодушно отнесся к своему герою, не заставив его сказать насчет трехстопного ямба. Но еще великодушнее было бы, если бы Тынянов не заставлял Кошанского даже и думать такие вещи, потому что все это сущая чепуха. «Измены» никаким трехстопным ямбом не написаны, потому что написаны усеченным двухстопным дактилем, в чем не трудно убедиться из первых же строк пьесы:

«Все миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
В море <мраке> забвенья
Скрылися вы...» — и т.д.

Но это еще не все. По поводу того же стихотворения Тынянов пускается в философию: «Стихи трактовали женские измены... И откуда сей отрок мог знать женские измены?» Если читатель не поленится взять с полки первый том Пушкина в любом издании, то он найдет там «Измены» и тотчас удостоверится, что ни о каких женских изменах в них нет и речи. Содержание пьесы можно передать в немногих словах. Автор сначала радуется, что он «премены сладость вкусил» и забыл «гордую Елену» для Хлои, Лилы, Темиры, но затем выясняется, что измены его не утешили и что он по-прежнему страдает от любви к Елене. Словом, в стихотворении говорится об изменах самого «отрока», а ни о каких «женских изменах» в нем нет и помину. Прославленный автор романа о Пушкине не сумел разобраться ни в форме, ни в содержании одного из самых простых пушкинских стихотворений.

(*Возрождение*, 1937/4071 (27 марта))

12) *Красный архив*, кн. 1.

Еще в 1928 году в рукописный фонд Центрархива поступил архив кн. А.М.Горчакова, лицейского товарища Пушкина. Четыре года спустя, в 2641 и 2669 номерах *Возрождения*, по случайному поводу, возникла полемика между В.Ф.Ходасевичем и внуком князя М.А.Горчакова князем М.К.Горчаковым, заявившим, что в свое время он видел архив своего деда и что в этом архиве не было ничего интересного для пушкинистов, за исключением копии поэмы «Монах». В ответ на указание В.Ф.Ходасевича, что автограф, а не копия «Монаха» был уже в 1928 г. опубликован в виде факсимиле, кн. М.К.Горчаков принужден был признать, что автограф поэмы действительно в архиве его деда имелся. Однако, кн. М.К.Горчаков настаивал на отсутствии каких бы то ни было иных материалов лицейской эпохи и в частности — на отсутствии пушкинских автографов.

Ныне в *Красном архиве* началась публикация всех этих документов. В последней книжке журнала за 1936 год, как мы уже отмечали, были напечатаны письма кн. А.М.Горчакова к его родственникам, написанные в лицейскую пору и содержащие ряд ценных сведений. В первой книжке *Красного архива* за 1937 г., всецело посвященной Пушкину, опубликованы, наконец, М.А.Цявловским целых семь лицейских стихотворений Пушкина, автографы которых имелись в собрании кн. А.М.Горчакова. Стихотворения даны в виде факсимиле и транскрипций (к сожалению, не абсолютно точных). Здесь находим следующие пьесы: «Послание к Наталье», «К другу стихотворцу», «Князю А.М.Горчакову» («Пускай, не знаясь с Аполлоном»), ««Послание к Батюшкову» («Философ резвой и пит...»)>, «Стансы» <«Stances» («Avez vous vu la tendre rose...»)>, «К Лицинию» и «К молодой вдове». Все эти пьесы принадлежат к числу общеизвестных, но горчаковские автографы имеют большую научную ценность, так как большинство этих пьес до сих пор не было известно в автографах и так как горчаковские рукописи содержат большое количество вариантов, впрочем, уже ранее опубликованных тем же М.А.Цявловским.

Помимо упомянутой поэмы «Монах» и этих семи стихотворений, записанных на отдельных листах, в собрании Горчакова имеются еще следующие автографы Пушкина: запись в лицейском альбоме А.М.Горчакова (эту запись М.А.Цявловский обещает опубликовать в следующей книжке журнала) и два стихотворения, не принадлежащих Пушкину, но переписанных его рукою: «Триолет» Дельвига и «Возьмите меч — он недостойн брани» Дениса Давыдова. Всего, таким образом, в архиве А.М.Горчакова обнаружено одиннадцать пушкинских автографов.

В небольшой вступительной заметке к своей публикации М.А.Цявловский пишет: «Сравнительное изучение почерка Пушкина в этих автографах с почерком других ранних автографов поэта, хранящихся в Пушкинском Доме Академии Наук и в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина, позволило с полной уверенностью установить, что самым ранним из известных до сих пор автографов Пушкина является запись его в альбоме Горчакова, что автографы стихотворения «Послание к Наталье» и поэмы «Монах» датируются 1813 годом и, таким образом, являются самыми ранними из известных до сих пор произведений Пушкина».

Огромный научный интерес представляют собою также тетради, в которых кн. А.М.Горчаков, записывал лекции лицейских профессоров — Куницына, Кошанского и Георгиевского. Записи Горчакова позволяют с точностью установить, что и как преподавалось Пушкину из области государственных и литературных наук, то есть определить первоначальные политические и эстетические воззрения, ему прививавшиеся в Лицее. Сохранившиеся записи весьма обширны. *Красный архив* в отчетной книжке дает лишь небольшую часть их, содержащую некоторые лекции Куницына (по государственному праву и политической экономии) и Георгиевского (по эстетике и теории словесности).

Из других, не относящихся к горчаковскому архиву, публикаций интерес курьеза представляют собою извлеченные из архива Министерства народного просвещения доклады некоего А.Г.Филонова. Филонов был членом особого отдела ученого комитета Министерства народного просвещения. В 1897 году ему было поручено комитетом просмотреть сорок книжек *Иллюстрированной Пушкинской библиотеки*, изданных Ф.Ф. Павленковым, и дать отзыв о том, какие из этих книжек могут быть допущены в народные библиотеки. Из обширных докладов этого чиновника, принявшего на себя жуткую обязанность стать между Пушкиным и народом, мы извлекаем лишь небольшую часть, однако же достаточно характеризующую направление и качество его ума.

Начать с того, что вовсе непригодными, такими, которых, по категорическому выражению Филонова, «допустить нельзя», оказались нижеследующие произведения Пушкина: «Руслан и Людмила» — потому, что «в этой поэме много эротического»; «Братья-разбойники» — потому, что «содержание поэмы может смутить читателя»; «Бахчисарайский фонтан» — опять же за эротизм; «Цыганы» — в которых «высказываются мысли односторонние», а картина убийства «производит тягостное впечатление»; «Сказка о попе и работнике его Балде» недопустима за то, что может усилить «не совсем благоприятное отношение народа к духовенству»; «Сказка о золотом петушке» признана недопустимой без объяснения причин; повесть «Выстрел» — за то, что в ней «подробно описывается стрельба в карту (игральную), в бутылку, в муху»; «Гробовщик» — за то, что «повесть производит тяжелое впечатление своими описаниями ужасов и пьянства»; «Песни западных славян» недопустимы потому, что в них «много ужасного и потрясающего», а также «и мысли выражаются кое-где неодобрительные, например:

Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит.

Не одобряется для народа и *Евгений Онегин* — в нем «много эротических мест» и «много неудобных мыслей». За эротизм не допускается также «Граф Нулин»; не допускается «Анджело», в котором «много соблазнительного». Не допускается *История Пугачевского бунта* — с подробной мотивировкой, которую приводить не стоит, ибо она сама собой очевидна. Недопустимы еще «Моцарт и Сальери»: «по содержанию своему этот очерк (!) неудобен для народа: отравление художника из зависти талантливым человеком». Недопустима «Русалка» — за то, что в ней «мужчина сравнивается с петухом, а женщина с наседкой». Недопустим, наконец, «Дубровский», за то, что в нем описываются суровые нравы и заключаются «неудобные мысли».

К числу немногих произведений, о которых Филонов как бы с неохотой говорит, что их «Можно бы допустить» относятся: «Кавказский пленник» — хотя в нем тоже есть «эротические места», но не столь соблазнительные, как в «Руслане и Людмиле»; «Медный всадник»; «Галуб»; «Ме-

остаётся так называемая «записка» В.И.Далю, присутствовавшего при последних часах Пушкина в качестве не только друга, но и врача. Впервые она была напечатана в 1860 г., в *Медицинской газете*. Впоследствии тот же Щеголев напечатал несколько изменённый текст её, сохранившийся в рукописи, принадлежавшей А.Ф.Онегину (к Онегину она перешла от Жуковского). Сохранились, однако, ещё две рукописи той же записки, хранящиеся в архиве кн. П.А.Вяземского. Обе они представляют собою черновики, из которых первый, гораздо более краткий, несомненно набросан был Далем для себя, тотчас после смерти Пушкина. Этот черновик был опубликован в 1924 г. Ныне в журнале *Звезда* Ив. Боричевский, имя которого до сих пор мы в печати не встречали, воспроизводит второй, более пространный черновик, обнаруживающий, что и Даль, составляя записку, долженствующую дойти до широкого круга читателей, свои первоначальные наблюдения подверг довольно значительной переработке. Проследить всю работу Далю и подробно рассмотреть выводы Боричевского мы лишены возможности. Интересующихся отсылаем к нашему источнику — журналу *Звезда*, кн. 3-ья за 1937 г., сс. 158–168). Однако, с некоторыми наиболее интересными частностями статьи мы считаем небезполезным познакомить наших читателей.

Бесспорно, что какую бы роль в гибели Пушкина ни сыграли обстоятельства в личной, семейной жизни, в конечном счёте погиб он жертвой внутреннего и внешнего конфликта с высшим обществом и правительством. Не подлежит сомнению, что друзья Пушкина, которым пришлось быть осведомителями более широких кругов об обстоятельствах его смерти, были вынуждены сглаживать остроту конфликта: к тому побуждала их и забота о семье Пушкина, и личная осторожность, и отчасти, как у Жуковского, собственные политические, моральные, религиозные воззрения. Однако, нельзя не заметить, что под пером новейших советских пушкиноведов (и беллетристов) роль петербургского света, правительства и самого императора Николая I принимает слишком резкий, чуть ли не кровавый оттенок. Соответственно такой тенденции, они склонны преувеличивать и старания друзей Пушкина затемнить истинные обстоятельства его гибели. Боричевский не составляет здесь исключения. Нам кажется, что не все изменения, внесённые Далем в первоначальный набросок его записки, имеют тот характер и преследуют те цели, которые им приписывает автор статьи. Поэтому мы оставим в стороне некоторые его утверждения, кажущиеся нам ошибочными или притянутыми за волосы, тем более, что нас в данную минуту интересует не столько далевская обработка собственных воспоминаний, сколько самые те события, которые были Далем изложены. Тем не менее, нельзя отрицать, что эти события отныне должны нами восприниматься так, как они были записаны прежде, чем запись подверглась переработке.

Прежде всего, несомненно, что Даль старался смягчить картину физических страданий Пушкина. Отметив у Пушкина «общий жар», Даль потом исправляет: «небольшой общий жар». Первоначально Пушкин гово-

рит: «скажи жене что-нибудь хорошее, а то ей там, пожалуй, наговорят, что я мучусь». Слова эти потом значительно смягчены: «скажи жене, что все, слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят». Перед самой кончиной Пушкин порой переставал узнавать окружающих. Даль пишет: «Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал: „Кто это ты?“ „Я, друг мой“. — „Что это, продолжал он, — я не мог тебя узнать“». Весь этот диалог Даль вычеркнул. Отметив, что тихий стон Пушкина замолкал лишь «на время», Даль затем вычеркнул это указание. Точно так же вычеркнул он ряд мест, показывающих, что безнадежное состояние Пушкина очень рано сделалось ясно для окружающих.

Что касается душевного состояния Пушкина, как его изобразил Даль, первоначально и впоследствии, то здесь переделок, пожалуй, меньше, но за то они гораздо резче и гораздо многозначительней. В первоначальном, кратком наброске Даль записал: «Пушкин за 5 минут до кончины призывал жену, чтобы она покормила его морошкой. Она стала на колени, дала ему ложечку, — он погладил ее по голове и проговорил: „Ну, ничего, ничего, слава Богу, хорошо“. Потом, забывшись, вдруг спросил: „Что, кончено?“ — „Что кончено?“ — „Жизнь“. „Нет еще“. — „О, пожалуйста, поскорее!“» — Прежде того: «„Нет, мне не жить, и не житье здесь. Я не доживу до вечера — и не хочу жить. Мне остается только умереть“».

В окончательной редакции в слова, обращенные к жене, Даль вставал маленькое, но многозначительное словечко: «все»: «слава Богу, все хорошо». Но этого мало, и может быть — внося это изменение, Даль только восстановил слова Пушкина более точно. Несравненно многозначительнее поправка, внесенная в слова «Нет, мне не жить» и т.д. Записав их сначала в том виде, как они приведены выше, Даль во втором черновике изменил их таким образом: «Нет, мне здесь не житье, я умру, да мне только и осталось умереть». Но и этого изменения показалось ему мало, и зачеркнув фразу, он дал уже третью, окончательно сглаженную редакцию: «Нет; мне здесь не житье; я умру, да видно уж так надо». Читатель без труда заметит, что слова: «не житье здесь», т.е. в данных условиях, обезличены тем, что вычеркнуто слово «здесь». Слова «Я не хочу жить. Мне остается только умереть» — сперва смягчены: «я умру, да мне только и осталось умереть», — а потом окончательно замазаны смиренной сентенцией: «Я умру, да видно уж так надо». Именно о том, что «так надо», Пушкин ничего не говорил. «Я не хочу жить», сказал он, жизнь ему стала невыносима. Но эти три слова, конечно, не выдуманные Далем, а чистосердечно записанные под свежим впечатлением, впоследствии выпали из записки вовсе.

(Возрождение, 1937/4079 (22 мая))

14) Рукописи Пушкина.

Автографы Пушкина, в момент его смерти хранившиеся у него на квартире, первоначально составляли собственность его семьи. Впоследствии, однако, этот фонд раздробился. Подготавливая издания сочинений

Пушкина, его наследники предоставляли рукописи редакторам. Редакторы, по окончании работы, очень большое количество рукописей, по тем или иным причинам, оставляли у себя и даже раздаривали третьим лицам. В результате, семья Пушкина после анненковского издания 1855–1857 гг. оказалась владелицей тех рукописей, которые находились в переплетенных тетрадах, и лишь весьма *незначительного* количества автографов, составлявших отдельные листы. Это собрание, все еще весьма значительное по объему и представляющее первостепенную научную ценность, сын Пушкина почти полностью передал в московский Румянцевский музей (ныне Публичная Библиотека СССР им. В.И.Ленина), где оно до сих пор и хранится. Там же ныне находится дневник Пушкина, поступивший в собрание уже после кончины А.А. Пушкина. (Заметим кстати, что все появившиеся в зарубежной печати сведения о будто бы хранящейся за границей неизданной части этого дневника, заключающей в себе 1110 страниц и имеющей быть изданной к столетнему юбилею Пушкина, по видимому, представляют собою чистый вымысел, цель которого не вполне понятна.)

Иначе сложилась судьба рукописей, оставшихся на руках редакторов так называемого «посмертного» издания 1838–1841 гг. и издания, вышедшего под редакцией П.В.Анненкова. Часть их, принадлежавшая Жуковскому, перешла к его сыну, который в 1883 г. подарил ее своему другу А.Ф.Онегину (Отто). Это собрание и составило основное ядро так называемого «Онегинского музея» в Париже. Что касается рукописей, оставшихся у П.В. Анненкова, то их судьба оказалась еще более «кочующей». Вдова Анненкова, у которой рукописи находились, в конце восьмидесятых годов передала их в собственность Л.Н.Майкову, в ту пору начавшему свои работы по изучению Пушкина. В 1900 г. Л.Н.Майков скончался, и его собрание, в свою очередь, раздробилось. Так, еще в 1902 году вдова Майкова подарила несколько рукописей президенту Академии Наук вел. кн. Константину Константиновичу (К.Р.), после смерти которого перешли они в рукописное отделение Академии. В 1904 г. А.А.Майкова остальные рукописи принесла в дар той же Академии. Однако, не все рукописи, задержавшиеся у Анненкова, перешли к Майкову. Часть их, оказавшаяся во владении его брата Ивана Васильевича, который в 1899 г. продал свое собрание известному пушкинисту проф. И.А.Шляпкину за триста рублей серебром.

Что касается автографов, ушедших из рук Пушкина еще при его жизни (в том числе огромного количества его писем), то они, естественно, разлетелись по всему свету. Некоторые из них впоследствии попали в большие собрания (Онегина, Александровского Лицея, Майкова, Академии Наук), другие составили коллекции, принадлежавшие Публичной Библиотеке, П.И.Бартеневу, А.К.Гроту, В.Я.Брюсову и др. лицам. Третьи, наконец, оставались в руках многочисленных случайных собственников.

Основанный при Академии Наук Пушкинский Дом, несколько лет тому назад переименованный в Институт русской литературы (ИРЛИ), с

самого начала одной из своих задач поставил собрание и объединение пушкинских рукописей. Эту работу он вел с исключительным усердием и умением. Постепенно в его владение перешли основные собрания Академии Наук (со включением собраний Майкова и К.Р.), Онегинское (формально приобретенное еще в 1909 г.), Лицейское, Гротовское, Шляпкинское и т.д. К ним быстро присоединились многочисленные поступления более мелкие, и в результате собрание, в 1913 г. насчитывавшее всего двадцать восемь номеров, в настоящее время разрослось до восьмисот двадцати трех. По своему значению и по количеству листов оно мало уже уступает собранию Румянцевского музея, а по количеству номеров его превосходит. В частности, по количеству писем Пушкина собрание Пушкинского Дома занимает ныне первое место: в него входит шестьсот девяносто три письма, то есть громадное большинство всех ныне известных документов этого рода.

По своему характеру собрание Пушкинского Дома чрезвычайно разнообразно. За исключением черновых тетрадей, в нем представлены все виды пушкинских автографов: черновики стихотворных и прозаических произведений, беловые тексты, копии текстов с собственноручными поправками, официальные и деловые документы, черновые и беловые письма, альбомные записи, надписи на книгах, заметки на чужих книгах и рукописях и т.д. В собрании имеются автографы всех периодов, начиная с ранних лицейских стихотворений и кончая последним автографом Пушкина — письмом к А.О.Ишимовой, написанным в день дуэли.

Рукописи, входящие в состав собрания, частично были описаны несколько раз. Однако, до сих пор не существовало их полного описания. В настоящее время эта работа, необходимость которой давно уже ощущалась, наконец, выполнена Л.В.Модзалевским и Б.В.Томашевским. Она издана Академией Наук в виде объемистого тома, содержащего более четырехсот страниц. Она составляет как бы второй том серии, задуманной ранее. Первым томом следует считать описание рукописей Пушкина, принадлежащих Государственной Публичной Библиотеке, составленное Л.Б. Модзалевским и изданное Академией Наук в 1929 г.

Описание рукописей Пушкинского Дома выполнено составителями на основании новейших научных методов и в известной степени может почитаться образцовым, как по количеству сообщаемых данных, так и по тщательности работы. При описании каждого документа сообщаются о нем разнородные сведения: дана его дата, определен характер текста и почерка, указан точно размер и тип бумаги, подробно обозначены внешние особенности рукописи, как-то степень ее сохранности, имеющиеся на ней не-пушкинские пометы и т.д. Описание водяных знаков и фабрик, изготовлявших бумагу, составляют важную особенность данного издания, могущую сослужить большую службу при изучении пушкинских текстов и их датировке. Этого мало: составители справедливо указывают, что данное описание имеет не только узкий интерес в пределах пушкиноведения; оно является едва ли не первым опытом систематического опи-

сания бумаги начала XIX столетия; в этом отношении оно может оказать заметную помощь русской дипломатике вообще.

При каждом документе кратко обозначена история его перехода из рук в руки, а также время его первой публикации и факсимильного воспроизведения. В этом отношении с составителями произошел, однако, некоторый курьез, объясняемый тем, что они либо вовсе не знакомы с зарубежной пушкинианой, либо не смеют официально признаться в таком компрометантном знакомстве. Дело в том, что еще в 1924 г., в 3-й книжке сборника *Окно*, издававшемся в Париже М.Л.Гофманом, были впервые опубликованы шестнадцать автографов из собрания К.Р. Эта публикация, при которой некоторые рукописи были даны в виде факсимиле, осталась составителям «Описания» неизвестна, вследствие чего позднейшие публикации тех же автографов они отмечают в качестве первых, а некоторые воспроизведенные М.Л.Гофманом автографы называют невоспроизведенными, что, конечно, делает честь их целомудрию, но составляет некоторый комический дефект в их труде.

(*Возрождение*, 1937/4089 (30 июля))

15) Воспоминания о Пушкине.

Общеизвестная книга В.В.Вересаева *Пушкин в жизни* представляет собою так называемый монтаж: отрывки из воспоминаний о Пушкине и некоторые его собственные показания в ней подобраны и размещены в таком порядке, что образуют почти связную биографию поэта. Можно сказать, ослепляя богатством и разнообразием собранного материала, но не утомляя никакими общими рассуждениями, эта книга читается чрезвычайно легко, чем и следует объяснять ее исключительный успех у широкой публики. Недостатков в ней, однако же, едва ли не больше, чем достоинств. Главный из них заключается в том, что Вересаев, этот страстный поклонник Пушкина, включил в книгу некоторые (далеко не все) автобиографические признания Пушкина, сделанные в прозе, но целиком отверг, как материал недостоверный и чуть ли не заведомо лживый, все, что было высказано в стихах. За то к показаниям многочисленных мемуаристов, в разные времена сообщавших о Пушкине и то, чему они сами были свидетелями, и то, что получили из вторых и третьих рук, и то, наконец, что про него было измышлено, — Вересаев отнесся с великим и простодушным доверием. Правда, в повторных изданиях книги, уступая голосам компетентной критики, кое-что мало достоверное он отметил звездочкой, а кое-что совсем ложное исключил. Однако, и в таком виде его работа представляет собою довольно беспорядочную смесь правды с вымыслом, умного с глупым. Ко всему этому надо прибавить, что даже и ценные воспоминания о Пушкине использованы Вересаевым далеко не безукоризненно. Во-первых, он их лишил цельности, разрезав на куски и распределив эти куски по разным главам и частям своей книги; во-вторых, он их использовал не полностью, а частично, сообразно своему

вкусу и разумению. В конечном счете некритическое и даже не слишком бережное отношение к материалу сделало книгу Вересаева скорее вредной, нежели полезной и уж во всяком случае лишило ее всякого научного значения.

Совершенно иной характер носит только что вышедшая книга молодого и многообещающего пушкиноведа С.Я.Гессена, раздавленного петербургским автобусом за несколько дней до пушкинского юбилея. Гессен поставил себе цель более естественную и деловую: не компановку пушкинской биографии из мемуаров, а просто собрание воспоминаний о Пушкине. Соответственно этому и книга его называется *Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников*. В отличие от Вересаева, Гессен, во-первых, отмечает весь недостоверный и фантастический материал, так что в его собрании остается лишь воспоминания двадцати восьми друзей и знакомых Пушкина. Во-вторых, он не дробит материала на куски и не тасует этих кусков, как Вересаев, а печатает воспоминания в том виде, как они написаны, лишь в некоторых случаях выбрасывая из него не относящееся к Пушкину, либо делая извлечения из обширных мемуарных трудов, не специально посвященных Пушкину (как дневник Вульфа, воспоминания Вигеля, Ксенофонта Полевого, И.Д.Якушкина, В.А.Соллогуба, П.А.Вяземского). Благодаря этому, отчетливо выступает каждый раз личность мемуариста, его общее отношение к Пушкину, его литературные и общественные тенденции, — что, в свою очередь, облегчает критический подход к мемуарам. Материал, однако, расположен Гессеном в хронологическом порядке, соответственно тому периоду пушкинской жизни, который стоит в центре воспоминаний каждого автора.

Записка брата поэта служит как бы введением к первой половине жизни Пушкина: она доведена до его возвращения из ссылки. Лицейский период освещен в известных записках И.И.Пущина, дополнением к которым служат воспоминания другого лицеиста — С.Д.Комовского. Петербургским годам до высылки отчасти посвящены записки того же Пущина, отрывки из записок С.А. Соболевского, воспоминания актрисы А.М.Каратыгиной и И.И.Лажечникова, записка Ф.Н.Глинки «Удаление А.С.Пушкина из Петербурга в 1820 г.». Поездка Пушкина на Кавказ с Раевскими иллюстрирована страницей из воспоминаний доктора Е.П.Рудыковского. Кишиневским и одесским годам посвящены воспоминания В.П.Горчакова, А.Ф.Вельтмана, Ф.Н.Лугинина, И.П.Липранди и Ф.Ф.Вигеля. Пушкин в Каменке изображен декабристом И.Д.Якушкиным. О пребывании Пушкина в Михайловском рассказывает М.И.Осипова, Е.И.Фок и А.Н.Вульф (по записи М.И.Семевского), а также А.П. Керн, значительная часть воспоминаний которой, впрочем, относится уже к петербургской жизни Пушкина после возвращения из ссылки. 1827—1829 г.г. освещены в записках К.А.Полевого, рассказах С.П.Шевырева и П.А.Вяземского. В записках И.И.Пущина и М.В.Юзефовича застаем Пушкина на Кавказе. В.И.Даль рассказывает о его пребывании в Оренбурге. Последним годам жизни Пушкина посвящены отчасти записки того же Даля, затем рассказы В.А.

Нащокиной, воспоминания В.А.Соллогуба, К.К.Данзаса и, наконец, записка доктора И.Т.Спасского, одного из врачей, лечивших Пушкина после роковой дуэли.

Собранные воедино, все эти мемуары дают, конечно, далеко не полный и не беспристрастный, но яркий и живой образ Пушкина, освещенный как с бытовой стороны, так и с творческой, и с общественной. Некоторые из них, как мемуары И.И.Пущина, В.П.Горчакова, И.П.Липранди, А.П.Керн, В.А.Соллогуба до сих пор сохраняют значение важных первоисточников для изучения жизни и творчества Пушкина. Некоторые из помещенных в книге материалов были изданы и переизданы в недавние годы: таковы воспоминания и А.П.Керн. Большая часть, однако, не перепечатывалась с прошлого столетия и оставалась затерянной в старых журналах и книгах, из которых некоторые давно стали библиографической редкостью. Таковы воспоминания Л.С.Пушкина, Лажечникова, Соболевского, Глинки, Рудыковского, Вельтмана, Липранди, Подолинского, Фок, Шевырева, М.Пущина, Юзефовича, Даля, Данзаса. Их переиздание и объединение представляют большие удобства для изучающих Пушкина.

Несомненно, большие достоинства книги заключаются в том, что из нее устранен апокрифический и полуапокрифический материал, которым так широко пользовался Вересаев. Однако, нам кажется, что следовало бы также когда-нибудь собрать воедино и его, — подвергнув, разумеется, обстоятельной критической проверке и оценке. Дело в том, что из этой массы мусора можно отсечь некоторое количество данных, если и не обладающих полностью достоверностью, то все же правдоподобных и не подлежащих окончательному отвержению. Такова, например, известная книга воспоминаний о Пушкине, написанная его племянником Л.Н.Павлицевым. Он родился в Варшаве, в 1834 г., и Пушкина не видал даже в своем младенчестве. Он был человек далеко не умный, а безвкусный даже на редкость. Пушкин в его воспоминаниях похож то на первого любовника с провинциальной сцены, то на благонамеренного чиновника. Не чужда ему была склонность и вовсе присочинить. Однако, в основе его воспоминаний лежат рассказы его матери, то есть источник первосортный, и в этих рассказах, конечно, есть много верного. В частности, они представляют собою едва ли не главный источник нашего осведомления о пушкинском детстве, и, всячески понося Павлицева, пушкиноведы все-таки до сих пор пользуются его писаниями.

Закончим нашу заметку еще одним пожеланием. Было бы чрезвычайно ценно собрать воедино огромное количество сведений о Пушкине, заключающихся в переписке его современников — не с Пушкиным, а между собой. Извлечения из переписки между родственниками Пушкина, между членами семьи Вульфов и Осиповых, Вяземского с женою, братьев Булгаковых, Вяземского с А.И.Тургеневым, из писем Жуковского, Языкова, Плетнева, Грота, Дмитриева и т.д., и т.д. составили бы, вероятно, несколько томов и в таком виде образовали бы необыкновенно яркую кар-

тину. О том, каким подспорьем такое издание послужило бы пушкинистике, — и говорить нечего, это само собою понятно.

(*Возрождение*, 1937/4091 (13 августа))

16) Пушкинская «Летопись».

Еще в конце прошлого столетия акад. Я.Гротом было положено начало сводке хронологических данных о жизни и творчестве Пушкина. Однако, составленная Гротом «Хронологическая канва» страдала неполнотой и неточностями, которые уже в то время были очевидны. В 1903 г. издательством «Скорпион» была выпущена книга *Труды и дни А.С.Пушкина*, составленная Н.О.Лернером и сразу выдвинувшая составителя в первые ряды тогдашних пушкинистов. Тем не менее, и она весьма скоро устарела, потому, что тотчас за ее выходом было опубликовано множество новых материалов о Пушкине. Уже в 1910 году Императорской Академией Наук было выпущено второе, исправленное и дополненное издание *Трудов и дней*, по сравнению с первым изданием разросшееся раза в три. Эта книга и до сих пор составляет необходимейшее подспорье для всех, занимающихся Пушкиным. Однако, наука о Пушкине шла столь быстрыми и большими шагами, что и второе издание *Трудов и дней* вскоре потребовало огромнейших добавлений и коренного пересмотра. Этот труд взял на себя сам автор, и как он сам сообщал пишущему эти строки, в 1921 году им была сдана Государственному издательству новая рукопись *Трудов и дней*, вновь содержащая почти в три раза больше материала, нежели академическое издание. Почему Государственное издательство так и не выпустило этой книги, нам неизвестно. По-видимому, однако, через несколько лет рукопись поступила в издательство «Academia», в проспектах которого третья, дополненное и переработанное, издание *Трудов и дней* значилось в числе книг, которые должны выйти в ближайшее время. Однако, и это издание не состоялось. Нужно думать, что одною из важных причин было то, что за время более, чем десятилетнего пребывания в издательских «портфелях» труд Лернера опять успел устареть и требовал новой переработки. Между тем, Лернер умер, и таким образом необходимость этой переработки естественно сменилась необходимостью поручить весь труд новым авторам.

К подготовке такого труда и приступил недавно научно-исследовательский сектор Государственного музея А.С.Пушкина. Некоторые эмигрантские издания на днях сообщили, что *Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина* вскоре выходит в свет под редакцией М.А.Цявловского. Это, разумеется, неверно. Не только до выхода книги, но даже и до составления ее еще весьма далеко. Пока что образована лишь комиссия, которой поручено выработать инструкцию для составления картотеки, на основании которой затем будет приступлено к составлению самой *Летописи*. В комиссию, помимо М.А.Цявловского, вошли Н.С.Ашукин, У.Р.Фохт, С.М.Бонди, Н.В.Измайлов и Е.Э.Лейтенекэр <?>. На основании данных, до

ныне опубликованных, в картотеке будут хронологизированы не только все, имеющее непосредственное отношение к жизни и творчеству Пушкина, но и все политические и общественные события, на фоне которых жизнь Пушкина протекла и которые имели то или иное значение в развитии его внешней и внутренней биографии. В картотеку войдут даты опубликования всех пушкинских произведений, всего, что было о Пушкине написано при его жизни, всех упоминаний о нем в воспоминаниях, дневниках и переписке его современников.

Предполагается, что книга, появления которой, несомненно, придется ждать несколько лет, будет содержать в себе около ста печатных листов (в последнем издании лернеровской книги их всего тридцать семь). Конечно, при огромности и сложности поставленной задачи, даже и такие размеры еще не могут считаться преувеличенными. Однако, нужно предвидеть, что именно обширность замысла поставит составителей перед очень сложными и трудно разрешимыми вопросами. Главный и самый простой из них связан именно с той всеобъемлющностью, которая, по видимому, в особенности прельщает воображение Цявловского и других. Где остановиться? До которого, так сказать, колена причинности хронологизировать события? Возьмем пример наудачу. Дельвиг был ближайшим другом Пушкина. Следовательно, должно отметить даты рождения и смерти Дельвига, даты всех писем Пушкина к нему и его — к Пушкину. Но в смерти Дельвига важную роль сыграла потеря *Литературной газеты* и столкновения с Бенкендорфом. Не нужно ли отметить дату того дня, когда Дельвиг был вызван к Бенкендорфу? Но непосредственной причиной жандармского вмешательства были стихи Делавиня, напечатанные в *Литературной газете*. Но указать ли даты рождения и смерти Делавиня и дату стихотворения? Но стихи посвящены июльской революции. Следовательно, нужно дать дату июльской революции. Но по случаю июльской революции нужно помянуть даты рождений и смертей хотя бы Карла X, Полиньяка и Луи-Филиппа, тем более, что все эти события занимают видное место в переписке Пушкина с Хитрово и с Вяземским. Это не все. Дельвиг заболел и умер, потому, что его организм был нервически расшатан горестями семейной жизни. Следовательно, нельзя не отметить день женитьбы Дельвига, день рождения и смерти его жены, с которой Пушкин был хорошо знаком, день рождения дочери Дельвига (тем более, что Дельвиг известил Пушкина об этом событии). С другой стороны — С.М.Дельвиг была дочь арзамасца М.А.Салтыкова: а когда родился и умер М.А.Салтыков? Это опять же не все. Мучился Дельвиг оттого, что жена не была ему верна. Не отметить ли по этому поводу даты рождения и смерти хотя бы А.Н.Вульфа, сыгравшего роль и в биографии самого Пушкина, и С.А.Баратынского, за которого вдова Дельвига впоследствии вышла замуж? Но у Дельвига были два маленьких брата, которых Пушкин знал, в пользу которых выпустил *Северные цветы* на 1832 год; у Дельвига был двоюродный брат, оставивший воспоминания о встречах с Пушкиным; у Дельвига, наконец, была сестра, которой Пушкин еще в

Лицее написал стихи... Все это должно быть отмечено, если уж мы хотим представить, так сказать, хронологический фон пушкинской биографии. «Поминать, так поминать» сказал Пушкин. Весь вопрос только в том, где остановиться в поминовениях, и не придется ли в конце концов выпустить не один, а несколько столостных томов? И когда эта циклопическая работа может быть кончена?

Можно ожидать, что составители *Летописи* очень скоро сами убедятся в том, что им следует ограничить поставленные задачи и не включать в картотеку даты событий, сведения о которых могут быть легко и естественно добыты из других источников. Но в этом случае составителям придется пойти путем Лернера и отказаться от хронологизации всего того, что не имеет прямой, непосредственной связи с пушкинской биографией. Иными словами – им останется дополнить работу Лернера сведениями, которыми он еще не располагал, и исправить его погрешности на основании тех же сведений. Кажется, только при этих условиях *Летопись* Пушкина не грозит разрастись в историю человечества, и только в этом случае книга может появиться «на обозримом отрезке времени», как выстраиваются в СССР.

(*Возрождение*, 1938/4156 (4 ноября))

17) Рукописи Пушкина.

Тотчас после смерти Пушкина его кабинет был опечатан В.А. Жуковским по повелению императора Николая I. Однако, не вполне доверяя Жуковскому, государь приказал шефу жандармов Бенкендорфу наложить также и «печать жандармскую для большей верности». 7 февраля 1837 года кабинет был распечатан, все бумаги, там находившиеся сложены в два сундука, запечатаны печатями Жуковского и начальника штаба корпуса жандармов Дубельта и перевезены для разборки к Жуковскому.

В течение шестнадцати дней Дубельт, в присутствии Жуковского, с помощью жандармских писарей, производил разбор и сортировку рукописей, взятых в кабинете Пушкина. Рукописи, заключавшиеся в переплетенных тетрадях и альбомах, были жандармами полистно пронумерованы красными чернилами, при чем цифры ставились в середине каждого листа. На некоторых тетрадях начальник штаба корпуса жандармов собственноручно пометил: столько–то листов. Эта операция рукописному наследству Пушкина вреда не принесла. Более печальной оказалась судьба рукописей, состоявших из отдельных листов. Не считаясь с их содержанием, ни даже с форматом, жандармы, в целях сохранности и регистраций, сшили их в тетради. Сшивка производилась совершенно механически. Листы вкладывались один в другой, при чем не обращали внимания даже на то, что происходит смещение страниц. Концы ниток припечатывались красной сургучной печатью.

Эти печати сохранились в неприкосновенности до наших дней. В 1880 г. рукописи Пушкина, еще сохранившиеся в семье, были пожертвованы

сыном поэта московскому Румянцевскому музею и стали доступны исследователям. В.Е.Якушкин, вскоре после того составивший первое научное описание этих рукописей, уже указывал на неудобство пользования тетрадями, произвольно и беспорядочно составленными жандармской рукой. Будущее показало, насколько жалобы Якушкина были основательны. Из-за перемешанных страниц и соединения в одну тетрадь различных текстов, писанных на отдельных листах, возникали и порой подолгу держались ошибки в датировке произведений Пушкина. От внимания исследователей нередко ускользало, что отрывок, находившийся в одной такой тетради, составляет начало или продолжение другого отрывка, попавшего в другую тетрадь.

В связи с подготовкой нового академического издания сочинений Пушкина мысль о необходимости расширить эти искусственно созданные тетради стала настойчиво высказываться советскими пушкинистами-текстологами. Ныне Государственный музей А.С.Пушкина, в котором хранятся рукописи, решил привести эту мысль в исполнение. Суровые нитки, которыми жандармский писарь сто два года тому назад сшивал разрозненные листы пушкинских рукописей, теперь снимаются. Листы, механически соединенные, разъединяются, чтобы быть включенными в разумные соединения.

(Возрождение, 1939/4170 (10 февраля))

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕОКОНЧЕННОЕ

1) Библиография общая

- 1) *Сочинения Пушкина*. Изд. Императорской Академии Наук. Тт. 1, 2, 3, 4, 11. Акад.
- 2) *Сочинения и письма А.С.Пушкина*, под редакцией П.О.Морозова. Изд. Т-ва «Просвещение». Тт. 1–7. СПб., 1903–1904. Мороз.
- 3) *Сочинения А.С.Пушкина*. Редакция П.А.Ефремова. Изд. А.С.Суворина. СПб., 1902–1905. Тт. 1–8. Евр.
- 4) *А.С.Пушкин*. Полное собрание сочинений. Редакция В.Брюсова. Т. 1., часть 1. Госуд. изд-во, Москва, 1920. Брюс.
- 5) *Сочинения Пушкина*. Переписка под ред. В.И.Саитова. Тт. 1–3. СПб., 1906–1911. Саит.
- 6) *Письма Пушкина и к Пушкину*. Собрал М.Цявловский. Москва, 1925. Пис. Цяв.
- 7) *Пушкин*. Письма. Под ред. и с примеч. Б.Л.Модзалевского. Тт. 1–2. Москва–Ленинград, 1926–1928. Письма.
- 8) *Пушкин и его современники*. Материалы и исследования. Изд. Академии Наук. Вып. 1–38. Петербург, 1903–1928. ПиСовр.
- 9) *Пушкин*. Сочинения под ред. С.А.Венгерова. Изд. Брокгауз–Ефрона. Тт. 1–6. СПб., 1907–1915. Брок.
- 10) *Н.О.Лернер*. Труды и дни Пушкина. Изд. 2–е. СПб., 1910. Лернер.
- 11) *П.В.Анненков*. А.С.Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873. Анненк.
- 12) *П. Анненков*. А.С.Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. Анненк.2.
- 13) *Л.Павлищев*. Воспоминания об А.С.Пушкине. Москва, 1890. Павл.
- 14) *Б.Л.Модзалевский*. Пушкин. Ленинград, 1929. Модз.
- 15) *Н.И.Греч*. Записки о моей жизни. СПб., 1886. Греч.
- 16) *В.Е.Якушкин*. О Пушкине. Москва, 1899. Як.
- 17) *П.Н.Сакулин*. Князь В.Ф.Одоевский. Москва, 1913. Сак.
- 18) *Сол<л>огуб, гр. В.А.* Воспоминания. СПб., 1887. Солог.
- 19) *Никитенко, А.В.* Записки и дневник. Тт. 1–2 СПб., 1905. Ник.
- 20) *Щеголев, П.Е.* Пушкин. СПб., 1912. Щег.
- 21) «Пушкин и мужики». Москва, 1928. Мужики.
- 21)[†] *Чаадаев, П.Я.* Сочинения и письма, под ред. М.О.Гершензона. Тт. 1–2. Москва, 1913–1914. Чад.

* Зачеркнуто: Библиотека великих писателей под ред. С.А.Венге<рова> (ред.).

† Так в оригинале (ред.).

- 21)* *М.О.Гершензон*. Чад. Герш.
 22) «Мудрость Пушкина». М., 1920. Герш.
 23) *Соболевский, С.А.* Эпиграммы и экспромпты. Ред. В.В.Каллаш. М. 1912. Соб.
 24) *М.О.Гершензон*. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914. Крив.
 25) *А.С.Пушкин*. Дневник. Под ред. Б.Л.Модзалевского. Петроград, 1923. Дневн.
 26) *Я.К.Грот*. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887. Грот.
 27) *Е.А.Боратынский*. Полное собрание сочинений. Изд. Императорской Академии Наук. Тт. 1–2. СПб., 1914–1915. Борат.
 28) *Л.Майков*. Пушкин. СПб., 1899. Майк.
 29) *А.С.Поляков*. О смерти Пушкина. Петерб., 1922. Поляк.
 30) *Письма Пушкина к Е.М.Хитрово*. Лен., 1927. Пис. Х.
 31) *Неизданный Пушкин*. Собрание А.О.Онегина. Пет., Онег.
 32) *В.Вересаев*. Пушкин в жизни. Вып. I–IV. М., 1927. Верес. Ж.
 33) *Его же*. В двух планах. М., 1929. Верес.
 34) *История Лейб-гвардии Егерского полка за сто лет. 1796–1896*. СПб., 1896. Ист. Егер. полка.
 35) *Кн. П.А.Вяземский*. Старая записная книжка. Лен., 1929. Вяз.
 36) *С.Т Аксаков*. Воспоминания.
 37) *Штейн*. Пушкин–мистик.
 38)

2) <Пушкинский юбилей в СССР>

Предложив мне написать о пушкинских юбилейных торжествах в СССР, редакция *Современных записок* поставила меня перед задачей чрезвычайно обширной, в известном смысле даже невыполнимой. Прежде всего, я далеко не располагаю и в зарубежных условиях не могу располагать всею полнотою необходимых данных. Нужно думать, что учет и регистрация всего, что было предпринято в связи с юбилеем, производится в СССР, но и там пройдет еще много времени, прежде чем эта колоссальная работа будет закончена и опубликована — разумеется в виде весьма объемистого труда. Следовательно, все, что я могу сейчас сделать, это дать лишь общий обзор, приблизительно набросав картину событий и заранее отказавшись от всяких притязаний на полноту сообщаемых сведений.

Официальное начало подготовки к юбилею следует отнести к 16 декабря 1935 г. В этот день состоялось постановление ЦК Союза ССР «об учреждении Всесоюзного Пушкинского Комитета в связи со столетием со дня смерти А.С. Пушкина». Комитет был учрежден в составе председателя (Максима Горького, которому не суждено было дожить до юбилея), двух его заместителей (наркома по просвещению А.С.Бубнова и С.С. Щербакова) и сорока восьми членов, в числе которых находим предста-

* Так в оригинале (*ред.*).

вителей партии и правительства (К.Е.Ворошилов, В.Я.Чубарь, А.А.Жданов и др.), ученых (академики А.П.Карпинский, А.С.Орлов, М.Н.Розанов и др.), писателей (В.В.Вересаев, А.Н.Толстой, А.А.Фадеев, Ю.Н.Тынянов, К.И.Чуковский, Ф.Гладков, А.С.Серафимович и др.), театральных деятелей (К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко и В.Э.Мейерхольд), специалистов-пушкиноведов (М.А.Цявловский, Ю.Г.Оксман, Д.Д.Благой), а также деятелей украинной литературы (Павло Тычина, Янка Купала, Лахути, Табидзе, Чаренц и др.). Комитету было поручено «выработать ряд мероприятий, имеющих целью увековечить память А.С.Пушкина среди народов Союза ССР и содействовать широкой популяризации его творчества среди трудящихся». Согласно п. 3 того же постановления, выработанные Комитетом меры вносились на утверждение ЦК Союза и затем передавались соответствующим народным комиссариатам для исполнения. Отчет Комитета не опубликован, и потому мы не располагаем сведениями о том, что именно было создано по его почину и что осуществлялось помимо него. Официальное положение Комитета, а также пестрота и громоздкость его состава заставляют предполагать, что, как бывает в подобных случаях, он был вынужден ограничиться пожеланиями и директивами самого общего характера. Из конкретных мероприятий, в которых следует видеть его почин, отметим несколько постановлений ЦК СССР: 1) о постановке нового памятника Пушкину в Петербурге; местом для памятника весьма удачно избрана площадь перед Фондовой биржей, переименованная в Пушкинскую площадь; закладка памятника состоялась в день юбилея, но его проект еще не выработан; бюст поэта, стоящий на Пушкинской ул., пока оставлен на месте, но существует проект перенести его в село Михайловское. 2) Детское (б. Царское) Село переименовано в город Пушкин; эта мысль не представляется нам удачной; в память поэта, сказавшего: «Отечество нам — Царское Село», было бы лучше, не боясь слова, восстановить прежнее имя, дорогое сердцу самого Пушкина и не раз освященное его поэзией; к тому же, употребление фамилии в качестве географического названия не в духе русского языка; названия местности, происходящие от других имен собственных, по-русски всегда носят характер прилагательных, а не существительных: Ярославль, а не Ярослав, Павловск, а не Павел, Двинск, а не Двина, Марфино, Васильево, а не Марфа и не Василий; единственное, кажется, исключение — село Анна, некогда принадлежавшее Ростопчиным; город Пушкин звучит так же неуклюже, как село Анна; уж лучше бы — Пушкинское Село или, если город, то Пушкинск. 3) Нескучную набережную и улицу Большую Дмитровку в Москве постановлено назвать Пушкинскими; подмосковное село Останкино (б. имение гр. Шереметевых) также переименовано в село Пушкинское; московскому Государственному музею изобразительных искусств и государственному ленинградскому академическому театру драмы присвоено имя А.С.Пушкина. Эти последние переименования свидетельствуют, конечно, о преклонении перед памятью Пушкина, но достаточных исторических оснований не имеют.

Перечисленными мероприятиями конкретные действия Комитета, кажется, исчерпываются. Но ими далеко не исчерпываются его роль и значение. Во-первых, учредив комитет и делегировав в его состав ответственных представителей власти, ЦК тем самым санкционировал участие в юбилее таких учреждений и лиц, без содействия которых юбилейные торжества не могли бы развернуться достаточно широко и не приобрели бы того государственного значения, которое им было придано. Во-вторых, комитет, по-видимому, служил если не источником, то средством распространения существенных директив, которыми определился не только общий характер юбилея, но и тот смысл, который ему служдено было приобрести. Чтобы себе уяснить этот смысл, надо мысленно вернуться назад на полтора или на два десятилетия и сравнить то место, которое долгие годы отводилось Пушкину в культурной идеологии СССР, с тем местом, которое было ему отведено ко времени юбилея. Но тут я позволю себе сделать довольно длинное отступление, носящее, как может показаться, вполне личный характер. Однако, я надеюсь — читатель поймет, что личное связано тут с далеко не личным и очень важным, а потому имеет право быть высказано.

В феврале 1921 г. по инициативе петербургского «Дома Литераторов» было организовано первое ежегодное всероссийское чествование памяти Пушкина. Состоялось четыре открытых собрания, в которых речи о Пушкине были произнесены А.А.Блоком, А.Ф.Кони, Н.А.Котляревским, Ф.К.Сологубом, Б.М.Эйхенбаумом и пишущим эти строки. Моя речь, произнесенная дважды, 13 и 26 февраля, была затем напечатана под заглавием «Колеблемый треножник». Ее основная мысль заключалась в том, что произведения Пушкина, по причинам, заложенным в самом методе его творчества, многосмысленны, а потому обречены многообразным толкованиям. В связи со сменой господствующих воззрений, люди разных эпох должны разное в Пушкине вычитывать и по разному к нему относиться. Отсюда — неизбежность периодических охлаждений к Пушкину. Такие охлаждения назвал я «затмениями пушкинского солнца». Указав на писаревскую эпоху, как на первое такое затмение, я высказал уверенность, что наступает и отчасти уже наступило второе, хотя и не столь грубое по форме.

Прошло лет пятнадцать. В январской книжке журнала *Литературный современник* за 1936 г. появилась статья «Пушкин и мы», принадлежащая перу В.А.Десницкого, старого социал-демократа, одного из давних и близких друзей Ленина и Горького (именно он их друг с другом и познакомил). Статья начиналась с указания на то, что «когда русская буржуазная интеллигенция накануне Октябрьской революции сотрясала воздух вопля-

* В журнале *Вестник литературы*, П., 1921, № 3 (27), в сборнике *Пушкин. Достоевский*, П., 1921, и в моей книге *Статьи о русской поэзии*, П., 1922.

ми о грядущем закате культуры, то в числе великих русских имен, которым победа „варваров“ грозит забвением, она называла прежде всего имя Пушкина». В подтверждение своих слов Десницкий ссылался на «Колеблемый треножник» и таким образом представлял меня своим читателям, как самого яркого выразителя буржуазно-интеллигентской клеветы на пролетарскую революцию. Это было бы еще пол беды. Но перед самым юбилеем статья была напечатана в качестве вступления к популярному изданию сочинений Пушкина под редакцией В.Томашевского. Однотомник этот был выпущен в количестве 500,000 экземпляров. Введенная на меня напраслина была повторена на всю Россию. Молодому поколению, уже незнакомому с моими писаниями, было сообщено о существовании «поэта В.Ходасевича, ныне эмигранта», замечательного тем, что нынешнюю Россию считает он страной варваров, неспособных ни понять, ни оценить Пушкина, — и это в самые те дни, когда Советский Союз от мала до велика готовился чествовать память Пушкина и когда каждый, оглядевшись кругом, мог убедиться, до какой степени предсказание «поэта, ныне эмигранта» оказалось глупо и лживо.

Не думаю, чтобы Десницкий хотел взвести на меня поклеп. Просто — он не очень внимательно прочел мою речь и не учел момента, в который она была произнесена. В 1921 г. основные читательские кадры отнюдь не состояли ни из крестьян, ни из рабочих, а литературная гегемония еще принадлежала деятелям дореволюционной словесности. Следовательно, говоря о признаках наступающего затмения, усмотренных мною в среде молодых поэтов, у футуристов и у формалистов, я указывал на круги, органически не связанные с Октябрьской революцией (см. стр. 112, 116, 117 моей книги). Невосприимчивость молодого читательского поколения, его глухоту к Пушкину, я опять же мотивировал не классовой принадлежностью, а влиянием мировой и гражданской войн (стр. 115). Словом, о «варварстве» рабочей или крестьянской массы нет в моей речи ни прямо-

* Давно уже повелось в СССР, что слово, сказанное лицом влиятельным повторяется мелкою сошкой в порядке «подхалимажа». В специальном юбилейном номере того же *Литературного современника*, анонимный автор редакционной статьи лягнул меня по тому же поводу, к эпитету «эмигрант» прибавив еще и «изменник родины». Не знаю, кто сей патриот, но готов побиться об заклад, что за все годы революции самое слово «родина» не смел он произнести ни разу, а теперь щеголяет им, потому что с него снят запрет, и оно даже стало «лозунгом», и «писачи русские» его затвердили, как инзовские сороки некогда затвердили другое слово. Замечу, однако, что мой обличитель, болтая о том, чего не знает, поставил себя в неловкое положение. «Родину» я покинул в 1922 г. по причинам личного свойства, о чем тогда же заявил печатно (*Новая русская книга*, 1922, № 7). Эмигрантом я стал с той минуты, когда, по уговору с Горьким, действительно, «изменил», но не родине, а Григорию Зиновьеву, которого с родиной никогда не отождествлял. Маленький курьез. Кроме этого патриота, о зловредном эмигранте В. Ходасевиче счел полезным высказаться во французском журнале *Commerce* (1936, № 35) патриот Путерман, которого московский журнал *Книжные новости* (1937, № 3) без всякой иронии причислил за это к «литературоведческим кругам Франции».

го слова, ни намека. Десницкий вычитал у меня не то, что я говорил, а то, что он сам заранее ожидал найти в статье будущего эмигранта.

Однако, с моей стороны было бы ложью утверждать, будто грядущее затмение я вовсе не ставил в связь с Октябрьской революцией. Об этой связи я говорил — конечно, эзоповским языком, но меня поняли все, чем и объясняется тогдашний успех моей речи. Заднюю мысль уловил в моих словах и Десницкий, но ее не понял или не захотел понять. Повторяю: о «варварстве» рабоче-крестьянской массы я не говорил, ибо в культурном отношении эта масса была еще совершенно пассивна, а еще потому, что было бы гнусностью попрекать варварским отношением к Пушкину тех, кого столетиями держали в невежестве, кому даже имя Пушкина едва было ведомо и у кого сам Пушкин, однако же, многому научился. Я намекал не на простой народ русский, а на его новых идейных руководителей и опекунов, которых Блок в своей речи, тогда же произнесенной, назвал преемниками чиновников, мешавших поэту исполнять его назначение, наследниками Тимковского, Булгарина и Бенкендорфа. Я намекал на то, что затмение, обозначившееся помимо них, станет полным, когда они осуществят свою культурную диктатуру. Для этого не надо было быть пророком — достаточно было видеть то, что уже совершалось.

Десницкий думает, что юбилейный подъем, декретированный уже в конце 1935 г., опроверг мое предсказание. Он как бы говорит: затмение не состоялось.

Нет, оно состоялось. Пусть его нет или оно кончается, но оно было и длилось примерно семнадцать лет, с 1918 по 1935.

Указывая на громадные тиражи сочинений Пушкина, выпускавшихся Госиздатом, Десницкий заявляет, что в буржуазно-дворянской России Пушкин был «поэтом для тысяч, а наш Пушкин — поэт миллионов». Хотя госиздатские тиражи вообще для меня не убедительны, ибо они весьма редко соответствуют реальным потребностям рынка, на этот раз я готов согласиться с Десницким. Действительно, Октябрьская революция открыла массам дорогу к книге (другое дело — к какой). Действительно, эти массы тотчас потянулись к классикам и в частности к Пушкину: это свидетельствует об их здоровом литературном чутье. Не отрицаю и того, что спрос на Пушкина удовлетворялся, но — благодаря «торговому сектору», а не культурному руководству. В плане же этого руководства долгие годы совершалось именно затмение Пушкина: искоренялась его традиция и помрачалось самое его имя.

Уже с 1918 г. советское правительство взяло в свои руки руководство литературой. Подробно рассказать о глубоко противопушкинском направлении этого руководства значило бы написать чуть ли не историю советской словесности. Ограничусь тем, что напомним лишь факты наиболее выразительные.

<...>

3) <О «Каменном госте»>

7 апр<еля> <1>938.

[Просидев больше года в Михайловском и истомившись опалой, уединением, скукой, неизвестностью, мечтами о бегстве за границу, Пушкин решился на [отчаянный] смелый поступок: он вздумал [отправит<ься>] самовольно отправиться в Петербург [11 или 12 декабря 1825 г он уже сел в повозку и отъехал от дома, как вдруг встретил священника. Перед] Он уже сел в повозку, но несколько]

Просидев больше года в Михайловском и истомившись опалой, уединением, скукой, [неизвестностью] тщетными ожиданиями перемены в своей судьбе, мечтами о бегстве за границу, Пушкин решился на смелый поступок: он вздумал самовольно [отправиться] побывать в Петербурге. [С.А. Соболевский] Однако, несколько других предзнаменований, случившихся одно за другим, остановили его, [уже отъехав] и он, отъехав уже от крыльца, воротился домой.

[Эта] Затея была смела, но не совсем сумасбродна. [Момент был выбран удачно. [Пушки<н>] Дело было 11 или 12 декабря 1825 года: момент был] Она подсказывалась [сравнительно] более или менее удачно сложившимися обстоятельствами. Садясь в повозку 11 или 12 декабря 1825 года, Пушкин знал, что в связи с [династическими осложнениями и] династическим замешательством, [царившим] [проис] происходившим в столице, его приезд может пройти незамеченным. С другой стороны, в нем могла теплиться надежда на то, что если [даже] его пребывание в Петербурге обнаружится, новый царь на первых порах может отнестись к нему снисходительно, даже милостиво. Не даром с неделю тому назад он писал П.А. Катенину: [«Радуюсь возшествию на престол Константина I... Я надеюсь»] «Может быть, нынешняя перемена сблизит меня с моими друзьями... Радуюсь возшествию на престол Константина I... Я надеюсь от него много хорошего».

В то же время, однако, не мог он не сознавать и большого риска, сопряженного с его замыслом. Дурные приметы были, конечно, лишь поводом к возвращению домой. Истиною причиной [были опасения,] были опасности, в которых Пушкин не мог не отдавать себе отчета. Вернувшись с пути, он лишь уступил давлению тех раздумий, которые его [волновали] [прежде чем?] тревожили.

Впоследствии Пушкин высчитал, что если бы поездка состоялась, [он прибыл бы в Петербург вечером 13 декабря, попал бы пр<ямо>] то в Петербурге, к Рылееву, на квартиру которого он собирался захватить, прибыл бы он вечером 13 декабря, то есть попал бы прямо на последнее, роковое совещание декабристов, на другой день явился бы с прочими на Сенатскую площадь — и участь его была бы ужасна. К этой мысли не раз возвращался он в разговорах с друзьями. Следы ее сохранились в заметке о

«Графе Нулине». * [Самые же раз<думья>] Предотъездные же свои раздумья он закрепил в первой сцене «Каменного гостя».

Автобиографические мотивы бесчисленны не только в лирике Пушкина, но и в его эпосе, и в повествовательной прозе, и в драме. [1 нрзб] [творческие приемы] [Его творческие приемы порой вскрыва<ются>] [Как нельзя более показ<ательно?>] Изучение приемов, которыми он пользуется, претворяя действительность в творчество, [как] в высшей степени поучительно. Однако, [это?] [на этот раз мы сосредоточим наше внимание не на этой стороне дела.] [на] [на э<то...>] [в данном случае мы займемся не этим] [не наблюдениями] [на этот раз мы обратим внимание] в данном случае мы займемся иным предметом. Наличие автобиографического материала в начальной сцене «Каменного гостя» даст [нам] возможность [прийти к] сделать некоторые наблюдения и выводы иного, более общего порядка.

Есть в мировой литературе ряд героев, которые нам почти не мыслятся иначе, как в сопутствии других персонажей, глубоко разнящихся от них, но связанных с ними теснейшим образом. † Таковы — Фауст и Мефистофель, Дон-Кихот и Санчо Панса. † К числу таких парных героев принадлежат и Дон-Гуан с Лепорелло. [1 нрзб] Не трудно заметить, что при всей своей видимой полярности половины этих пар не отталкиваются друг от друга, но напротив, тесно сближаются, образуют одно целое, как половинки миндалина. Каждый из них мог бы сказать своему спутнику словами пушкинского стихотворения:

Мы — точь-в-точь двойной орешек
Под одною скорлупой.
20 апр<еля> <1>938

Самими своими противоположностями они ([?как бы допол<няют> лишь]) дополняют друг друга. Продолжая наше сравнение, можно бы сказать, что<, > как в миндалине, разрез между ними проходит не [м] по прямой поверхности: своими выпуклыми участками каждая половина [и здесь, как в миндал<ине>] восполняет вогнутости другой. Чтобы уяснить их внутреннее соотношение, надобно рассмотреть эти поверхности разреза.

Пушкин в П<етербург> не поехал. Д<он>-Гуан отважился самовольно явиться в Мадрид. Однако, сопоставляя первую сцену «Каменного Гостя» с данными пушкинской биографии, мы без труда замечаем, что диалог Гуана с Лепорелло представляет собою [как] разложение [монолога] од-

* Сноска автора: Гершенз<онов>ский ...

† Справа приписано: Неск<олько> иначе сказать. Нам ... не представляются?

‡ Справа приписано: Хлестаков и Осип, Ставрогин и [Раскольников] Верховенский

ного из тех монологов, которые Пушкин должен был вести сам с собою, обдумывая возможные последствия [своей] своего замысла [сам] побывать в Петербурге. [Д<он-Г<уан>] [Зная это, мы в свою очередь можем, анализируя [м<онолог>]] [диалог, установить] Зная это и анализируя происходящий диалог, мы в свою очередь можем установить ту психологическую схему, [по кот<орой> на основе], по которой произведено [раздвоение] разделение первоначально единого [действующего лица — Пушкина — на Дон..] реального существа — Пушкина — на двух персонажей трагедии: Дон-Гуава и Лепорелло. Послушаем их, чтобы выяснить, [по какой] какие именно свойства этого существа составляют теперь главного героя и какие — его слугу.

2 июня <19>38

Дон-Гуан

Дождемся ночи здесь. Уф! Наконец
Достигли мы ворот Мадрита. Скоро
Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.
[Как думаешь узнать меня не]
Как думаешь: узнать меня нельзя?

Смутные опасения шевелятся в Д<он->Гуане, [но он старается их отбросить. Он] Он не вполне уверен в своей [безопасности] неузнаваемости, но [ему хочется быть легкомысленным?] он слишком смел и блистателен для того, чтобы снизойти до благоразумия. Благоразумие он поручает слуге. И [благо<разумный>] Лепорелло ему отвечает:

Да, Дон-Гуана мудрено признать!
Таких, как он, такая бездна!

В этом ироническом ответе, помимо благоразумия, заключена лесть: отголосок лестного самомнения, живущего в самом Дон-Гуане: несмотря на необходимость быть неузнанным, он полон горделивого [уверенно<го>] сознания своей исключительности, единственности. И чтобы еще раз услышать это опасное, но приятное мнение, Д<он>-Г<уан> напрашивается на комплименты:

Шутишь?
Да кто ж меня узнает?
Лепорелло

Первый сторож,
Гитана, или пьяный музыкант,
Иль свой же брат нахальный кавалер
плаще, с гитарою под мышкой, в шляпе

[Но Д<он>-Г<уану> некогда останавливаться]

16 июня <1938>

[Но Д<он>-Г<уан> некогда [останавли<ваться> просто] развивать эту тему, [он возвращается к основной — к возм<ожному?> вопросу] и он ставит]

Итак, опасность быть узнаемым установлена, но Д<он>-Г<уан> не хочет с нею считаться. [Он р<азмышляет?>:]

Что за беда, хоть и узнают. Только б
Не встретился мне сам Король. А впрочем,
никого в Мадрите не боюсь...

Как, даже Короля? Конечно, это уже бравада, верный признак за-
таенного беспокойства. И оно отвечает «нахальному кавалеру» устами
Лепорелло:

А завтра же до Короля дойдет,
Что Д<он>-Г<уан> из ссылки самовольно
М<адрит> вернулся, — что тогда, скажите,
Он с вами сделает?

Этот вопрос Д<он>-Г<уан>

[Здесь набросок обрывается — *Ред.*]

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абамелек Анна Давыдовна, кн. III 257, 348
- Абрамович С.Л. III 336
- Абызов Ю.И. III 344
- Август (римский император) III 211
- Августин Блаженный (Аврелий) II 521
- Авдеев Михаил Васильевич III 250
- Авербах Л.Л. II 548
- Агафонов В.К. II 486
- Адамович Г.В. II 71-76, 474, 483, 484 III 78, 332, 339
- Адеркас Борис Антонович I 295, 297
- Адлер Б.Ф. I, 394
- Адлерберг Владимир Федорович, гр. II 14, 15, 467, 468
- Азадовский М.К. III 350
- Айвазовский Иван Константинович III 300
- Айхенвальд Ю.И. I 57-61, 402, 403 II 460, 584
- Аксаков Иван Сергеевич II 170, 509
- Аксаков Сергей Тимофеевич III 393
- Аксаковы II 388
- Алданов М.А. I 113, 114, 129, 131, 159, 163, 173, 289, 444 II 459, 461, 469, 486 III 313
- Александр I, император I 113, 114, 129, 131, 159, 163, 173, 289 428 II 63, 304, 313, 315, 319, 333, 335, 367, 417, 427, 434, 441, 546, 551 III 60, 103, 185, 208, 211, 265, 300, 363
- Александр II, император II 434, 441, 539, 540
- Александр I, король Югославии II, 579
- Александр Невский I 458 II 317
- Александра Фёдоровна, императрица II 13, 384
- Алексеев Алексей Петрович III 236
- Алексеев Николай Степанович I 174-176, 189, 428, 440, 442 III 142-144, 170, 192, 199, 238, 352
- Алексей Михайлович, царь I 458
- Аллаяр-Хан II 191
- Амбус А.А. II 579
- Амвросий, митрополит II 22
- Аммосов (Амосов) Александр Николаевич III 106, 107, 336
- Амфитеатров, см. Раич С.Е.
- Анакреон II 27, 418
- Андреев В.Л. II 509
- Андреева И.П. I 395, 399, 411, 415
- Андриэ (Andrieux), владелец ресторана II 310
- Аничков Е.В. III 343
- Анненков Иван Васильевич III 249
- Анненков Павел Васильевич I 46, 47, 87, 214, 433, 441, 457, 465 II 40, 83, 97, 184, 213, 244, 249, 396, 485, 504, 510, 511, 520, 531, 550-552, 554 III 213, 248-253, 287, 312, 347, 348, 383, 392
- Анненков Фёдор Васильевич III 249
- Антоний (Храповицкий), митрополит I 406 II 214, 215, 520, 522
- Анучин Дмитрий Гаврилович II 354
- Апулей (Apuleius) III 130

* Во избежание недоразумений, имена и отчества лиц пушкинского и допушкинского периодов (18-19 вв.) даны, по возможности, полностью. Для писателей, литературоведов и общественных деятелей более позднего времени (20 в.) это не представлялось необходимым.

- Апухтин Алексей Николаевич I 461
- Аракчеев Алексей Андреевич, гр. II 317-319, 334 III 92, 265, 369
- Арапетов Иван Павлович III 250
- Арапова (Ланская) Александра Петровна II 131
- Аргутинский-Долгоруков В.Н. III 81, 330
- Арина Родионовна, см. Яковлева А.Р.
- Аронсон, М.И. III 371
- Артюхов Константин Демьянович II 80
- д'Аршиак (d'Archiac) Огюст, виконт II 58
- Асеев Н.Н. I 127, 428
- Асенкова Александра Егоровна II 321
- Ахматова А.А. I 399, 413 II 86, 484
- Ашукин Н.С. III 388
- Багратион Пётр Иванович, кн., ген. II 416
- Бади-Тодоре (Тодор-бадя) III 242, 345
- Базилевич В.М. III 337
- Байрон (Вугон) Джордж Ноэль Гордон, лорд I 120, 132, 198 II 66, 100, 345, 365, 375, 497 III 149, 173, 202, 306
- Бакунина Екатерина Павловна I 83, 479 II 42 III 256, 258, 318
- Балтрушайтис Ю.К. I 449
- Балш Тодор (Тодораки) III 237, 238, 240
- Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич III 251
- Баранов Дмитрий Осипович II 355
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович I 49, 99, 101, 104, 120, 247, 304, 455 II 7, 44, 45, 48, 49, 66, 67, 79, 112, 122, 157, 163, 169, 230, 231, 237-239, 267, 388, 419, 420, 435-437, 441, 476, 477, 482, 490, 491, 584, 585, 588, 591, 592, 594 III 68, 69, 93, 201, 202, 226, 266, 326, 344, 349, 369, 392
- Баратынский Сергей Абрамович II 236 III 389
- Барков Дмитрий Николаевич I 198 II 52, 330
- Барков Иван Семёнович II 199 III 369
- Барскова Полина III 316
- Барсуков Николай Платонович II 566
- Бартенев Пётр Иванович II 7, 9, 10, 14, 40, 119, 124, 200, 244, 256, 258, 463, 466, 468, 470, 473, 482, 504, 519, 520, 532, 574 III 242, 248, 249, 252, 285, 287, 322, 324, 345, 351, 383
- Басаргин Николай Васильевич III 236, 344
- Баташев Сила Андреевич II 26
- Батюшков Константин Николаевич I 192, 261, 262, 472 II 160, 162, 396, 419, 420, 508, 509 III 69, 119, 120, 121, 128, 181, 266, 284, 378
- Бегичев Степан Никитич II 191, 196
- Бедный Демьян III 346
- Безак К.Ф. II 465 III 316
- Безобразов Николай Михайлович II 122
- Безобразов Сергей Дмитриевич I 250 III 227
- Безобразова Любовь Александровна III 229
- Беклешов Александр Андреевич II 546
- Беклешов Пётр Николаевич II 120, 352
- Белинский Виссарион Григорьевич I 30 II 73, 383, 388, 395, 491, 513, 521, 565, 568 III 262, 349
- Белый Андрей I 58, 224, 394, 402, 434, 511 II 393, 567 III 352
- Бель (Bayle Pierre) III 152, 153, 370
- Бельский Леонид Петрович II 581
- Бельчиков Н.Ф. II 532
- Беляев М.Д. I 443 II 118, 482, 499, 500
- Бем А.Л. I 81 III 244, 245, 315, 338, 339, 346
- Бенедиктов Владимир Григорьевич II 299, 528
- Бенигсен Леонтий Леонтьевич, гр. II 540

- Бенкендорф Александр Христо-
 форович, гр. I 204 II 14, 63, 121,
 122, 155, 295, 501, 545 III 104,
 105, 204, 206, 260, 298, 336, 368,
 389, 390, 397
 Бенуа А.Н. III 81, 300, 330
 Бень Е.М. I 40, 462 II 460
 Беранже (Béranger) Пьер-Жан II
 494
 Берберова Н.Н. I 391, 394, 420, 424
 II 459, 530 III 312
 Бернацкий М.В. II 486
 Берг Николай Васильевич II 78,
 485 III 252
 Беррийский (duc de Berry)
 Шарль-Фердинанд, герцог I 485
 II 334
 Бернштейн С.И. II 417
 Бестужев (Бестужев-Марлинский)
 Александр Александрович I 96,
 191, 202, 207, 411 II 267, 268,
 296, 363-366, 550, 557 III 87,
 199, 205, 327, 334, 344, 353
 Бестужев-Рюмин Михаил Пав-
 лович III 36, 323
 Бетеа Давид (David Bethea) I, 394
 II 462, 530
 Бибикова Екатерина Ивановна II
 565
 Бионкур Александр Катуар де II
 581
 Бирон (Biron) Эрнст Иоганн, гр.,
 герцог Курляндский I 469
 Бисмарк (Bismarck) Отто Эдуард
 фон II 540
 Битов А.Г. III 324
 Биша (Bichat) Мари Француа
 Ксавье III 152, 370
 Благово Д.Д. I 439
 Благой Д.Д. II 88, 90-93, 397, 399-
 402, 464, 489, 568, 569 III 365,
 371, 394
 Блок А.А. I 101, 407, 409, 410 II
 61, 86, 269, 568
 Блюдов Дмитрий Николаевич, гр.
 II 328, 336, 397
 Блют (Blüth) Р. II 266, 533
 Бобринская Анна Владимировна,
 гр. III 237
 Бобринские, гр. II 27, 28
 Бобринский Алексей Алексеевич,
 гр. II 24, 27, 28, 470-473
 Бобринский Андрей Александро-
 вич, гр. II 471, 472
 Бобринский Георгий Алексан-
 дрович, гр. II 471
 Бобров С.П. I 81
 Бобров Семён Сергеевич I 15, 87
 Богаевская К.П. II 466
 Богарнэ Стефания (Stephanie-
 Louise-Adrienne de Beauharnais)
 III 46
 Богатырева С.И. I 394, 407 449,
 466, 467
 Богданович Ипполит Фёдорович
 II 110, 166, 508, 509 III 369
 Богомолов Н.А. I 397, 408 II 534
 III 316
 Богословский Н.В. III 355-357
 Бомарше (Beaumarchais) Пьер-
 Огюст Карон де II 556
 Бонди С.М. III 365, 388
 Бонч-Бруевич В. Д. II 423, 575 III
 337
 Боричевский И.А. III 381
 Боровкова-Майкова М.С. II 397,
 575 III 337
 Бороздин Константин Матвеевич I
 97
 Бороздина Анастасия Николаевна
 I 250
 Бороздина Мария Андреевна II
 433
 Борх А.М., гр. II 288
 Борх Иосиф Михайловч, гр. III
 102
 Боткин Василий Петрович III 250
 Бочаров С.Г. I 400, 406 III 349
 Бошняк Александр Карлович II
 211
 Браз Осип Эммануилович III 81,
 330
 Брантом (Brantôme) Пьер де Бур-
 дей I 254 II 235, 526
 Браун Ф.А. I, 394
 Брауншвейгский Август, гр. III
 284
 Брикнер (Брюкнер; Aleksander
 Brückner) А. II 266, 533
 Бросс (Brosses) Шарль де II 530
 Бруни Фёдор Антонович III 65

- Брут (Brutus) Марк Юний III 277
 Брызгалов, Иван Семёнович II 472
 Брюллов Карл Павлович II 428 III 77, 83, 331, 371
 Брюсов В. Я. I 66-74, 82-87, 363, 392, 399, 402-406, 438 II 43, 49, 87, 89, 262, 263, 449, 454, 476, 477, 481, 484, 489, 504, 509, 533, 582, 583, 584, 586, 592 III 54, 122, 323, 355, 376, 383, 392
 Брянчанинов Дмитрий Петрович II 130
 Буайе (Boyer) Поль I 444
 Буало (Voileau-Despréaux) Никола I 25, 126
 Бубнов А.С. III 393
 Будберг М.И. I 423, 424, 430
 Будри (de Boudry) Давид Иванович II 51
 Булгаков Александр Яковлевич II 259
 Булгаков Константин Александрович II 303, 546
 Булгаков Константин Яковлевич II 303
 Булгаков С.Н., о. III 259-265, 312, 348, 349
 Булгаковы III 387
 Булгарин Фаддей Венедиктович I 97, 207, 215 II 18, 163, 191, 238, 383, 385, 420, 429, 490, 494, 507
 Бунин И.А. II 470 III 303, 313
 Бурдибур II 278
 Бурцев В.Л. II 31, 357-369, 474, 556, 557
 Бутурлин Дмитрий Петрович, гр. II 282
 Бутурлин Михаил Дмитриевич, гр. II 41
 Бутурлины II 316
 Быков III 18
 Быков Николай Дмитриевич III 108, 337
 Быков П.В. II 509
 Бюргер (Bürger) Готфрид Август II 512
 Вальский А. I, 394 II 465 III 316
 Василий IV, царь I 469
 Ваулин И.И. II 251
 Вацуро В.Э. I 396 II 525, 568
 Введенский И.А. II 213
 Вейдле В.В. II 470 III 339
 Вейнберг А.Л. II 303, 545
 Веймарн Александр Фёдорович, бар. II 288
 Вейсгаупт Адам III 56, 324
 Великопольский Иван Ермолаевич II 120, 128-129, 501
 Вельтман Александр Фомич III 241, 242, 345, 386, 387
 Вельяшева Екатерина Васильевна II 350
 Венгеров С.А. I 43, 81, 314, 392, 399, 401, 404, 432, 438, 457 II 73, 409, 479, 481, 489, 504, 509 III 36, 322, 323, 392
 Веневитинов Дмитрий Владимирович I 99 II 64, 65, 67-71, 157, 377, 481-483
 Веневитиновы II 67, 377
 Венкстерн А.А. II 252
 Вергилий (Виргилий; Publius Vergilius Maro) I 474 II 285 III 149, 369
 Вересаев В.В. I 438 II 39-42, 116-117, 147, 213, 229-231, 451, 476, 482, 500-501, 510, 511, 516, 520, 524, 550, 552-556, 582 III 303, 317, 320, 323-325, 337, 344, 345, 351-353, 385-387, 393, 394
 Веронезе (Veronese) Паоло I 77-80, 406 II 217, 218, 508
 Верховский Ю.Н. I 98, 99, 411, 426
 Вибельман Е. III 372
 Вигель Филипп Филиппович I 112, 113, 199, 284 II 149, 399, 401, 507, 551, 568 III 138, 139, 386
 Виельгорский Михаил Юрьевич, гр. II 579
 Вильгельм I, прусский принц, германский император II 15, 540
 Вильсон (Wilson) Джон I 49
 Виноградов В.В. I 398, 399 III 352, 371
 Виноградов Дмитрий Фёдорович II 21-22
 Виноградов И.А. II 448
 Виноградов Лев Александрович II 248-250, 417, 531

- Винокур Г.О. I 438 III 365
 Виньи (Vigny) Альфред Виктор де II 494
 Водовозов В.В. I 410
 Воейков Александр Фёдорович I 196 II 110, 283, 388 III 202, 230
 Воейкова Мария Матвеевна I 255
 Волков Александр Александрович II 121
 Волковыский Н.М. I 407 II 86
 Волконская Зинаида Александровна, кн. II 377, 481 III 69
 Волконская Александра Николаевна, кн. II 432
 Волконская Мария Николаевна, кн. I 86, 333, 433, 440 II 340, 429-434, 552, 553, 578 III 9, 14, 68
 Волконская Софья Григорьевна, кн. II 432
 Волконский Николай Сергеевич, кн. II 578 III 54
 Волконский Сергей Григорьевич, кн. II 430-434, 571, 578
 Волинский А.Л. I 410
 Волинский Атемий Петрович II 267
 Вольтер (Voltaire) Мари Франсуа Аруэ I 179, 180, 286 289, 432-474 II 245, 285, 306, 530 III 153, 182, 328
 Вольфсон Борис (Boris Wolfson) I, 394
 Вольфсон Л.В. I 420, 421, 425
 Вольховский Владимир Дмитриевич II 327 III 358
 Вордсворт (Wordsworth) Вильям I 123
 Ворожейкина Анна Николаевна III 361
 Воронцов Михаил Семёнович, гр. I 254 II 510 III 232,
 Воронцова Елизавета Ксаверьевна, гр. I 333 II 288, 373, 552 III 372
 Воронцовы, гр. II 307, 316
 Ворошилов К.Е. III 394
 Востокова Н.Б. II 470
 Вревский Борис Александрович, бар. II 352
 Вревская Евпраксия Николаевна, бар. (см. Вульф Е.Н.)
 Вревские II 556
 Врублевский Мариуш II 464
 Всеволожские I 198
 Всеволожский Александр Всеволодович II 52, 190, 330
 Всеволожский Всеволод Никитич II 485
 Всеволожский Никита Всеволодович I 76, 191, 207 II 52, 53, 80, 120, 128, 215, 329, 330, 334, 371, 372, 478, 485, 501, 551, 561, 562, 564 III 20, 21, 124
 Вульф Анна (Нетти) Ивановна II 341, 350, 351
 Вульф Алексей Николаевич I 50, 144, 154, 201, 235, 245, 367 II 125, 178, 212, 234-236, 339, 340, 344, 346, 349, 350, 353, 503, 511, 525, 553, 556 III 113, 164, 169, 216, 224, 338, 386
 Вульф Анна Николаевна II 339-341, 343, 345, 346, 351, 352, 552-555
 Вульф Евпраксия Николаевна I 40, 252 II 338, 339, 343, 347-348, 350-353, 552, 553 III 229, 297
 Вульф Зизи, см. Вульф Е.Н.
 Вульф Иван Иванович II 78
 Вульф Мария Петровна П. II 350, 353
 Вульф Николай Иванович II 339
 Вульф Пётр Иванович II 350
 Вульф-Осиповы II 510 III 387
 Вышеславцева Капитолина Михайловна II 282
 Вяземская Вера Фёдоровна, кн. II 162, 255-260, 340, 507, 532, 553 III 280, 335, 371
 Вяземская Мария Петровна, кн. I 250
 Вяземские, кн. II 507
 Вяземский Павел Петрович, кн. I 151 II 18, 122, 123, 127, 128, 131, 468, 507
 Вяземский Пётр Андреевич, кн. I 97, 99, 143, 165, 183, 189, 191-202, 205, 206, 215, 247, 250, 266, 301, 302, 304, 316, 317, 319-323, 328, 330, 331, 345, 370, 437, 439, 455, 459, 472, 481, 484 II 9-11, 21, 41, 44, 50, 60, 81, 111, 112, 116, 119, 127, 128, 137, 138, 140,

- 141, 144, 157, 159-166, 176, 180, 181, 186, 195, 198, 230, 231, 238, 251, 253, 255, 259, 283, 293, 294, 296, 297, 312, 329, 335, 363, 382, 396, 427, 428, 440, 477, 484, 485, 490, 499, 507, 508, 519, 545, 549, 551, 554, 557, 575, 579, 580, 583, 584, 587, 593 **III** 37, 56, 58, 59, 63, 68, 69, 82, 92, 105, 112, 120, 125, 136, 157, 169, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 211, 218, 226, 227, 236, 238, 266, 267, 268, 270, 284, 288, 322, 323, 324, 325, 334, 337, 344, 349, 350, 351, 352, 371, 374, 381, 386, 387, 389, 393
- де Габриак Александр **III** 37, 40, 47, 53
- де Габриак Артур **III** 53
- де Габриак (урожд. Давыдова) Екатерина Александровна **III** 51, 52
- де Габриак Жозеф **III** 44, 47, 50, 52, 53
- де Габриак Мария **III** 53
- де Габриак Матильда **III** 50
- де Габриак Поль **III** 52
- де Габриак Фанни **III** 53
- де Габриак Эрнест **III** 36, 37, 40, 47
- де Габриаки **III** 36, 46, 51, 53, 311, 321
- Гагарин Иван Сергеевич, кн. **II** 20 **III** 39-40, 45, 105, 106-107, 312, 323, 336
- Гаевский Виктор Павлович **I** 455 **II** 84, 444-445, 485 **III** 250
- Галахов Алексей Дмитриевич **II** 396
- Галич Александр Иванович **I** 475, 477, 480 **II** 66, 112 **III** 131
- Гальцева Р.А. **III** 349
- Гамильтон Мария **III** 46
- Ганнибал (Аннибал) Абрам (Ибрагим) Петрович **I** 367, 370, 372-374, 458, 469, 470 **II** 175, 272-274, 279, 314, 315, 536 **III** 164, 216, 218-221, 296, 342
- Ганнибал Иван Абрамович **I** 458, 470 **II** 274
- Ганнибал Мария Алексеевна **I** 459, 470, 473 **II** 175, 250, 274-276, 279, 280, 536 **III** 360
- Ганнибал Осип Абрамович **I** 458, 470 **II** 175, 249, 275, 279, 531
- Ганнибал Пётр Абрамович **I** 458, 470 **II** 274, 275, 315
- Ганнибал Павел Исаакович **II** 314 **III** 235, 236, 238
- Ганнибал Пётр Исаакович **II** 314
- Гаспаров М.Л. **II** 533
- Гастфрейнд Николай Андреевич **III** 376
- Гау Владимир Иванович **III** 77, 82, 83, 331
- Гауэншильд Фридрих Леопольд Август (Фёдор Матвеевич) фон **II** 515
- Ге Николай Николаевич **II** 178 **III** 301
- Гейне (Heine) Генрих **II** 11, 49, 477, 592 **III** 357, 359
- Гейтман Георгий-Иоганн **II** 250
- Геккерен (Heeckeren de Beverwaard) Луи-Борхард де Бевервард, бар. **I** 378 **II** 16, 17, 19, 155, 158, 256, 257 **III** 77, 79, 102-105, 295, 299, 352, 368
- Геллер Пётр Исаакович **III** 301
- Гельвеций (Helvétius Claude Adrien) **III** 153
- Гельд Г.Г. **II** 107
- Геннади Григорий Николаевич **III** 250
- Генслер (Hensler) Карл-Фридрих **I** 304
- Георгиевский Г.П. **III** 24, 25
- Георгиевский Пётр Егорович **III** 378
- Гербель Николай Васильевич **II** 97 **III** 250
- Гердер (Herder) Иоганн Готфрид **III** 152, 153, 370
- Гершензон М.О. **I** 90, 111, 177, 213, 217, 392, 395, 397, 408, 409, 412, 413, 425, 427, 432, 436, 467 **II** 23, 38, 73, 106, 108, 143, 269, 412, 469, 475-476, 481, 498-499, 504-505, 547, 570 **III** 57, 80, 245, 318, 324, 333, 346, 376, 392-393, 399
- Герцен Александр Иванович **II** 107, 129, 268, 382
- Гессен С.Я. **III** 322, 353, 357, 358, 372, 386

- Гёте (Goethe) Иоганн-Вольфганг I 56, 118, 263 II 100, 375, 404, 497, 569
- Гиббон (Gibbon) Эдвард III 152, 153, 369
- Гиндин С.И. II 465, 583, 584
- Гинзбург Л.Я. II 508 III 349, 352
- Гиппиус З.Н. II 477–478, 486
- Гладков Е.С. II 536
- Гладков Ф.В. III 394
- Гладкова Екатерина Ивановна II 350
- Глинка Фёдор Николаевич II 330-331, 335, 419, 550 III 69, 386, 387
- Глоба А.П. I 412 III 366-368
- Гнедич Никлай Иванович I 163, 189, 192, 199, 200, 206, 209-212, 217 II 63, 110, 294, 305-312, 322, 330, 335, 548, 549 III 27, 69, 92, 93, 169, 199, 203, 211, 269, 318, 350, 358
- Годунов Борис, царь III 11, 292, 366, 380
- Гогенлоэ (von Hohenlohe) Христиан Людвиг, кн. II 124, 131
- Гоголь Николай Васильевич I 99, 102, 403 II 73, 83, 112, 126, 165, 197, 230, 231, 244, 269, 270, 298, 309, 384, 387, 389, 392-395, 403, 413, 464, 491, 517, 534, 535, 545, 549, 566-568 III 245, 252, 289, 300, 352
- Голенищев-Кутузов И.Н. II 369, 370, 558, 561 III 314
- Голенищев-Кутузов Логгин Иванович, кн. II 326
- Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович, св. кн. II 10, 111 III 283
- Голицын Александр Сергеевич, кн. II 377
- Голицын Андрей Михайлович, кн. II 467
- Голицын Александр Николаевич, кн. III 369
- Голицын Сергей Григорьевич, кн. I 150 II 126 III 111
- Голицын П.С. кн. III 273
- Голицына Наталия Петровна, кн. III 358
- Голицына Евдокия Ивановна, кн. I 197, 435 II 315, 316, 319, 336, 549 III 198, 319
- Головачевский С.Н. I 65
- Гольдштейн М. II 516
- Гольцев В.В. II 467
- Гомер I 120, 153, 198, 209-212 II 174, 242, 284, 305, 307-310, 330, 548 III 178, 202, 256, 269
- Гончаров Афанасий Николаевич I 163, 164 III 211
- Гончаров Иван Александрович II 269
- Гончаров Николай Афанасьевич II 26, 377, 428
- Гончарова Александра Николаевна I 87, 254, 434 II 25, 28, 258
- Гончарова Екатерина Николаевна II 19, 20, 25-27 III 104
- Гончарова Наталья Ивановна I 208 II 26 III 22, 73
- Гончарова Наталья Николаевна, см. Пушкина Н.Н.
- Гор Г.С. III 374
- Гораций (Quintus Horatius Flaccus) II 50, 418 III 153
- Горс(т)кина София Николаевна I 250
- Горовиц Бриан (Brian Horowitz) I 394
- Городецкий С.М. II 514
- Горчаков А.К., кн. II 290, 291, 541-543
- Горчаков Александр Михайлович, кн. II 135, 178, 198, 200-202, 206, 287-291, 502, 519, 538-541 III 142, 166, 377, 378, 379
- Горчаков Владимир Петрович I 87 II 557 III 239, 240, 242, 334, 345, 386
- Горчаков К.А., кн. II 539
- Горчаков М.А., кн. III 377
- Горчаков М.К., кн. II 287-293, 542-544 III 377
- Горчакова (Ферзен Елена Доротея) Е.В., кн. II 539
- Горчаковы, кн. II 518
- Горький Максим I 394, 420, 421, 430 II 176, 469, 510 III 393

- Гофман (Hofmann) М.Л. I 104, 392, 405, 412, 415, 430, 438 II 13, 32, 35, 134, 136, 147-152, 186-189, 252-255, 338, 358, 442-444, 448-455, 462, 467, 470, 486, 502, 503, 505, 514, 516, 517, 525, 531, 552, 553, 556, 557, 581, 582 III 9-15, 20, 22, 26, 33, 69, 74-86, 254-258, 312, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 332, 333, 348, 358, 375, 385
- Гофман (Hoffmann) Эрнст Теодор Амадей I 11
- Градов (друг Пушкина в Кишиневе) III 15
- де Грамон (Agenor, duc de Gramont), гр. III, 41, 43, 44, 45, 47, 50
- Грановская Н.И. II 510
- Гретман А.Ф. II 565
- Греч Николай Иванович I 97, 200, 206 II 110, 293, 383, 490, 544 III 169, 203, 236, 344, 392
- Грибоедов Александр Сергеевич II 190-197, 322, 324, 414, 479, 484, 517 III 68, 69, 235, 326, 359
- Гринберг Р.Н. III 316, 326
- Гроссман Джоан (Joan Grossman), II 465
- Гроссман Л.П. II 23, 24 III 287, 351
- Грот Яков Карлович I 457 II 244, 291, 354, 396, 409, 504, 569 III 249, 280, 360, 376, 383, 384, 387, 388, 393
- Губер П.К. II 86 III 318
- Губер Эдуард Иванович I 99
- Гумилёв Н.С. I 410 II 78, 86, 268, 485
- Гуревич Л.Я. II 30, 473
- Гурьев Дмитрий Александрович, гр. II 17-18
- Гурьев Константин Васильевич III 362
- Гурьянов В.П. II 523
- Гусев Даниил II 246, 530
- Гюго (Hugo) Виктор Мари II 493, 494, 532
- Давыдов Александр Львович III 27-38, 50, 322
- Давыдов В. I 250 III 227
- Давыдов Вадим Денисович III 29
- Давыдов Владимир Александрович III 38
- Давыдов Василий Львович I 149, 150, 289 II 54 III 27, 92, 184, 225, 358
- Давыдов Денис Васильевич II 259, 415-421, 464, 574 III 29, 69, 321, 378
- Давыдов Пётр Львович III 38, 50
- Давыдов, С.С. III 346
- Давыдова (Грамон (Gramont)) Аглая Антоновна I 241, 242, 333, 434 II 117, 500 III 14, 27-36, 222, 311, 319, 321, 322, 336
- Давыдова Адель Александровна III 34-53, 321, 323
- Давыдова (Раевская) Екатерина Николаевна III 27-28
- Давыдовы III, 27-29, 34, 36-37, 50
- Даль Владимир Иванович III 56, 324, 381-382, 386
- Данзас Константин Карлович II 7, 303, 546 III 106, 252, 336, 387
- Данте (Dante Alighieri) Алигьери I 56, 91, 428 II 270 III 92, 138
- Дантес (d'Anthes) Жорж-Шарль, бар. I 255 II 12, 14-17, 19, 20, 27, 28, 57, 58, 61, 155, 161, 256, 257, 269 III 94, 101-104, 231, 232, 236, 237, 240, 243, 263, 288, 295, 299, 301, 302, 352, 368
- Деборд-Вальмор (Desbordes-Valmore) Марселина II 375
- Дегильи (Deguilly) III 236, 238, 240, 241, 345
- Делавинь (Delavigne) Жан-Франсуа Казимир I 97 II 238
- Деларю Михаил Данилович I 103
- Дельвиг Андрей Иванович I 18, 103, 104 II 235, 526
- Дельвиг Антон Антонович, бар. I 15, 18, 23, 61, 87, 99, 103-104, 123, 144, 149, 156, 164, 192, 198, 199, 201, 246, 247, 251, 403, 411, 415, 455, 456, 462, 478, 480 II 52, 53, 60, 65, 74, 112, 160, 176, 178, 181, 186, 231-239, 269, 311, 311, 313, 330, 398, 444, 445, 464, 482, 484, 490, 491, 501, 511, 525, 526, 549, 581 III 93, 94, 120,

- 136, 144, 169, 181, 201, 212, 226-228, 354, 356, 369, 378, 389
- Дельвиг София Михайловна (урожд. Салтыкова, во втором браке Баратынская), бар. I 246, 247 II 180, 233-236, 349, 525 III 226
- Демидов Павел Николаевич II 437
- Демидова А.К., см. Шернваль фон Валлен А.К., бар.
- Демидов Сан-Дonato Анатолий Николаевич, кн. II 441
- Демидов Сан-Дonato Павел Павлович, кн. II 439, 441
- Демидова Сан-Дonato Аврора Павловна, кн. II 434, 441
- Демут Филипп-Якоб II 122
- Денисевич III 236, 238, 344
- Денисьева Елена Александровна II 173, 174
- Депрео (Despréaux) см. Буало
- Державин Гавриил Романович I 45, 129, 133, 192, 197, 429, 462, 466, 480 II 75, 110, 160, 239, 269, 275, 283, 304, 309, 332, 354-356, 393, 394, 413, 461, 484, 546, 567, 570, 574 III 69, 172, 174, 198, 200, 258, 265, 268, 269, 270, 313, 314
- Десницкий В.А. III 395-397
- Десятерик В.И. III 337
- Дидло (Didelot) Шарль-Луи II 376, 551 III 86, 333
- Дидрот (Diderot) Дени III 153
- Диккенс (Dickens) Чарльз I 65, 403
- Димент Г. (Galya Diment) I 394
- Диопер Евдокия Андреевна II 274 III 220
- Дмитриев Иван Иванович I 197, 459, 472 II 110, 159, 162, 165, 243, 282, 283, 335, 356, 527, 528 III 69, 198, 265-270, 349, 350, 357, 360, 362, 367
- Дмитриев Михаил Александрович III 350
- Дмитрий Самозванец I 458
- Добровейн И.А. I 430
- Добролюбов Николай Александрович II 268, 387, 424
- Добужинский М.В. III 312
- Добужинский Р.М. II 442
- Долгорукая Малиновская, см. Долгорукова Е.А.
- Долгоруков Пётр Владимирович, кн. I 377, 378 II 15, 20
- Долгоруков Иван Михайлович, кн. II 327
- Долгорукова (урожд. Малиновская) Екатерина Алексеевна, кн. I 251 II 14 III 228
- Доливо-Добровольский Флор Иосифович III 371
- Долинин-Искоз А.С. I 38, 399
- Долинов А.И. II 486
- Дондуков-Корсаков Михаил Александрович, кн. III 22
- Достоевский Фёдор Михайлович М. I 81, 102 II 73, 244, 254, 268, 270, 299, 390, 483, 521, 522, 568 III 352
- Досужков Ф.Н. III 289, 291-294
- Доу (Dawe) Джордж I 193
- Друганов Иван Матвеевич III 236, 240
- Дружинин Александр Васильевич III 250
- Дубельт Леонтий Васильевич III 390
- Дьякова (Державина) Дарья Александровна II 283
- Дюканж (Ducange) Виктор Анри Жозеф III 358
- Дюме (Dumé) А II 310
- Дюсис (Ducis) Жан Франсуа II 306
- Дягилев С.П. III 26, 73
- Евангулов Г.С. II 49, 477, 585
- Егоркин А. Н. I 81
- Ежова Екатерина Ивановна I 198
- Екатерина I, императрица II 273 III 359
- Екатерина II, императрица I 86 II 27, 75, 274, 275, 539, 574
- Елизавета Петровна, императрица II 274, 279, 536
- Ермаков И.Д. III 289, 352
- Ершов Пётр Павлович II 514
- Есенин С.А. II 267, 269
- Ефремов И.Н. II 486
- Ефремов П.А. I, 391 II 443, 451, 475, 501, 504, 531, 557, 582, 583 III 376, 392
- Жандр Андрей Андреевич II 322
- Жданов А.А. III 394

- Железнов Михаил Иванович III
108, 112, 337
- Жемчужников Алексей Михайлович III 250
- Жемчужников Лука Ильич II 131
- Живов В.М. I 394, 435
- Жирмунский В.М. I 404
- Житомирская С.В. II 474 III 321
- Жихарев Степан Петрович II 299,
305, 306, 548
- Жуйкова Р.Г. I 401
- Жуковский Василий Андреевич I
47, 147, 163, 189, 196, 290, 294,
295, 342, 377, 419, 428, 433, 472,
481, 484 II 7, 12, 13, 15, 30, 31,
60, 63, 110, 112, 119, 160, 162,
165, 239, 240, 259, 263, 283, 284,
288, 298, 309, 311, 328, 329, 335,
375, 382, 383, 387, 388, 394, 396,
397, 419, 420, 440, 522, 527, 549,
551, 567, 574 III 63, 138, 183,
187, 188, 191, 198, 211, 258, 266,
327, 346, 380, 381, 387, 390
- Жуковский Павел Васильевич I 44
- Завадовский Александр Петрович,
гр. I 198 II 122, 322
- Загоскин Михаил Николаевич I
185 II 109, 494
- Загряжская Наталья Кирилловна,
гр. II 26 III 74
- Загряжский Александр Михайлович II 128, 129
- Зайцев Б.К. II 470
- Зайцев К.И. III 300, 359
- Закревский Арсений Андреевич,
гр. II 435
- Замков Н.К. I 81
- Замятин Е.И. I 409–410, 420
- Занд (Sand) Карл Людвиг II 334 III
369
- Зеелер Вл.Ф. II 516
- Зенгер Т.Г. III 333, 357, 365, 372
- Зензинов В.М. II 470–474, 486
- Зильберштейн И.С. II 525, 548
- Зиновьев Г.В. III 396
- Зоргенфрей В.А. I 409
- Зорин А.Л. I 398
- Зоценко М.М. III 374, 375
- Зубков Василий Петрович I 369–
372 III 217–219
- Зубов Александр Николаевич, гр.
I 481 II 313 III 236, 237, 240,
241, 242
- Зубова Наталья Павловна, гр. II 10
- Зуев Д.П. I 65, 403, 404
- Иванов В.И. I 187, 432, 449 II 483
- Иванов В.В. III 334
- Иванов Николай Павлович II 80,
81, 485
- Иванов С.А. II 470
- Иванова Аграфена (сожительница
В.Л. Пушкина) III 361
- Ивинский Д.П. III 325, 347
- Ивич-Бернштейн И.И. I 401, 407,
413, 449, 462, 464, 468
- Иезуитова Р.В. II 578 III 319
- Изгоев А.С. II 31
- Измайлов Николай Васильевич II
106, 116, 480, 499, 500 III 287,
351, 388
- Измайлов Владимир Васильевич
II 283
- Илличевский Алексей Демьянович
I 15, 99, 455, 479 II 60, 313
- Инглези III 236, 237, 240
- Инглези Людмила–Шекора III 15,
320
- Инзов Иван Никитич I 485, 486 II
335 III 15, 240
- Ионов Илья Ионович I 422
- Иоанн (Иона), игумен II 210, 212
- Ипполит И. II 548
- Ирецкий В.Я. II 86
- Истомина Авдотья Ильинична II
322
- Ишимова Александра Осиповна II
228 III 304, 384
- Каверин Пётр Павлович I 152,
154, 183, 481 II 51, 321, 323,
331, 364 III 125, 177, 178
- Казаков П.А. III 300, 353
- Казанович Евлалия Павловна II
429, 575, 578
- Казанский Б.В. II 532
- Казначеев Александр Иванович I
204 II 295, 545 III 205
- Кайданов Иван Кузьмич I 475
- Калашников Михаил Иванович II
21, 138–140, 144, 145, 315, 469,
549

- Калашникова Ольга Михайловна II 425–426
- Каменев Л.Б. II 304, 423, 575
- Каменский В.В. II 154, 155, 157, 158, 505
- Камознс (Самоенс) Луис Вазде ди II 270, 285
- Канкрин Егор Францевич I 207
- Кант (Кант) Иммануил II 66, 522
- Кантемир Антиох Дмитриевич II 50, 110
- Капнист Василий Васильевич II 267, 564
- Капнист Пётр Иванович, гр. II 561–564 III 20
- Карадыкин Николай Николаевич III 338
- Карагеоргиевич Арсений, кн. II 579
- Карагеоргиевич Павел, кн. II 434, 579
- Карамзин Андрей Николаевич II 440, 441, 580 III 245
- Карамзин Николай Михайлович I 43, 196, 197, 284, 290, 432, 440, 459, 472, 481, 484 II 79, 110, 160, 165, 252, 281, 283, 316–317, 326, 329, 335, 336, 375, 388, 394, 396, 437, 508, 509, 527 III 69, 198, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 319, 350, 360
- Карамзина Екатерина Андреевна I 288 II 160, 325, 550 III 92, 236, 264, 344
- Карамзина Екатерина Николаевна III 184, 209
- Карамзины I 11, 17 II 361 III 264
- Каратыгин Пётр Андреевич II 127 III 358
- Каратыгина Александра Михайловна III 386
- Карл X, король Франции III 37, 389
- Карлинский С.А. I, 394
- Карпинский А.П. III 394
- Карпович М.М. I 389, 391, 395, 426, 433, 468 II 462, 583–585 III 316
- Каррера Валентино II 154
- Карташев А.В. II 209, 211, 213, 214, 520
- Карцов Яков Иванович I 475
- Катенин Павел Александрович I 195, 197, 198, 200, 481 II 195, 322 III 56, 60, 198, 201, 252, 344, 398
- Катон (Cato) Марк Порций младший III 277
- Катосов Дмитрий Степанович II 211
- Каховский Пётр Григорьевич II 234, 327, 525
- Каченовский Михаил Трофимович I 196, 208 III 202
- Кашин Н.П. II 109
- Кедров Н.Н. I 444
- Керн Анна Петровна I 18, 159, 192, 243, 244, 333, 403 II 40, 41, 120, 123, 125, 156, 178, 235, 236, 336, 344, 345, 349, 500, 526, 554 III 108, 113, 208, 223, 224, 319, 337, 386, 387
- Керн Ермолай Фёдорович I 244, 245 II 336, 344, 345 III 224, 226
- Кикерон, см. Цицерон
- Кипренский Орест Адамович I 193 III 92
- Киреевский Иван Васильевич I 103 II 67, 157 III 22
- Киреевский Пётр Васильевич II 513
- Киреевы II 388
- Киркор (Kirkor) Адам Гоноры III 282, 351
- Кирпичников Александр Иванович I 46
- Киселёв Николай Сергеевич III 318
- Киселёв Павел Дмитриевич II 571
- Киселёв Сергей Дмитриевич I 200, 250 II 126 III 199, 227, 352
- Клеопатра, царица Египта III 166
- Клодт, бар. III 300
- Клокачёв А.Ф. II 323
- Клопшток (Klopstock) Фридрих Готлиб II 342
- Клычков С.А. II 514
- Клюев Н.А. II 514
- Ключарёв Павел Степанович II 425, 426
- Кнапп Лайза (Liza Knapp) II 465

- Княжевич Дмитрий Максимович I 163, 266 III 125
- Коваленский М.Н. III 84
- Козлов Василий Иванович I 201, 202 II 296 III 205
- Козлов Иван Иванович II 10, 112, 165, 283 III 69
- Козлов Никита Тимофеевич, см. Никита («дядька», камердинер)
- Козляков В.Н. III 335
- Козмин Н.К. III 337, 365
- Кологривов И.Н., о. III 106, 336
- Колосова Александра Михайловна III 371
- Колтовская Наталья Алексеевна II 304, 546
- Кольбер (Colbert) Жан Батист II 273
- Кольцов Александр Васильевич I 99 II 269, 514
- Комарович В.Л. I 81
- Комовский Сергей Дмитриевич III 376, 386
- Конечный А.М. I, 394
- Кони А.Ф. II 86
- Кононов Александр Акинфиевич III 252
- Константин I (Константин Павлович, вел. кн.) III 60, 374, 398
- Константин Константинович (К.Р.), вел. кн. III 370, 383
- Коншин Николай Михайлович I 207
- Корнель (Corneille) Пьер II 286
- Короленко В.Г. I 409, 410 II 268
- Корнуолл (Cornwall) Барри II 229, 523
- Корстелев О.А. II 484
- Корреджио (-373, 480 II 288 III 219-221
- Корсакова А.А. I 250
- Корф Модест Андреевич, бар. II 41, 198, 288, 323, 325, 550 III 104, 236, 239, 241, 280, 281, 335, 345
- Корш Евгений Фёдорович III 250
- Космократов Тит, см. Титов В. П.
- Костер Т.А. III 316
- Костров Ермил Иванович II 269, 307
- Котляревский Н.А. I 412 II 86, 87, 481 III 364, 395
- Коцебу (Kotzebue) Август фон II 334 III 369
- Коцовский А.Д. III 304
- Кочубей Наталья Викторовна, гр. II 373 III 92
- Кочубей Виктор Павлович, кн. II 17, 18
- Кошанский Николай Фёдорович I 475, 480 III 376-378
- Краваль Л.А. I 401
- Красиньский (Kraśiński) Зигмунд, гр. II 101, 498 III 96-101, 335
- Краснопольский Николай Степанович I 304-306, 310, 313, 314, 318, 323, 340, 341
- Кребб (Strabbe) Джордж II 494
- Кривцов Николай Иванович I 199, 273, 286, 373, 481 II 51, 219, 321 III 131, 182, 220, 352, 393
- Крупская Н.К. II 157
- Крылов Иван Андреевич I 127, 429, 484 II 109, 110, 233, 312, 336, 388 III 111, 269, 338, 358
- Крылова Мария Михайловна II 329
- Кудашева Екатерина Сергеевна, кн. III, 52
- Кузмин М.А. I 407, 408 II 86, 87
- Кузьмин Н.В. III 300
- Кузнецов Н.Н. II 478
- Кукольник Нестор Васильевич II 299
- Кульман Н.К. III 78, 313, 332
- Кумпан К.А. I, 394
- Куницын Александр Петрович I 475 III 378
- Купала Янка III 394
- Купер (Cooper) Джемс Фенимор II 193
- Куприн А.И. I 444, 445 II 467, 486
- Кут А. (Кутузов А.В.) II 560
- Кюстин (Custine) Адольф де, маркиз II 13
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович I 86, 99, 118, 143, 196, 197, 275, 365, 479, 480 II 60, 267, 313, 325 III 94, 132, 195, 198, 199, 236, 237, 240, 241, 349, 357, 359, 369
- Лаваль Александра Григорьевна, гр. II 316

- Лаваль Иван Степанович, гр. II 428
Лавренёв Б.А. III 374
Лавров А.В. I 394, 402 II 478
Лагарп (La Harpe) Фредерик-Цезарь де II 318
Лагрэнз (Lagrenée) Теодорос Мари Мельхиор Жозеф, де III 237, 239
Ладыжников И.А. II 32, 474
Лажечников Иван Иванович III 386, 387
Ламартин (Lamartine) Альфонс Мари Луи де Прат, де I 202 II 296, 494 III 205
Лангеншварц Макс II 429, 578
Ланские III 249
Ланской Пётр Петрович III 249, 299
Лапин Иван Игнатъевич II 211, 520
Лафонтен (La Fontaine) Жан де I 474 II 286, 313, 508
Лахути Абулькасим Ахмедзаде III 394
Левинсон (Levinson) Андре II 254, 531
Левкович Я.Л. II 532, 578 III 319, 335, 336
Ледницкий (Lednicki) А.Р. III 65, 66, 325
Ледницкий (Lednicki) В.А. II 265, 266, 533 III 66-69, 246, 247, 259, 312, 325, 326, 347
Лейтенекэр (?) Е.Э. III 388
Лейтон (Leighton) Яков Иванович II 326
Ленин (Ульянов) В.И. II 424, 463
Леонтьев И.Л. см. Щеглов И.Л.
Лермонтов Михаил Юрьевич I 103, 403, 455, 461, 462 II 58, 73, 79, 112, 170, 245, 267-270, 271, 382, 403, 438, 477, 478, 484, 514, 528, 530, 534, 535, 579 III 264, 303, 349, 366
Лернер Н.О. I 11, 17, 81, 392, 395, 397, 399, 412, 457 II 37, 97, 106, 108, 182, 290, 293, 408-415, 462, 476, 479, 496, 504, 511, 519, 523, 538, 539, 541, 542, 543, 547, 548 III 23, 24, 303, 318, 319, 350, 364, 376, 388, 389, 390, 392
Ливен Карл Андреевич, кн. I 97
Лесков Николай Семёнович II 269, 534
Ливак Леонид III 315, 346
Лидин В.Г. I 410-412, 415
Линдеман И.К. I 41-44, 400
Липранди Иван Петрович II 40, 63 III 29, 241, 242, 322, 345, 386, 387
Липскеров К.А. I 412
Литвин Е.Ю. I 397
Лифарь С.Н. II 442-444, 448, 580-582 III 9, 26, 73-86, 251, 312, 317, 321, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 347
Лобанов Михаил Евстафьевич II 109, 233
Лобанов-Ростовский Александр Яковлевич, кн. II 322, 371 III 111, 198
Лобода А.М. III 36, 37, 322, 323
Лозинский Г.Л. III 316
Лозинский М.Л. I 409
Локателли III 281
Локк (Locke) Джон III 153
Ломоносов Михаил Васильевич I 141, 142, 466 II 110, 494, 593
Ломоносов Сергей Григорьевич II 288 III 362
Лонгинов Никанор Михайлович III 242, 345
Лорер Николай Иванович III 59, 60, 324, 325
Лошакова III 235
Лувель (Louvel) Пьер Луи I 485 II 334
Лувуа (Louvois) Франсуа-Мишель де, маркиз. II 273
Лугинин Фёдор Николаевич III 386
Луи Филипп (Louis Philippe I), король Франции III 37, 38, 389
Лукреций (Titus Lucretius Carus) II 50, 593 III 153
Луначарский А.В. II 155, 304, 423, 506, 575 III 346
Лунин Михаил Сергеевич II 55, 327
Лучич Филип Лукьянович II 128
Львов Л.И. III 245, 246, 347
Львов Н.А. I 87 II 31
Людвик XVI, король Франции II 304

- Людовик XVIII, король Франции
 III 28
 Люксембург Роза I 410
 Мабли (Mably) Габриель Бонно де
 III 153
 Майер Р. III 18
 Майков Аполлон Александрович
 III 383, 384
 Майков Аполлон Николаевич I 65
 II 403, 528 III 250
 Майков Василий Иванович II 444
 Майков Леонид Николаевич I 401,
 457, 465 II 396, 482, 504, 563 III
 347, 364, 376, 383, 393
 Маймин Е.А. II 481
 Макиавелли (Machiavelli) Никколо
 II 105, 273
 Маклаков В.А. II 469
 Маклейн Хью (Hugh McLean) I 394
 II 465 III 316
 Маковский С.К. I 396
 Максимов Василий Максимович
 III 300
 Максимович Иован II 369, 558,
 559, 561, 562
 Макферсон (Macpherson) Джеймс
 II 246
 Калинин Н.И. III 18, 19
 Малиновский Василий Фёдорович
 I 476 III 343, 362
 Малиновский Иван Васильевич II
 283, 388, 537 III 258
 Мальмстад Джон (John E.
 Malmstad) I 394, 395, 403 II 463,
 465, 483 III 314, 316, 317
 Мальцов Иван Сергеевич II 67 III
 371
 Мамонтов Сергей Саввич III 367
 Мандельштам Ю.В. III 338, 347
 Манзони (Manzoni) Алессандро III
 152, 153, 370
 Мансуров Павел Борисович I 198
 II 52, 120, 330, 329, 330, 332,
 501, 551
 Марат (Marat) Жан Поль II 51
 Марвич С.М. III 374
 Мария, дочь Арины Родионовны II
 175, 176, 510
 Мария Александровна, вел. кн. II
 276
 Мария-Антуанетта (Marie-
 Antoinette), королева Франции
 III 28
 Мармье (Marmier) Ксавье II 411
 Маслов Г.В. II 578
 Массон Ольга I 457 II 323, 414
 Матвеев Фёдор II 510
 Матильда, принцесса, племянница
 Наполеона I II 441
 Матюшкин Фёдор Фёдорович II 78
 Межов В.И. III 366
 Мейерхольд В.Э. III 394
 Мельгунов Н.А. II 124, 377
 Меншиков Александр Данилович,
 кн. II 273
 Меренберг (Пушкина-Дубельт)
 Наталья Александровна, гр. I 443
 III 25, 73
 Мережковский Д.С. II 73, 392, 469,
 470, 566
 Мериме (Mérimee) Проспер I 47,
 313, 455 II 28, 246, 470
 Местр (Maistre) Ксавье де, гр. II
 278
 Мефодий, архиерей I 252 III 229
 Мещерский Александр Иванович,
 кн. III 268
 Мещерский Платон Алексеевич, кн.
 II 377, 378, 380, 381, 565
 Микеланджело (Michelangelo)
 Буонаротти II 390
 Миллер Павел Иванович III 242,
 345
 Милорадович Михаил Алексеевич,
 гр. I 485 II 335
 Милруд М.С. III 346
 Мильтон (Milton) Джон II 493
 Милоков П.Н. I 444 II 469, 470,
 486 III 84, 85, 86, 333
 Миних Бурхард Христофор, гр. I
 469
 Минцлов С.Р. II 79, 485
 Мирабо (Mirabeau) Оноре Габриэль
 Рикетти, гр. I 96
 Мирский (Святополк-Мирский)
 Д.С. III 373, 374
 Михаил Павлович, вел. кн. II 15,
 259
 Михайлов Михаил Илларионович
 III 250

- Михельсон Иван Иванович III 16
 Мицкевич (Mickiewicz) Адам I 89,
 123 II 67, 98-105, 157, 263, 266,
 270, 271, 403-408, 428, 495, 496-
 498, 535, 569, 575 III 56, 63, 65,
 67-69, 93, 96-101, 246, 274, 324,
 325, 335, 347, 356, 371
 Мицкевич (Mickiewicz) Владислав
 II 102
 Модзалевский Б.Л. I 377, 392, 412,
 432, 433, 436 II 13, 20, 62-64,
 106, 150, 244, 290, 293, 305, 462,
 463, 467, 468, 473, 478, 479, 482,
 498-500, 504, 505, 507, 510, 525,
 526, 538, 539, 543, 547, 550, 554,
 555, 579 III 20, 36, 75, 79, 105,
 287, 323, 327, 336, 347, 351, 366,
 376, 392, 393
 Модзалевский Л.Б. II 479 III 26,
 357, 372, 384
 Молоствов Памфамир Христофо-
 рович II 321
 Мольер (Molière) Жан Батист
 Поклен I 474 II 286
 Мордвинов Александр Николаевич
 I 204 II 122, 123, 295, 545 III 204
 Морозов П.О. I 306, 307, 401, 440,
 457 II 188, 189, 366, 414, 475,
 504, 516, 557 III 22, 83, 324, 331,
 332, 364, 392
 Мохнацкий (Mochnecki) М. II 100,
 497 III 325
 Моцарт (Mozart) Вольфганг
 Амадей I 47, 453, 454
 Мочульский К.М. II 470, 486
 Муравьев Александр Николаевич
 III 326
 Муравьев Никита Михайлович II
 328, 401, 402
 Муравьев-Апостол Сергей Ивано-
 вич II 327
 Муравьевы II 327
 Муравьевы-Апостолы II 327
 Муратов П.П. I 406
 Мурильо (Murillo) Бартоломе
 Эстебан II 191
 Мусин-Пушкин Владимир Алек-
 сеевич, гр. I 198 II 436, 437
 Мусина-Пушкина Эмилия Кар-
 ловна, гр. II 10, 436-438 III 297
 Муханов Александр Алексеевич II
 435-437, 579
 Муханов Владимир Алексеевич II
 439, 580
 Муханов Пётр Александрович I 207
 Мышковская Л.М. II 489, 490, 494
 Мятлев Иван Петрович II 164, 507
 Набоков В.В. I 404
 Надеждин Николай Иванович II
 420, 490, 494
 Назимов Гавриил Петрович II 120,
 128
 Назон см. Овидий
 Наполеон I (Бонапарт), император
 Франции I 35, 58, 128-133, 159,
 210, 211 II 51, 282, 304, 313, 318
 III 36, 89, 172-174, 236, 258, 284,
 341
 Наполеон III, император Франции
 III 46
 Нарышкин Дмитрий Львович III
 102, 103
 Нарышкина Ольга Станиславовна I
 254 III 232
 Нащокин Павел Воинович I 200,
 203, 207, 208, 250, 252, 253, 306
 II 7-11, 14, 41, 121, 130, 131, 293,
 297, 321, 466, 482, 544 III 202,
 206, 227, 229, 231, 252, 285-288,
 297, 358
 Нащокина Вера Александровна III
 386-387
 Нащокины II 7
 Неговский Евстафий III 302-304,
 353
 Некрасов К.Ф. III 335
 Некрасов Николай Алексеевич I
 101 II 386, 429, 514 III 107, 250
 Нелединский-Мелецкий Юрий
 Александрович, кн. I 261
 Нельдихен С.Е. II 584, 585
 Немирович-Данченко В.И. III 394
 Неофит, архиепископ II 227
 Нессельроде Мария Дмитриевна,
 гр. II 14, 17-20, 467, 468 III 105,
 368
 Нессельроде Карл-Роберт Василь-
 евич, гр. II 17, 18, 21 III 104, 105,
 368
 Нечаева В.С. II 508
 Нечкина М.В. III 324, 325

- Никита («дядька», камердинер) II 325, 337
- Никитенко Александр Васильевич В. II 235, 383, 385, 565 III 392
- Никитин Иван Саввич II 269
- Николаевский Б.М. I 389, 391 II 538
- Николай I, император I 96, 149, 203, 309, 368, 377 II 7, 14, 155, 156, 158, 220, 309, 422, 523, 534, 549 III 17, 54, 55, 63, 103, 104, 105, 210, 216, 217, 240, 250, 273, 276, 280, 281, 302, 311, 323, 350, 368, 381, 390
- Николай II, император II 220, 441
- Ницше (Nietzsche) Фридрих II 250
- Новиков А.И. I 449
- Нольде Б.Э., бар. II 516
- Норов Авраам Сергеевич II 437
- Нэйман Эрик (Eric Naiman) I, 394
- Оболонский Василий Иванович II 67
- Обрадович Алексей II 559
- Обрадович Деан II 559
- Обрадович Миодраг II 369, 558, 559, 561-563
- Обрадовичи II 370, 558
- Овидий Назон (Publius Ovidius Naso) I 76, 163 II 215 III 121, 211, 357
- Овошникова Евдокия Ивановна II 53, 329, 330, 551
- Овчинникова С.Т. III 319
- Огарёв Николай Платонович II 268, 382, 388, 389, 566 III 19, 321
- Огарёва Елизавета Сергеевна III 182
- Огонь–Догановский Василий Семёнович I 206 II 130, 131, 294, 501 III 203
- Одоевский Владимир Фёдорович, кн. I 81, 207 II 267, 294, 437, 490, 491, 545 III 202, 392
- Одоевцева И.В. I 409
- Одынец (Odyniec) Антоний Эдвард II 569
- Озеров Владислав Александрович II 110, 165, 269, 306, 322
- Оксман Ю.Г. I 314, 377 II 107, 468 III 336, 365, 394
- д'Олбах (d'Holbach) Поль–Анри Тири, бар. III 153
- Олег Константинович, вел. кн. II 443, 469, 461, 469, 481
- Оленин Алексей Николаевич II 335, 428 III 108
- Оленина Анна Алексеевна I 333 II 25, 251, 351 III 85, 107-113, 220, 258, 336, 337
- Оленина (урожд. Полторацкая) Елизавета Марковна III 108, 111
- Оленины I 159 II 336 III 111
- Олизар (Olizar) Густаф Филиппович, гр. I 165 III 210
- Ольга Николаевна, вел. кн. II 540
- Ольдекоп Евстафий Иванович I 197 II 63
- Ольхин Матвей Дмитриевич II 559, 560
- Оман (Naumant) Эмиль II 486
- Омар Хайям II 527
- Омер (Омир) см. Гомер
- Онегин (Отто) А.Ф. II 452, 475, 582 III 324, 381, 383
- Оом О.Н. III 109, 111-113, 337
- Орлов А.С. III 394
- Орлов Алексей Фёдорович, гр. I 288 II 571 III 184
- Орлов В.Н. II 415, 574
- Орлов Михаил Фёдорович II 319, 328, 401, 402, 571 III 27, 28, 184, 225, 226, 358
- Орлов Фёдор Фёдорович III 236, 238, 239
- Орлова Екатерина Николаевна I 288 II 260
- Орлов-Давыдов, Владимир Петрович, г. III 52
- Осоргин М.А. II 244-247, 530
- Осипов Иван Сафонович II 339
- Осипова Мария Ивановна II 181, 339, 353, 511 III 386
- Осипова Александра Ивановна II 339, 341, 349, 350, 352, 353
- Осипова Прасковья Александровна I 251, 294, 309 II 120, 178, 339, 340, 342, 344, 345, 351, 427, 554-556
- Осипова (Фок) Екатерина Ивановна II 178, 510
- Осоргин М.А. II 530 III 346

- Осват А.Л. II 568
 Остолопов Николай Фёдорович II 122
 Охотников Константин Алексеевич III 27, 358
 Павел, апостол III 226
 Павел I, император I 21, 397, 398 II 249, 250, 276, 304, 315, 323, 472, 531 III 265, 359, 374
 Павленков Ф.Ф. III 379
 Павлищев Лев Николаевич II 30, 41, 140, 141, 145, 185, 473, 514, 550 III 94, 301, 344, 345, 387, 392
 Павлищев Николай Иванович II 57, 140, 141, 145 III 252
 Павлов Николай Филиппович I 103
 Павлов П.П. II 581
 Павлова (Яниш) Каролина Карловна II 388 III 68
 Палей В.П., кн. II 268
 Панаев Владимир Иванович I 172
 Панаев Иван Иванович II 386 III 107, 250
 Панин Валериан Александрович I 370, 372 III 85, 218, 219, 221
 Панин Никита Петрович, гр. II 472
 Паперно, И.А. (Irina Paperno) I, 394, 408
 Парни (Parry) Эварист де Форж, гр. I 261, 474 II 285 III 120, 153, 183
 Парнок С.Я. I 412
 Паскевич Иван Фёдорович, гр. II 122, 191, 436
 Пастернак Б.Л. I 430 II 71, 72, 74-76, 483, 484
 Пашков Иван Александрович II 375
 Пеньковский Иосиф Матвеевич I 323
 Первухин М.К. II 245
 Переверзев В.Ф. III 352
 Пер (Paer) Фердинандо III 152
 Перельмутер В.Г. I 404 III 334
 Перкинс Г. и К. (Gareth and Kazuko Perkins) I, 394 II 465 III 316
 Перов Василий Григорьевич III 65
 Перовский (Погорельский) Алексей Алексеевич II 428
 Перцов П.П. I 402
 Першерон де Муши Аделаида Иоганна Виктория II 278
 Пестель Павел Иванович II 327 III 58
 Пётр I (Пётр Великий), император I 21, 30, 31, 88, 368, 469 II 73, 75, 85, 266, 272, 273, 422 III 11, 151, 164, 216, 219-221, 262, 296, 340, 359, 380
 Пётр I, король Югославии II 579
 Пётр III, император II 319
 Петроний (Titus Petronius Arbitr) Тит I 75
 Пешкова Е.П. I 426
 Пешуров Алексей Никитич I 294
 Пешуровы II 288
 Пигарев К.В. I 465
 Пий (Pius) IX, папа римский II 408
 Пиксанов Н.К. II 194, 517
 Пилецкий-Урбанович Мартын Степанович I 477
 Пильняк Б.А. I 409
 Пильщиков И.А. II 518
 Пина Эммануил Иванович де, маркиз I 255
 Пиндемонта (Pindemonte) Ипполито II 246 III 54, 91
 Писарев Дмитрий Иванович I 91, 92, 94 II 299, 396, 521
 Писемский Алексей Феофилактович III 250
 Писная В.Н. II 107, 108, 499
 Пищуровы II 539
 Плетнёв А.П. II 31
 Плетнёв Пётр Александрович I 99, 103, 143, 157, 164, 192, 195, 197, 200, 203, 205, 207, 208, 215, 250, 440-442 II 31, 63, 160, 238, 293, 294, 297, 372, 373, 382-384, 386, 490, 544, 545, 548, 563 III 60, 76, 155, 198, 200, 203, 204, 206, 212, 227, 251, 252, 327, 353, 387
 Плиний (Plinius) Гай II 310
 Плутарх (Plutarchus) II 285 III 275
 Погодин А.Л. II 369, 370, 558 III 21
 Погодин Михаил Петрович I 201, 202, 208, 250, 311, 457 II 7, 67, 69, 157, 297, 386, 388, 482, 493, 509, 545, 558, 564-566 III 169, 206, 252, 324

- Поджио Александр Викторович II 433, 434
- Поджио Иосиф Викторович II 433
- Подолинский Андрей Иванович III 387
- Пожарский Дмитрий Михайлович, кн. I 469
- Познер С.В. I 426 II 486
- Познеры I 444
- Полевой Ксенофонт Алексеевич II 124, 490, 494 III 386
- Полевой Николай Алексеевич II 238, 481, 497
- Полежаев Александр Иванович II 267
- Полетика Идалия Григорьевна I 255 II 258 III 297, 299, 368
- Поливанов Александр Юрьевич I 250
- де Полиньяк (Jules de Polignac, comte) III 37, 389
- де Полиньяк (Gabrielle de Polignac, comtesse) III 28
- Полонский Яков Петрович III 250
- Полторацкая Екатерина Павловна I 190 II 235, 349, 350
- Полторацкий Пётр Маркович I 61, 403
- Полторацкий Сергей Дмитриевич II 126, 129
- Полье Варвара Петровна I 250
- Поляков С.А. I 378, 444 II 16, 468
- Понлевуа (de Pontlevoeu, père provincial), о. III 45, 47, 49
- Пономарёва Г.М. II 526
- Пономарёва Софья Дмитриевна I 455 II 446, 525
- Попов П.С. II 575
- Попова Н. II 530
- Попова О.И. II 429, 434 III 22
- Потёмкин Григорий Александрович III 27
- Потоцкий (Potocki) Иван Осипович III 372
- Поцелуев И.Д. II 539
- Прийма Ф.Я. III 337
- Проктер (Procter) Брайн Уоллер, см. Корнуолл
- Прутков Козьма Петрович II 47, 528
- Пугачёв Емельян Иванович II 354, 522 III 16, 204, 262, 265, 293, 379
- Путерман И.Е. III 396
- Путята Николай Васильевич I 462, 465
- Пушкин Александр Петрович I 458, 469, 470
- Пушкин Александр Юрьевич II 531
- Пушкин Василий Львович I 144, 194, 197, 290, 459, 472, 475, 481, 484 II 160, 240, 281-284, 286, 317, 396, 527, 537 III 267, 361
- Пушкин Григорий Александрович II 30, 31, 178
- Пушкин Григорий Александрович (внук А. С. Пушкина) II 424
- Пушкин Лев Сергеевич I 87, 143, 146, 198, 200, 206, 207, 437 II 41, 57, 63, 175, 177, 184, 235, 279, 343, 373, 563 III 59, 60, 63, 64
- Пушкин Сергей Львович I 47, 57, 295-299, 316, 317, 319, 459, 468-473, 483 II 41, 140, 175, 240, 276-278, 281, 282, 317, 537 III 187-191
- Пушкин Пётр Петрович I 458, 469, 470
- Пушкин Фёдор Петрович I 458, 459, 469, 470
- Пушкина Анна Львовна I 194 II 283, 537 III 200-202
- Пушкина Мария Александровна, см. Ганнибал М. А.
- Пушкина (урожд. Гончарова; во втором браке Ланская) Наталья Николаевна I 45, 149, 157, 193, 199, 200, 203, 208, 249-255, 333, 373 II 10-12, 16, 18-20, 25, 27, 28, 158, 162, 164, 258, 259, 270, 351-353, 377, 427, 428, 437, 565 III 22-24, 26, 73-86, 91, 94, 103, 112, 221, 227, 228, 238, 239, 260, 285, 288, 294-299, 319, 321, 326, 327, 329-331, 332, 333, 352, 353
- Пушкина Надежда Осиповна I 459, 468-472 II 175, 249, 250, 275-279, 284, 313, 315
- Пушкина (Павлищева) Ольга Сергеевна I 470, 471 II 57, 161, 175, 279, 313, 340

- Пушкина Софья Фёдоровна I 333, 369-371, 439 II 351 III 15, 85, 217, 218, 220, 221
- Пушкины II 317, 549
- Пушин Иван Иванович I 288, 300, 327, 361-367, 439, 468, 478 II 40, 41, 178, 180, 198, 202, 313, 326, 327, 551 III 58-64, 93, 94, 183, 192-197, 258, 301, 325, 341, 358, 361, 362, 372, 386, 387
- Пыпин Александр Николаевич II 396
- Равдин Б.Н. III 344
- де Равиньян, о. III 37, 39, 40, 45
- Радищев Александр Николаевич II 75, 267, 332
- Радша (родоначальник Пушкиных) I 458, 468
- Раевская М.Н. см. Волконская М.Н.
- Раевская Екатерина Николаевна III 27
- Раевская Софья Алексеевна II 431
- Раевская-Хьюз О.П. I, 394 II, 465 III 316
- Раевский Александр Николаевич II 430-432 III 27, 307
- Раевский Владимир Федосеевич III 169, 198
- Раевский Н.А. II 466
- Раевский Николай Николаевич (младший) I 196, 197, 200, 486 II 178 III, 27-28
- Раевский Николай Николаевич (старший) генерал I 486 II 335, 430, 431 III 27-28
- Раевские, семья I 76, 277, 476 II 215, 335, 431 III 27-28, 34, 134, 322, 323, 386
- Разумовская Мария Григорьевна, гр. II 257
- Раич (Амфитеатров) Семён Егорович II 67
- Ранчин А.М. II 564
- Расин (Racine) Жан Батист I 197 474 II 286 III 149, 357
- Раскольников Ф.Ф. II 548
- Распопов Александр Петрович II 212
- Ратгауз М.Г. II 569
- Рекамье (Recamier) Жанна Франсуа II 282
- Ремизов А.М. I 444
- Репин И.Е. III 301
- Репнин (Репнин-Волконский) Николай Григорьевич, кн. III 237, 239
- Ржевская Наталья Гавриловна I 369, 370
- Ризнич Амалия I 110, 111, 114, 200, 333, 440-443 II 370, 562 III 14, 306, 307, 319
- Римская-Корсакова А.А., см. Корсакова
- Рихтер Александр Вильгельмович II 67
- Ричард III, король Англии III 366
- Робертсон (Robertson) Вильям III 153
- Робеспьер (Robespierre) Максимилиан Франсуа Мари Исидор, де II 304
- Родзянко Аркадий Гаврилович I 191, 192, 243, 287 II 52, 330 III 183, 223
- Рожалин Николай Матвеевич II 481
- Роза Григорьевна, экономка в селе Михайловском II 178
- Розанов М.Н. III 394
- Розанов Н.П. II 250
- Розберг Михаил Петрович II 67
- Романов Михаил Михайлович, вел. кн. III 73
- Романовы, царская династия I 469 II 317, 549
- Росин Фёдор Михайлович II 128
- Россет (Россетти) А. О., см. Смирнова А. О.
- Россини (Rossini) Джоакино Антонио II 107, 340, 498, 499 III 152
- Ростопчин Андрей Фёдорович, гр. II 377
- Ростопчина Евдокия Петровна, гр. I 461, 462 II 79, 112, 270, 374-389, 437, 535, 564, 565, 566 III 24, 321, 394
- Рощина-Инсарова, Е.Н. II 486
- Рубенс (Rubens) Питер Пауль II 508
- Рудыковский Евстафий Петрович III 386, 387

- Русло (губенер—француз Пушкина) II 286
 Руссо (Rousseau) Жан-Жак I 474 II 283 III 152, 153, 369
 Рылеев Кондратий Фёдорович I 99, 194, 202, 430 II 129, 234, 267-270, 411, 535 III 35, 56, 61, 62, 63, 201, 398
 Сабашниковы I 467 II 476
 Сабуров Яков Иванович III 252
 Савелов Автоном Петрович II 120
 Саводник В.Ф. II 473 III 287, 351
 Савостьянов П.И. III 300, 353
 Садовойской Б.А. I 399 II 466, 574
 Сажин В.Н. I 409-410
 Саитов В.И. I 323, 392 II 62-63, 120, 244, 305, 468, 469, 481, 504, 507, 574, 584 III 364 392
 Саксен-Кобургский Леопольд, герцог III 284
 Сакулин П.Н. II 73, 87, 287-288, 292-293, 543 III 244, 346, 392
 Салтыков Михаил Александрович III 389
 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович I 403
 Салтыкова Софья Михайловна см. Дельвиг С.М.
 Салиас де Турнемир (Тур Евгения) Елизавета Васильевна II 388
 Сальери (Salieri) Антонио I 48, 452, 454 II 68
 Сальков А.А. III 336
 Саянов В.М. II 415-417
 Себастиани де ла Порта Орас Франсуа III 38
 Северянин Игорь III 303
 Семевский Михаил Иванович I 443 II 200, 212, 291, 519, 554 III 63, 325, 350, 386
 Семёнов Василий Николаевич II 442
 Семёнов (Семёнов—Тян—Шанский) Л.Д. II 268
 Семёнов Николай Петрович II 496
 Семёнов Павел, священник с. Болдино II 22
 Семёнова Екатерина Семёновна II 306, 322 III 318
 Семёнова Нимфодора Семёновна II 306
 Семёновы I 198
 Сенека (Seneca) Луций Анней III 149
 Сенкевич (Sienkiewicz) Генрик I 399
 Сенковский Осип Иванович II 490 III 239
 Сент—Обен, виконт II 278
 Серафимович А.С. III 394
 Сербинович Константин Степанович I 97
 Сербский Г.П. III 371
 Серов Валентин Александрович III 300
 Серяков Яков Памфилович II 176
 Сесса (Sessa) Пьетро I 39, 40, 400
 Сиверс А.А. II 107
 Сиес (Sieyès) Эммануэль-Жозеф, гр. I 96
 Синицына Екатерина Евграфовна II 350-351, 555
 Сиповский В.В. II 414 III 366
 Скабичевский Александр Михайлович II 252
 Скворцов Иван Васильевич II 276
 Скоропостижная Акулина Илларионовна II 213
 Скотт (Scott) Вальтер II 24, 66, 352 III 149, 358
 Слободник (Slobodnik) Владимир III 317
 Слоним М.Л. II 530
 Смирдин Александр Филиппович I 340 II 109, 110, 444 III 22
 Смирнов Николай Михайлович I 251, 252 II 84, 485
 Смирнова (урожд. Россет) Александра Осиповна I 250-252 II 30, 126, 131, 229, 240, 259, 473, 474, 526 III 35, 39, 51, 52, 228, 229, 245, 280, 297, 301, 302, 323, 348
 Смирнова Ольга Николаевна II 30, 473
 Смирновский Пётр Владимирович II 73
 Смит (Smith) Адам II 319
 Собаньская Каролина Адамовна, гр. III 258, 307
 Соболевский Сергей Александрович I 195, 206, 443 II 7, 28, 67, 118, 157, 158, 294, 377, 470, 482,

- 500, 544 III 55-63, 68, 76, 201, 203, 245, 287, 296, 324, 327, 353, 371, 386, 387, 393, 398
- Соколов II 98, 496
- Соколов Пётр Иванович I 197
- Соллогуб Владимир Александрович, гр. II 111, 112, 309, 353, 382, 437, 438, 548, 579 III 104, 237, 239, 241, 252, 298, 335, 353, 386, 387
- Солнцев Фёдор Григорьевич III 108, 111, 337
- Соловьёв Владимир Сергеевич III 263, 349
- Соловьёв В.И. III 244, 346
- Соловьёв Сергей Михайлович II 496
- Сологуб Ф.К. I 395, 398, 407 II 86, 87
- Соломирский Владимир Дмитриевич III 237, 240
- Соломирский Павел Дмитриевич II 304
- Соломирская (Булгакова) Екатерина Александровна II 304
- Сомов Орест Михайлович II 238
- Сорен (Смирнова) Надежда Николаевна II 30, 473
- Сосницкие (актеры) I 198
- Соути (Саути; Southey) Роберт II 36, 475 III 215
- Софокл I 91 II 390
- Спаский Иван Тимофеевич III 387
- Спасович (Spasowicz) В.Д. II 266, 533
- Сперанский Михаил Михайлович, гр. I 173 III 141, 265, 362
- Срезневский Вячеслав Измайлович I 215-217
- Станиславский К.С. III 394
- Старов Семён Никитич III 236-237, 240, 242
- Степанов Михайло II 276
- Стерн (Stern) Лоуренс I 147, 429, 430
- Столянский П.Н. II 107
- Стон Дж. (Jonathan Stone) III 316
- Стоюнин Владимир Яковлевич II 252, 396, 414
- Стройновская Екатерина Александровна, гр. II 411
- Струве Г.П. I 394 II 579
- Струве П.Б. II 117, 500
- Струтыньский (Берлич Сас) Ю.Ф., гр. III 273, 281-283, 311, 350, 351
- Суворин Алексей Сергеевич I 391 II 443, 511 III 392
- Суворов Александр Васильевич, гр., кн. Итальянский I 197 II 416
- Судиенко Михаил Осипович I 200, 250, 251 II 123, 129-131, 501 III 227, 228
- Сумцов Н.Ф. II 414
- Сурат И.З. I 395, 400, 405, 412, 468 II 529, 535, 536, 549 III 316, 324, 339
- Суренянц Вардгес Акопович III 300
- Сухозанет Иван Онуфриевич II 571
- Сушков Пётр Васильевич II 375
- Сушкова Е.А. см. Хвостова Е.А.
- Табидзе Тициан III 394
- Тамамшев А.А. I 81
- Тархова Н.А. II 570
- Тассо (Tasso) Торквато I 474 II 285, 420
- Тацит (Tacitus) Публий Корнелий II 102, 420, 498
- Телешова Екатерина Александровна II 195
- Теннер (Tanner) Джон II 492
- Тепляков Виктор Григорьевич I 81, 103
- Теппер де Фергюсон Вильгельм Петрович II 313
- Терапиано Ю.К. I 477
- Терентьев И.Г. I 425, 426
- Тибулл (Tibullus) Альбий I 261
- Тизенгаузен (Tiesenhausen) Фёдор (Фердинанд) Иванович, гр. II 10, 111 III 284
- Тимашева Екатерина Александровна I 198
- Тимберлейк Алан (Alan Timberlake) II 465
- Тимковский Иван Осипович III 397
- Тиссо (Tissot) Пьер-Франсуа III 152, 153, 370
- Титов Владимир Павлович I 11-13, 17, 18, 23, 24, 36, 184, 377, 398,

- 452, 456 **II** 67, 107, 377
Тихонов А.Н. **I** 410, 419, 421
Тихонов Н.С. **III** 374
Тоболяков В.Н. **III** 374
Товянский (Towiański) Анджей **II** 408
Тоддес Е.А. **I** 58, 403
Тодорашка (Крупенский Фёдор Егорович) **III** 139, 175, 180
Токарев Александр Андреевич **II** 331
Толстая Устинья Ермолаевна **II** 274
Толстой А.Н., гр. **II** 264, 514 **III** 250, 394
Толстой Алексей Константинович, гр. **II** 264
Толстой Варфоломей Васильевич, гр. **II** 20 2
Толстой И.Н. **III** 315
Толстой Лев Николаевич, гр. **I** 102, 466 **II** 269 **III** 67, 284, 325, 351
Толстой Пётр Александрович, гр. **II** 220
Толстой Фёдор Иванович («Американец»), гр. **II** 312 **III** 237, 238, 345, 375
Толстой Яков Николаевич, гр. **I** 191, 198 **II** 51-52, 331, 333, 363-366, 371-372. 478 **III** 92, 199
Томашевский Б.В. **I** 81, 307, 392, 405, 427, 437, 439, 441, 442 **II** 32, 108, 118, 219, 221, 444-448, 463, 464, 475, 478, 498-500, 515, 523, 564 **III** 20-22, 84, 321, 323, 331, 332, 365, 369, 370, 372, 384, 396
Топоровский (Togorowski) Мариан **III** 273, 350
де Торби (Меренберг София Николаевна, гр.), **III** 73
Тредиаковский Василий Кириллович **I** 466 **II** 267, 307, 534
Третьяк (Tretiak) Юзеф **II** 266, 533
Тропинин Василий Андреевич **III** 77, 301, 330
Трошинский Дмитрий Прокофьевич **II** 546
Трубецкой Сергей Петрович, кн. **I** 198 **II** 331
Тувим (Tuwim) Юлиан **II** 264-266, 582 **III** 247, 248, 347
Туманская Софья Григорьевна **III** 353
Туманский Василий Иванович **I** 99, 163 **III** 211, 296, 353, 371
Туманский Фёдор Антонович **II** 370, 372, 373, 559, 560
Тургенев Александр Иванович **I** 191, 433, 481 **II** 112, 119, 198, 240, 255, 259, 283, 329, 353, 388, 438, 440, 519. 551, 537, 579, 580 **III** 68, 180, 182, 199, 226, 284, 343, 354, 360, 362, 387
Тургенев Иван Сергеевич **II** 438 **III** 73-75, 80, 250, 326, 330, 333
Тургенев Николай Иванович **II** 320, 328, 401, 402, 569 **III** 245, 358
Тхоржевский И.И. **II** 527
Тынянов Ю.Н. **II** 417, 461, 496, 509, 568, 578, 579, 581 **III** 315, 358-377, 394
Тычина Павло **III** 394
Тютчев Н.И. **I** 177, 465
Тютчев Фёдор Иванович **I** 99, 101 **II** 74, 157, 166-173, 384, 440, 441, 508, 509, 565, 580
Тютчева Эрнестина Фёдоровна **II** 509
Убри Сергей Павлович **II** 25
Уваров Сергей Семёнович, гр. **II** 548
Улыбышев Александр Дмитриевич **II** 52, 330
Урбаник Аллан (Allan Urbanic) **II** 465
Урусов Александр Иванович, кн. **II** 200, 291, 519 **III** 227
Урусов Николай Александрович, кн. **I** 250
Урусов Павел Александрович, кн. **I** 250
Урусова Софья Александровна, кн. **III** 184
Устинов А.Б. **I** 394, 409 **II** 462 **III** 316
Ушакова Екатерина Николаевна **I** 189, 250 **II** 351 **III** 85, 220, 227 318
Фадеев А.А. **III** 394
Файбисович В.М. **III** 337
Фан дер Фельде К.Ф. **III** 358
Фатов Н.Н. **II** 87

- Федин К.А. I 415 II 98, 496 III 374
 Фёдоров Борис Михайлович I 87 II 122 III 164
 Федякин С.Р. II 484
 Фет Афанасий Афанасьевич I 101 II 45, 150, 269, 271, 403, 477, 535
 Фикельмон (Ficquelmont) Дарья (Долли) Фёдоровна (Фердинандовна), гр. I 254, 434 II 9-13, 110, 437, 466, 499 III 283-288, 297, 351, 352
 Фикельмон (Ficquelmont) Карл-Людвиг, гр. II 10, 12 III 285, 287, 288
 Фикельмоны II 10-12
 Филарет (Дроздов Василий Михайлович), митрополит II 521
 Филимонов, Борис Сергеевич III 120, 135
 Филин М.Д. III 334
 Филонов А.Г. III 379, 380
 Фирсов Николай Николаевич II 354
 Флейшман Л.С. I 394 II 465 III 316, 344
 Флоридов Александр Александрович III 350
 Фок Екатерина Ивановна III 386, 387
 Фок Пётр Яковлевич фон II 122
 Фокин М.М. I 404
 Фомичев С.А. I 401
 Фонвизин (Фон-Визин) Денис Иванович II 322
 Фонтенель (Fontenelle) Бернар Ле Бовье де III 153, 370
 Форст Надежда II 323
 Фотий (Спасский Пётр Никитич), митрополит I 288 III 184, 369
 Фохт У.Р. III 388
 Фрейд (Freud) Зигмунд III 289-293, 352
 Фридрих-Вильгельм III, прусский король III 284
 Фрик Давид (David Frick) II 465
 Фриче В.М. II 287, 288, 292, 293
 Халабаев К.И. II 221, 523
 Харитон Б.О. I 407 II 86 III 346
 Хвостов Дмитрий Иванович гр. I 15, 87, 116, 149, 290 II 110, 243, 305, 527 III 150, 186, 371
 Хвостова Екатерина Александровна II 377, 564
 Хвошинская Надежда Дмитриевна II 388
 Херасков Михаил Михайлович II 283 III 269
 Хилкова (Безобразова) Любовь Александровна, кн. I 250
 Хитрово Елизавета Михайловна, гр. (Tiesenhausen-Hitroff) II 10, 62, 111-118, 479, 499, 500, 529, 531, 538, 543, 562, 563 III 109, 283-284, 389, 393
 Хитрово Николай Фёдорович III 284
 Хлюстин Семён Семёнович II 25 III 237, 239
 Хмельницкий Николай Иванович I 198
 Хованская (Булгакова) Наталья Васильевна, кн. I 287 III 183
 Ходасевич В.Ф. I 127, 394, 395, 397, 400-412, 415, 419-421, 423, 424, 426-445, 449, 459, 461, 464, 465, 467, 468 II 86, 108, 148, 187, 207, 451, 466-468, 480, 482-484, 486, 488, 489, 494-498, 500, 502, 503, 505-509, 511, 514-520, 523-525, 527, 529, 530, 533, 534, 538, 539, 541, 542, 554-556, 557, 558, 561, 567, 570, 572-575, 578-582, 583, 584, 585, 594, 595 III 79, 84, 311-354, 372, 377, 396
 Хомутова Анна Григорьевна III 280, 281
 Хомяков Алексей Степанович II, 388
 Хомяков Фёдор Степанович II 67
 Христина, королева польская II 272
 Хуго (Гюго; Hugo) Виктор III 320
 Хьюз Р. (Robert P. Hughes) I 395, 406, 408 II 486, 498 III 316, 317
 Цветаева М.И. II 31, 459, 474, 511, 514
 Цезарь (Caesar) Гай Юлий I 75
 Цицерон (Cicero) Марк Туллий III 130, 153
 Цицианов Фёдор Иванович, кн. II 120
 Цявловская Т.Г. I 401 II 466, 499, 523, 570 III 337

- Цвяловский М.А. I 378, 391, 392, 395, 404, 405, 411, 415, 425, 430, 431, 434, 457, 465 II 7, 9, 11-13, 21, 62, 87, 250, 287, 288, 292, 293, 462, 463, 466-468, 473, 474, 479, 482, 518, 520, 570, 575 III 244, 285, 287, 317, 324, 333, 336, 340, 346, 350, 351, 357, 365, 372, 376, 378, 388, 389, 392, 394
- Чаадаев (Чедаев) Пётр Яковлевич I 86, 87, 481 II 23, 24, 51, 63, 240, 254, 267, 298, 318, 335, 336, 470 III 392
- Чавчавадзе Нина Александровна, кн. II 191-193
- Чайковский Пётр Ильич II 571
- Чайковский Н.В. I 444
- Ченстон, см. Шенстон
- Черейский Л.А. II, 465 III 317, 337
- Чаренц Е. III 394
- Черкасские, кн. II 388
- Черниковский С.Г. I 420, 421
- Чернова Е.Б. III 372
- Чернышев М.А. II 481
- Чернышевский Николай Гаврилович II 268, 387, 424 III 17
- Черняев Николай Иванович II 414
- Чертков Александр Дмитриевич I 252 III 229
- Чехов Михаил Александрович II 566
- Чехов Антон Павлович II 127
- Чичерина Варвара Васильевна II 537 III 343
- Чечулин Николай Дмитриевич II 287, 290, 291, 293, 539-541
- Чичагов Константин Николаевич III 301
- Чубарь В.Я. III 394
- Чуковский К.И. I 409, 410, 420, 426 III 394
- Чулков Г.И. II 509 III 363, 373
- Чулков Н.П. II 250
- Чулкова (Ходасевич) А.И. I 391, 412, 419, 421, 426, 436, 467 II 468
- Шаликов Пётр Иванович, кн. I 194 III 85, 200
- Шальман Е.С. II 518
- Шамфор (Chamfort) Себастьян-Рош Никола де II 493 III 152, 153, 370
- Шарль Фердинанд, герцог Беррийский, см. Беррийский, герцог
- Шаховская Софья Алексеевна, кн. II 438, 580
- Шаховской Александр Александрович, кн. I 198 II 195, 322
- Шварц Дмитрий Максимович II 510
- Шеберх Христина-Регина фон I 470 II 274
- Шевырёв Степан Петрович II 7, 67, 69, 157, 176, 377, 383, 482, 510 III 252, 386, 387
- Шедель (гувернер Пушкиных) I 474
- Шекспир (Shakespeare) Уильям I 24, 56, 123, 290, 325 II 66, 242, 243, 306, 322, 342, 527, 528 III 56, 186, 198, 366
- Шенгели Г.А. I 404
- Шениг Николай Игнатьевич II 353, 556
- Шенстон (Shenstone) Вильям I 46, 455
- Шенье (Chénier) Андре Мари де II 270 III 141, 167, 209, 210, 258
- Шереметев Василий Васильевич, гр. II 322 III 235, 394
- Шернваль Карл-Иоганн II 435
- Шернваль фон Валлен (Демидова; Карамзина) Аврора Карловна, бар. II 435-437, 439-441, 579, 580 III 297, 311, 343, 344
- Шернваль фон Валлен Эмилий Карлович, бар. II 436
- Шик А.А. III 94, 95, 304-308, 334, 353
- Шиллер (Schiller) Фридрих II 306, 375
- Шиллинг Сергей Романович, бар. II 128, 334
- Шимановская (Szymanowska) Мария III 69
- Шимкевич К.А. I 81
- Ширинский-Шихматов Сергей Александрович, кн. I 15, 149 II 326, 446
- Шихмаков, игрок II 122
- Шишков Александр Ардалионович III 119-121, 270

- Шишков Александр Семёнович I
 261, 262, 264, 271, 459 II 63, 251,
 284, 305, 309
- Шкловский В.Б. I 147-151, 409,
 429, 430 II 417, 463 III 359, 375
- Шлецер (Schloezer) Август Людвиг
 II 284
- Шляпкин Илья Александрович I
 81, 457 II 504, 574 III 364, 383,
 384
- Шмелев И.С. II 470
- Шор Т.К. II 526
- Шпитцер С.М. I 443
- Штейн Сергей Владимирович фон
 II 239-241, 526 III 393
- Штрайх С.Я. II 568
- Штакельберг (Стакельберг) Аде-
 лаида Павловна, гр. I 252 III 229
- Шувалов Андрей Петрович гр. II
 438
- Шуйские I 458
- Шуйский Василий Иоаннович, см.
 Василий IV, царь
- Шубин В.Ф. II 530
- Шульц Р. I 399
- Шульговской Николай Николаевич
 I 58, 402
- Шумихин С.В. I 403
- Шур Леонид II 515 III 332
- Щеглов (Леонтьев) Иван Леонтье-
 вич I 49, 402
- Щёголев, П.Е. I 17, 49, 377, 378,
 392, 395, 397, 398, 407, 412, 432,
 438, 457 II 16, 17, 53, 86, 87, 106,
 138-147, 178, 186, 197, 201, 203,
 204, 206, 287, 288, 290, 292, 425,
 462, 467, 468, 473, 475, 478, 503,
 504, 510, 514, 516, 518-519, 525,
 529, 532, 538, 539, 552-554, 564,
 574, 578, 581 III 9, 14, 20, 22, 23,
 25, 103-105, 244, 246, 318, 335,
 336, 344, 346, 364, 366, 380, 381
- Щербаков С.С. III 393
- Щербатов Пётр Александрович I
 251
- Щербинин Михаил Андреевич I
 154, 286 II 321, 330 III 182
- Эйдельман Н.Я. II 523 III 351
- Эйнштейн (Einstein) Альберт II
 243
- Эйхенбаум Б.М. I 58, 403, 407, 409
 II 86, 415-422, 463, 548, 574 III
 351, 375, 395
- Энгельгардт Василий Васильевич I
 286 II 134, 321, 330 III 156, 157,
 182
- Энгельгардт Егор Антонович I 477
 II 288, 313, 335, 502, 551
- Эрлих В.И. II 594
- Эфрос А.М. I 401, 412 III 55-64,
 323, 324, 372
- Ювенал (Juvenalis) Децим юний I
 474 II 285
- Юдин Павел Михайлович II 283,
 388, 494 III 140, 172
- Юзефович Михаил Владимирович
 II 84-85, 485 III 386, 387
- Юм (Hume) Давид III 153
- Юнг (Young) Эдуард II 494
- Юрьев Фёдор Филиппович I 76,
 273, 481 II 52, 120, 215, 321, 330,
 332 III 131, 327
- Юсупов Николай Борисович, кн. II
 250
- Юшкевич С.С. II 470
- Яблоновский А.А. II 29-31, 469,
 470, 473, 486
- Языков Михаил Александрович III
 250
- Языков Николай Михайлович I 99,
 142-144, 146, 252, 428, 431 II
 178, 180, 181, 186, 346-347, 348,
 353, 529, 554-556 III 92, 138, 186,
 208, 229, 267, 350, 357, 387
- Якобсон Р.О. II 417
- Яковлев В.А. III 320
- Яковлев Иван Алексеевич II 123,
 130, 501
- Яковлев Михаил Лукьянович I 193,
 480 II 232, 235, 288
- Яковлева (Матвеева) Арина Родио-
 новна I 266, 281 II 142, 157, 174-
 186, 213, 214, 279, 280, 459, 510,
 536 III 122, 124, 125, 137, 300, 360
- Якубович Александр Иванович II
 325 III 235
- Якубович Д.П. II 428 III 358, 375
- Якушкин Вячеслав Евгеньевич I
 401 II 396, 489, 504, 574 III 391,
 392

- Якушкин Иван Дмитриевич II 41,
 327, 489 III 27, 28, 34, 35, 251,
 323, 358, 364, 386
 Янгиров Р.М. III 315, 316, 326,
 334, 346
 Янькова Елизавета Петровна I 371,
 439
 Яцевич А.Г. II 251, 252, 530
 Яшин М.И. III 336
- Armband Abraham II 505
 Cuming J. Walters I 403
 Davidoff Adèle, см. Давыдова
 Адель Александровна
 Gasparov B.M. (Гаспаров Б.М.) I
 408
- Gramont Antoine de III 28
 Hughes Robert P. см. Хьюз Р.
 Malmstad John E., см. Мальмстад
 Дж.
 Mickiewicz Adam см. Мицкевич
 Адам
 Mochnacki Маугусу, см. Мохнацкий
 М.
 Nékrassow, см. Некрасов Н.А.
 Panaiew, см. Панаев И.И.
 Paperno I.A., см. Паперно И.А.
 Southey, Robert II 36, 475
 Staël, Madame de III 152, 153, 370
 Tiesenhausen-Hitroff, contesse, см.
 Хитрово
 Zingarelli Nicolo II 499

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Пушкин—Дон-Жуан</i> (1935)	9
<i>Литературное наследство</i> , кн. 16—18 (1935)	16
Аглая Давыдова и ее дочери (1935)	27
Клевета (1935)	53
«Друзья—Москали» (1935)	65
<i>Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой</i> (1936)	73
О письме г. Гофмана (1936)	77
Автор, герой, поэт (1936)	86
Пушкин в издании «Иллюстрированной России» (1936)	90
<i>Женатый Пушкин</i> (1936)	94
Недоразумение (1936)	95
«Иридион» (1936)	96
Черная годовщина (1936)	101
Дневник А.А. Олениной (1936)	107
 О Пушкине (1937)	
Явление Музы	119
Бережливость	138
«Гавриилиада»	139
Пора!	146
Перечисления	147
Отъезды, отлеты, исчезновения	159
Прямой. Важный. Пожалуй	163
История рифм	165
Излюбленные звуки	170
Художник	171
Наполеон	172

Вольности	174
<i>Евгений Онегин</i> , V, 36	176
Кощунства	179
Ссора с отцом	187
Двор — снег — колокольчик	192
Стихи и письма	198
Вдохновение и рукопись	202
Бури	207
О двух отрывках	213
Прадед и правнук	216
Амур и Гименей	222
<i>— 1937 —</i>	
Дуэльные истории (1937)	235
Юбилейные книги (1937)	243
Памяти П.В. Анненкова (1937)	248
<i>Сочинения Александра Пушкина</i> (1937)	253
«Жребий Пушкина», статья о С.Н. Булгакова (1937)	259
Дмитриев (1937)	265
Пушкин и Николай I (1938)	273
Гр. Д.Ф. Фикельмон (1938)	283
Курьезы психоанализа (1938)	289
Жена Пушкина (1938)	294
Новые книги о Пушкине (1938)	299
<i>Одесский Пушкин</i> (1939)	304
Примечания	311
1935	317
1936	326
<i>О Пушкине</i> (1937)	338
1937	342
1938-39	350

Приложение I («Литературная летопись» Гулливера)

1) <i>Пушкин–критик</i> (1935)	355
2) Перед пушкинским юбилеем (1935)	357
3) <i>Пушкин Ю. Тынянова</i> (1935)	358
4) <i>Пушкин Тынянова</i> (1935)	361
5) <i>Жизнь Пушкина Г. Чулкова</i> (1936)	363
6) Пушкинская комиссия (1936)	364
7) Трагедия Андрея Глобы (1936)	366
8) «Пушкинский словарь» (1937)	369
9) Пушкинский <i>Временник</i> (1937)	370
10) <i>Звезда и Литературный современник</i> (1937)	373
11) Паноптикум (1937)	375
12) <i>Красный архив</i> , кн. 1 (1937)	377
13) Последние слова Пушкина (1937)	380
14) Рукописи Пушкина (1937)	382
15) Воспоминания о Пушкине (1937)	385
16) Пушкинская «Летопись» (1938)	388
17) Рукописи Пушкина (1939)	390

Приложение II (Неоконченное)

1) Библиография общая	392
2) <Пушкинский юбилей в СССР>	393
3) <О «Каменном госте»>	398

Указатель имен	403
---------------------------------	-----

Vladislav Khodasevich. *Pushkin i poèty ego vremeni.*

Volume 3:

Stat'i, retsenzii, zametki 1935–1939 gg.

Edited by Robert P. Hughes.

Series: Modern Russian Literature and Culture,
Studies and Texts. Volume 44.